

И·Ободовская
М·Дементьев
ПОСЛЕ СМЕРТИ ПУШКИНА

И·Ободовская
М·Дементьев



ПОСЛЕ СМЕРТИ ПУШКИНА



Москва
«Советская Россия»
1980

Редактор и автор вступительной статьи
член-корреспондент Академии наук СССР Д. Д. БЛАГОЙ

Художник
Ю. Ф. АЛЕКСЕЕВА

О $\frac{60000-052}{М-105(03)80}$ 40—80 4400000000

Письма больше чем воспоминания:
на них запеклась кровь событий,
это — само прошедшее, как оно было,
задержанное и нетленное.

Герцен



НОВЫЕ НЕУСТАННЫЕ ПОИСКИ, НОВЫЕ ЦЕННЫЕ НАХОДКИ

Предлагаемая вниманию читателей вторая книга И. М. Ободовской и М. А. Дементьева непосредственно, можно сказать, кровно, связана и по своему содержанию, и логикой научного поиска с их первой книгой — «Вокруг Пушкина», появившейся в свет в результате изучения обширнейшего архива семьи Гончаровых, членом которой была семнадцатилетняя Наташа Гончарова — невеста, а затем жена Пушкина. Архив этот почти не привлекал к себе исследователей-пушкинистов. Несмотря на его огромные размеры, наполненность самыми разнообразными материалами, накопившимися на протяжении более полутора веков (с конца XVII века), в подавляющем большинстве своем он действительно не имел отношения ни к жене Пушкина, ни тем более к самому поэту. Правда, в этих залежах хозяйственных и промышленных документов, бухгалтерских книг, связанных с фабричной деятельностью его хозяев, записных книжек домашних расходов и т. п. имелись и пакеты с семейными письмами, тоже отпугивавшими неразборчивостью почерка, словно бы малой значительностью содержания и, главное, в силу того заранее недоброжелательного и пренебрежительного отношения как к семье жены поэта, так в особенности к ней самой, которое господствовало в пушкиноведении тоже на протяжении очень длительного времени, почти до последних дней включительно.

И все же движимые любовью к Пушкину И. М. Ободовская и М. А. Дементьев отважно взялись за тщательный сплошной просмотр всего гончаровского архива, обратив, естественно, особое внимание на эпистолярную его часть. И этот тяжелый и, как считалось, если не вовсе пустой, то едва ли сколько-нибудь плодотворный труд был сторицею вознагражден.

В самом деле, в семейной переписке было попутно и абсолютно неожиданно обнаружено совершенно не известное дотоле письмо к главе семьи, старшему из братьев, Д. Н. Гончарову, самого Пушкина, что уже одно явилось бы для любого из пушкинистов-профессионалов величайшей находкой. Помимо того, было найдено большое число писанных еще при жизни поэта писем к тому же старшему брату Натальи Николаевны и обеих ее сестер. А нелегкое и очень вдумчивое прочтение их, перевод с французского на русский язык и полное опубликование в книге «Вокруг Пушкина» не только вызвало живейший интерес со стороны широчайших кругов советских читателей (вскоре понадобилось — тоже массовым тиражом — второе, дополненное ее издание), но и имело очень важные последствия, которые превзошли все даже самые смелые надежды, на какие, приступая к изучению гончаровского архива, можно было бы рассчитывать.

Чтобы в полную меру оценить эти последствия, напомню, что сразу же после роковых событий, повлекших за собой тягчайшую национальную утрату, безвременную — в полном расцвете интеллектуальных и творческих сил — гибель величайшего русского художественного гения, в потрясенном сознании и сердцах подавляющего большинства современников, не знавших об истинных причинах ее, сложились совершенно превратные представления о том, что́ так внезапно и непоправимо произошло. Ставя на место этих неведомых п р и ч и н, окутанных непроницаемым покровом запретной тайны, явный — на глазах у всех,— непосредственный п о в о д к дуэли, начали винить во всем случившемся овдовевшую жену поэта. Такая версия усиленно раздувалась теми, кто был крайне заинтересован в сокрытии подлинных п р и ч и н,— правящей реакционной кликой, окруживших царский престол «рабов и льстецов», с которыми Пушкин почти сразу же после своего возвращения в 1826 году из ссылки повел смелую и решительную (как оказалось, действительно не на жизнь, а на смерть) борьбу. Столь же, если не еще более, устраивала версия виновности жены поэта тех, кто явился орудием в руках клики, выполняя функцию своего рода «наемных убийц»,— двуединую чету Геккернов: голландского посла — барона Луи Борхарда де Беверваарда Геккерна — убийцы морального — и убийцы физического — барона Жоржа Дантеса-Геккерна.

Мало того, именно Геккерн-старший попытался придать этой версии, выводя ее за пределы стихийно возникших толков и пересудов, широкую гласность и даже узаконить судебным порядком. Почуяв, что царь, которому вскоре так или иначе стал известен подлинный смысл диплома, в коем, помимо Пушкина и Натальи Николаевны, затрагивалась честь и русского самодерж-

ца, и причастность к этому делу голландского посла, изменил к нему свое прежнее «милостивое» отношение, этот хитрый и ловкий дипломат решил сам перейти в наступление. 1 марта 1837 года еще до окончания следствия по дуэльному делу он обратился «неофициально» к одному из влиятельнейших деятелей правящей верхушки, министру иностранных дел Нессельроде, у которого издавна был своим человеком (характерно, что после дуэли министр и его супруга — тоже, как всем было известно, лютые враги Пушкина — пробыли в доме Геккернов до глубокой ночи, выражая сочувствие легкораненому Дантесу). В этом своем письме он, став в позу оскорбленной невинности, цинично обрушился на «госпожу Пушкину», возлагая на нее всю вину за случившееся, а своего — юридически — приемного сына, а, по существу, любовника выставлял неповинной жертвой ее женских чар и безудержно-страстных домогательств. В доказательство он нагло и лицемерно требовал (и тут, пожалуй, особенно наглядно сказалась глубочайшая безнравственность его насквозь прогнившей натуры) привлечь к следственному делу о дуэли убитую горем (он хорошо знал это) вдову поэта и под присягой заставить ее дать показания, будучи заранее уверен, что на это не пойдут. Содержание письма было доведено до сведения царя, но, вопреки расчетам написавшего и его приспешников (не исключено, что и сам этот демарш был предпринят им по совету Нессельроде), возымело обратное действие — прилив негодования и ярости. Сразу же осведомленный об этом и перепугавшийся Геккерн полностью изменил свою позицию и поспешил обратиться с письмом (датировано 4 марта) к одному из ближайших любимцев Николая, графу А. Ф. Орлову, принимавшему активное участие в подавлении восстания 14 декабря и позднее — после смерти Бенкендорфа — назначенному на его должность шефа жандармов и начальника III отделения.

Из сурового обвинителя дипломат-оборотень счел необходимым «рыцарски» стать в этом письме на защиту чести «госпожи Пушкиной», уже не только не требуя от нее никаких показаний, а сам клятвенно заверяя, что в «свя́зи» (слово это фигурировало и, как явствует из контекста, в совершенно недвусмысленном, позорящем жену поэта и его самого, смысле в письме к Нессельроде) ее с Дантесом не было ничего предосудительного и что «она осталась столь же чиста в этом отношении, как тогда, когда господин Пушкин дал ей свое имя». Но и эта фраза была ловкой дипломатической уверткой, имеющей цель всячески обелить и даже возвеличить своего любимчика. Ведь от своих только что и так грубо сделанных обвинений в адрес госпожи Пушкиной Геккерн не отказывался, а просто о них умолчал. А значит, и «чистота»

ее зависела от возвышенно рыцарского отношения к ней его «сына». А наряду с этим, резко меняя свою тактику, Геккерн перенес огонь на самого Пушкина — пустил в ход не менее гнусный вымысел. «Жоржу не в чем себя упрекнуть,— сообщал он его сестре 29 марта 1837 г.— его противником был «безумец», которому «просто жизнь надоела, и он решился на самоубийство, избрав руку Жоржа орудием для своего переселения в другой мир». Как ни бесстыдна и нелепа была эта новая диверсия прожженного подлеца дипломата (напомню, что слово «безумец» тогда часто применяли к тем, кто выступал против существовавшего политического строя), она тоже получила широкое хождение, в частности, много позднее ее повторила близкая приятельница Пушкина в период его ссылки в Михайловское, Евпраксия Вульф; дошла она даже до нашего времени, кое-кем прямо принятая за правду. Все эти наглые, сугубо «дипломатические» маневры предпринимались Геккерном с ведома и согласия Дантеса, едва ли, как это наглядно видно из его дальнейшего поведения, не превзошедшего в низости и подлости своего «отца». Известно, например, несколько случаев, что когда кто-то решался в упор спросить Дантеса, существовала ли между ним и женой поэта любовная связь, он, удивляясь самой постановке такого вопроса, в свою очередь, с наглым хвастовством вопрошал: как же могло быть иначе? А уже в преклонном возрасте, повстречавшись на модном европейском курорте с некоей русской дамой, он с еще более наглым и циничным бахвальством представился ей: «Барон Геккерн, который убил вашего Пушкина».

Грязный поток сплетен, злоречия, лжи, клеветы, злобных вымыслов и гнусных наветов на Пушкина, его жену и обеих ее сестер возник уже при жизни поэта. После его трагической гибели он стал еще свободнее и шире разливаться. Особенно благодатную почву обрела версия о Н. Н. Пушкиной как главной виновнице в высших кругах общества, среди придворно-светских «львиц» (многие из них к тому же сами страстно увлекались Дантесом), относившихся со скрытым, а то и явным недоброжелательством к затмевавшей всех своей красотой жене Пушкина. Они пренебрежительно отзывались о ней, столь действительно на них непохожей, как о красивой, но недалекой и пустой кукле, занятой лишь нарядами, балами, упоенной светскими триумфами, неслыханными успехами у мужчин, а своим безудержным, нарушающим все «приличия» кокетством сумевшей свести с ума тоже столь избалованного успехами у женщин, молодого красавца француза и тем самым погубившей мужа, не будучи способной понять и оценить ни его самого, ни его великого значения. В более смягченных тонах версию о — пусть несознательной

и невольной — вине Натальи Николаевны принимали поначалу и некоторые столь близкие к поэту люди, как семья Карамзиных и даже такой издавна тесно связанный с Пушкиным человек, как П. А. Вяземский.

Не внесло, по существу, никаких поправок в эту прочно сложившуюся традицию сразу же, по горячим следам написанное, сотканное из слез и пламени стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», в насыщенной болью, презрением и гневом концовке которого он, подхватив на лету выпавшее из рук Пушкина знамя, обрушился — во многом почти прямо его словами — на тех, кого автор «Моей родословной» навсегда пригвоздил к позорному сатирическому столбу,— правящую клику носителей и проповедников реакционного застоя, «свободы, гения и славы палачей», как Лермонтов, прозорливо и прозрачно, разумея здесь истинных виновников трагедии на Черной речке, прямо (для многих современников это звучало почти поименно) их окрестил, угрожая этим людям с «черной кровью» в жилах неизбежным и беспощадным, не только «божьим», но и земным — народным — судом.

Лермонтовская «Смерть поэта», молниеносно распространившись, как в свое время пушкинские «вольные» стихи, в огромном числе списков, получила широчайшую популярность, ввела почти никому не ведомого дотоле автора, о котором было лишь немногим известно, что он «пописывает» кое-какие «стишки», в первый ряд писателей-современников в качестве законного, наряду с Гоголем, «наследника» Пушкина. Но именно всем этим он стал на тот же, не только типологически — по обстоятельствам того времени — схожий, но и преемственно почти полностью совпадающий, роковой пушкинский путь. За «непозволительное стихотворение», которое в правящей верхушке восприняли как «воззвание к революции», он был тут же — по пушкинским следам — отправлен в ссылку. А всего через четыре года, сопоставимые (по силе творческой энергии и развертывающемуся с таким же ослепительным блеском и столь же стремительно-гениальному дарованию, ведущему на вершины мирового искусства слова) со своего рода болдинской осенью Пушкина, двадцатисемилетний поэт был, как и он, убит на дуэли, возникшей словно бы по случайному и совсем пустому поводу и по вине его самого (тоже очень устраивавшая и усиленно насаждавшаяся версия), а на самом деле (есть многие основания считать) спровоцированной его политическими недругами и осуществленной столь же «хладнокровно» нацеленной рукой — на этот раз не иностранца, а русского, но с таким же «пустым» и «безжалостным» сердцем: Лермонтов, как известно, выстрелил первым, но намеренно, не же-

лая даже ранить противника, в воздух, а тот, не обращая на это ни малейшего внимания, застрелил его наповал в самое сердце.

«В нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Луи Филиппа (тогдашний французский король, позднее свергнутый революцией 1848 г.— *Д. Б.)*. Вот второй раз не дают промаха»,— писал близкому приятелю П. А. Вяземский. Эти очень точные и вместе с тем весьма многозначительные слова прямо свидетельствуют, что Вяземский отлично понимал: между двумя этими дуэлями имелась не только типологическая, но и прямая, непосредственная связь, определившая, кстати, хотя и иную, но по существу аналогичную, трагическую судьбу Гоголя. Был заключен в словах Вяземского и своего рода предупреждающий урок тем, кто попытался бы выступить против главных виновников роковой гибели обоих поэтов. Некоторые близкие Пушкину лица, в том числе и сам Вяземский, к данному времени, очевидно, если не все еще здесь знали, то о многом догадывались (концовка лермонтовской «Смерти поэта», за которую автор заплатил такой страшной ценой, можно думать, первой открыла им глаза), но могли ограничиваться лишь глухими намеками на это в доверительных разговорах или переписке. Зато сплетникам и клеветникам случившееся еще более развязало языки. А то, что глумление над памятью Пушкина и в особенности злословие по адресу его жены продолжалось, видно из слов того же Вяземского, который в статье о состоянии русской литературы в течение десяти лет после смерти Пушкина отважился впервые гласно сказать о «тайнах», окружавших его гибель, добавляя при этом, что время для их «разоблачения» не настало, и вместе с тем подчеркивая, что, когда это станет возможным, никакой столь желанной недругам поэта и его жены пищи для злоречия не окажется. Слова эти, казалось бы, должны были привлечь к себе самое серьезное внимание исследователей. Тем характернее, что даже много позднее видный историк и крупный пушкинист П. Е. Щеголев, автор наиболее монументального и получившего широкую известность труда «Дуэль и смерть Пушкина», приведя их, никаких напрашивавшихся в связи с этим выводов не сделал.

Не поколебало традиционной версии и опубликование почти полвека спустя (в 1878 г.) И. С Тургеневым в журнале «Вестник Европы» и под его редакцией большей части единственных в своем роде, исполненных безгранично ласковой — страстной и нежной — любви писем Пушкина к невесте и жене, в которых не только больше чем где либо проявляется все чарующее обаяние души самого поэта, но и просвечивает как бы сквозь призму их тот «чистейшей прелести чистейший образец», каким она предстала ему еще до женитьбы и сохранилась в нем до последних минут

жизни. В своем кратком предисловии Тургенев дал замечательную оценку этих драгоценнейших писем. Но они вызвали негодование в великосветских кругах. А как своего рода эхо в одном из журналов появилась разухабистая статья одного из популярных тогда писателей-журналистов, который обрушился с грубейшими нападками и на издателя «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, и на Тургенева, и — в особенности — на самого Пушкина и его жену.

Явно отрицательную роль сыграло и появление в 1907 году в печати пространных воспоминаний о Наталье Николаевне ее старшей дочери от второго брака, А. П. Араповой. В этих пресловутых «мемуарах», изобилующих вопиющими неточностями, ошибками и прямыми ляпсусами всякого рода, не лишенная литературного таланта Арапова, стремясь «оправдать» свою мать, тенденциозно-настойчиво повествует, как мучительно жилось ей в супружестве с Пушкиным, утверждая, что, с одной стороны, великое дарование, с другой — крайне трудный характер мужа-поэта, как раз и являлись для его молодой жены основной тому причиной. Наряду с этим автор, вращаясь в великосветском обществе и наслышавшись продолжавшихся там толков и пересудов, не только повторяет традиционные клеветнические наветы на Пушкина и сестер Натальи Николаевны, затрагивающие (сама, видимо, не понимая, что творит) и ее мать, но и подкрепляет их новыми, якобы известными ей фактами. Воспоминания, проникнутые воинствующим монархическим духом (не случайно они опубликованы в прибавлениях к суворинскому «Новому времени») и восторженным культом Николая I (он был ее крестным отцом), приписывают это и матери, что стало поводом к новым кривотолкам и на ее счет, и на счет ее второго мужа П. П. Ланского. «Мемуары» встретили в науке о Пушкине обоснованно резко отрицательную оценку, что, однако, не помешало некоторым очень авторитетным пушкинистам к ним обращаться, используя (и главное, без столь необходимой для такого источника строжайшей критической проверки) то, что подходило для уже сложившихся у них представлений и концепций.

Так, неоднократно пользуется ими П. Е. Щеголев в своей вышеупомянутой монографии (первое издание ее появилось в 1916 г.), чрезвычайно ценной по собранным в ней архивным материалам, но вместившей трагические события 1836—1837 годов в узкие рамки банальной семейной драмы или даже «сентиментальной комедии», как непростительно легкомысленно назвала это одна из светских современниц, с жадным любопытством наблюдавшая за развитием преддуэльных отношений, сложившихся между основными ее участниками — Пушкиным, Натальей Николаевной,

Дантесом. Полностью присутствовала в монографии, тем самым весьма авторитетно закрепленная традиционная — высокомерно-пренебрежительная — оценка личности жены поэта и роковой роли, сыгранной ею в трагической гибели мужа. Сам Щеголев как историк не мог не почувствовать крайнюю ограниченность этих только «семейных» рамок и продолжал, как сообщил в предисловии ко второму изданию своего труда, вышедшему всего несколько месяцев спустя, усиленно работать над «разъяснением» «других и весьма важных обстоятельств жизни Пушкина... приведших его к безвременному концу». Частичным результатом этого оказалось третье издание монографии, вышедшее в 1928 году и обильно дополненное новыми документальными материалами, доступ к которым открыла Великая Октябрьская социалистическая революция. Но особое значение придает этому изданию введенная в него автором новая — девятая — глава «Анонимный пасквиль и враги Пушкина». В ней Щеголев впервые приступил к «разоблачению тайн» (вспомним слова Вяземского), окутавших гибель Пушкина, и убедительно раскрыл «тайну» анонимного пасквиля, гнусный скрытый смысл и коварная цель которого были почти сразу же разгаданы Пушкиным и привели его в такое бешенство. Этим раскрытием проблема роковой судьбы Пушкина была поставлена на правильный исторический путь. Однако пойти дальше по нему сам Щеголев не успел: основной текст первых двух изданий монографии, требовавший в связи с этим радикальной переработки, в третьем и последнем прижизненном издании был полностью (включая и отношение к жене поэта) оставлен таким, каким плотно сложился в них. И это имело весьма печальные последствия.

Примерно в этот же период вышли в свет два тоже весьма «монументальных» труда о Пушкине — уже не пушкиниста-историка, а писателя-пушкиниста — В. В. Вересаева: «Пушкин в жизни» (1926—1927; пятое издание в двух томах — 1932) и его же двухтомник «Спутники Пушкина» (1934—1936) с прямо указываемой автором опорой на основной текст монографии Щеголева как на «классический образец» правильной постановки и решения проблемы гибели поэта.

Первый из них представляет собой «систематический свод подлинных свидетельств современников», охватывающий всю жизнь Пушкина, с детских лет до кончины,— своего рода «биографию Пушкина», новизна которой, прежде всего, заключалась в том, что в объемистых двух томах ее, за исключением совсем небольшого (всего четыре страницы) предисловия, самим Вересаевым, хотя на титульном листе стоит его имя, не было написано почти ни одного слова; вся она состоит из выписок (порой

делавшихся «автором» частично) и отзывов современников. В предисловии это объясняется так: «В течение ряда лет я делал для себя из первоисточников выписки, касавшиеся характера Пушкина, его настроений, привычек, наружности пр. По мере накопления выписок я приводил их в систематический порядок. И вот однажды, пересматривая накопившиеся выписки, я неожиданно увидел, что передо мной — оригинальнейшая и увлекательнейшая книга, в которой Пушкин встает совершенно как живой». Все это можно было бы только приветствовать и выразить автору уважение и за новаторскую идею такой книги, и за большую — многолетнюю — работу, им выполненную. Но серьезнейший удар по его труду нанес положенный автором в основу принцип подбора «первоисточников». «Незаменимое достоинство лежащего передо мной материала,— продолжает он в предисловии,— что я тут совершенно не завишу от исследователя, не вынужден смотреть на Пушкина его глазами... имею возможность делать свои самостоятельные выводы». Конечно, и это неплохо. Но сразу возникает вопрос о составе и характере отобранного материала. Ответ на это тут же дается: «Многие сведения, приводимые в этой книге, конечно, недостоверны и носят все признаки слухов, сплетен, легенды, ибо живой человек характерен и теми легендами, которые вокруг него создаются. А критическое отсеивание материала противоречило бы самой задаче этой книги — представить «живого Пушкина, но, конечно, окутанного дымом легенд и слухов». А вот с этим-то согласиться никак нельзя. И отрицательные результаты такого некритического подхода сказались прежде всего на самом же В. В. Вересаеве. Ведь многое из того, что им приводится, являясь даже не дымом, а чадом, побудило его резко изменить свою первоначальную точку зрения на «ясного», «гармонического» Пушкина, каким Вересаев, к тому же романтически идеализируя, односторонне себе его представлял. И взамен он выдвигает концепцию «двух планов» личности и творчества Пушкина, не только отличающихся друг от друга, но и прямо друг другу противостоящих: с одной стороны — великий поэт, с другой — «дитя ничтожное мира», «грешный, часто действительно ничтожный, иногда прямо пошлый». А так как в книге первый план — «вдохновенного поэта»— в соответствии с ее заглавием и заданием отсутствует, то второй план занимает в ней доминирующее место. Причем, опираясь на лирические автопризнания самого поэта, им цитируемые, Вересаев, оказавшийся в плену своей — двупланной — концепции, не обращает внимания на то, что, если Пушкин был способен так мучительно страстно и беспощадно к самому себе каяться в своих недостатках, назвать его (пусть его же собственным словом) «ничтож-

ным» никак нельзя. Забывает автор «Пушкина в жизни» и то, что поэт сказал (уже не в стихах, а в одном из своих частных дружеских писем) по адресу пошлого и воинствующего мещанства — «обывателей»: «Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости, она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы.* Врете, подлецы: он и мал и мерзок не так, как вы — иначе».

Конечно, каждый автор вправе иметь свою точку зрения. Но следует иметь в виду и читателей. А как раз в этом отношении еще одним и особенно неизвинительным недостатком книги Вересаева является то, что, приводя свои выдержки, он ограничивается только ссылкой на то, откуда каждая из них взята. А является ли она «достоверной» или относится к категории дыма и чада — сплетен, слухов, легенд,— совершенно умалчивает. Тем самым решать этот вопрос предоставлено автором той, очень широкой и, конечно, в большинстве своем менее искушенной, чем он, читательской аудитории, которую привлекла к себе — именем известного писателя и его заманчивым обещанием впервые показать в ней Пушкина, как «живого человека», а не «иконописный лик»,— его книга. А получая вместо «живого» Пушкина вересаевскую — двупланную — модель, она, как и сам автор, разочаровывается в своих привычных (якобы традиционно навязываемых, а на самом деле «иллюзорных») представлениях о величайшем национально-народном писателе, родоначальнике всей последующей русской классической литературы.

Просчеты (мягко говоря) того принципа, который не способствуя установлению истины, а, наоборот, удаляя от нее, был положен Вересаевым в методологическую основу его первого труда о Пушкине, особенно рельефно дали себя знать в его втором труде, «Спутники Пушкина». Положив в основу ее все тот же собранный и систематизированный им свод свидетельств современников, Вересаев здесь, выступая уже полностью как писатель, набрасывает целую галерею сжатых портретов-характеристик этих современников, в большинстве своем находившихся в непосредственном общении с Пушкиным. Справедливость требует сказать, что по обилию собранного материала и по живости изложения этот двухтомник Вересаева и полезен, и читается с немалым интересом. Но и здесь намеренный отказ автора от критического подхода к привлекаемым материалам привел к не менее, а порой даже более тяжким последствиям.

Едва ли не самое большое место отведено им в нем Н. Н. Пушкиной. Но именно тут-то указанные просчеты, точнее (в данном случае это нельзя прямо не сказать) пороки, проявляются с наи-

большей выпуклостью и силой. В резко отрицательной ее характеристике автор, пожалуй, больше, чем где либо, следует Щеголеву как своему «классическому» образцу. Но, к великому сожалению, «ученик» в данном случае превзошел «учителя». В рисуемом им образе Гончаровой-Пушкиной-Ланской он не находит ни одной сколько-нибудь положительной черты. Даже то, как мучительно переживала она смертельное ранение мужа, Вересаев склонен, подходя к этому уже как врач, приписывать крайнему эгоизму ее натуры. А результатом и апогеем такого — сплошь отрицательного — отношения является выдвинутая им версия истории и, главное, подоплеки второго ее замужества. Из монографии Щеголева он заимствовал рассказ иностранца де Кюльтюра о беседе с некоей великосветской дамой, поведавшей ему о многочисленных любовных похождениях императора Николая I, который, получив от очередного предмета своих вожделений то, чего добивался, устраивал с помощью близких ему людей этой женщине брак, обеспечивая избраннику последующую блестящую карьеру, к полному удовольствию и его самого, и всех его близких. Именно в духе собеседницы Кюльтюра объясняет Вересаев и приводимый им «целый ряд странностей», имевших место при выходе Пушкиной замуж за генерала П. П. Ланского. А устанавливая между всеми этими «странностями» очень на первый взгляд и логически и исторически убедительную причинно-следственную связь, автор сперва подводит читателей к выводу, а в конечном счете и сам прямо утверждает, что между Пушкиной и царем были близкие отношения, и «покладистый» Ланской как раз стал тем избранником, который охотно пошел на то, чтобы результат этих «очень нежных отношений... покрыть браком» с ней.

Однако на деле это искусно воздвигнутое здание оказывается построенным на песке. Все перечисленные его зодчим «странности» взяты им, прямо со ссылкой на первоисточник, из воспоминаний Араповой (кстати, Вересаев считает ее не крестной, а родной дочерью Пушкиной и царя, что, судя по ее воспоминаниям, она и сама была бы не прочь подсказать читателям). Он словно забыл, что в этой же своей книге неоднократно объявляет их насквозь «лживыми», а в главке-портрете, посвященном Наталье Николаевне, прямо пишет, что в сообщениях Араповой «нельзя верить ни одному слову».

Помимо воспоминаний Араповой Вересаев в доказательство истинности своей версии опирается еще на два «сообщения». Первое из них основано на действительном факте. В связи с юбилеем лейб-гвардии конного полка, шефом которого был Николай I, командир его, Ланской, решил поднести ему альбом

с портретами офицеров полка, а царь пожелал, чтобы в нем был помещен, помимо самого Ланского, и портрет его жены. Альбом сохранился, и оба эти портрета Ланских воспроизводятся в данной книге. Во втором сообщении (запись пушкиниста Якушкина со слов очевидца) тоже идет речь об ее портрете. В середине прошлого века в Московский Исторический музей пришел неизвестный человек и предложил приобрести у него золотые часы с вензелем Николая I, запросив за них огромную по тому времени цену — две тысячи рублей. Когда это вызвало удивление, он открыл вторую секретную заднюю крышку, в которую был вделан миниатюрный портрет Натальи Николаевны, присовокупив к этому достаточно фантастический рассказ о том, как часы к нему попали. Неизвестному было сказано, что об его предложении надо подумать и посоветоваться, и предложили зайти еще раз, после чего он бесследно исчез, а что́ стало с часами и куда они делись, до сих пор остается неведомым. Скорее всего часы были ловкой подделкой в расчете, что на такое сенсационное предложение клюнут и сразу же — сгоряча — согласятся за любую цену их приобрести. А что касается полкового альбома, то и это поддается очень простому объяснению. Мы знаем, что Николай, который еще при жизни Пушкина не был равнодушен к прелестям и обаянию его жены, хотел, по словам самого поэта, украсить свои балы и приемы присутствием этой красавицы из красавиц. Через несколько лет после смерти поэта он, как и восхищавшаяся ею императрица, снова пригласил ее бывать при дворе. Захотел царь украсить ее портретом и юбилейный альбом.

Тем труднее понять, как мог автор «Спутников Пушкина» на таком зыбком основании выдвинуть — и не как рабочую гипотезу, а как непреложную истину — свою версию, будучи, видимо, столь увлечен ею, что даже не заметил того, что́ должно было бы его насторожить и предостеречь. Ведь, повествуя обо всем этом, да к тому же в столь неприятно режущем ухо развязно-игривом тоне, он буквально повторял — притом уже в неприкрытом виде — те намеки, которые содержались в грязном и гнусном анонимном пасквиле 1836 года. Только там они делались в отношении жены Пушкина, а здесь — его вдовы.

Обо всем только что мною сказанном тяжело и больно писать. Можно вполне понять авторов книги, которые, не найдя в изученном ими материале ничего подтверждающего версию Вересаева, а, наоборот, многое такое, что ей прямо противостоит, решили совсем этого не касаться. Но книги Вересаева до сих пор пользуются очень большой популярностью. А в данном случае и мое умолчание могло бы быть сочтено за знак согласия. Вот почему я счел необходимым и упомянуть о содержании вересаев-

ской версии, на которую к тому же склонны были поддаться некоторые пушкинисты, и подвергнуть ее объективному критическому рассмотрению.

Примечательно, что, давая свою резчайшую оценку личности жены поэта, Вересаев одновременно ссылался на крайнюю скудость материала, на котором она основана: «Мы, в сущности, знаем очень мало о Наталье Николаевне и ее взаимоотношениях с мужем, не имеем никакого представления об ее характере, нам неизвестны силы, которыми она властвовала над мужем и заставляла его исполнять свои хотения». И еще примечательнее, что это «решительное» незнание о внутреннем мире Натальи Николаевны, об ее переживаниях он объяснял (в устах автора книги «Пушкин в жизни» это было начавшимся пересмотром ее методологических позиций) почти полным отсутствием писем: «До нас дошло всего два-три письма Натальи Николаевны чисто делового характера и уже послепушкинской поры ее жизни».

Из этого признания Вересаева становится особенно очевидным то огромное значение, какое имела находка в гончаровском архиве большого числа писем Натальи Николаевны и ее сестер. В книге «Вокруг Пушкина» мы смогли познакомиться, помимо всего лишь трех писем жены поэта, известных автору «Спутников Пушкина», еще с четырнадцатью письмами ее самой и сорока четырьмя письмами сестер Екатерины и Александры.

Правда, чтение этих писем словно бы может несколько разочаровать. Снова и снова настойчиво повторяются чуть ли не во всех них, как бы лейтмотивом, просьбы к старшему брату — главе промышленного гончаровского дела — присылать полагавшиеся им от него деньги. Но это было связано с крайне тяжелым материальным положением семьи, сперва обладавшей очень крупным, но затем промотанным дедом состоянием, и к этой поре почти разоренной. При этом не следует забывать, что писались письма в условиях того времени, которое Пушкин предельно точно назвал «веком торгашом», все сильнее дававшим себя знать разложением поместнофеодальных и развитием новых — буржуазных — общественных отношений. Напомню, что и в рабочих тетрадях самого Пушкина, который очень горько переживал необходимость «торговать» своими стихами, но понимал, что без этого он не может предаваться своему главному и бесконечно дорогому для него делу — литературному творчеству, не завися от покровительства царского двора и вельмож-меценатов («без денег и свободы нет»), мы тоже часто встречаем, наряду с записями новых произведений, колонки цифр — подсчетов стихотворных строк и т. п. и соответственно получаемой за это платы,

Но указанное впечатление может возникнуть лишь при первом — беглом — просмотре писем. На самом деле содержание их этим отнюдь не ограничивается. Все три сестры подробно и очень откровенно рассказывают брату о своей жизни, быте, занятиях, делятся с ним мыслями и чувствами, радостями и огорчениями, мечтами, надеждами, разочарованиями, то есть открывают возможность узнать и понять то, что́ Вересаеву, как мы видели, было совершенно недоступно и тем самым составить необходимое представление о личности каждой из сестер, их характерах, войти в их душевный мир.

И, располагая теперь таким материалом, внимательнейше — без предвзятости — вдумываясь в эти внутренние миры, со все нарастающей симпатией вживаясь в них, И. Ободовская и М. Дементьев убедились, что те прочно сложившиеся и пренебрежительно высокомерные суждения о них, прежде всего и в особенности о жене поэта, вызывавшие столь недоброжелательное, а порой и резко неприязненное и даже прямо враждебное к ним отношение, явно не соответствовали действительности. А это-то и побудило авторов книги мужественно пойти наперекор столь, казалось, проверенной временем и так авторитетно все сильнее и тверже укреплявшейся традиции и более того — вступить в открытую борьбу с ней — стать (как пушкинским языком я писал в сопроводительной статье «Погибельное счастье» в книге «Вокруг Пушкина») защитниками тени. И эта поставленная перед собой высокая цель, ставшая пафосом их книги, явилась, безусловно (это чувствуешь при чтении ее), чем-то бо́льшим, чем просто исследовательский порыв, оказалась — не боюсь употребить это слово — своего рода нравственным подвигом.

И особенно приложимо это слово к радикальному пересмотру ими традиционно-закосневшего отношения к жене Пушкина. А это было и очень своевременно, и крайне необходимо. Ведь со страниц монографии Щеголева и особенно книг Вересаева подсказанные ими образы сестер Натальи Николаевны и в особенности ее самой сошли на театральные подмостки в многочисленных пьесах на данный сюжет, попали в повести, романы, в свою очередь еще более насаждая и укрепляя превратные о них представления в умах и сердцах советских зрителей и читателей. До последних степеней страстной неприязни и прямо-таки ожесточенного презрения это дошло в работах и высказываниях таких талантливейших женщин-поэтов, как Анна Ахматова и Марина Цветаева.

С естественным, свойственным едва ли не всем новаторам увлечением своими открытиями авторы допускали подчас боль-

шие или меньшие преувеличения (о чем я тоже говорил в сопроводительной статье к книге «Вокруг Пушкина», необходимость которой, как и данной статьи, продиктована стремлением к максимальному — в меру сил и возможностей — приближению к истине, какой бы эта истина ни являлась). Но в целом книга «Вокруг Пушкина» поставленной главной цели достигла — начала совершать несомненный поворот в отношении к той, кто была в течение всей жизни поэта бесконечно ему дорогим и самым близким существом, защищать которую он — уже прямо — завещал перед самой смертью своим друзьям. Причем защита жены Пушкина уже являлась по существу — дальше мы в этом убедимся — защитой и «оклеветанного молвой» ее мужа, самого поэта. В значительной степени удалось авторам сделать то же — вместо традиционно сложившихся масок, своего рода театральных амплуа, явить живые лица сестер, которые были очень близки Наталье Николаевне, горячо любимы ею и — каждая по своему — вошли (точнее — были введены ею) в историю последних лет пушкинской жизни.

Но тем не менее авторы книги «Вокруг Пушкина» не считали, что решение задачи и вытекающей из нее «сверхзадачи» — основной цели, которую они перед собой поставили, полностью ими достигнуто. В процессе работы над первой книгой и по ее результатам они смогли полностью оценить, какое исключительное значение имеют именно письма (тоже, подобно свидетельствам современников, требующие к себе научно-критического подхода) как важнейшие историко-психологические документы, о чем хорошо словами А. И. Герцена, взятыми ими в качестве эпиграфа к данной книге, сказали. Мало того, все более знакомясь с обильнейшей литературой о Пушкине и его окружении, они убедились, что в защите нуждается «тень» не только жены поэта, но (и даже еще в большей степени) его вдовы. И они энергично взялись за дальнейшие архивные разыскания, которые снова принесли новые и очень ценные плоды. Ведь число найденных ими в гончаровском архиве писем Натальи Николаевны — сколь бы ни оказалась значительна эта находка — все же было относительно невелико. И вот в архиве Араповой, тоже, по-видимому, совсем не тронутом исследователями, за разработку которого они взялись, обнаружился настоящий клад; в нем оказалось очень большое число писем Натальи Николаевны, подавляющая часть которых была адресована ее второму мужу, П. П. Ланскому, и которые в наиболее существенных и характерных извлечениях из них публикуются в настоящей книге. Найдено было также в архиве Гончаровых и еще немало неизвестных писем Натальи Николаевны, ее сестер, Геккернов и Фризенгофов.

Находки эти дали возможность в значительной степени заполнить в обширнейшей Пушкиниане еще одно имевшееся в ней «белое пятно». О том, как сложились последующие судьбы и жизненные пути вдовы поэта и ее сестер, мы знали лишь в самых общих чертах. Вследствие предвзято пренебрежительного отношения к ним, никто этими вопросами попросту не интересовался, а теперь, обладая столь обширным эпистолярным материалом и дополняя его некоторыми все же имевшимися источниками, авторы смогли написать, подобно первой вересаевской книге, построившей своеобразную биографию Пушкина на свидетельствах современников, историю последующей жизни Натальи Николаевны и ее сестер — тоже «биографии» их, но построенные на гораздо более надежном материале — на их письмах.

И конечно, центральное место во всех отношениях занимают являющиеся подлинной жемчужиной книги письма Натальи Николаевны к Ланскому, которые, как я сейчас это укажу и, как я уверен, в этом убедятся читатели, в какой-то, пусть, понятно, отнюдь не полной мере компенсируют утрату ее писем к Пушкину, все попытки найти которые до сих пор оказались безуспешными.

При чтении этих интимных писем к мужу любящей и, как это очевидно из них (письма Ланского к Наталье Николаевне до нас, к сожалению, не дошли), крепко любимой им жены не может не возникнуть чувства и горечи, и глубокой печали. Ведь они адресованы не к Пушкину. Но этот (повторяю, столь естественный) эмоциональный настрой следует во имя самого же Пушкина преодолеть. И помогает здесь нам светлый, как ясный солнечный день, исполненный предельной самозабвенной сердечности, глубоко мудрый в понимании и приятии законов природы и человеческого бытия Разум поэта.

Начиная почти сразу же после брака Пушкина с Н. Н. Гончаровой, все разраставшейся семье его в материальном отношении жилось нелегко. Свое обещание матери невесты, что сделает все, чтобы его жена могла блистать на том поприще, которое ей пристало — в великосветском обществе и при дворе,— поэт сдержал. Но это пришлось оплачивать очень дорогой ценой. Жалования, которое он получал, когда снова был принят Николаем I на службу с поручением заняться написанием истории Петра Великого, далеко не хватало. А литературный заработок — главный источник материального существования — был уже далеко не тем, что в 20-е годы.

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторгов и похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной... —

писал Пушкин в 1830 году («Поэту»). А во все последующие годы этот суд и смех звучали все громче и развязнее. Свой призыв-завет к поэту, в данном случае явно обращенный прежде всего к самому себе, он продолжал замечательными по их глубочайшей — программной — значительности строками:

...Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Не приспосабливаться ко вкусам и требованиям «толпы холодной», а осознанно и целенаправленно свершать сужденный творческими силами, которые он в себе ощущал, благородный подвиг — закладывать основы русского национального искусства слова. Это и была та свободная дорога, по которой следом за ним пошли все творцы русской национальной классики и которая столь же стремительно, как необыкновенно стремительно им прокладывалась, уводила его от вчерашнего (поэт-романтик, творчество которого как раз и было источником восторгов и похвал, и в связи с этим — добавлю — не бывало крупных литературных заработков) и даже сегодняшнего дня все дальше и дальше вперед — в будущее, встречая все меньше понимания у подавляющего большинства современников. «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать»,— писал Пушкин в период ссылки в Михайловское. А чем более «непродажно» было его вдохновенье, тем меньше давали дохода рукописи. Отсюда — неизбежные в таких условиях — долги, правительственные ссуды в счет последующего жалованья и т. п. все более угрожающе росли. Естественно, это заставляло его все чаще и все мучительнее задумываться о будущем жены и детей. Что может статься с ними, если его вдруг не станет. Очень жестокими, но отвечающими положению вещей словами писал он об этом еще в 1833 году брату жены, которой было в это время всего лишь двадцать один год: «Если я умру, жена окажется на улице, а дети в нищете». Эти все более тревожившие его мысли достигли последнего предела, когда на смертном одре (Арендт сразу же по решительной его просьбе «не скрыл», что рана смертельна) к невыносимым физическим мукам, которые он всячески старался скрыть от жены, прибавились и мучения нравственные. Предельным напряжением всех своих телесных и духовных сил Пушкин делал все возможное, чтобы справиться и с тем, и с другим. «Меня не так легко свалить с ног»,— писал он в 1831 году, узнав о неожиданной и безвременной смерти Дельвига, пережитой им тяжелее, чем все бывшие до того потери. И вот он был свален с ног, но и тут оставался несломленным. Арендт говорил, что

за время своей долголетней практики и на полях сражений, и в мирное время он был свидетелем многих тяжких умираний, но такого мужества, которое было проявлено Пушкиным, видеть ему не приходилось.

В том же письме к Н. И. Гончаровой, в котором Пушкин благодарил ее за, наконец-то, полученное согласие на брак с дочерью, он одновременно и столь же до удивительного откровенно, сколь проницательно, как бы провидя, что лет через пять действительно произойдет (увлечение ее Дантесом), делился своими мрачными мыслями о будущих отношениях его, все более стареющего, со все более расцветающей красавицей женой. Тогда он писал о невыносимости этих мыслей-предчувствий, о невозможности с этим примириться. («Я готов умереть за нее, но умереть, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа,— эта мысль для меня ад».)

Но теперь, умирая, он полностью отрешался от себя — думал только о ней, двадцатичетырехлетней красавице с четырьмя крошками-детьми — старшей, «Машке», не было пяти лет, последнему ребенку, Наташе, всего лишь восемь месяцев, которых всей силой своей отцовской нежности горячо любил, оставшейся без него с огромными долгами и без всяких средств к существованию. И Пушкин дал ей свой последний совет — завет уехать в деревню, выдержать двухлетний траур, а затем найти достойного ее человека и выйти за него замуж. Поэт писал ей еще в доженихoвский период: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим» (я глубоко убежден, что стихотворение «Я вас любил...» обращено именно к ней, но если бы даже мне неоспоримо доказали, чего пока нет, что оно обращено к Олениной, ничего не изменилось бы в том душевном порыве, том музыкальном ключе, в котором сложились его последние строки). И конечно, давая этот свой мудрый и добрый наказ, Пушкин не толкал жену на новый брак по расчету. Всем своим существом он желал ей большого личного счастья — брака по сердечной привязанности, взаимной любви обоих супругов.

В этой связи приобретает особый смысл употребленный Пушкиным эпитет найти *достойного* человека. Ведь Наталья Николаевна только что очень было увлеклась (как предугадывал, находя это вполне естественным, Пушкин), но увлеклась морально, а, как показало дальнейшее, и во всех отношениях человеком *недостойным*, поведение которого в преддуэльные месяцы наглядно убедило в этом поэта. С избытком подтвердилось это всей последующей жизнью и деятельностью ловкого карьериста, барона Дантеса-Геккерна, об общественно грязном

поведении которого мы уже знали по отзывам Виктора Гюго и Карла Маркса. А из обнаруженных в гончаровском архиве и публикуемых в данной книге писем обоих Геккернов («отца» и его приемного «сынка») читатели увидят, что столь же позорно-недостойно проявлял он себя и в супружеских отношениях.

И Пушкин сумел неопровержимо убедить в этом жену, дав ей самой возможность воочию увидеть в сложившейся — после получения анонимного пасквиля и бурной реакции на него поэта — сложнейшей и личной, и общественной ситуации всю низость поведения того, кем, поверив в «возвышенность» его чувства к ней, она так увлеклась, и кто ради карьеры и денег оказался способен пойти на все — пожертвовать и своей честью, и предметом своей столь «великой страсти»: согласился во избежание дуэли на брак со старшей сестрой ее, Екатериной Гончаровой, а затем, чтобы оправдать себя в глазах света, не только прибег ко всяческой лжи и клевете, но и возобновил ставшие после такого брака вдвойне преступными, и намеренно (во имя целей своего приемного «отца»), и нагло циничные — на глазах у всех — любовные домогательства в отношении породненной с ним этим браком (сделавшейся его belle soeur) жены поэта, неизбежно (к чему он и стремился) повлекшие за собой трагическую развязку. «Я заставил вашего сына,— писал Пушкин в преддуэльном письме Геккерну, в котором в крайне резкой — уже без всяких этикетных условностей — форме вывел напоказ все его гнусное поведение,— играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то ч у в с т в о (émotion), которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в презрении самом с п о к о й н о м и отвращении, вполне заслуженном».

Да, от увлечения таким человеком Наталья Николаевна навсегда освободилась. Но трагедия от этого не стала менее трагичной.

Политические враги Пушкина — реакционная придворная клика — после провала гнусной затеи с анонимным пасквилем, которую Геккерн считал решающим ударом, долженствующим погубить поэта, судя по всему, если не в порядке прямого сговора (это было бы слишком неосторожно), то м о л ч а л и в о (на столь знакомом Геккерну «дипломатическом» языке), решились пойти на действительно последнее средство: его физическое уничтожение. Исполнителями, естественно, должна была стать все та же чета Геккернов, для которых это тоже являлось единственно надежным средством самозащиты.

Направляющую, своего рода «режиссерскую» роль, несом-

ненно, сыграл здесь смертельно напуганный дошедшими до него еще до пушкинского письма (в этом сомневаться не приходится) угрозами поэта разоблачить «грязное дело» с пасквилем и тем опозорить его в глазах обоих (и русского, и голландского) дворов, Геккерн, составивший, очевидно, и план единственной возможности «легально» уничтожить своего врага — дуэли с ним, хотя и связанный, естественно, с известным риском для «сына» (он был опытнейшим стрелком, но Пушкин, как было известно и как он это и доказал по ходу дуэли, стрелял также очень метко). Но в сложившихся условиях иной альтернативы не было.

Много позже Дантес прямо уверял В. Д. Давыдова (сына близкого друга Пушкина, знаменитого поэта-партизана Дениса Давыдова), который случайно встретился с ним в Париже, что «и помышления не имел погубить Пушкина», а «вышел на поединок единственно по требованию усыновившего его барона Геккерна, кровно оскорбленного Пушкиным». Верить «добрым» намерениям Дантеса из всего, что мы о нем знаем, никак нельзя.

«Так называемый (слова Пушкина) сын» взвалил вину на «отца», стремясь выгородить себя — оправдаться перед уже наступившей к этому времени — почти полвека спустя после случившегося — историей. Деталь, столь характерная для натуры Дантеса. Да и уговорить его послать вызов Пушкину, как ранее Геккерн уговорил сделать предложение Екатерине Гончаровой, было нетрудно. Предназначенный Геккерном «легальный» убийца, пришедший в ярость от вынужденного брака и пошедших в обществе слухов о его «трусости», с готовностью пошел на это. В свете только что сказанного делается вполне понятным последовавшее после женитьбы и удивившее столь многих вызывающе провокационное, нарочито и грубо компрометирующее Наталью Николаевну поведение Дантеса. А «папаша» в свою очередь, дабы избежать при благоприятном для Дантеса исходе спровоцированной ими обоими дуэли (убийство поэта) возможных для него нежеланных последствий (недовольство царя, негодование близких к Пушкину лиц), заручился прямым «благословением» на нее близкого к клике и пользовавшегося особым авторитетом в придворно-светских кругах в качестве непререкаемого знатока в деле «аристократической чести» двоюродного дяди Натальи Николаевны, отца одного из злейших врагов Пушкина, Идалии Полетики, и «друга» обоих Геккернов, графа Г. А. Строганова. «Отец» показал ему пушкинское письмо, и тот прямо заявил, что подобное оскорбление может быть смыто только кровью.

«Я готов умереть за нее»,— писал, как уже упомянуто, Пушкин еще в период своего жениховства. И теперь — в период рас-

цвета всех своих сил, неутоленной жажды бытия и творчества («О, нет, мне жизнь не надоела. Я жить люблю, и жить хочу... Что в смерти доброго?» — строки одного из его стихотворных набросков 30-х годов, которые, кстати, могут служить лучшим опровержением приведенной выше клеветы Геккерна на убитого ими Пушкина) — он доказал это на деле.

«Невольник чести» — этими, пушкинскими же, словами назвал Лермонтов поэта в своем гениальном стихотворении — он заплатил за свою честь и честь жены самой дорогой, не сравнимой ни с какими земными сокровищами ценой — своей жизнью.

Знаем мы и то, каких нечеловеческих страданий — здесь сказалась вся сила и глубина чувства Натальи Николаевны к мужу и отцу ее осиротевших детей — ей это стоило. И вдова поэта свято соблюла пророческий наказ, предсмертный, исполненный величайшей любви и предельного самоотвержения завет навсегда от нее уходящего мужа.

«На улице» она с детьми, правда, не оказалась. Смерть Пушкина сразу же подтвердила, как прав был автор стихов о памятнике нерукотворном, предрекая, что «долго будет любезен» народу как певец, восславивший свободу и призывавший к прощению царем борцов за нее — декабристов. Все увеличивавшиеся толпы народа, именно народа, всех (за исключением великосветской и придворной знати) состояний столичного общества, запрудивших улицу перед домом поэта в часы предсмертных его страданий и пришедших затем навсегда проститься с ним, поразили и, больше того, устрашили правящую верхушку. И это была не только политическая демонстрация (чем пугали царя Бенкендорф и другие) — это было стихийным (вопреки толкам критики 30-х годов о полном падении его литературного дара) осознанием гибели Пушкина как национального бедствия — непоправимой и тягчайшей народной утраты. И чтобы как-то смягчить это, Николай I прибегнул к тому же приему, к которому прибег, дабы примирить в 1826 году общество с жестокостью расправы над декабристами, вернув Пушкина в дни коронации из ссылки. Так и теперь он встал в «рыцарскую» позу (вспомним его помощь жене повешенного Рылеева) защитника и покровителя осиротевшей семьи: возложил на правительство уплату всех долгов умершего, назначил пенсии и вдове поэта, и их детям, издание в пользу семьи многотомного собрания его сочинений. Объективно, чем бы ни вызывались все эти «милости», о которых сразу же пошли сочувственные и даже восторженные толки, он, несомненно, пришел на помощь Наталье Николаевне, и она, видимо, навсегда осталась ему за это признательна.

Но чтобы поддерживать прежний уровень жизни, созданный

для нее Пушкиным, этого было недостаточно. И временами (мы тоже узнаем об этом из публикуемых в книге ее писем) в затянувшийся очень надолго период вдовства (претендентов на ее руку было немало, но достойного не было) ей жилось очень нелегко. И только в 1844 году — семь лет спустя после кончины мужа — она обрела такого человека в ровеснике Пушкина, генерале П. П. Ланском. «Он хороший человек»,— писал об этом примерно год спустя после второго замужества Натальи Николаевны близкий к ее дому П. А. Плетнев (письмо 1845 г.). «Муж ее добрый человек и добр не только к ней, но и к ее детям»,— сообщал Вяземский А. И. Тургеневу. Объективности этих совпадающих отзывов двух ближайших друзей Пушкина тем больше можно доверять, что у каждого из них были свои поводы относиться к избраннику Натальи Николаевны не слишком доброжелательно.

И действительно, второй брачный союз Натальи Николаевны соответствовал тому, что так искренно и так нежно желал своей «женке» уходящий от нее навсегда Пушкин. В ничем, по-видимому, не омрачавшемся втором своем замужестве она прожила с Ланским до самой смерти в 1863 году, то есть целых девятнадцать лет; имела от него троих детей, которые прибавились к четырем детям Пушкина, что не отпугнуло Ланского (как отпугнуло некоторых других претендентов), который, судя по всему, от начала и до конца относился к ним, как к равноправным членам своей большой семьи. Тень Пушкина могла быть спокойна. Его вдова и мать его четырех детей устроила свою и их дальнейшую жизнь именно так, как столь самоотверженно и до́бро он того желал.

И вот, если в свете всего только что сказанного мы снова перечтем публикуемые авторами книги письма Натальи Николаевны к ее второму мужу, нам откроется еще один, более драгоценный, чем сама находка этих писем, клад. С помощью их и привлечения других дошедших до нас источников, к сожалению, крайне немногочисленных, авторы смогли рассказать о всем дальнейшем ходе жизни вдовы поэта. Правда, не все периоды ее удалось осветить (это зависело порой от отсутствия или крайней недостаточности необходимых для этого, прежде всего, эпистолярных материалов) с одинаковой полнотой. Помимо того, многие письма ее к Ланскому отличаются очень большим объемом. Сама она называла их письмами-дневниками, в которых подробно — изо дня в день — рассказывала мужу, часто бывавшему в длительных служебных отлучках, о своей домашней жизни, быте, занятиях, встречах, выездах, приемах. Тем, конечно, это интереснее. Однако в силу условий данного издания оказалось возможным полностью опубликовать лишь некоторые из

них. Остальные пришлось дать в отдельных, как считают авторы, наиболее существенных выдержках. Надо надеяться, что в дальнейшем, следуя и развивая их почин, будет сделана и полная их научная (не только в переводах на русский язык, но и в подлинниках — по-французски) публикация.

Но уже и эти извлечения дают очень многое — открывают возможность проникнуть в сокрытый для нас доселе внутренний мир той, чью натуру, чей душевный склад, облик Пушкин, как мы знаем, считал еще прекраснее, чем ее поразительная, ни с кем и ни с чем не сравнимая внешняя красота, особую прелесть которой, как это поэт почувствовал и оценил с первой же встречи с ней, заключалась в том, что Гете, завершая свой шестидесятилетний труд над «Фаустом», в эпилоге к нему назвал «вечной женственностью» («Das ewig Weiblichkeit), вечно возрождающим человечество и его облагораживающим источником жизни на земле — материнским его лоном.

Олицетворением именно такой женственности был для Гете созданный им, столь очаровавший Фауста и не менее привлекательный для его творца, образ Гретхен. Пушкин высочайше оценивал основное и основополагающее творение Гете: «Фауст — есть величайшее создание поэтического духа; он служит представителем новейшей поэзии, точно как Илиада служит памятником классической древности». Очень близок и мил был Пушкину и образ Гретхен. Этому «чуду красоты», наделенному наиболее характерными чертами гетовской «вечной женственности», отведено видное место в пушкинской «Сцене из «Фауста» (1826). Прозвали ее именем в кругу Пушкина и Вульфов одну очень привлекательную провинциальную девушку (Е. П. Вельяшеву), с которой поэт не раз сталкивался, наезжая в тверские поместья Вульфов. Он какое-то время был даже увлечен ею, но, как говорит пушкинский Моцарт, «не слишком, а слегка», и посвятил ей в 1828 году одно из самых грациозных своих — писанных полувшутку-полувсерьез — любовных посланий: «Подъезжая под Ижоры» (1828), в котором набросал несколькими словами ее «милые черты»: «Легкий стан, движений стройность, осторожный разговор, Эту скромную спокойность...» Послание было написано в середине января — начале февраля 1829 года. 16 октября вспоминает он — тоже полувшутку-полувсерьез — о Вельяшевой в одном из писем к А. Н. Вульфу («Гретхен хорошеет и час от часу делается невиннее»). А незадолго до этого, в зиму 1828/29 года, Пушкин впервые увидел на одном из московских балов ту, обликом которой сразу же был изумлен и восхищен, как внезапно озарившим все окружающее сиянием прекрасных, возрождающих от ночи и сна к новому дню — дню новой жизни (vita nuova)

утренних солнечных лучей («Я полюбил ее, голова у меня закружилась»,— вспоминал поэт).

Вересаев, как уже сказано, писал о тех «неизвестных силах», которыми «властвовала» над Пушкиным его жена. Читая выдержки из ее писем, мы понимаем теперь, что́ это были за силы: они заключались в том обаянии вечной женственности, которой так полно и щедро, как никто в пестрой галерее многих других великосветских красавиц той поры, она была одарена и которая еще более расцвела в годы супружеской жизни с поэтом. «Жена моя прелесть,— писал он в августе 1834 года теще,— и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед богом».

Как видим, эти и подобные им суждения и высказывания Пушкина (а он делился ими не только в письмах к ней и о ней) абсолютно противоположны тем, поначалу высокомерно пренебрежительным, или то завистливо, то ревниво недоброжелательным, а в дальнейшем резко отрицательным и порой неприкрыто враждебным характеристикам и оценкам, которые давали Натали в светском обществе и повторяли, и еще более усиливали, опираясь на них, многие биографы и исследователи Пушкина. Причем это зияющее несоответствие пытались объяснить ссылкой на романтическое воображение влюбчивого и «огончарованного» юной красавицей поэта и вообще якобы свойственным ему донкихотством («Дон-Кишотом нового рода», хотя и по другому поводу, но весьма характерно назвал еще в период ссылки в Михайловском Пушкина Вяземский) — наклонностью и способностью превращать Альдонсу в Дульцинею. Словно бы поддерживали это и заключительные строки одного давнего любовного послания поэта: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» («Признание» относится к тому же, что и письмо Вяземского, Михайловскому периоду.)

Но те же выдержки из писем Натальи Николаевны к Ланскому наглядно показывают всю несостоятельность таких объяснений, ибо все существо натуры, а тем самым и тайна п р е л е с т и этого столь пленившего Пушкина милого, чистого и доброго создания именно т а к в них проступает. Не ограничиваясь письмами как главным источником и в дополнение к ним (письма по самой природе своей все же несут на себе ту или иную печать субъективности), авторы, как уже сказано, привлекают и некоторые другие фактические данные, подтверждающие их правдивость и точность. А раз это так, з а щ и т а жены Пушкина оказывается з а щ и т о й и его самого — снятием глубоко неверных представлений об его уме и характере.

Пушкин считал сервантовского «Дон-Кихота» одним из вели-

чайших явлений мировой литературы. Он даже начал изучать испанский язык, чтобы читать испанскую классику, и особенно Сервантеса, в подлинниках (в пушкинских бумагах сохранились отрывки перевода им — явно в учебных целях — одной из его новелл «Цыганочка»). В полной мере понимал и ценил он и общечеловеческое значение главного героя главного же произведения Сервантеса (романа о гидальго Дон-Кихоте из Ламанча) как широчайшего художественного обобщения.

Но в натуре самого Пушкина, научившегося к периоду своей зрелости прозорливо, трезво, мудро и мужественно воспринимать и показывать реальную действительность такой, какой она на самом деле есть, не создавая иллюзорно-фантастических представлений о ней («Для призраков закрыл я вежды», 2-я глава «Евгения Онегина», 1823) и не обмынывая ими ни себя, ни других, ничего от «рыцаря печального образа» не было.

В понятном увлечении так полно перед ним раскрывшимся обаятельным душевном обликом Натальи Николаевны авторы новой книги, так же, как и в первой, не избежали иногда некоторых преувеличений. В частности, порой дается недостаточно исторически объективная оценка некоторых лиц из ближайшего пушкинского окружения, в особенности Вяземского, семьи Карамзиных. Психологически это понятно: на темном фоне тем ярче сияет облик жены Пушкина. Но в таком фоне она не нуждается. Материалы, собранные и публикуемые в данной книге, говорят, как сейчас увидим, сами за себя.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что Наталья Николаевна не только, как я уже говорил, полностью осуществила в устройстве последующей судьбы и своей, и детей последнюю волю Пушкина, но и, несмотря на искреннюю и большую супружескую привязанность к Ланскому, сохраняла всю свою жизнь неослабевающую память о нем, как бы продолжала все время любовно держать в сердце его живой образ.

Мы знаем по свидетельству очевидцев, какие ни с чем не сравнимые страдальческие муки испытывала в течение двух суток Наталья Николаевна после того, как верный дядька Пушкина внес на руках смертельно раненного поэта в дом, знаем, как до самой последней минуты не верила, не хотела, не могла верить, что он неизбежно умрет. А когда это свершилось, ее моральные и физические мучения по своей нестерпимой силе явились своего рода параллелью нестерпимым предсмертным мукам самого поэта. «Несчастную жену с большим трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, неудержимо влекло мрачное и горькое отчаяние»,— писала одна из блистательнейших представительниц петербургского великосветского общества Д. Ф. Фи-

кельмон, жена австрийского посла, хозяйка вместе с ее матерью, дочерью Кутузова, Е. М. Хитрово, виднейшего политического салона столицы, близкая приятельница Пушкина, относившаяся еще при жизни поэта с несомненной симпатией, хотя тоже несколько свысока, к его молодой красавице жене и со столь же, как видим, сочувствием к постигшему ее страшному горю и состоянию, в которое она была им повергнута. Стоит, кстати, еще раз напомнить, что Вересаев, а затем и Анна Ахматова даже это состояние ставили ей в вину. И здесь они тоже следовали укоренившейся традиции, не только еще более гиперболизируя ее, но и прямо доводя порой ad absurdum. «Если она и убита горем, то это будет ни долго, ни глубоко»,— писала (одно из характернейших свидетельств полного непонимания натуры Натальи Николаевны современниками) Е. А. Карамзина-мать сыну о вдове поэта всего недель пять спустя после его кончины, добавляя, что «бедный Пушкин» вообще должен был бы выбрать себе жену «более подходящую его уровню». А в том же материнском письме дочь, С. Н. Карамзина, пошла еще дальше, призывая брата «успокоиться» за состояние «Ундины, в которую еще не вдохнули душу»: «Ужас отчаяния, под бременем которого, казалось бы, она должна была пасть, умереть или сойти с ума, всё это оказалось столь незначительным, столь преходящим и теперь уже совершенно утихло!». На самом деле «всё» происходило абсолютно не так.

Прежде всего, необходимо — дополнительно к публикуемым материалам — обратить внимание на словно бы небольшую, но очень значительную деталь. Известно, как ненавидел и презирал Пушкин то придворное звание, которым неожиданно наградил его царь, и тот камер-юнкерский мундир, в котором он обязан был появляться на придворных церемониях (за нарушение подчас этого этикета он получал от царя выговоры) и в котором, в случае его смерти, должен был быть положен в гроб. «Умри я сегодня, что с Вами будет? Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном Петербургском кладбище»,— с горьким сарказмом писал он жене в 1834 году. Но несмотря на то ужасное состояние, в котором находилась его вдова, она настояла, чтобы его положили в гроб в обычном костюме. Никакой демонстрации, тем более «политической» (хотя царь — вероятно, по подсказу того же Бенкендорфа — воспринял это именно так) не было. Это был просто душевный порыв, еще раз свидетельствующий об ее любви и преданности мужу, вызванный стремлением выполнить и это его, может быть, и прямо устно высказывавшееся им, а возможно, лишь угадываемое по только что приведенной, но крепко запомнившейся цитате из

давнего письма (и тогда это еще одно подтверждение ее тончайшей женственной чуткости) желание мужа не лежать хотя бы мертвым в «полосатом кафтане».

А года четыре спустя после письма матери и дочери Карамзиных один из ближайших друзей Пушкина П. А. Плетнев призывал бывшего царскосельского лицеиста, встречавшегося с поэтом и ставшего в число первых его биографов, Я. К. Грота: «Не обвиняйте Пушкину. Право, она *святее и долее* питает меланхолическое чувство, нежели бы сделали это многие другие» (февраль 1841 г.). Сама Пушкина определяла этот свой душевный настрой точнее, сообщая в одном из писем к Вяземскому, что чувствует себя «смертельно опечаленной». Полностью совпадет с этим сообщение о светской встрече с Натальей Николаевной секретаря неаполитанского посольства графа Паллавичини: «Общество было очаровательно. Госпожа Пушкина, вдова поэта, убитого на дуэли — прекрасна; омраченное тяжелым несчастьем ее лицо неизъяснимо печально». И это — есть основания считать — заметил в ней не один Паллавичини.

Еще об одной ее — и особенно замечательной — светской встрече повествует в своих записках Арапова, ссылаясь на то, что об этом подробно рассказала ей мать. На вечере у Карамзиных, устроенном в честь Лермонтова, накануне его вторичного отъезда в 1841 году в ссылку на Кавказ, вернуться откуда живым ему уже не довелось, присутствовала и Наталья Николаевна. Лермонтов при прежних мимолетных с ней встречах держался с «изысканной вежливостью», за которой, однако, угадывалась «предвзятая враждебность». На этот раз он неожиданно подсел к ней, приметив в ней, видимо, то, о чем писала она в эту пору Вяземскому. Между ними завязалась длительная, очень искренняя беседа, в которой поэт повинился перед ней и вообще излил свою душу, а она проявила в ответ столько сердечной отзывчивости и такта, что его отношение к ней резко изменилось и приняло самый дружеский характер.

К запискам Араповой авторы относятся с должной критичностью. Но в отличие, как от тех, кто, объявляя ее записки «насквозь лживыми», некритически заимствовал, однако, из них то, что отвечало его собственным концепциям, так и от тех, кто утверждал, что их просто следует вовсе изъять из научного обращения, они заняли более объективную позицию, считая, что решительно все выдумать Арапова, обладая обширным архивом матери, едва ли могла. Чтобы правильно решить этот вопрос, требуется тщательнейший строго научно-критический анализ, явно выходящий за рамки данной книги. Но кое-чем, действительно не вызывающим особых возражений, они все же сочли возможным

воспользоваться. А в отношении данного рассказа они к тому же имели право опереться на то, что он был принят в лермонтоведении. Причем почин этому был положен не кем иным, как П. Е. Щеголевым в его «Книге о Лермонтове», вышедшей через год после третьего издания «Дуэли и смерти Пушкина». В предисловии к ней Щеголев резко полемизирует с методом аналогичного труда Вересаева «Пушкин в жизни». «Нужно ли доказывать,— пишет он,— необходимость чисто исследовательской работы, выражающейся в критике и сопоставлении показаний современников даже для такого рода книги, как наша, которая предназначается только для чтения и не претендует на научную значимость»? Тем знаменательнее, что данный рассказ Араповой приводится им без всяких замечаний, так сказать, на веру, хотя прямо вступает в противоречие с его концепцией жены поэта. Видимо, в связи с только что опубликованным им раскрытием «тайны» анонимного пасквиля против Пушкина, начало изменяться и его отрицательное отношение к его жене.

Заключает свой рассказ Арапова тем, что столь продолжительная беседа Натальи Николаевны с Лермонтовым и такая «непонятная перемена» в нем «вызвали много толков... потом у Карамзиных». Однако никаких прямых подтверждающих данных всему этому до сих пор обнаружить не удалось. По существу, на веру, подкрепляемую лермонтоведческой традицией, принято это и авторами книги. Но, как я сейчас укажу, некоторые косвенные данные в подтверждение рассказа Араповой все же можно привести.

В самом деле, типологически рассказ Араповой очень напоминает известное письмо Дантеса к Геккерну, в котором тот сообщает об очень мучительной для него беседе с Натальей Николаевной и по ходу ее о резкой перемене в разделявшемся им отрицательно-ходовом светском мнении о ней. Она проявила при этом, писал он, столько сердечности, ума, тонкого женского такта, что даже облагородила было его поначалу чисто чувственное влечение. Помимо того, многие другие (ряд случаев этого рода приводится в книге), неприязненно или прямо враждебно относившиеся к вдове Пушкина, при ближайшем с нею общении, под влиянием обаяния ее милой, чистой и доброй женственности, которая так бесконечно дорога была Пушкину, это отношение также совершенно меняли (отец Пушкина, Е. Вульф-Вревская).

Можно выдвинуть и еще одно предположение, косвенно подтверждающее возможность того, что рассказ Араповой не просто начисто выдуман ею, а имеет под собой некую фактическую основу. Никаких упоминаний Лермонтовым о встречах с Натальей Николаевной и тем более творческих на них откликов у нас

нет. Никак не упоминается о ней и в «Смерти поэта». И все же образ ее, видимо, отразился в другом лермонтовском произведении, написанном вскоре после ссылки его на Кавказ в том же 1837 году: «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поединок — кулачный бой — Калашникова с одним из любимцев Ивана Грозного, опричником Кирибеевичем, кончившийся смертью одного из них, как и некоторые до поразительности схожие детали (например, просьба Калашникова, обращенная перед казнью к Грозному не оставить «своей милостью» его молодую вдову и «малых детушек», царем исполненная) слишком напоминали о январских событиях того же года. «Хотя Лермонтов обратился к эпохе Грозного,— пишет И. Л. Андроников,— это его произведение прозвучало как современное». Надо думать, именно этим объясняется и его литературная судьба. Цензурный комитет наложил на «Песню...» запрет, а когда стараниями Жуковского удалось в 1838 году снять его, она появилась без имени автора (в подписи стояло лишь « — в») и, вопреки датировке ее Лермонтовым 1837 годом, была — есть все основания полагать — для отвода глаз помечена 1836 годом. Уже в наше время (тридцатые годы) обратили внимание на это сходство и некоторые видные советские исследователи В. С. Нечаева, М. А. Рыбникова, которые, однако, слишком прямолинейно считая, что «Песня...» прямо представляет собой замаскированное изображение дуэли Пушкина с Дантесом, игнорировали ряд существеннейших отличий, делающих фабульную часть «Песни...» своего рода антифабулой по отношению к реальным событиям, в какой-то мере, как мы только что видели, несомненно, ее подсказавшим. Ведь в «Песне...» не басурман (как это явствует из контекста) Кирибеевич, «вскормленный» самым жестоким, наводящим на всех ужас пособником грозного царя — Малютой Скуратовым, убивает происходившего из старого русского купеческого рода сына «честнова отца», Степана Парамоновича Калашникова а, наоборот, убит им. И это отличие столь существенно, что едва ли Лермонтов тоже только для отвода глаз пошел на это. Дело, думается в другом. В период еще не закрывавшейся в Лермонтове душевной раны — столь тяжелых и мучительных дум о трагических событиях гибели Пушкина — в его творческом сознании мог возникнуть вопрос, а что́ произошло бы, если бы не Пушкин погиб от пули Дантеса, а, наоборот, его правое дело восторжествовало и Дантес был бы убит? И что бы ждало тогда самого поэта? На почве этих раздумий и мог возникнуть замысел «Песни...» Если это так, все становится на свое место — и близость «Песни...» к тому, что́ случилось в жизни, и, другой, как бы поправляющий ее — катартический — вари-

ант. Мало того, «Песня...», как бы в дополнение к стихотворению «Смерть поэта», становится тогда еще одним произведением во славу великого русского **народного** поэта — Пушкина, дифирамбом, соответственно этому облеченным в форму **народной** исторической песни. Конечно, отсюда никак не следует, что Калашников — это «замаскированный» Пушкин, а жена Калашникова — «замаскированная» Наталья Николаевна. Так примитивно, понятно, нельзя к этому подходить. Реальные лица и события были переведены Лермонтовым, как это всегда бывает у поэтов подлинных, тем более великих, на язык искусства, подсказанный в данном случае и замыслом, и жанром произведения, полностью перенесенного — и по типически обобщенным характерам действующих лиц, и в отношении языка и стиля — на исконно национальную почву. Это дало возможность поэту собрать, как в фокусе, в образе купца Калашникова (фольклором, как выяснили исследователи, подсказано само это имя) лучшие черты исконно русского национального характера, каким он складывался в сознании и самого народа — в его поэтическом творчестве: честность, прямота, доброжелательство, богатырская мощь и тела, и духа, готовность постоять за правду, выйти за поруганную и оклеветанную честь жены «на страшный бой, на последний бой» с ее обидчиком (невольно вспоминаются пушкинские строки о «сердце русских», которого не постиг «дивный ум» не ведавшего до того поражений захватчика и «тирана» Наполеона, их решимость одолеть дотоле непобедимого или погибнуть: «Война по гроб — наш договор»). Именно в плане этого широчайшего и сугубо народного художественного обобщения Пушкин и Калашников действительно совпадают.

Такими же лучшими чертами народно-национального характера наделена и «верная», «честная», «беспорочная» «невинно опозоренная» злым опричником на глазах сплетниц-«соседушек» жена Калашникова, Алена Дмитриевна, которая на суровые упреки и угрозы еще не знавшего что́ произошло мужа отвечает ему: «Не боюся смерти лютыя, Не боюся я людской молвы, А боюсь твоей немилости». Было ли это отражением доброго уже тогда отношения Лермонтова к вдове Пушкина (если судить по Араповой, не было), или — в отличие от Калашникова — Алена Дмитриевна тоже желанный для Лермонтова, но не соответствующий реальности антиобраз Натальи Николаевны, сказать трудно. Скорее всего, что «враждебного» к ней отношения у него не было («убийцей Пушкина» Лермонтов, который первым понял, кто его истинные убийцы, ее не считал, но он мог разделять уже известную нам точку зрения на нее Карамзиных, в салоне которых очень часто бывал, и где, видимо, и имели место его преды-

дущие встречи с вдовой поэта. А когда увидел во время прощального вечера на ее еще более прекрасном лице черты той «смертельной опечаленности», о которой она писала Вяземскому и которая так поразила и пленила Паллавичини, у автора «Смерти Пушкина» и «Песни...» о купце Калашникове вспыхнуло в эту снова для него столь драматическую пору (крушение его планов добиться отставки и всецело отдаться своему творческому делу) желание ближе узнать и понять ее. Пока нет прямых подтверждающих данных, факт такой интимной встречи-беседы, явно выходившей из светских этикетных рамок и потому, по-видимому, даже шокировавшей Карамзиных, вдовы Пушкина с уже признанным тогда его наиболее непосредственным литературным «наследником» (слово Белинского), не может считаться окончательно доказанным. Но приведенные мною косвенные соображения, считаю, делают это весьма правдоподобным.

Вообще же после возвращения в Петербург Наталья Николаевна повела очень отъединенный образ жизни, не бывала, за исключением салона Карамзиных, который так часто посещала вместе с Пушкиным, ни на светских приемах, ни в театре. В то же время она всячески пыталась окружить себя близкими Пушкину людьми, такими, как П. А. Плетнев, П. А. Вяземский (еще с лицейских пушкинских лет бывший его личным и литературным другом, который стал теперь завсегдатаем в ее доме, посетил ее в Михайловском и даже поддался ее женскому обаянию, как говорили, «волочился за ней») и, в особенности, наиболее любимый Пушкиным в последние годы его жизни П. В. Нащокин и его жена. «Пушкина всегда трогает меня своею привязанностью», говоря «как ценит дружбу ко мне мужа», писал Плетнев тогда же. Повторила она свое горячее желание продолжать самые дружеские отношения с ним и после выхода замуж за Ланского, во время традиционного свадебного визита к нему, приехав, однако, не так, как полагалось по этикету для новобрачных, не вдвоем, а одна. Плетнев очень обиделся за это на Ланского, не поняв, что со стороны Натальи Николаевны (можно не сомневаться, что именно она проявила здесь инициативу) это было подсказано столь присущим ей особым сердечным тактом — опасением, что появление ее — счастливой — вместе с новым — счастливым — супругом может причинить боль другу поэта.

Примерно с такой же, если еще не большей, неохотой, как в свете, Наталья Николаевна снова стала появляться и при дворе, когда император и императрица опять пожелали украсить ее присутствием свои балы и приемы; а вовсе уклониться от этого, конечно (тем более после «милостей», оказанных семье Пуш-

кина царем в 1837 году), было немыслимо. Напомню, что и после брака с Пушкиным она, как известно, очень не хотела, и отнюдь не только по робости, как считала ее свекровь, уверяя, что это скоро пройдет, сближения с императорской четой и двором, но силой обстоятельств и стремлением Пушкина ни в чем не лишать свою юную и прекрасную «женку» она вынуждена была все же пойти на это. Весьма оживленная, полная развлечений великосветская жизнь, которую вследствие этого ей пришлось провести, ее молодость, преклонение перед ее красотой, блистательные светские и придворные триумфы, бесчисленные поклонники,— все это на какое-то время могло вскружить ей голову. Но под влиянием того чуть не разорвавшего ее душу в клочья удара, который на нее внезапно обрушился в 1837 году и который навсегда оставил на ней свои следы, первоначальные, исконно свойственные ее натуре черты стали проявляться с еще большей силой.

При дворе она стала бывать лишь тогда, когда нельзя было этого избежать, когда ее специально звали, а по существу, приказывали. Характерен ее ответ одной сугубо великосветской даме, дочери фельдмаршала Салтыкова и матери старшего приятеля Пушкина и позднее Лермонтова, поэта и камергера И. П. Мятлева, которая «требовала», чтобы она присутствовала на панихиде по маленькой великой княжне. Наталья Николаевна решительно отказалась от этого, ссылаясь на то, что не получила никакого специального «приказа». А когда несколько месяцев спустя ей все же не удалось уклониться от присутствия на торжественной панихиде в Петропавловском соборе по последнему брату царя, Михаилу Павловичу, она писала Ланскому: «Рядом со мной все время стояла госпожа Охотникова, которая заливалась слезами, г-жа Ливен сумела выжать несколько слезинок. Другие дамы тоже плакали, а я не могла». Привел эту цитату потому, что она очень напоминает, вероятно, хорошо запомнившуюся одну из народных сцен пушкинского «Бориса Годунова»: согнанные на площадь сторонниками Бориса толпы народа, чтобы слезно умолять его принять царский венец, кроме немногих, «все плачут», да и немногие, кто не может или не хочет плакать — а «надо плакать»,— трут глаза луком или, имитируя слезы, мажут их слюной. Но плакать или хотя бы «выжать несколько слезинок» о том, кто (можно с уверенностью сказать, что это стало известно вдове Пушкина) выражал сожаление не об убитом поэте («Туда ему и дорога»), а об его убийце — разжалованном в солдаты Дантесе, Наталья Николаевна не хотела и не могла.

Но особенно значительны в отношении всего только что приведенного выдержки из другого ее письма той же поры к Ланскому, который посмеялся над какими-то высказываниями жены

на политические темы: «Ты совершенно прав... этот предмет мне совершенно чужд... Я более привыкла к семейной жизни, это простое, безыскусственное дело мне ближе, и я надеюсь, что исполняю его с бо́льшим успехом». Да, в «семейной жизни» — в любви и преданности тому, с кем она навсегда перед богом и людьми соединила свою судьбу,— в радостях материнства она не только находила свое наиболее полное счастье, но считала это выполнением своего долга, того высокого предназначения, которое возложено на женщин законами их природы. С этим было связано и ее глубокое сочувствие тем, кто, оставшись старыми девами, был всего этого лишен. Об этом она, порой споря со вторым мужем, неоднократно писала, объясняя и оправдывая тяжелый характер Александры, которая после вторичного замужества сестры продолжала жить у Ланских, тем, что ее выход замуж так затянулся, прямо угрожая, по понятиям того времени, превратить и ее в старую деву. «Нет ничего более печального, чем жизнь старой девы, которая должна безропотно покориться тому, чтобы любить чужих, не своих детей, и придумывать себе иные обязанности, нежели те, которые предписывает сама природа,—пишет она мужу и продолжает:— Ты мне называешь многих старых дев, но проникал ли ты в их сердца, знаешь ли ты, через сколько горьких разочарований они прошли...» В этих словах открывается и еще одна чудесная грань душевного строя Натальи Николаевны, объясняющая то обаяние, которое, как уже сказано, при более близком общении с ней испытывали даже те, кто поначалу был ее недругом,— умение так сочувственно-сердечно заглянуть в чужое сердце, успокоить и ободрить его.

Мало того, исключительная любовь к детям, постоянная потребность материнства — со всеми его не только радостями, но и огорчениями, тревогами, заботами— были характернейшей чертой ее натуры, тоже отличающей ее от большинства представительниц великосветского общества. И это ярко проявилось уже почти с самого начала ее семейной жизни и не ослабевало даже в период ее наиболее шумных придворно-светских успехов и вспыхнувшего было увлечения Дантесом, вызывая восхищение поэта и непонимание и осуждение этого со стороны ее сестер. «Таша почти не выходит, так как она даже отказалась от балов из-за ее положения, и мы вынуждены выезжать то с той, то с другой дамой»,— жалуется в письме к брату 28 января 1835 года Александра Гончарова. Отказ от балов был вызван, кстати, тем, о чем Пушкин писал месяцев за шесть до этого в конце марта в письме к Нащокину: «Жена во дворце. Вдруг, смотрю с нею делается дурно — я увожу ее, и она, приехав домой, выки-

дывает». «Вот до чего доплясались»,— записывает он же в дневнике. Из дальнейшего видно, как это глубоко огорчило Наталью Николаевну. А Екатерина Гончарова в связи с этим прямо почти негодует: «Надо тебе сообщить и некоторые наши новости. Прежде всего о самой большой и самой плохой: Таша уже три месяца, как в положении. Бедная, только что освободится и опять за то же принимается» (4 декабря 1835 г.).

После трагической гибели мужа страстная любовь Натальи Николаевны ко всем их осиротевшим детям все нарастала. Причем она хотела, чтобы, потеряв отца совсем еще маленькими, они знали и всегда помнили, что они — дети не второго ее мужа, а именно Пушкина. Этим, несомненно, объясняется то, о чем упоминает в своих записках Арапова и в чем действительно можно ей доверять: несмотря на самые добрые отношения с отчимом, он всегда был для них (это, конечно, установила с самого начала Наталья Николаевна) Петром Петровичем. Любила она и детей от Ланского. Эта ее любовь к детям вообще была широко известна, тем более близким к ней людям. Так, В. А. Нащокина просила ее брать к себе на праздники десятилетнего сына, который учился в Петербурге (Нащокины жили в Москве). «Я рассчитываю взять его в воскресенье,— писала Наталья Николаевна Ланскому.— Положительно, мое призвание — быть директрисой детского приюта: бог посылает мне детей со всех сторон и это мне нисколько не мешает, их веселость меня отвлекает и забавляет». Действительно, у Ланских, помимо своих детей, жил племянник ее мужа, Павел Ланской, систематически живал другой ученик училища правоведения, сын сестры Пушкина, Ольги Сергеевны, Лев Павлищев, к которому Наталья Николаевна к тому же испытывала особенную симпатию. «Горячая голова, добрейшее сердце»,— пишет она Ланскому и, как бы объясняя причину своего чувства и не тая этого от второго своего мужа, с предельной искренностью и простодушием добавляет: *«Вылитый Пушкин».*

Это— одно из нагляднейших подтверждений того, каким живым и любимым оставался в памяти сердца самой Натальи Николаевны образ ее первого мужа. А то, что она так могла говорить об этом Ланскому, бросает еще один ярчайший пучок света не только на ее натуру, но и на характер того, в выборе которого после столь продолжительного вдовства она не ошиблась: нашла в нем завещанного Пушкиным достойного ее человека.

Исключительно выразительна данная здесь Натальей Николаевной, делающая честь по-женски проницательному уму и по-женски же чуткому сердцу ее самой, характеристика Пушкина: *«Горячая* голова, *добрейшее* сердце». Эти действительно столь же

«простые и безыскусственные», как и жизненное призвание, которое она хотела и стремилась осуществлять, слова в высшей степени содержательны и вместе с тем показывают, как глубоко проникла она и в натуру того, кто был ее первой и оставался навечной любовью,— Пушкина-человека, и в отличительнейшую черту его «души в заветной лире»— творчества русского национального гения, который воистину по природе своей — это, помимо всего остального, являлось одной из существеннейших его особенностей — был гением добрым.

Необходимо остановиться и еще на одном эпизоде из жизни Натальи Николаевны, показывающем, как и в самом деле умела она проникать в чужую душу, с каким сочувствием и участием могла не только откликнуться на горе и беду других людей, но, более того, активно помочь из нее выйти. Кроме записок Араповой, до нас дошел, в сущности, всего лишь один и притом совсем небольшой (несколько страниц) мемуарный источник, которому (по всему его содержанию и характеру) в отличие от пресловутых араповских записок вполне можно доверять.

Уже после смерти Николая I, в 1855 году, почти при конце Крымской войны, в Вятку приехала и провела там несколько месяцев Наталья Николаевна Ланская вместе с мужем, которому было поручено сформировать в этих местах народное ополчение. По дороге она простудилась (заболели и опухли ноги) и обратилась к считавшемуся лучшим в городе врачу — доктору Н. В. Ионину, со слов которого, дополняя их свидетельствами матери и других общих знакомых, рассказывает обо всем этом его дочь, Л. Спасская. Входя в комнату больной, доктор рисовал ее в воображении «самыми привлекательными красками», но его постигло разочарование. Ей было тогда около 43 лет (по представлениям того времени возраст уже весьма почтенный), и красота ее уже не представилась ему столь «знаменитой», зато личность, манера обращения с людьми этой «сердечной, доброй и ласковой женщины» (слова, как видим, почти совпадающие с тем, что писал о ней Пушкин теще) очень его, как и всех, с кем Наталья Николаевна вступала в это время в общение, привлекли. Уже такое начало рассказа, столь непохожее и даже прямо противоположное воспоминаниям о жене и вдове Пушкина других, как правило, недоброжелательных к ней современников, которые не могли, однако, не признавать ее красоты, но отказывали ей во всем остальном, вызывает к нему доверие, а по его ходу оно еще более усиливается.

В одном из домов, которые посещала Ланская, ее познакомили с находящимся в Вятке в почти семилетней ссылке самым крупным русским писателем-сатириком М. Е. Салтыковым-Щед-

рипым. Она приняла в нем большое участие и, пользуясь столичными связями своими и мужа, добилась его освобождения и возвращения в Петербург. Исследователям Салтыкова-Щедрина был давно известен этот эпизод, который прочно, как непреложный, без всяких комментариев вводился ими в биографию Салтыкова; а пушкинисты, в силу своих предубежденных взглядов на жену и вдову Пушкина, просто — до Ободовской и Дементьева — не обращали на него никакого внимания. Между тем этот факт не только должен быть учтен, но и требует — считаю я — очень для нас существенных дополнительных пояснений.

И в данном случае политическая сторона дела, по-видимому, не имела для Н. Н. Ланской особого значения. Но, помимо желания «помочь талантливому молодому человеку», ее толкало на это и еще одно. Особое участие она приняла в Салтыкове, сообщает Спасская, «как говорят, в память о покойном своем муже, некогда бывшем в положении, подобном Салтыкову». А то, что это не просто слухи, доказывают выделенные мною слова, которые никто до сих пор не прокомментировал. А ведь действительно положение сосланного молодого Пушкина (сослан в возрасте двадцати одного года, находился в ссылке шесть лет) и положение Щедрина, сосланного почти в том же возрасте, не только подобны, но и до удивительного схожи. Пушкин вращался в свои доссылочные годы в кругу декабристов, к тайному обществу не принадлежал, но был сослан за свои вольнолюбивые стихи, которые, по существу, делали его задолго до восстания их певцом. Салтыков вращался в кругу петрашевцев, был участником их собраний по пятницам и был сослан за год до того, когда петрашевцы стали переходить в своей тактике на революционные позиции, и кружок их был разгромлен, за то, что писал в их духе — «вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу» (слова Николая I). И, как это ни странно, такая «досрочная» ссылка обоих спасла — Пушкина от трагической судьбы участников восстания 1825 года, Салтыкова — от столь же трагической участи, постигшей Достоевского и ряд других писателей-петрашевцев. Именно этот смысл, очевидно, и вкладывала Наталья Николаевна, когда говорила о подобном положении, а следовательно, была очень хорошо осведомлена — несомненно, со слов Пушкина — об этом одном из самых тягостных для него периодов его жизни. А о таком же периоде в жизни Щедрина она, очевидно, хорошо была осведомлена со слов и самого писателя, и за него хлопотавших вятских друзей. Кстати, к этому общеизвестному факту авторы книги добавляют (на основании ее писем) еще один факт такого же рода. Еще в 1849 году На-

талья Николаевна добилась освобождения другого молодого человека Исакова, арестованного было по обвинению за участие в заговоре петрашевцев.

Все только что сказанное — еще одно и, как видим, убедительное подтверждение достоверности рассказов Спасской. Вполне можем мы поверить и тому, что она рассказывает об особой любви Натальи Николаевны к детям, в частности, к брату и сестре мемуаристки. Наталья Николаевна увидела их танцующими на детском вечере, они ей очень понравились, «она стала о них расспрашивать и, узнавши, что это дети ее доктора, пожелала познакомиться с их матерью и с ними, была чрезвычайно любезна с матерью, хвалила, ласкала детей и рассказывала ей много о своих детях, причем высказала между прочим, что находит своего сына Григория (которого она называла Гришкою) замечательно похожим, как наружностью, так и характером, на его знаменитого отца». Как видим, это «высказывание» Натальи Николаевны — прямая параллель к ее словам Ланскому о юном Павлищеве.

Завершает записи Спасской приводимый ею эпизод (после всего нам уже известного не приходится сомневаться в его достоверности), который воочию свидетельствует, как (после смерти Пушкина к этому времени прошло почти двадцать лет) свято Наталья Николаевна продолжала «чтить память его». «Я слышала, что один из дней недели, именно пятницу (день кончины поэта — пятница, 29 января 1837 г.), она предавалась печальным воспоминаниям и целый день ничего не ела». Между тем в одну из пятниц ей пришлось «непременно быть» вместе с мужем в гостях у одних вятских знакомых — Пащенко, с которыми она особенно близко сошлась (жена Пащенко как раз и просила ее помочь Салтыкову): «Все заметили необыкновенную ее молчаливость, а когда был подан ужин, то вместо того чтобы сесть, как все остальное общество, за стол, она ушла в залу и там ходила взад и вперед до конца ужина. Видя общее недоумение, муж ее потихоньку объяснил причину ее поступка, сначала очень удивившего присутствующих. Этот последний рассказ,— добавляет автор,— я слышала от... очевидца-свидетеля происшествия».

Столь решительная и активная помощь в освобождении из ссылки Салтыкова и только что приведенный рассказ — это как бы два заключительных аккорда, замечательно дорисовывающих тот портрет вечно женственной «души» Натальи Николаевны, который, как мы могли из всего только что сказанного убедиться, в самом деле полностью соответствует представлениям о ней Пушкина, которые ничто не могло в нем поколебать, представлениям, с которыми он сошел в могилу.

Я отвел много места первой части книги, посвященной Наталье Николаевне потому, что именно она, естественно, является во всех отношениях особенно ценной и значительной. Но читатели, думаю, прочтут с немалым интересом и две последующие части даваемого авторами своего рода триптиха (три сестры), в который композиционно вкладывается вся книга.

Вторая ее часть, посвященная Александрине, правильно открывается главой «Опровержение клеветы», в которой авторы, подвергнув тщательному критическому рассмотрению, как уже имевшиеся, так и впервые ими привлекаемые новые материалы, доказывают всю неосновательность подхваченной современниками и разделявшейся — увы! — столь многими — в том числе и в наши дни — исследователями версии об интимных отношениях ее с Пушкиным. Стоит добавить к этому и еще одно соображение. Дантес однажды, увидев поэта в великосветском обществе вместе с женой и двумя ее сестрами, смеясь, назвал его «трехбунчужным пашой», из чего следовало, что явился он сюда со своим гаремом. Рассмеялся и Пушкин, которому бойкий, веселый, остроумный француз поначалу даже нравился. Действительно, это была довольно невинная шутка. Но, думается, именно она снова вспомнилась Дантесу, когда он был так разъярен своими неудачами у Натали и вынужденной женитьбой на Екатерине. И он задумал превратить ее в нечто не только серьезное, но по тому времени, несомненно, весьма опасное для Пушкина. По существу, это был своего рода политический донос на якобы поправшего все божеские и человеческие законы «безбожника»-поэта (в чем, как известно, неоднократно и с весьма тяжелыми для него последствиями его обвиняли).

Очень обстоятельно — порой с несколько эмоционально-приподнятым сочувствием — рассказывается в книге о действительно, но и заслуженно плачевной жизни Екатерины, с таким восторгом и так бездумно и бессердечно порвавшей с родиной, с близкими, связавшей себя навсегда с убийцей мужа ее сестры. Тот «грозный суд», который предрекал виновникам гибели Пушкина Лермонтов (к ним, понятно, фактически в первую очередь принадлежал и «цареубийца» Дантес, как назвал его Тютчев), свершился гораздо позднее — в нашу эпоху. Но все же — и совсем неожиданно — «грозный судия» (один из вариантов лермонтовской «Смерти поэта») предстал перед Дантесом совсем рядом — в его же собственной семье. Его третья дочь от Екатерины (с самого начала нежеланный ребенок: супруги жаждали сына) Леония-Шарлотта оказалась исключительно одаренной девушкой, живо интересовалась наукой, прошла дома весь курс Политехнического института и в то же время прекрасно овладела (в семье

говорили только по-французски) русским языком и была страстной поклонницей пушкинского творчества («Эта девушка была до мозга костей русской... обожала Россию и больше всего на свете Пушкина»! — вспоминал ее брат), а однажды, не вытерпев, осмелилась резко осудить чудовищное злодеяние — преднамеренное уничтожение великого русского национального поэта, одного из величайших художественных гениев всех веков и народов, бросив отцу в лицо: «Убийца Пушкина». И это даром ей не прошло: она очутилась в сумасшедшем доме, откуда никогда уже не вышла. Обо всем этом было известно давно. Но следует досказать то, о чем говорившие и писавшие про это умалчивали. В дом для умалишенных — можно почти с полной уверенностью это утверждать — засадил ее (явление столь характерное для семейных нравов и отношений «века торгаша»), обвинив в эротической пушкиномании — «загробной любви к своему дяде», сам Дантес, едва ли не по совету, а скорее всего, прямо при содействии своего приемного «отца» — «старика» Геккерна.

Нанес смертельную рану Пушкину, причинил тягчайшие страдания Наталье Николаевне, мучил мелкими (по сравнению с теми очень большими средствами, которые имел) денежными претензиями и требованиями неповинную в этом жену и заморил в доме сумасшедших (из специальных исследований историков-психологов я узнал, в каких ужасных условиях оказывались в то время в таких учреждениях туда попавшие) свою дочь. А сам преспокойно дожил до восьмидесяти трех лет (умер в 1895 году). Геккерн окончил свои дни одиннадцатью годами ранее, но в еще более почтенном возрасте — девяноста трех лет.

Заключаю. Авторами данной книги сделано если, как я уже указывал, и не все, то многое, очень многое. Полагаю, что и она тоже (как и книга «Вокруг Пушкина»), рассчитанная на самые широкие круги читателей, займет заслуженное ею и ей подобающее место в нашей столь расширившейся и столь развившейся за советское время Пушкиниане.

Д. БЛАГОЙ





ВВЕДЕНИЕ

Данная книга, по существу, является продолжением книги «Вокруг Пушкина», вышедшей в свет в 1975 году, а затем вторым изданием в 1978 году.

Работая много лет в архивах (ЦГАДА, ИРЛИ, ЦГАЛИ и др.) по исследованию эпистолярного наследия XIX века, связанного с Пушкиным, мы обнаружили письмо самого Пушкина — редчайшая находка, а также большое количество писем жены поэта, ее сестер, братьев, родителей и других лиц пушкинского окружения, написанных как при жизни Пушкина, так и после его смерти. Появление этих новых документов позволило по-иному посмотреть на сложившиеся уже представления о некоторых сторонах биографии поэта, и прежде всего касающихся самого близкого ему человека — его жены.

Письма эти опровергают неправильные суждения о Наталье Николаевне Пушкиной, основанные главным образом на недостоверных источниках, многие из которых отражают враждебное отношение к Пушкину и его жене некоторых современников. «Злословие,— говорит сам Пушкин,— даже без доказательств оставляет почти вечные следы. В светском уложении правдоподобие равняется правде, а быть предметом клеветы — унижает нас в собственном мнении»[1]. Поразительные слова, как будто сказанные поэтом о самом себе! Клевета, родившаяся в великосветском обществе, преследовала Пушкина и его жену, унижала его достоинство и как великого писателя, и как человека.

Вот эти «почти вечные следы» злословия и правдоподобия, приравненные к правде, и послужили основанием для некоторых исследователей, чтобы нарисовать резко отрицательный об-

раз Натальи Николаевны, а Пушкину инкриминировать преступную связь со свояченицей. Этому в значительной степени способствовали письма и воспоминания некоторых современников, порой даже из ближайшего окружения поэта.

Умирая, Пушкин завещал своим друзьям защищать жену от клеветы и сплетен петербургского великосветского общества. Предчувствуя, что́ ее ожидает после его смерти, он говорил: «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском»[1]. И он оказался прав. «Мнение людское» сумело так оклеветать его жену, что в течение многих и многих десятилетий оно почти не подвергалось пересмотру и редкие голоса, пытавшиеся встать на ее защиту, тонули в море осуждения. И если раньше, в преддуэльный период, на Наталью Николаевну клеветали «по всем углам гостиных» и писали пасквили и анонимные письма, то после гибели поэта об этом говорилось и писалось уже открыто. Ее обвиняли в том, что она женщина неумная и ветреная, что ее легкомысленное поведение послужило поводом к дуэли; ее упрекали в бессердечии, говорили, что горе ее неглубоко, преходяще, что она скоро забудет мужа. В литературе более позднего периода мелькали утверждения, что вдова поэта по возвращении в Петербург продолжала вести легкомысленный, светский образ жизни.

Но главное во всем этом то, что до недавнего времени «молчали» сама жена Пушкина и ее сестры, и это позволяло приписывать им мысли, чувства и поступки, отраженные в ряде «свидетельств» современников, несомненно, пристрастных и недостоверных. И вот эти немые действующие лица заговорили...

Трудно переоценить значение писем Пушкиной. Четырнадцать ее писем к старшему брату Дмитрию Николаевичу Гончарову, написанные при жизни Пушкина, вошли в книгу «Вокруг Пушкина». Но в дальнейшей работе над архивами нами было обнаружено множество важных и интересных ее писем за период вдовства и второго замужества (1838—1863 гг.). Мы имеем в виду главным образом письма Натальи Николаевны к тому же брату, хранящиеся в Центральном государственном архиве древних актов, а также ко второму мужу Петру Петровичу Ланскому — в архиве ее дочери А. П. Ланской, в замужестве Араповой, находящемся в Институте русской литературы АН СССР. Письма из архива Араповой — это письма-дневники, так их характеризует и сама Наталья Николаевна: «Мои письма это дневники, где я пишу о всех своих чувствах, плохих и хороших»[2].

Но в этих длинных письмах-дневниках Наталья Николаевна записывала также очень подробно все мелочи текущей жизни дома. Естественно, что эти дневниковые записи помещать цели-

ком было бы нецелесообразно, поэтому мы публикуем из них то главное, то важное, что, по нашему мнению, характеризует Наталью Николаевну как человека.

Что было известно о том, как жили после гибели Пушкина вдова и дети поэта? Очень мало. Были письма. Письма самой Натальи Николаевны, ее родных. Казалось бы, зная ее больше после смерти мужа, мы могли бы лучше понять, какою она была и при его жизни. Но все, что носило дату 1838 года и далее, как это ни странно, не привлекало внимания исследователей; эти письма просто не читали, а если и читали, то относились к ним с предубеждением, с заранее «запрограммированным» осуждением.

Новые эпистолярные материалы позволили во многом расширить и углубить наши представления об этой женщине, о ее характере, мыслях и чувствах, увидеть в ней то, что так прекрасно и проникновенно выражено самим Пушкиным: «Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед богом»[1].

Вдумываясь в эти слова, невольно сожалеешь, что некоторые современники, даже близкие поэту лица, поверхностно судили о Пушкине и его жене, приписывали Наталье Николаевне легкомысленное, а порою и равнодушное отношение к семье. А между тем приводимые в книге письма говорят нам о том, как высоко ставила она долг жены и матери, как нежно и беззаветно любила детей, как щедро была наделена таким великим свойством человеческой души, как доброта, о чем говорит и сам Пушкин.

Несомненно, большой интерес представляют и новонайденные письма Александры Николаевны Гончаровой, в замужестве Фризенгоф, и Екатерины Николаевны Гончаровой, в замужестве Дантес-Геккерн. Сестры Гончаровы, жившие вместе с Пушкиными в период 1834—1837 годов, тесно общавшиеся с ними и в какой-то степени бывшие участницами преддуэльных событий, уже нашли отражение в книге «Вокруг Пушкина». Публикуемые в новой книге письма не только значительно пополняют наши сведения о них, но и позволяют дать новое освещение таким, например, вопросам, как отношение Александры Гончаровой к Пушкину, а также Натальи Николаевны и семьи Гончаровых к Екатерине Дантес и т. д.

Неизвестные письма А. Н. Гончаровой-Фризенгоф и ее мужа Густава Фризенгофа поистине заставили заговорить бродзянские портреты: они рисуют нам очень живо семейную жизнь Фризенгофов, Александру Николаевну как добрую, любящую жену и заботливую мать. Великолепным французским языком написаны

письма Густава Фризенгофа, свидетельствующие о его глубокой, искренней любви к жене и теплом отношении к ее родным.

Впервые читатель узнает и о судьбе Екатерины Дантес, уехавшей за границу вслед за своим мужем, высланным из России. Эти очень интересные письма, хранящиеся в ЦГАДА, говорят нам о трагической судьбе этой женщины, навсегда порвавшей с родиной, в силу самолюбивого своего характера никогда не признававшей вины мужа, а может быть, и своей...

В книге приводятся письма и выдержки из писем членов семьи Гончаровых: Ивана Николаевича, брата Натальи Николаевны, и ее родителей — Натальи Ивановны и Николая Афанасьевича, дополняющие и поясняющие некоторые письма других корреспондентов. К сожалению, в архиве сохранилось мало писем младшего из Гончаровых, Сергея Николаевича. Это, вероятно, объясняется тем, что он жил в Москве, часто приезжал в Полотняный Завод, общался с Дмитрием Николаевичем и в Москве, и у матери в Ярропольце и особой надобности в переписке не было. Имеющиеся в ЦГАДА его письма посвящены главным образом хозяйственным делам московского дома Гончаровых и тяжелому материальному положению семьи самого Сергея Николаевича.

Также впервые публикуется и ряд писем и выдержек из писем П. А. Вяземского к Н. Н. Пушкиной, отражающих его отношение к вдове поэта, его настойчивое ухаживание за нею. Нельзя пройти мимо и его весьма резких высказываний о светском обществе и салоне Карамзиных. Но главное в его письмах — обаятельный образ Натальи Николаевны, в этом их важность и значение для данного исследования.

Несомненно, обратят на себя внимание читателя и письма Жоржа Дантеса и Луи Геккерна. Они дают нам новый дополнительный материал для их характеристики, позволяющий еще глубже понять лицемерие, низость этих людей, сыгравших столь подлую роль в гибели Пушкина.

В книге публикуется всего около 200 новонайденных и неизвестных писем и выдержек из писем. Некоторые из них были нами опубликованы в журнале «Москва» (№ 11, 1974 г. и № 1, 1976 г.), а также в «Неделе» (19 мая 1974 г.). Все остальные письма публикуются впервые.

В подлиннике все письма — на французском языке*, перевод сделан И. М. Ободовской. Встречающиеся во французском тексте слова и фразы, написанные по-русски, даны в разрядку,

* Несколько писем на русском языке оговариваются в сносках.

чтобы отличить их от основного переводного текста; орфография того времени сохранена без изменения.

Помимо писем, нами были исследованы в архивах (главным образом в архиве Гончаровых) дневники, метрические записи, послужные списки, различные хозяйственные документы и конторские книги, в которых имеются, например, такие интересные записи, как расходы на почтовые отправления, указывающие, кому, когда и откуда посылались корреспонденция и посылки. Расходные записи на продукты, вина, одежду, мебель, газеты и книги, описи библиотеки дают возможность яснее себе представить быт членов семьи Гончаровых, их интересы; иногда из этих записей можно получить и очень ценные сведения. Так, например, расходы на вина позволили нам установить даты приезда родственников (а это бывает важно для подтверждения того или иного события) и гостей, в частности В. А. Жуковского и С. Л. Пушкина. Описи садов и парков рисуют нам их состояние во времена Пушкина, дважды приезжавшего в Полотняный Завод, а также во время двухлетнего пребывания там семьи поэта в 1837—1838 гг. Все эти сведения позволили расширить и углубить наше представление о жизни авторов писем и окружавших их лиц.

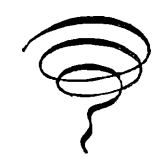
Наряду с архивными материалами нами в процессе работы был использован ряд опубликованных в печати исследовательских и литературоведческих работ, основной перечень которых прилагается.

Книга предназначена для широкого круга читателей. Обилие эпистолярного материала и стремление придать описываемым событиям необходимую последовательность предопределили структуру ее — хронологический порядок изложения. В связи с этим и публикация писем чередуется с нашими комментариями. Предлагаемый вниманию читателей обзор большого количества писем и других материалов, естественно, далеко не полон, но мы полагаем, что в нем в основном отражено то новое и важное, что дает возможность пересмотреть сложившееся отношение к ближайшему окружению Пушкина, и в первую очередь к его жене, Наталье Николаевне.

Книга делится на три части, посвященные трем сестрам. Необходимые по тексту писем и комментариев пояснения даны в специальных разделах: «Краткий словарь имен, упоминаемых в книге» и «Примечания»— ссылки на архивные и другие источники. В книге дается большое количество иллюстраций, главным образом портреты, а также факсимиле писем. Многие из портретов публикуются впервые.

Мы приносим глубокую благодарность всем организациям, содействовавшим нашей работе и оказавшим столь необходимую

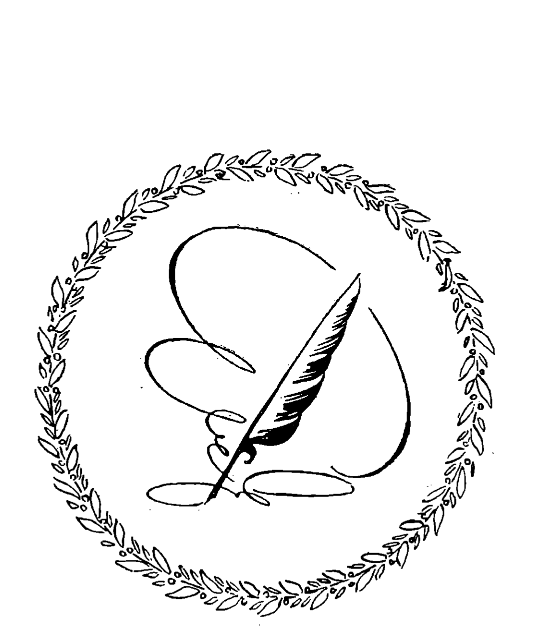
и ценную для нас помощь в получении архивных материалов, иллюстраций, различных справок и т. п.: Институту русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), Литературному музею ИРЛИ, Всесоюзному музею А. С. Пушкина и Главному управлению культуры — в Ленинграде, Центральному государственному архиву древних актов, Государственному музею А. С. Пушкина, Литературному музею и Центральному государственному архиву литературы и искусства — в Москве, Кировскому областному архиву, Музею И. К. Айвазовского в Феодосии, а также Словацкому национальному музею в Братиславе.





Часть I

ПОСЛЕ СМЕРТИ ПУШКИНА





ВДАЛИ ОТ ПЕТЕРБУРГА

29 января 1837 года не стало величайшего русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Прошло еще несколько дней, и гроб с его телом заколотили в ящик, поставили на дроги и с непристойной поспешностью увезли в Святогорский монастырь. Она осталась одна. Та, которую он так безгранично и самоотверженно любил. Любил как жену и мать своих детей и ценил как человека.

Трагическая гибель мужа потрясла Наталью Николаевну. Сохранилось много свидетельств современников, описывающих ее ужасное состояние в течение двух долгих, мучительных дней, когда умирал ее муж и после его кончины. Она производила на окружающих раздирающее душу впечатление, отчаяние ее было беспредельно. Но, к счастью, она не была одинока в эти дни, с нею были сестра Александра Николаевна, тетушка Екатерина Ивановна Загряжская, нежно любившие ее; как только узнали о смерти Пушкина, приехали из Москвы братья Дмитрий и Сергей Гончаровы. Ее окружали друзья мужа — Жуковский, Плетнев, Тургенев, Данзас.

После смерти Пушкина Наталья Николаевна тяжело заболела и не смогла проводить гроб с телом мужа в Псковскую губернию, но просила Александра Ивановича Тургенева, которому Николай I приказал отвезти и захоронить поэта, отслужить панихиду. В письме к А. Н. Нефедьевой Тургенев писал 9 февраля 1837 года:

«Вчера вечером я был уже здесь... Ввечеру же был вчера у вдовы, дал ей просвиру монастырскую и нашел

ее ослабевшую от горя и от бессонницы, но покорною провидению; я перецеловал сирот-малюток и кончил вечер у Карамзиных»[1].

Умирая, Пушкин завещал жене носить по нему траур два года. И Наталья Николаевна решила уехать на это время в Калужскую губернию, к брату Дмитрию Николаевичу, в имение Полотняный Завод. «Я думаю, — говорила она, — что лучше всего исполню его волю, если проведу эти два года совсем одна, в деревне»[2].

Как только Наталье Николаевне стало несколько лучше, она начала готовиться к отъезду. Ей было тяжело оставаться в Петербурге, где все напоминало о трагических событиях, и она спешила уехать. Глубоко религиозный человек, Наталья Николаевна в последние дни перед отъездом часто ездила в церковь и горячо молилась. Очевидно, немного смягчили ее горе беседы со священником Бажановым. По свидетельству современников, это был умный, добрый человек. Вот что пишет об этом П. А. Вяземский А. Я. Булгакову 10 февраля 1837 года: «Пушкина еще слаба, но тише и спокойнее. Она говела, исповедовалась и причастилась и каждый день беседует со священником Бажановым, которого рекомендовал ей Жуковский. Эти беседы очень умирили ее и, так сказать, смягчили ее скорбь. Священник очень тронут расположением души ея и также убежден в непорочности ее»[3].

Перед отъездом Наталья Николаевна увиделась с сестрой Екатериной Дантес. Она не бывала у Пушкиных с того дня, когда уехала из их дома в церковь на венчание, 10 января 1837 года. Зная, что уже, вероятно, никогда не встретится с сестрами, так как ей предстояло ехать вслед за мужем, высланным за границу, Екатерина Николаевна приехала проститься с ними. Свидание происходило в присутствии братьев, Александры Николаевны и тетушки Екатерины Ивановны. Это свидание, несомненно, наложило отпечаток на отношения сестер, братьев и Загряжской к Екатерине Дантес. Что́ было говорено, в чем обвиняли ее Наталья Николаевна, Гончаровы и Загряжская (а они, по-видимому, ее обвиняли), мы не знаем. А. И. Тургенев свидетельствует, что Екатерина Николаевна плакала. Подробнее об этом свидании мы скажем в третьей части.

16 февраля Наталья Николаевна с детьми и Александрой Николаевной в сопровождении братьев и Екате-

рины Ивановны выехала в Москву. Вся обстановка квартиры и библиотека Пушкина были сданы на двухлетнее хранение на склад друзьями поэта уже после отъезда семьи.

Семья Пушкиных приехала в Москву ночью, но там не остановилась; переменив лошадей, поехали дальше. Это послужило поводом к осуждению Натальи Николаевны, ее упрекали в том, что она не повидалась с Сергеем Львовичем. Но состояние моральное и физическое ее было настолько тяжелым, что она не могла встретиться со свекром, вынести душераздирающее свидание с несчастным отцом. Петербургские врачи категорически предписали ей ехать прямо в деревню.

Московский почт-директор А. Я. Булгаков писал П. А. Вяземскому 26 февраля 1837 года:

«...Наталья Николаевна не была у него в проезд ее через Москву и даже не послала наведаться об нем. На другой день отъезда ее явился к Сергею Львовичу брат ее Гончаров* со следующею комиссиею: «Сестрица приказала вам сказать, что ей прискорбно было ехать через Москву и вас не видеть, но она должна была повиноваться предписаниям своего доктора; он требовал, чтобы она оставила Петербург, жила спокойно в уединении и избегала все, что может произвести малейшее в ней волнение; в противном случае не ручается за последствия. Сестра чрезмерно изнурена, она приказала вам сказать, что она просит у вас позволения летом приехать в Москву именно для того, чтобы пожить с вами две недели, с тем чтобы никто, кроме вас, не знал, что она здесь. Она привезет вам всех своих детей. Сестра не смеет себя ласкать этой надеждою, но ежели бы вы приехали к ней в деревню хотя бы на самое короткое время». Старика поручение это очень тронуло, Наталья Николаевна умно поступила и заставила всех (признаюсь, и меня) переменить мнение на ее счет. Москва о ее приезде дозналась, все узнали, что она не видела Сергея Львовича, и ее немилосердно ругали, особливо женщины. Таковы всегда человеки! Снисходительны к тем, кои в счастьи, и строго взыскивают с тех, кои и без того горем убиты»[1].

И сам Сергей Львович понимал тяжелое состояние невестки. В другом письме Булгаков писал тому же Вя-

* Сергей Николаевич.

земскому, что был у С. Л. Пушкина. «Спрашивал я его о невестке, он отвечал: Я слышал, что она проехала здесь в пятницу, но ее не видал...— Это, видимо, его опечалило, а потому и сказал я ему: — Я понимаю, сколь мучительно было бы для нее и для вас первое свидание, она хотела вас поберечь и на себя не надеялась...

— Я и сам это так толковать хочу, — прервал Сергей Львович»[1]. Однако он очень сожалел, что не видел внуков. Это свидание, как мы увидим далее, состоялось несколько позднее, летом того же года.

Вероятно, известную роль в этом случае сыграла и тетушка Загряжская, пользовавшаяся большим влиянием на Наталью Николаевну. Старая фрейлина поехала с ней не только потому, что ей хотелось проводить племянницу. За те две недели, что прошли со дня смерти Пушкина, сплетни и толки о его кончине уже успели дойти до Москвы, и горячо любившая Наталью Николаевну Екатерина Ивановна хотела оградить ее от лишних тяжелых переживаний. Мы полагаем, что и она настаивала на том, чтобы Наталья Николаевна миновала Москву, ни с кем не встречаясь. Возможно, что у Екатерины Ивановны были и свои, личные мотивы стараться избегать этих родственных встреч. Напомним здесь, что братья Дмитрий и Иван, приезжавшие в Петербург в январе 1837 года на свадьбу сестры Екатерины, уехали, ни разу не навестив тетку и не простившись с ней. По-видимому, ее в чем-то обвиняли в связи с трагическими событиями в семье Пушкиных, и она, естественно, стремилась избежать разговоров на эту тему сейчас, когда раны, нанесенные гибелью поэта, были еще так свежи. Обращает на себя внимание и то, что о проезде Натальи Николаевны через Москву не известили также и мать, Наталью Ивановну, к которой могли послать нарочного в Ярополец, когда уже известен был день отъезда. Как мы увидим далее, Наталья Ивановна была этим очень огорчена и обижена.

Видимо, числа 21—22 Наталья Николаевна была уже в Полотняном Заводе. Там их ждал Иван Николаевич, который жил в это время у брата. Он был в отпуске по болезни. В приходо-расходных книгах заводского дома имеется запись от 25 февраля об отъезде Ивана Николаевича в Ярополец[2]. Семья срочно послала его к матери. Из Ярополца Иван Николаевич немедленно отправил с нарочным старшему брату письмо.

«Ярополец, 27 февраля (1837 г.)*

Любезный Дмитрий! Я приехал сюда и нашел Мать очень опечаленной и недовольной тем, что до сего времени ей не прислали нарочного из Москвы, чтобы сообщить, что Таша** уже проехала в Завод. Прилагаю при сем письмо, которое она ей написала***. Оказывается, она не знала, что Тетушка сопровождает сестру. Она очевидно сердится на тебя также и за то, что ты ей сам не написал, что Таша будет жить у вас и не пригласил ее повидаться с ней. Итак, мой милый, человек, который привезет тебе это письмо, получит его от ярополицкого крестьянина, который останется в Тимонове ожидать ответа от тебя или Таши. Поторопись же и пришли крестьянина поскорее, так как она рассчитывает получить ответ в среду или самое позднее в четверг, т. е. 3 или 4 числа будущего месяца. Я остаюсь здесь до приезда посланца и тогда, если Мать поедет к вам, я провожу ее до Завода»[1].

Встреча давно не видавшихся сестер Загряжских состоялась в Полотняном Заводе в начале марта. Об этом свидетельствуют, во-первых, распоряжение Дмитрия Николаевича управляющему от 5 марта 1837 года выслать подставу лошадей для матери и, во-вторых, одновременные записи расходов на Н. И. Гончарову и Е. И. Загряжскую от 11 марта 1837 года в книге по господскому дому Завода. Мы потому так стремились установить факт этой встречи, что здесь, несомненно, произошла последняя ссора обеих сестер. Можно предположить, что Наталья Ивановна упрекала Загряжскую в том, что, заменяя в Петербурге сестрам Гончаровым мать, она «не доглядела» за Екатериной, а будучи свидетельницей наглого поведения Дантеса после свадьбы, не сумела предотвратить катастрофу. В свое время родственные отношения сестер были нарушены из-за денежных расчетов при дележе наследств — в 1813 году после брата А. И. Загряжского и в 1823 году после дяди Н. А. Загряжского. В 1826 году Екатерина Ивановна составила завещание, по которому после ее смерти все должно было отойти сестре Софье Ивановне, минуя Наталью Ивановну. 11 декабря 1837 года она специальной надписью на

---

* Здесь и далее даты, взятые в скобки, определены авторами.

** Таша — Наталья Николаевна.

*** Письмо в архиве не обнаружено.

завещании подтвердила это свое распоряжение. Несомненно, это было сделано под влиянием встречи в Полотняном Заводе. Свидание это было последним: сестры больше никогда не виделись и не переписывались. Об окончательном разрыве родственных отношений сестер свидетельствует письмо Натальи Ивановны к сыну от 13 июня 1838 года из Ярополльца, в котором она пишет:

«...Ты приглашаешь меня, дорогой Дмитрий, приехать к вам к родам твоей жены; я сделала бы это с большим удовольствием, но одно соображение препятствует этому намерению, а именно приезд вашей Тетки Катерины в Завод. Не зная точно, когда она приедет к вам, я ни в коем случае не хотела бы там с ней встретиться»[1].

По приезде в Завод Наталья Николаевна написала свекру. Сергей Львович, видимо, ответил невестке очень теплым письмом, на которое Наталья Николаевна отозвалась с чувством искренней признательности за его доброе к ней отношение. Сохранилось и еще одно ее письмо от 15 мая. Приведем здесь все эти письма.

«1 марта 1837 г. (Полотняный Завод)[2]

Я надеюсь, дорогой батюшка, вы на меня не рассердились, что я миновала Москву, не повидавшись с вами; я так страдала, что врачи предписали мне как можно скорее приехать на место назначения. Я приехала в Москву ночью, и только переменила там лошадей, поэтому лишена была счастья видеть вас. Я надеюсь, вы мне напишете о своем здоровье; что касается моего, то я об нем не говорю, вы можете представить в каком я состоянии. Дети здоровы, и я прошу вашего для них благословения.

Тысячу раз целую ваши руки и умоляю вас сохранить ваше ко мне благорасположение.

Наталья Пушкина».

«Воскресенье 21 марта 1837 г. (Полотняный Завод)[3]

Мой брат уезжает сейчас в Москву, и я спешу поблагодарить вас, батюшка, за доброе отношение ко мне, что вы мне выказываете в вашем трогательном письме*. Вы не представляете себе, как мне дорого малейшее доказательство вашего благорасположения ко мне, это такое утешение для меня в моем ужасном несчастье. Я имею намерение приехать в Москву единственно для того, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение и представить вам своих детей. Прошу вас, дорогой ба-

* Это письмо до нас не дошло.

тюшка, будьте так добры сообщить мне, когда вам это будет удобнее. Подойдет ли вам, если наше свидание состоится в мае месяце? Потому что только к этому времени я буду иметь возможность остановиться в нашем доме. Мне остается только, батюшка, просить вас молиться за меня и моих детей. Да ниспошлет вам господь силы и мужество перенести нашу ужасную потерю, будем вместе молиться за упокоение его души.

Маминька просит меня передать вам свое почтение, также и сестра, она благодарит вас за память. Н. Пушкина».

«15 мая 1837 (Полотняный Завод)[1]

Простите, батюшка, что так долго вам не писала, но признаюсь вам, я не могла решиться поздравить вас с праздником Пасхи, он был таким печальным для нас. Роды моей невестки также в какой-то степени были причиной моего молчания. Тысячу раз благодарю вас, что вы так добры и хотите приехать повидать меня в Заводы. Я никогда не осмелилась бы просить вас быть столь снисходительным, но принимаю ваше намерение с благодарностью, тем более, что я могла бы привезти к вам только двух старших детей, так как у одного из младших режутся зубки, а другую только что отняли от груди, и я боялась бы подвергнуть их опасности дальнего пути. Брат мой в ближайшее время не собирается в Москву, но я надеюсь, мой добрый батюшка, что это не помешает вам осуществить ваше намерение. Вы не сомневаетесь, я уверена, в нетерпении, с которым я вас жду. Как только вы получите вести о том, что Ольга разрешилась, прошу Вас, сообщите мне об этом, и осмелюсь вас просить напомнить ей обо мне в первый же раз, как вы будете ей писать.

Маминька покинула нас вчера, но перед отъездом она мне поручила поблагодарить вас за память и засвидетельствовать вам свое почтение, так же и Александрина. Стало быть до свидания, батюшка, нежно целую ваши руки.

Н. Пушкина».

«Я провел десять дней у Натальи Николаевны, — писал Сергей Львович 2 августа 1837 года из Москвы князю Вяземскому.— Нужды нет описывать вам наше свидание. Я простился с нею как с дочерью любимою, без надежды ее еще увидеть, или лучше сказать в неизвестности, когда и где я ее увижу. Дети — ангелы совершен-

ные; с ними я проводил утро, день с нею семейно»[1]. Не знал тогда Сергей Львович, что впоследствии, в 40-е годы, в Петербурге, он постоянно будет бывать у Натальи Николаевны, и она будет заботиться об одиноком, больном старике...

Упоминание о поездке Сергея Львовича в Полотняный Завод мы находим и в письме Е. Н. Вревской от 2 сентября 1837 года к брату А. Н. Вульф. «... Вот уже недели две, как приехал старик Пушкин... Как грустно и тяжело смотреть на него... Я читала его письма, которые меня совсем помирили с ним. Мне помнится, что он вовсе не был противоречив, а, судя по письмам, он должен быть огорчен чрезвычайно смертью Александра. Сер. Льв. быв у невестки, нашел, что сестра ее более огорчена потерею ее мужа...»[2].

Некоторые пушкинисты последнюю фразу Вревской приводят как один из аргументов, что вдова была в это время уже не так опечалена смертью мужа. Но письмо Сергея Львовича говорит нам об обратном — он не мог бы проститься с ней как с «дочерью любимою», если бы видел в ней равнодушие и холодность. К пристрастным свидетельствам Вревской следует относиться с большой осторожностью. Вряд ли Сергей Львович так говорил о невестке и ее горе, мы видим, как тепло отозвался он о ней в письме к Вяземскому.

Но Вревская не преминула интерпретировать его письма в невыгодном для Натальи Николаевны свете.

Около двух лет прожила Наталья Николаевна в Полотняном Заводе. Некогда роскошное гончаровское поместье в начале XIX века уже начало приходить в упадок. На заводах и фабриках лежали огромные долги, оставленные в наследство потомкам расточительным дедом Афанасием Николаевичем. Дмитрий Николаевич, человек совершенно некоммерческого склада, стоявший теперь во главе майората, тщетно старался привести в порядок предприятия; ему удавалось только выплачивать огромные проценты по долговым обязательствам и с трудом содержать большую гончаровскую семью — братьев и сестер. В 1836 году он женился, и это еще больше осложнило их финансовое положение. В доме, очевидно, царила строгая экономия: в конторских книгах скрупулезно записывались все расходы; так, например, мы узнаем, что по субботам хозяину и его супруге «выдавалось» по полфунта мыла на баню!

Наталья Николаевна с семьей поселилась не в большом доме, где жил Дмитрий Николаевич с женой, а в так называемом Красном доме. Вспомним, что Наталья Николаевна уже жила в этом доме в 1834 году все лето со своими детьми, а затем и с Пушкиным, приезжавшим тогда навестить семью и прожившим в Заводе около двух недель. После этого, по преданию, долгое время дом этот назывался «пушкинским». Красный дом был расположен в очень красивом саду, с декоративными деревьями, кустарниками, пышными цветниками, беседками. Фасадом он выходил к прудам, к ним была выложена из камня пологая лестница. По берегам прудов были посажены ели, подстригавшиеся причудливыми фигурами, недаром старожилы описывали этот уголок парка, как какой-то земной рай. В Красном саду были расположены и большие оранжереи, оставшиеся от времен деда, в которых росли редкие фруктовые деревья, такие, как лимонные, померанцевые, апельсиновые и абрикосовые, был также и большой «плодовитый сад».

Красный дом был деревянным, двухэтажным, в нем было 14 комнат; по тем временам он был со всеми удобствами, даже с ванными! Там семье Пушкина было хорошо, вдали от шумного большого дома и ткацких фабрик. Наталье Николаевне, видимо, хотелось уединиться со своим горем, быть со своими детьми. С ней, конечно, поселилась и Александра Николаевна, чья нежная и преданная дружба скрашивала ей жизнь. Приходо-расходные книги Полотняного Завода свидетельствуют, что Наталья Николаевна вела хозяйство отдельно; ей закупались продукты в Калуге, на ее счет записывались и другие расходы. Получаемой ею пенсии на деревенскую жизнь хватало.

Очень тепло относились к ней родные. Дмитрий Николаевич постоянно заботился о сестре и ее детях во время их пребывания в Заводе. «Береги сестру, дорогой брат, — бог тебя вознаградит», — писал Иван Николаевич Дмитрию, посылая ей посылку ко дню рождения. Когда Наталья Николаевна приехала с детьми в Завод, Иван Николаевич, как мы уже упоминали, был послан семьей за матерью в Ярополец. Наталья Ивановна тотчас же приехала и прожила с дочерью более двух месяцев.

Александра Петровна Ланская, по мужу Арапова, старшая дочь Натальи Николаевны от второго брака*,

* См.: Краткий словарь имен, упоминаемых в книге.

писала о якобы недоброжелательном отношении к сестрам со стороны жены Дмитрия Николаевича. Вряд ли это справедливо. По письмам Натальи Ивановны и Николая Афанасьевича Елизавета Егоровна нам рисуется как очень добрый человек, и трудно себе представить, чтобы Наталья Николаевна с ее мягким характером могла не поладить с невесткой. Но строптивая Александра Николаевна, вероятно, «выпускала коготки», и, возможно, именно на ее рассказах базируется Арапова. Заметим кстати, что она сама же говорит, что мать никогда ни о ком плохо не отзывалась.

Жизнь в этом глухом по тем временам уголке Калужской губернии текла монотонно. Изредка праздновались дни рождения или именины кого-нибудь из членов семьи. Тогда к столу подавалась бутылка шампанского. В день рождения главы семьи Дмитрия Николаевича полагалось две бутылки: очевидно, приезжали в гости соседи. В книге «Столовая провизия за 1837 год» есть такая запись: «В день рождения Марии Александровны Пушкиной — 1 бутылка»[1]. Марии Александровне в это время было... пять лет!

Сестры много читали. В доме была старинная библиотека, пополнявшаяся и новыми книгами. В одном из писем 1838 года к П. В. Нащокину Наталья Николаевна просила его прислать все сочинения Бальзака. Изредка переписывались с петербургскими друзьями и знакомыми.

С. Н. Карамзина пишет брату Андрею 15 — 16 июля 1837 года:

«...На днях я получила письмо от Натали Пушкиной. Она просит передать тебе привет. Она кажется очень печальной и подавленной и говорит, что единственное утешение, которое ей осталось в жизни, это заниматься детьми...»[2] «...В своем письме я писала ей об одном романе Пушкина Ибрагим*, который нам читал Жуковский, и о котором я, кажется, тебе в свое время тоже говорила, потому что была им очень растрогана, и она мне ответила: «Я его не читала и никогда не слышала от мужа о романе Ибрагим; возможно, впрочем, что я его знаю под другим названием. Я выписала сюда все его сочинения, я пыталась их читать, но у меня не хватает мужества: слишком сильно и мучительно они волнуют, читать его — все равно что слышать его голос, а это так тяжело!»[3]

* «Ибрагим» — неоконченная повесть «Арап Петра Великого».

Несколько раз навещал вдову своего друга Павел Воинович Нащокин, приезжал летом 1837 года и Василий Андреевич Жуковский. О посещении С. Л. Пушкина мы уже писали. За те два года, что Наталья Николаевна прожила в Заводе, она дважды ездила оттуда к матери в Ярополец. Первый раз в 1837 году вместе с Александрой Николаевной и тремя старшими детьми (маленькую Ташу оставили в Заводе) ко дню именин Натальи Ивановны 26 августа и пробыла там, по-видимому, до конца сентября. Вторая поездка Натальи Николаевны весною 1838 года была связана со свадьбой брата Ивана Николаевича, женившегося на яррополецкой соседке княжне Марии Мещерской. Свадьба состоялась 27 апреля 1838 года в Ярропольце. В середине мая Наталье Николаевне неожиданно пришлось поехать в Москву: заболел младший сын Гриша. Оттуда она писала Дмитрию Николаевичу.

«15 мая 1838 года (Москва)[1]

Ты будешь удивлен, увидев на моем письме московский штемпель, — я здесь уже несколько дней из-за здоровья Гриши, и как только консультации закончатся, снова вернусь в Ярополец. Дорогой Дмитрий, не забудь, если ты в этом месяце получишь 3000 рублей, что из этих денег ты должен заплатить Чишихину, а остальные незамедлительно прислать мне в Ярополец. У меня к тебе еще одна просьба. Я хотела бы уехать от матери 1 июня, а мой экипаж еще не будет готов к этому времени. Не можете ли вы, ты и твоя жена, оказать мне услугу и прислать мне свою коляску? Если нет, то поскорее ответь мне, чтобы я соответственно уладила это дело. Не забудь также, мой славный братец, прислать, как ты мне обещал, лошадей; разумеется не на всю дорогу, а как в прошлый раз.

Прощай, дорогой брат, будь здоров. Не пишу тебе больше, потому что я здесь только для того, чтобы посоветоваться с врачами, никого не вижу, кроме них, и нахожусь в постоянной тревоге. Надеюсь, однако, что болезнь Гриши не будет иметь серьезных последствий, как я опасалась вначале. Целую нежно тебя и твою жену. Саша также. Сидит у нас Нащокин, разговорились об делах и он говорит, что вам необходимо надо приехать в Москву и посоветоваться об делах с князем Василием Ивановичем Мещерским по возвращении его из

Петербурга. У него же есть родственник Александр Павлович Афрасимов, большой делец и весьма охотник заниматься процесными делами».

Наталья Николаевна безгранично любила своих детей, болезнь сына очень ее взволновала, и она немедленно выехала из Ярополъца в Москву. Не желая ни с кем встречаться, Наталья Николаевна все же известила о своем приезде Нащокина, и он пришел повидать ее.

Однако как ни тепло относились к Наталье Николаевне родные, ей все же хотелось иметь свой дом, жить одной со своей семьей. Хотя она и жила отдельно, но постоянное общение с большим домом, где часто гостили родственники и наезжали гости, было ей, видимо, в тягость. И мысль о Михайловском, дорогом для ее мужа уголке земли русской, где теперь покоился его прах, все чаще и чаще приходила ей в голову. Она начинает настойчиво хлопотать перед Опекой о выкупе для ее детей села Михайловского, чтобы жить там с семьей. Это небольшое поместье в Псковской губернии после смерти Пушкина было в совместном владении его детей, брата Льва Сергеевича Пушкина и сестры Ольги Сергеевны Павлищевой. Весною 1838 года вдова поэта обратилась в Опеку к М. Ю. Виельгорскому с просьбой о выкупе Михайловского у сонаследников[1]:

«Ваше сиятельство граф Михаил Юрьевич.

Вам угодно было почтить память моего покойного мужа принятием на себя трудной обязанности пещись об несчастном его семействе. Вы сделали для нас много, слишком много; мои дети никогда не забудут имена своих благодетелей, и кому они обязаны обеспечением будущей своей участи; я со своей стороны совершенно уверена в Вашей благородной готовности делать для нас и впредь то, что может принести нам пользу, что может облегчить нашу судьбу, успокоить нас. Вот почему я обращаюсь к Вам теперь смело с моею искреннею и вместе убедительною просьбой.

Оставаясь полтора года с четырьмя детьми в имении брата моего среди многочисленного семейства, или лучше сказать многих семейств, быв принуждена входить в сношения с лицами посторонними, я нахожусь в положении, слишком стеснительном для меня, даже тягостном и неприятном, несмотря на все усердие и дружбу моих родных. Мне необходим свой угол, мне необходимо быть

одной, с своими детьми. Всего более желала бы я поселиться в той деревне, в которой жил несколько лет покойный муж мой, которую любил он особенно, близ которой погребен и прах его. Я говорю о селе Михайловском, находящемся по смерти его матери в общем владении — моих детей, их дяди и тетки. Я надеюсь, что сии последние примут с удовольствием всякое предложение попечительства, согласятся уступить нам свое право, согласятся доставить спокойный приют семейству их брата, дадут мне возможность водить моих сирот на могилу их отца и утверждать в юных сердцах их священную его память.

Меня спрашивают о доходах с етого имения, о цене его. Цены ему нет для меня и для детей моих. Оно для нас драгоценнее всего на свете. О других доходах я не имею никакого понятия, а само попечительство может собрать всего удобнее нужные сведения. Впрочем и в етом отношении могу сказать, что содержание нашего семейства заменит с избытком проценты заплаченной суммы.

И так я прошу Попечителей войти немедленно в сношение с прочими владельцами села Михайловского, спросить об их условиях, на коих согласятся они предоставить оное детям своего брата, выплатить им, есть ли возможно следующие деньги, и довершить таким образом свои благодеяния семейству Пушкина.

Наталья Пушкина

Сего 22 Майя 1838 года».

Вероятно, по этому вопросу Наталья Николаевна переписывалась и с михайловской соседкой Прасковьей Александровной Осиповой. В хозяйственных книгах Полотняного Завода имеются записи, свидетельствующие о том, что ей посылались письма, а в 1838 и 1839 годах из Завода ездил в Псков человек по поручению Натальи Николаевны. В Тригорское была послана какая-то посылка. Расходы по поездкам Василия Варичева отнесены в конторских книгах Полотняного Завода на счета Н. Н. Пушкиной. Там же «зарегистрированы» и почтовые отправления сестер в адрес Загряжской, С. Л. Пушкина, Строганова, Вяземских, Карамзиных, Валуевой; 4 декабря 1837 года Вяземской были посланы письмо и посылка с часами.

Еще летом 1838 года, видимо, начались разговоры о возвращении Натальи Николаевны с семьей в Петербург. Ей было очень тяжело принять такое решение, ве-

роятно, не хотелось делать это так быстро, но она пошла навстречу настояниям тетки Загряжской и сестры Александры Николаевны. «...Какие у нее планы на будущее, не выяснено,— писал с Завода 14 сентября 1837 года Дмитрий Николаевич сестре Екатерине, — это будет зависеть от различных обстоятельств и от добрейшей Тетушки, которая обещает в течение ближайшего месяца подарить нас своим присутствием, желая навестить Ташу, к которой она продолжает относиться с материнской нежностью»[1]. Сохранилось письмо без подписи от 10 апреля 1839 года к Е. Н. Дантес за границу. Почти наверное можно сказать, что корреспонденткой была Нина Доля, лицо очень близкое семье Гончаровых*. Она писала:

«Александрина и Натали в Петербурге, как вы знаете. Натали, естественно, было тяжело возвращаться туда, но тетка-покровительница все решила про себя, а когда она чего-нибудь хочет, то это должно совершиться»[2].

Екатерина Ивановна, как мы уже говорили, не имела своей семьи и обожала Наталью Николаевну, считала ее «дочерью своего сердца»; очень любила она, как мы увидим далее, и детей Пушкиных. Поэтому вполне понятно ее стремление иметь эту семью возле себя, постоянно видеться с ней. Характер у Екатерины Ивановны действительно был властный, если уж она чего-нибудь хотела, «это должно было совершиться». Иван Николаевич писал брату Дмитрию из Царского Села 13 октября 1838 года: «Тетушка здесь и она мне сказала, что уже сняла дом, чтобы заставить сестер приехать, но она еще не знает когда поедет»[3]. Теперь стало известно, что Екатерина Ивановна приезжала в Завод осенью 1838 года. Об этом же пишет и Екатерина Дантес в письме к Дмитрию Николаевичу 26 мая 1839 года: «Вы имели счастье принимать у себя вашу дорогую тетушку Катерину, приехавшую похитить у вас сестер»[4].

Таким образом, очевидно, вопрос о возвращении сестер в Петербург осенью 1838 года был окончательно решен в Заводе после приезда Загряжской. О неожиданности этого решения говорится и в приводимом ниже письме Натальи Ивановны; она о нем не знала, а между тем Дмитрий Николаевич регулярно переписывался с матерью и ставил ее в известность обо всех семейных

* См.: Краткий словарь имен, упоминаемых в книге.

событиях. Екатерина Ивановна сумела уговорить Наталью Николаевну. Полагаем, что главным мотивом здесь были дети: им надо было дать образование, в столице была возможность устроить мальчиков в учебные заведения на казенный счет.

Уезжая из Петербурга в феврале 1837 года Наталья Николаевна не думала, что уезжает навсегда, и, несомненно, предполагала вернуться. Подавая тогда же на высочайшее имя прошение об утверждении опекунов над детьми, Пушкина писала: «...А как не только упомянутое выше движимое имущество покойного мужа моего находится в С. Петербурге, но и я сама должна для воспитания детей моих проживать в здешней столиции, и как при том все избранные мною в опекуны лица находятся на службе в С. Петербурге, то посему и прошу: Дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение принять, малолетних детей моих взять в заведывание С. Петербургской дворянской опеке и, утвердив поименованных выше лиц в звании опекунов детей моих, учинить распоряжение, как законы повелевают»*[1].

Уговаривая Наталью Николаевну вернуться, тетушка обещала оказывать ей всяческую помощь. Как видим, она сняла для нее дом (вероятно, квартиру). Несомненно, в решении этого вопроса не последнюю роль играла и Александра Николаевна. Екатерина Ивановна уже подготовила почву для принятия ее во фрейлины к императрице, и, конечно, легко можно себе представить, в какой восторг от подобной перспективы пришла Александра Николаевна и как она уговаривала сестру не лишать ее счастья устроить свою судьбу. Наталья Николаевна, нежно любившая ее, не могла ей отказать. И наконец, начатые Опекой хлопоты по выкупу Михайловского у совладельцев также требовали ее присутствия в Петербурге. Вот совокупность всех этих обстоятельств и заставила Наталью Николаевну согласиться на возвращение в столицу раньше, чем она хотела бы, хотя, конечно, как совершенно верно замечает Нина Доля, ей было тяжело принять такое решение. Но, как всегда, она ставила интересы близких выше своих чувств и переживаний...

Видимо, в начале ноября 1838 года Загряжская и сестры с детьми выехали в Москву, откуда Наталья Николаевна и Александра Николаевна ездили в Ярополец

* Письмо написано по-русски.

проститься с матерью, а Екатерина Ивановна, очевидно, ждала их в Москве.

12 ноября Наталья Ивановна писала старшему сыну: «...Твои сестры неожиданно приехали ко мне проститься перед отъездом в Петербург. Дай бог, чтобы они не раскаялись в этой затее, которая в глазах здравомыслящих людей мало похвальна. Старшая, без сомнения, больше всех виновата, но это однако нисколько не оправдывает и младшую»[1].

Недовольство Натальи Ивановны вполне понятно: дочери приняли это решение, не посоветовавшись с нею, а главное — под влиянием Загряжской, с которой она была в ссоре. Однако материнское сердце все же не выдержало, и расстались они дружески. Об этом писали Дмитрию Николаевичу сестры из Москвы, где они останавливались на некоторое время по дороге в Петербург.

«Дорогой Дмитрий, — пишет Александра Николаевна, — ты просил меня сообщить тебе о приеме, оказанном нам в Яропольце. Должна тебе сказать, что мы расстались с матерью превосходно. Она была трогательна с нами, добра, ласкова, всячески заботилась о нас. Мы пробыли у нее сутки».

«...Не говорю об матери, — приписывает Наталья Николаевна, — сестра уже все подробно описала; одним словом, она с нами обошлась как нельзя лучше и мы расстались со слезами с обеих сторон»[2].

СНОВА ПЕТЕРБУРГ

По возвращении в Петербург в начале ноября 1838 года Наталья Николаевна жила очень скромно и уединенно. «Мы ведем сейчас жизнь очень тихую, — писала Александра Николаевна брату 24 ноября 1838 года,— Таша никуда не выезжает, но все приходят ее навещать и каждое утро точат у нас лясы»[3]. В эти годы просьбы о деньгах красной нитью проходят через многие письма сестер. Материальное положение их было трудным, а Дмитрий Николаевич очень неаккуратно высылал им деньги. Иногда между ними возникали недоразумения, которые очень тяжело переживала Наталья Николаевна.

«Послушай, дорогой Дмитрий, больше всего я не люблю ссориться с тем, кто мне особенно близок и кого

я люблю всей душой. Давай немного поговорим. Скажи, разве это разумно так сильно на меня сердиться и говорить мне такие неприятные вещи из-за отказа, который даже нельзя назвать таковым, принимая во внимание, что не имея ничего, я ничего и не могу дать, не правда ли? На нет и суда нет, ты это знаешь. Должна признаться, что эта несчастная седьмая часть приносит мне большое огорчение: с одной стороны семья моего мужа сердится, что я не использую эти деньги на покупку псковского поместья, а с другой — ты меня упрекаешь в разорении всей семьи за то, что я их тебе не дала. Словом, со всех сторон только неприятности и огорчения из-за ничтожной суммы, которой я в действительности еще не имею и о которой даже больше не слышу и разговоров... Ответь мне на это письмо, чтобы доказать, что мы с тобою по-прежнему друзья» (июнь — июль 1839 г.)[1].

«2 августа 1839 года[2]

Твое письмо меня осчастливило, дорогой Дмитрий. Тысячу раз благодарю тебя за все те нежные и ласковые слова, что ты мне говоришь, я в них действительно очень нуждалась, так как сердце мое страдало от того разлада, что возник между нами. Ну раз уж с этим покончено, не будем об этом больше говорить, еще раз крепко обнимемся и будем любить друг друга в тысячу раз больше. Я также была счастлива узнать, что ты вышел из затруднительного положения; от всей души желаю тебе спокойствия и полного успеха в делах, да хранит тебя бог и освободит от всех горестей и беспокойств. Еще раз повторяю, что если только я могу быть тебе в чем-либо полезной, от всей души предлагаю тебе свою скромную помощь, располагай мною как тебе заблагорассудится».

Сестры имели право на известную долю доходов с гончаровских предприятий, но денежные дела семьи были, как мы говорили выше, в тяжелом положении. Наталья Ивановна, имевшая собственное довольно значительное состояние и поместье Ярополец в 1400 душ (оно, правда, было обременено долгами), мало помогала детям. После смерти Пушкина некоторое время она давала дочери 3000 рублей в год, а потом перестала, ссылаясь на свои финансовые затруднения. Семье Пушкина была назначена государственная годовая пенсия: 5000 вдове и по 1500 детям; сыновьям — до совершенно-

летия, дочерям — до выхода замуж, всего 11 тысяч. Полученные от посмертного издания сочинений Пушкина 50 тысяч Наталья Николаевна положила в банк и ни в коем случае не хотела трогать, считая, что они принадлежат детям; проценты с этого маленького капитала составляли 2600 рублей; и, наконец, Дмитрий Николаевич должен был выплачивать сестре 1500 рублей. Таким образом, всего Наталья Николаевна имела 15 тысяч в год. Если принять во внимание дороговизну тогдашней жизни, то можно понять, что этого было совершенно недостаточно. Одна квартира в те времена стоила 3—4 тысячи в год. Существовавшие тогда цены кажутся теперь совершенно баснословными. Так, например, нанять карету для поездки семьи из Москвы в Петербург стоило... 1000 рублей! В записных книжках Дмитрия Николаевича, скрупулезно записывавшего все свои расходы, значится, что он тратил на подобное путешествие 320—350 рублей. В «Архиве Опеки Пушкина» приведены данные расходов по дому при жизни Пушкина. Вот некоторые цифры за январь 1837 года. Было израсходовано: на дрова 210 рублей, по счетам аптеки — 84 рубля, на продукты — 775 рублей, на вино — 103 рубля, на прислугу, врача и пр. — 450 рублей, на извозчика — 300 рублей и т. д. Итого в месяц 1984 рубля![1] Таким образом, нам становится понятным то тяжелое положение, в котором часто находилась вдова поэта, ей действительно приходилось бороться с бедностью.

Несомненно, большую моральную поддержку имела Наталья Николаевна в лице тетушки Загряжской, которая принимала и деятельное участие в ее делах, а помогала ли она ей регулярно материально, мы не знаем. Возможно, как это было и раньше, при жизни Пушкина, она заботилась о туалетах сестер, на которые у них не было денег. Но, во всяком случае, помощи этой было недостаточно, и нехватки, а иногда и просто нужда, часто бывали в доме. Пушкин был близок к истине, когда писал в 1833 году Дмитрию Николаевичу, что после его смерти «жена окажется на улице, а дети в нищете».

Вот что писала брату Александра Николаевна (письмо не датировано, но мы полагаем, что оно относится к 1839—1840 годам):

«Дорогой Дмитрий, я думаю ты не рассердишься, если я позволю себе просить тебя за Ташу. Я не вхожу в подробности, она сама тебе об этом напишет. Я только

умоляю тебя взять ее под свою защиту. Ради бога дорогой брат, войди в ее положение и будь так добр и великодушен — приди ей на помощь. Ты не поверишь, в каком состоянии она находится, на нее больно смотреть. Пойми, что такое для нее потерять 3000 рублей*. С этими деньгами она еще как-то может просуществовать с семьей. Невозможно быть более разумной и экономной, чем она, и все же она вынуждена делать долги. Дети растут и скоро она должна будет взять им учителей, следственно, расходы только увеличиваются, а доходы ее уменьшаются. Если бы ты был здесь и видел ее, я уверена, что был бы очень тронут положением, в котором она находится и сделал бы все возможное, чтобы ей помочь. Поверь, дорогой Дмитрий, бог тебя вознаградит за добро, которое ты ей сделал бы. Я боюсь за нее. Со всеми ее горестями и неприятностями, она еще должна бороться с нищетой. Силы ей изменяют, она теряет остатки мужества, бывают дни, когда она совершенно падает духом. Кончаю, любезный Дмитрий, уверенная, что ты на меня не рассердишься за мое вмешательство в это дело, и сделаешь все возможное, чтобы прийти на помощь бедной Таше. Подумай о нас, дорогой Дмитрий, в отношении 1 февраля, и особенно о Таше. Я не знаю что отдала бы, чтобы видеть ее спокойной и счастливой, это настоящее страдание»[1].

В течение семи лет после смерти Пушкина Наталья Николаевна мужественно несла обязанности главы большой семьи. Над детьми Пушкина была назначена опека: в числе опекунов был и граф Г. А. Строганов, двоюродный дядя Натальи Николаевны. Опекуны привели в порядок дела Пушкина, приняли участие в издании собрания сочинений. По просьбе Натальи Николаевны они начали хлопотать о покупке у сонаследников Михайловского.

Ранней весной 1839 года в Петербург после длительного пребывания за границей вернулись граф и графиня де Местр, вместе со своей воспитанницей Натальей Ивановной Фризенгоф и ее мужем Густавом Фризенгофом. Супруги Местр будут играть некоторую роль в нашем повествовании, а потому скажем о них несколько слов. Софья Ивановна Местр была родной сестрой На-

---

* Имеются в виду 3 тысячи рублей, которые посылала мать.

тальи Ивановны и Екатерины Ивановны, следовательно, приходилась теткой сестрам Гончаровым. Ее муж, граф Ксавье де Местр, еще в 1800 году эмигрировавший в Россию, — офицер русской армии, принимал участие в кампании 1812 года и дослужился до чина генерал-майора. Это был широко образованный человек — ученый, писатель и художник. Общеизвестна его миниатюра — портрет Н. О. Пушкиной, матери поэта. В 1813 году Местр женился на С. И. Загряжской, и первые годы супруги, очевидно, жили в Москве. Местр часто посещал дом С. Л. Пушкина, отца поэта. Таким образом, связи этих двух семейств имеют давнюю историю, они были хорошо знакомы, когда Пушкин был еще ребенком. По-видимому, в 1816 году Местры переехали в Петербург, несомненно, бывали у переселившихся в то время туда родителей Пушкина и встречались с молодым поэтом до его ссылки в 1820 году.

В середине 20-х годов Местры уехали за границу и вернулись только в 1839 году. Однако они не прерывали связей с Россией и переписывались с родными и знакомыми, в частности, вели между собой переписку сестры Загряжские. Таким образом, Местры, а через них и Фризенгофы были в курсе жизни Гончаровых и Пушкиных, вплоть до гибели поэта. Об этом, например, свидетельствует и письмо Густава Фризенгофа к брату Адольфу от 7 марта 1837 г., где он пишет о подробностях дуэли, которые были сообщены Софье Ивановне Местр ее сестрой Екатериной Ивановной Загряжской. Приведем выдержку из этого письма.

«...Тетя* также чувствует себя не совсем хорошо; вчера они получили известие, которое очень ее взволновало. Познакомился ли ты в Петербурге с Пушкиным, который женился на тетиной племяннице? Сестра племянницы, барышня Гончарова, шесть недель тому назад вышла за племянника и приемного сына голландского посланника в Петербурге, Геккерна. Между тем какой-то подлый аноним, вероятно из низкой мести, послал Пушкину и многим лицам из общества письма, в которых обвиняет его** жену в..... (нрзб)*** связи с холостяком Геккерном. Пушкин был настолько убежден в невиновности

---

* Тетя — Софья Ивановна Местр.
** Пушкина.
*** неразборчиво.

своей жены, которая его страстно любила, что, начиная с первой минуты, и даже на смертном одре он не переставал уверять ее в этом; у него однако горячая голова, и, так как этим делом занялись сплетницы и толковали о нем по-своему — о чем ему стало известно — он пришел в полное неистовство и принудил своего свояка драться на дуэли, легко его ранил и был им застрелен. Хотя тетя лично не знает этих двух племянниц, которые были воспитаны у своих родителей в деревне, ты легко поймешь, как ее взволновали обстоятельства, сопровождавшие столь отвратительную историю...»[1].

Как мы увидим далее, эти очень тесные родственные отношения с Местрами поддерживала впоследствии и Наталья Николаевна, а в 1852 году овдовевший старик Местр жил у нее на даче, где и умер.

Приведем недатированное письмо Натальи Николаевны, но, несомненно, относящееся к апрелю 1839 года, в котором упоминается о Местрах, а также о свидании вдовы поэта с императрицей.

(Конец апреля 1839 года. Петербург)[2]

«Дорогой Дмитрий. Вот уже и канун праздников, а денег нет, увы. Ради бога, сжалься над нами, пришли нам их как можно скорее. Скоро уже 1 мая, это будет уже за три месяца что ты нам должен. Саша, клянусь тебе, в самом стесненном положении. Я не получила еще ответа от тебя насчет просьбы, с которой к тебе обратилась мадам Карамзина*, она меня об этом спрашивает каждый раз как я ее вижу и ждет ответа с нетерпением. На этой неделе, седьмой, я говею и прошу тебя великодушно простить меня, если в чем-нибудь была перед тобою виновата. Как твоя жена, она уже родила? Кого она тебе подарила? Говорят, что здоровье бедной Мари** очень плохо, она с трудом поправляется после выкидыша. Ваня будет проводить лето в Ильицыне? Потребовал ли Ваня у тебя те 500 рублей, что я ему должна? Вот сколько вопросов, на которые сомневаюсь, что когда-нибудь получу ответ, противный лентяй. Мы не знаем еще что будем делать этим летом, вероятнее всего наш первый этаж, то есть семейство Пушкиных, расположится лагерем на Островах. Местры заявляют, что не поедут за город, но я этому не верю. В общем еще ничего не из-

* Е. А. Карамзина просила Д. Н. взять к себе на фабрику двух ее крепостных.

** М а р и — жена И. Н. Гончарова.

вестно. Но я решила, что не останусь в городе ни за какие сокровища в мире.

Недавно я представлялась императрице. Она была так добра, что изъявила желание меня увидеть и я была там утром, на частной аудиенции. Я нашла императрицу среди своей семьи, окруженную детьми, все они удивительно красивы.

Прощай, дорогой, славный брат, покидаю тебя, так как спешу, я должна сейчас уйти. Поздравляю вас с праздником Пасхи, желаю всяческого счастья тебе, твоей жене и детям. Сашинька тебя нежно целует, а также все твое семейство. Привет и нежный поцелуй от нас обеих Нине».

Итак, из этого письма мы видим, что в апреле 1839 года Местры уже были в Петербурге; летом они жили рядом с Пушкиными на даче.

А как сложились у Натальи Николаевны отношения с двором?

Сохранилось письмо неизвестной (очевидно, Нины Доля) от 10 апреля 1839 года к Екатерине Дантес, где она говорит о встрече, надо полагать, первой, Натальи Николаевны с императрицей в конце 1838 года:

«Натали выходит мало или почти не выходит, при дворе не была, но представлялась императрице у тетки, однажды, когда ее величество зашла к ней идя навестить фрейлину Кутузову, которая живет в том же доме*. Императрица была очень ласкова с Натали, пожелала посмотреть всех ее детей, с которыми она говорила. Это был канун Нового года»[1].

Вряд ли эта встреча императрицы с семьей Пушкина была случайной. Вероятно, все было договорено заранее, и Наталья Николаевна привезла к Загряжской всех своих детей, чего, судя по письмам, она обычно не делала. Из письма мы узнаем и то, что был еще один «частный» визит Натальи Николаевны во дворец в апреле 1839 года. Императрице, вероятно, хотелось показать Наталье Николаевне и своих красивых детей.

До 1843 года Наталья Николаевна не бывала на дворцовых вечерах и приемах и почти не появлялась в великосветском обществе, и эти ее свидания с императрицей, возможно, были единственными за эти годы. О случайной встрече Натальи Николаевны с Николаем I в английском магазине накануне рождественских праздников в

* Во флигере дворца.

1841 году сообщает друг Пушкина П. А. Плетнев: «Его величество очень милостиво изволил разговаривать с Пушкиной. Это было в первый раз после ужасной катастрофы ее мужа»[1]. По-видимому, этим и ограничились в 1839—1842 годы контакты Пушкиной с императорской фамилией. В вышеприведенном письме Нины Доля есть также такие строки:

«Александрина сделала свой первый выход ко двору в Пасхальное утро... но Натали не ездит туда никогда».

Но более того, мы имеем свидетельство самой Натальи Николаевны, что она совершенно не стремилась бывать при дворе. Вот что она писала в 1849 году П. П. Ланскому:

«Втираться в интимные придворные круги — ты знаешь мое к тому отвращение; я боюсь оказаться не на своем месте и подвергнуться какому-нибудь унижению. Я нахожу, что мы должны появляться при дворе только когда получаем на то приказание, в противном случае лучше сидеть спокойно дома. Я всегда придерживалась этого принципа и никогда не бывала в неловком положении. Какой-то инстинкт меня от этого удерживает»[2].

Вряд ли можно переоценить эти строки, свидетельствующие об истинном отношении Натальи Николаевны к придворным кругам. Обратим внимание на ее слова: «Я *всегда** придерживалась этого принципа» — и отнесем их и к годам ее жизни с Пушкиным. Перед нами встает иной облик этой женщины — гордой и самолюбивой, боявшейся малейшего намека на неуважительное к ней отношение со стороны титулованных придворных. Следовательно, несправедливы упреки, которые ей бросали при жизни Пушкина и после его смерти, обвиняя в стремлении постоянно блистать на царских приемах и балах...

Лето 1839 года Наталья Николаевна провела на даче на Каменном Острове. Судя по одному из писем Г. Фризенгофа, Екатерина Ивановна сняла там особняк и пригласила к себе любимую племянницу с семьей. В соседнем доме поселилась тетушка Местр, которая, как и предполагала Наталья Николаевна, не осталась в душном городе на лето. Вместе с Местрами на даче жили и молодые Фризенгофы. О тех и других в письме от 10 июля 1839 года[3] восторженно отзывается Александра Николаевна:

* Курсив наш.— *И. О.* и *М. Д.*

«...Ты знаешь, я полагаю, что приехала тетушка Местр. Мы видим их каждый день. Они исполнены доброты к нам, невозможно не обожать их, они такие хорошие, такие добрые, просто сказать тебе не могу. Фризенгофы также очаровательны. Муж — очень умный молодой человек, очаровательно веселый, Ната, его жена, также очень добра. Она брюхата уже несколько месяцев...»

Осенью семейства Пушкиных и Местров поселились вместе в доме Адама на Почтамтской улице, Наталья Николаевна на первом этаже, тетушка с мужем и, по-видимому, с Фризенгофами — на втором. Таким образом, их родственные связи стали еще более тесными.

«...Не могу ничего особенно хорошего сообщить о нас,— пишет Наталья Николаевна брату 15 декабря 1839 года.— По-прежнему все почти одно и то же, время проходит в беготне сверху вниз и от меня во дворец. Не подумай, однако, что в царский, мое сиятельство ограничивается тем, что поднимается по лестнице к Тетушке»[1].

«Что сказать тебе о нас,— читаем мы в письме от 7 марта (1840 г.).— Мадемуазель Александрина всю масленицу танцевала. Она произвела большое впечатление, очень веселилась и прекрасна как день. Что касается меня, то я почти всегда дома; была два раза в театре. Вечера провожу обычно наверху. Тетушка принимает ежедневно и всегда кто-нибудь бывает»[2].

Интересные сведения об этом периоде их совместной жизни с Местрами находим мы в письме Ивана Николаевича Гончарова от 12 ноября 1839 года:

«...Что сказать тебе о подноготной нашего семейства, которое я только что покинул; к несчастью, очень мало хорошего. Таша и Сашинька не очень веселятся, потому что суровое и деспотичное верховное правление не шутит*; впрочем, в этом нет, пожалуй, ничего плохого, и я предпочитаю видеть, что есть кто-то, кто руководит ими, чем если бы они были одни в Петербурге, тогда было бы еще хуже. Они мало выходят и проводят почти все вечера в гостиной тетушки Местр, хотя и богато обставленной и хорошо освещенной, но скучной до невозможности. Бедная бывшая молодая особа** из всех сил старается делать все возможное, чтобы ее вечера была оживленными, но никто из общества еще не клюет на удочку скуки и бесцветности, которые там царят»[3].

* Имеются в виду обе тетушки: Е. И. Загряжская и С. И. Местр.
** С. И. Местр.

Мимолетные впечатления Ивана Николаевича о вечерах супругов Местр вряд ли в полной мере справедливы. Граф Местр, по свидетельству современников, был очень интересным собеседником. Вот что писал Плетнев о Местрах 22 сентября 1843 года: «...Он один из лучших в Европе живописцев, химиков и физиков. Словом, изумительный старик». «Граф и графиня живут одни — двое умных и живых стариков; нельзя изобразить, как интересно видеть 80-летнего гр. Местра, желающего со всею готовностью души участвовать в умственных занятиях. До сих пор он пишет брошюры по части физики и отсылает их в Париж. Еще за два года он написал несколько картин масляными красками»[1].

Несомненно, привлекало гостей в гостиную Местров и присутствие Натальи Николаевны и ее сестры.

«Пушкиных мы видим ежедневно и постоянно,— пишет Густав Фризенгоф брату 1 августа 1839 года,— я привык к ним и в общем их люблю, они значительно содействуют тому, чтобы салон моей остроумной тетки, который по самой своей природе скучнее всех на свете, был несколько менее скучным»[2]. Как видно, и Фризенгоф иронически отзывается о вечерах Софьи Ивановны, но он, судя по его письмам, очень недолюбливал обеих тетушек, так что, вероятно, его суждение в какой-то степени пристрастно.

В ноябре 1839 года в Петербург приехал Сергей Львович Пушкин. Об этом мы узнаем из письма Натальи Николаевны от 2 ноября:

«Вчера я была очень удивлена: приехал мой свекор. Он говорит, что ненадолго, но я полагаю, что все будет иначе и он преспокойно проведет зиму здесь»[3]. И она оказалась права: и зиму 1839 года и следующие Сергей Львович жил в Петербурге. В письмах Натальи Николаевны за 1841 год мы неоднократно встречаем упоминания о нем. Сергей Львович часто обедал у невестки, по-видимому, были определенные дни, когда он приходил к обеду. Наталья Николаевна с сестрой иногда навещали старика. Вот что говорит она об одном из таких посещений (декабрь 1841 г.):

«На этот раз мы застали свёкра дома. Его квартира непереносимо пуста и печальна. Великолепные его прожекты по размещению мебели ограничиваются несколькими стульями, диваном и двумя-тремя креслами»[4].

Надо полагать, в силу давних дружеских отношений

бывал Сергей Львович и на вечерах Местров и, конечно, часто навещал внуков. Наталья Николаевна поддерживала постоянную связь и с другими членами семьи покойного мужа. Она переписывалась с сестрой Пушкина Ольгой Сергеевной Павлищевой; сын Павлищевых, как мы увидим далее, жил у нее летом на даче. Через князя Вяземского Наталья Николаевна устроила Льва Сергеевича на службу в одесскую таможню. Со свойственной ей душевной щедростью она старается всем помочь, всех обогреть, приласкать. Много лет спустя, уже после смерти Натальи Николаевны, Александра Николаевна писала, что у покойной сестры была «горячая, преданная своим близким душа», и что все родные всегда могли найти в ней самого ревностного помощника и защитника. Эту горячую, родственную душу мы видим во всех письмах Натальи Николаевны.

Очень тепло относилась Наталья Николаевна и к другу Пушкина Петру Александровичу Плетневу.

Плетнев старался всюду защищать Наталью Николаевну от клеветы петербургских салонов. «Не обвиняйте Пушкину. Право, она святее и долее питает меланхолическое чувство, нежели бы сделали это многие другие»,— говорит он. (Из письма к Гроту от 4 февраля 1841 года.)[1]

В письмах Плетнева к Гроту мы часто встречаем упоминание о Пушкиной. Он постоянно навещал ее, бывала у него и Наталья Николаевна, искренне и душевно относившаяся к нему. Приведем несколько выдержек из этих писем.

«Вечер с 7 почти до 12 я просидел у Пушкиной жены и ея сестры,— читаем мы в письме Плетнева к Гроту от 24 августа 1840 года.— Они живут на Аптекарском, но совершенно монашески. Никуда не ходят и не выезжают. Скажите баронессе Котен, что Пушкина очень интересна, хоть и не рассказывает о тетрадях юридических. В ее образе мыслей и особенно в ее жизни есть что-то трогательно возвышенное. Она не интересничает, но покоряется судьбе. Она ведет себя прекрасно, нисколько не стараясь этого выказывать»[2].

«...Гораздо интереснее после был визит Натальи Николаевны Пушкиной (жены поэта) с ее сестрой. Пушкина всегда трогает меня до глубины души своею ко мне привязанностью. Конечно, она это делает по одной учтивости. Но уже и то много, что она старается меня (не имея

большой нужды) уверить, как ценит дружбу мужа ко мне...» (21 марта 1841 года)[1].

«1 апреля 1842 года. С. Петербург.

...В понедельник я обедал у Natalie Пушкиной с отцом и братом (Львом Сергеевичем) поэта. Все сравнительно с Александром ужасно ничтожны. Но сама Пушкина и ее дети — прелесть»[2].

«...Чай пил у Пушкиной (жены поэта). Она очень мило передала мне свои идеи насчет воспитания детей. Ей хочется даже мальчиков, до университета, не отдавать в казенные заведения. Но они записаны в пажи — и у нее мало денег для исполнения этого плана. Был там на минуту Вяземский, который как папа́ нежничает с обеими сестрами... (25 ноября 1842 года)[3].

«...Зашел к Пушкиной. Она в среду приедет ко мне со всем семейством своим (семь человек) на вечерний чай» (22 сентября 1843 года)[4].

«...На чай из мужчин пришли: Энгельгардт, Кодинец и Петерсон, а из дам — Пушкина, сестра ея, гувернанта и дочь Пушкиной с маленькими двумя братьями... Сперва накрыли чай для детей с их гувернантами. После новый чай для нас в зале. Кончив житейское, занялись изящными искусствами: дети танцевали, а потом Оля* играла с Фукс на фортепиано. Александра Осиповна очень полюбила Пушкину, нашед в ней интересную, скромную и умную даму. Вечер удался необыкновенно» (25 сентября 1843 года)[5].

Петр Александрович Плетнев — поэт и критик, профессор российской словесности, а впоследствии ректор Петербургского университета, один из ближайших друзей Пушкина, которому он посвятил свое любимое произведение «Евгений Онегин». Плетнев принимал самое деятельное участие в его издательских и литературных делах. Как мы видим, он очень тепло относился к вдове и детям Пушкина. Это был человек большой души, в высшей степени порядочный, и его характеристика Натальи Николаевны для нас очень ценна. Напомним еще раз его слова: «В ее образе мыслей и особенно в ее жизни есть что-то трогательно возвышенное. Она не интересничает, но покоряется судьбе. Она ведет себя прекрасно, нисколько не стараясь этого выказывать». Вдумаемся в каждое слово этого искреннего отзыва о жене его друга, и мы

* Оля — дочь Плетнева от первого брака.

еще раз найдем здесь подтверждение того, какою была эта женщина и с каким достоинством она себя вела.

Плетнев скромничает, говоря, что Наталья Николаевна так хорошо относится к нему «по одной учтивости». Можно не сомневаться в искренности ее чувств к другу покойного мужа. Совершенно очаровательно описание вечернего чая у Плетнева, который, по его выражению, «удался необыкновенно».

Очень важен для нас и отзыв о Наталье Николаевне писательницы Александры Осиповны Ишимовой, той самой Ишимовой, к которой обращено последнее письмо Пушкина, написанное перед дуэлью. А упоминание о Вяземском, «нежничающем» с сестрами! Это, по-видимому, иронический намек на его ухаживание.

Дружеские отношения Натальи Николаевны с П. А. Плетневым продолжались и после ее второго замужества. Для него она прежде всего мать четырех детей его покойного друга, и к ней самой он питал теплые чувства. Однако, по приводимому ниже письму, Плетнев, видимо, был обижен тем, что после свадьбы по возвращении с дачи Наталья Николаевна нанесла ему визит без мужа, с сестрой. Мы не знаем причины отсутствия Ланского, может быть, он еще оставался с полком в Стрельне, а Наталья Николаевна спешила навестить старого друга. Но Плетнев, по-видимому, недолго сердился, или Ланской нанес ему визит позднее, во всяком случае из письма от 31 октября 1845 года мы видим, что Плетнев запросто заходит к Ланским и хорошо отзывается о муже.

«21 октября 1844 года. С. Петербург[1]

Четверг (19 октября)... на обед зван Ростопчиной. Между тем приехала ко мне с визитом бывшая Пушкина (ныне генеральша Ланская) с сестрою. Она непременно хочет, чтобы и нынешний ея дом был для меня тем же, чем был прежний. Хоть муж ея и показал свое с.......*, не сочтя за нужное приехать с нею ко мне, но я намерен сохранить с ней мои старые отношения; она мать четырех детей моего друга».

«31 октября 1845 г.[2]

...На чай заехал было к Ф. Ф., но как их не застал, то пошел рядом к Ланской-Пушкиной. И муж ее был дома. Он хороший человек».

И Вяземский писал в 1845 году А. И. Тургеневу

* Многоточие в подлиннике.

о Наталье Николаевне: «Муж ее добрый человек и добр не только к ней, но и к детям»[1].

В гостиной Карамзиных Наталья Николаевна неоднократно встречала М. Ю. Лермонтова. В письме Плетнева от 28 февраля 1841 года мы читаем: «В 11 часов тряхнул я стариной — и поехал к Карамзиным, где не бывал более месяца. Карамзина встретила меня словом: revenant*. Там нашлось все, что есть прелестнейшего у нас: Пушкина — поэт, Смирнова, Растопчина и проч. Лермонтов был тоже. Он приехал в отпуск с Кавказа»[2].

Лермонтов, видимо, находился под влиянием сплетен и толков в великосветском обществе, враждебно относившемся к вдове поэта, чуждался ее и избегал говорить с нею. А. Арапова** в своих воспоминаниях пишет, что мать так рассказывала ей об их последней встрече[3].

«Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых, условных фраз. Матери это было тем более чувствительно, что многое в его поэзии меланхолической струей подходило к настроению ее души, будило в ней сочувственное эхо. Находили минуты, когда она стремилась высказаться, когда дань поклонения его таланту так и рвалась ему навстречу, но врожденная застенчивость, смутный страх сковывали уста...

Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верный дорогой привычке, он приехал провести последний вечер к Карамзиным, сказать грустное прости собравшимся друзьям. Общество оказалось многолюднее обыкновенного, но, уступая какому-то необъяснимому побуждению, поэт, к великому удивлению матери, завладев освободившимся около нее местом, с первых слов завел разговор, поразивший ее своей необычайностью. Он точно стремился заглянуть в тайник ее души и, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспощадности осуждений, так часто отталкивавших от него ни в чем перед ним не повинных людей.

Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением; она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту

* Revenant — привидение *(франц.)*.
** См.: Краткий словарь имен, упоминаемых в книге.

она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно, и, дав ему волю, простыми, прочувственными словами она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли. И по мере того, как слова непривычным потоком текли с ее уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял с быстротою вешнего снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просветления.

В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал:

— Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в этой гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собою вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не слишком самонадеянная мечта, стать вам когда-нибудь другом. Никто не может помешать мне посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным.

— Прощать мне вам нечего,— ответила Наталья Николаевна,— но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то, поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.

Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым перед самым отъездом. Ему не суждено было вернуться в Петербург, и когда весть о его трагической смерти дошла до матери, сердце ее болезненно сжалось. Прощальный вечер так наглядно воскрес в ее памяти, что ей показалось, что она потеряла кого-то близкого!

Мне было шестнадцать лет, я с восторгом юности зачитывалась «Героем нашего времени» и все расспрашивала о Лермонтове, о подробностях его жизни и дуэли. Мать мне тогда передала их последнюю встречу и прибавила:

— Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз это была победа сердца, и вот чем была она мне дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение обо мне унес с собою в могилу».

Александра Ланская, вероятно, не раз слышала от матери этот рассказ, и в данном случае сути того, что она говорит, можно доверять, если абстрагироваться от излишней «беллетризации» изложения. Не подлежит сомнению, что неожиданно разговорившийся с Натальей Николаевной Лермонтов почувствовал все обаяние этой женщины, всю мягкость и нежность ее натуры и говорил с ней так искренне и откровенно, что мгновенно нашел отклик в ее душе.

В 1960 году вышла в свет переписка Карамзиных, из которой мы узнаем, что весной 1836 года сын Е. А. Карамзиной, Андрей Карамзин, заболел. Подозревали начало чахотки, и врачи отправили его лечиться за границу. Письма к нему семьи Карамзиных охватывают период с конца мая 1836 года по конец июня 1837-го, то есть как раз то время, когда назревали трагические события в семье Пушкиных и после смерти поэта. Именно поэтому эта переписка представляет такой большой интерес. Мы неоднократно будем ссылаться на эти письма, характеризующие отношение Карамзиных и к Пушкину, и к Наталье Николаевне.

Арапова пишет, что у Карамзиных после отъезда Лермонтова было много «толков» о перемене в отношении поэта к вдове Пушкина. Но Карамзины, конечно, видели сдержанность и холодность Лермонтова до этого случая, и не Софья ли Николаевна говорила ему в недоброжелательных тонах о Наталье Николаевне?..

В письмах С. Н. Карамзиной мы часто встречаем утверждения, что вдова не будет неутешной, что это женщина не способна глубоко переживать. «Это Ундина, в которую еще не вдохнули душу»,— говорит она. Надо полагать, эта отрицательная характеристика Пушкиной из гостиной Карамзиных распространялась в светском обществе, а через письма Андрею Карамзину — и за границу. Но пушкиноведение располагает и другими документами, свидетельствующими об обратном. Обнаруженные нами неизвестные письма также подтверждают это.

Наталья Николаевна свято чтила память Пушкина. Каждую пятницу она постилась и никогда никуда не ездила в канун и в день смерти мужа. Забегая несколько вперед, приведем свидетельство одной современницы.

В 1855 году, во время Крымской кампании, генерал Ланской был командирован в Вятку для формирования ополчения. Вместе с мужем поехала и Наталья Николаевна. В Вятке сохранились воспоминания о ней Л. Н. Спасской, дочери местного врача Н. В. Ионина, лечившего Наталью Николаевну. Вот что она пишет:

«Я слышала, что один из дней недели, именно пятницу (день кончины поэта — пятница 29 января 1837 г.), она предавалась печальным воспоминаниям и целый день ничего не ела. Однажды ей пришлось непременно быть у Пащенко* в одну из пятниц. Все заметили необыкновенную ее молчаливость, а когда был подан ужин, то вместо того чтобы сесть, как все остальное общество, за стол, она ушла одна в залу и там ходила взад и вперед до конца ужина. Видя общее недоумение, муж ее потихоньку объяснил причину ее поступка, сначала очень удивившего присутствующих. Этот последний рассказ я слышала от покойного Ф. К. Яголковского, очевидца-свидетеля происшествия»[1].

О том, что Наталья Николаевна никуда не ездила в траурные дни, мы читаем и в письме Плетнева от 30 января 1843 года: «...Остаток вечера я с Вяземским провел у Н. Пушкиной. Это был канун смерти ее мужа, почему она и не поехала на придворный бал»[2].

Пережитая трагедия оставила след на всю жизнь. Нервы ее, судя по письмам и ее и Александры Николаевны, были в очень плохом состоянии. Она начала курить. Дочь ее Арапова говорит в своих воспоминаниях, что веселой она ее никогда не видела: «Тихая, затаенная грусть всегда витала над ней. В зловещие январские дни она сказывалась нагляднее: она удалялась от всякого развлечения, и только в усугубленной молитве искала облегчения страдающей душе»[3].

Печаль, которую она носила в своей душе, отражалась и на выражении ее лица, где бы она ни была, даже в светском обществе. Молодой итальянец граф Паллавичини, встретив Наталью Николаевну среди гостей на даче у Лавалей, так писал о ней 8(21) июля 1843 года[4]:

«Общество было очаровательно. Госпожа Пушкина,

* Пащенко — вятский чиновник.

вдова поэта, убитого на дуэли — прекрасна; омраченное тяжелым несчастьем ее лицо неизъяснимо печально».

«...Несмотря на то, что я окружена заботами и привязанностью всей моей семьи,— писала сама Наталья Николаевна в 1849 году,— иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве. Эти минуты сосредоточенности перед иконой, в самом уединенном уголке дома, приносят мне облегчение. Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое часто раньше принимали за холодность и меня в ней упрекали. Что поделаешь? У сердца есть своя стыдливость. Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца»[1].

Поразительное признание! Религиозная настроенность понятна в женщине, получившей строгое религиозное воспитание в семье, но обратим внимание — скрытность и сдержанность, очевидно, одна из основных черт ее характера: не каждому открывала она свое сердце. Еще и еще раз вспомним слова Пушкина: «...а душу твою люблю я более твоего лица». Значит, перед ним была открыта душа этой прекрасной женщины, от ее сердца был у него ключ... Память об этой первой любви она пронесла через всю жизнь, и ее безграничная, самоотверженная любовь к детям от Пушкина тому свидетельство.

ЛЕТО В МИХАЙЛОВСКОМ

Так сложилось, что при жизни Пушкина Наталье Николаевне ни разу не пришлось побывать в Михайловском. В 1832, 1833 и 1835 годах весною или в начале лета она рожала, роды всегда протекали тяжело, она долго болела, и ехать с маленьким ребенком за 400 верст было, конечно, невозможно. Летом 1834 года она с детьми жила у брата в Полотняном Заводе, так как Пушкин в связи со своими издательскими делами должен был оставаться в Петербурге.

«Сегодня 14-ое сентября,— писал Пушкин жене в 1835 году из Михайловского.— Вот уж неделя как я тебя оставил, милый мой друг; а толку в том не вижу. Писать не начинал и не знаю когда начну. За то беспрестанно думаю о тебе, и ничего путного не надумаю. Жаль мне, что я тебя с собою не взял. Что у нас за погода! Вот уже три дня, как я только что гуляю то пешком, то верьхом...».

Вспомним, что и вторая его поездка в Болдино осенью 1834 года тоже не принесла желаемых результатов. Поэт тоскует, скучает, без жены ему не работается, и он решает вернуться раньше положенного им срока. «Не уж то близ тебя не распишусь?» — пишет он Наталье Николаевне! *Близ тебя...*

Известно, что лето 1841 и 1842 годов Наталья Николаевна с семьей провела в Михайловском. Но бывала ли она там в 1838—1840 годах? Этого мы не знаем. Однако такое намерение у нее было: еще 27 марта 1837 года она писала из Полотняного Завода П. А. Осиповой, соседке Пушкина по Михайловскому, о своем желании приехать, прося разрешения у нее остановиться.

Прасковья Александровна и дочери ее Евпраксия Николаевна Вревская и Анна Николаевна Вульф, основываясь на великосветских сплетнях, до них дошедших, неприязненно относились к вдове поэта. Получив письмо Натальи Николаевны, Осипова писала А. И. Тургеневу, что ей будет очень тяжело ее видеть: «Конечно, не вольно, но делом она причиною, что нет Пушкина и только тень его с нами». И Евпраксия, и Анна были в Петербурге во время январских трагических событий. Евпраксия Николаевна рассказывала, что накануне дуэли Пушкин приезжал к ним и якобы сказал, что завтра дерется с Дантесом. А. И. Тургенев свидетельствует, что Наталья Николаевна очень упрекала Вревскую в том, что, зная об этом, она ее не предупредила. Трудно сказать, действительно ли Евпраксия Николаевна была столь осведомлена. Возможно, Пушкин в разговоре и бросил какую-то фразу, намекавшую на предстоящую дуэль, которая потом, в свете последовавших событий, уже толковалась Вревской как доверительное отношение к ней Пушкина.

Брат ее мужа, М. Н. Сердобин, в своем письме с выражением соболезнования к С. Л. Пушкину от 27 марта 1837 года так пишет об этом: «Во время краткого пребывания здесь моей невестки*, покойный Александр Сергеевич часто заходил к нам и даже обедал и провел весь день у нас накануне этой злосчастной дуэли. Можете себе вообразить наше удивление и наше горе, когда мы узнали об этом несчастьи»[1]. Таким образом, Евпраксия Николаевна говорит, что она знала о дуэли, а Сердобин свидетельствует, что они ничего не знали. Во всяком случае, при оценке высказываний тригорских приятель-

* Е. Н. Вревской.

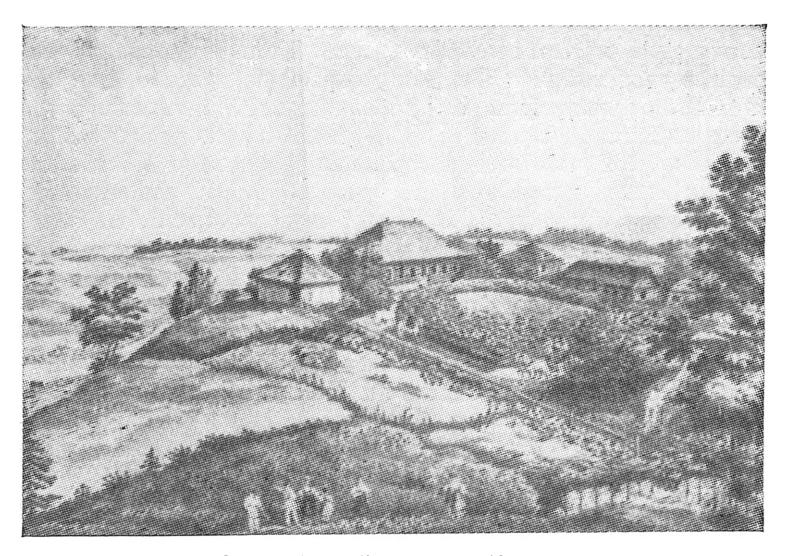
ниц поэта следует всегда помнить об их пристрастном отношении к Наталье Николаевне. Анна Николаевна питала в свое время к Пушкину серьезное чувство, Евпраксия Николаевна была в него влюблена, а Пушкин, когда жил в Михайловском в 1824—1826 годах, ухаживал за той и другой. Обе они, несомненно, ревновали его к жене и относились к ней вначале враждебно. Это ясно прослеживается в письмах А. Н. Вульф и, особенно, Е. Н. Вревской. По поводу дуэли Пушкина с Дантесом Вревская говорила: «Тут жена не очень приятную играет ролю во всяком случае. Она просит у Маминьки позволения приехать отдать последний долг бедному Пуш.— Так она его называет. Какова?»[1]

Но посмотрим, что писала сама Евпраксия Николаевна мужу 30 января 1837 года, на другой день после смерти поэта.

«...Во вторник я хочу уехать из Петербурга, не ожидая сестры. Я больше не могу оставаться в этом городе, пребывание в котором во многих отношениях так для меня тяжело. Пишу это письмо под впечатлением очень печального события, которое тебе также будет прискорбно. Бедный Пушкин дрался на дуэли со своим зятем Дантесом и был так опасно ранен, что прожил только один день. Вчера в 2 часа пополудни он скончался. Я никак не опомнюсь от етаго происшествия, да и твое молчание меня очень беспокоит. Приготовь Маминьку к етой несчастной новости. Она ее очень огорчит. Бедный Пушкин! — Жена его в ужасном положении... Мне так грустно из-за твоего молчания и этой злополучной новости, что я не могу больше тебе писать»[2].

Итак, Евпраксия Николаевна хочет по многим причинам скорее покинуть Петербург. Одна из них: смерть Пушкина. Она не знает даже точно, сколько дней прожил поэт после дуэли. «Бедный Пушкин»... Это выражение она находит предосудительным в устах жены поэта, но ей, которая якобы любит Пушкина больше, оно простительно.

Вревская была пустенькая провинциальная барыня. (В свое время, в 1824 году, Пушкин называл тригорских девиц «несносными дурами» и «довольно не привлекательными во всех отношениях».)[3] Письма ее полны петербургских и деревенских сплетен.



Сельцо Михайловское (1838 г.).

Наталья Николаевна узнала о недоброжелательном к ней отношении тригорских соседок и не захотела останавливаться у них. Друзья поэта отговорили ее от этой поездки, оберегая от неприятных переживаний.

В 1838 году в ноябре месяце Наталья Николаевна переехала в Петербург и, видимо, зимой в Михайловском не была. Почему же не ездила она туда с семьей на лето? Полагаем, что к тому были следующие причины. Целых три года шли переговоры с сонаследниками о продаже имения детям Пушкина. Пока это дело тянулось, летом там, несомненно, жил Сергей Львович, а может быть, и Лев Сергеевич и Ольга Сергеевна с семьей. Наталье Николаевне не хотелось, вероятно, ехать туда до выкупа Михайловского и введения ее в права опекуна, поэтому лето 1839 и 1840 годов она прожила на даче под Петербургом. Но в январе 1841 года, наконец, «псковское дело» было окончено, и Наталья Николаевна сообщает брату, что она с Александрой Николаевной собирается в Михайловское на лето. В 1837 году, когда Наталья Николаевна уехала в Полотняный Завод, обстановка квартиры и библиотека Пушкина, как мы упоминали, были сданы Опекой на хранение на склад. По возвращении ее в Петербург маленькая квартира, видимо, не дала



Святогорский монастырь.

ей возможности взять все вещи, и часть их осталась на складе. После окончания дела о покупке Михайловского постановлением от 16 февраля 1841 года опекунство решило: «...с одной стороны сдать вдове Н. Н. Пушкиной некоторые предметы имущества, находившегося у оного, а с другой открывшуюся вдове Пушкиной покупкою упомянутого имения возможность принять на свое сохранение те предметы, избавив тем опекунство сие от излишних расходов...»[1]

Хотя Наталья Николаевна и писала брату, что собирается в Михайловское на лето, но у нее, очевидно, была мысль обосноваться там на более продолжительное время. Она отказалась от петербургской квартиры, часть обстановки, видимо, оставила на складе, а остальную мебель и библиотеку Пушкина повезла в Михайловское.

15 мая 1841 года большой обоз и экипажи с семьей Пушкиных и Александрой Николаевной тронулись в путь. 19 мая они прибыли в Михайловское.

На другой же день по приезде Наталья Николаевна поехала в Святогорский монастырь на могилу мужа. Еще в конце 1839 года Наталья Николаевна заказала известному петербургскому мастеру Пермагорову памятник-надгробие на могилу мужа. В ноябре 1840 года оно было го-

тово, и Наталья Николаевна поручила бывшему михайловскому управителю Михайле Калашникову доставить его на место. Но установка надгробия была отложена до весны, то есть до приезда Натальи Николаевны.

«Пушкина хоронили дважды,— пишет в своей книге «У лукоморья» директор пушкинского заповедника «Михайловское» С. С. Гейченко[1].— Первый раз его хоронил в 1837 году А. И. Тургенев. Второй раз хоронила Наталья Николаевна и дети — в 1841 году... Установка памятника оказалась непростым делом. Нужно было не только смонтировать и поставить на место привезенные из Петербурга части, но и соорудить кирпичный цоколь и железную ограду; под все четыре стены цоколя на глубину два с половиной аршина подвести каменный фундамент и выложить кирпичный склеп, куда было решено перенести прах поэта. Гроб был предварительно вынут из земли и поставлен в подвал в ожидании завершения постройки склепа. Все было закончено в августе».

Несомненно, была отслужена торжественная панихида, на которой, кроме семьи Пушкиных, вероятно, присутствовали и Осиповы, а также дворовые и крестьяне.

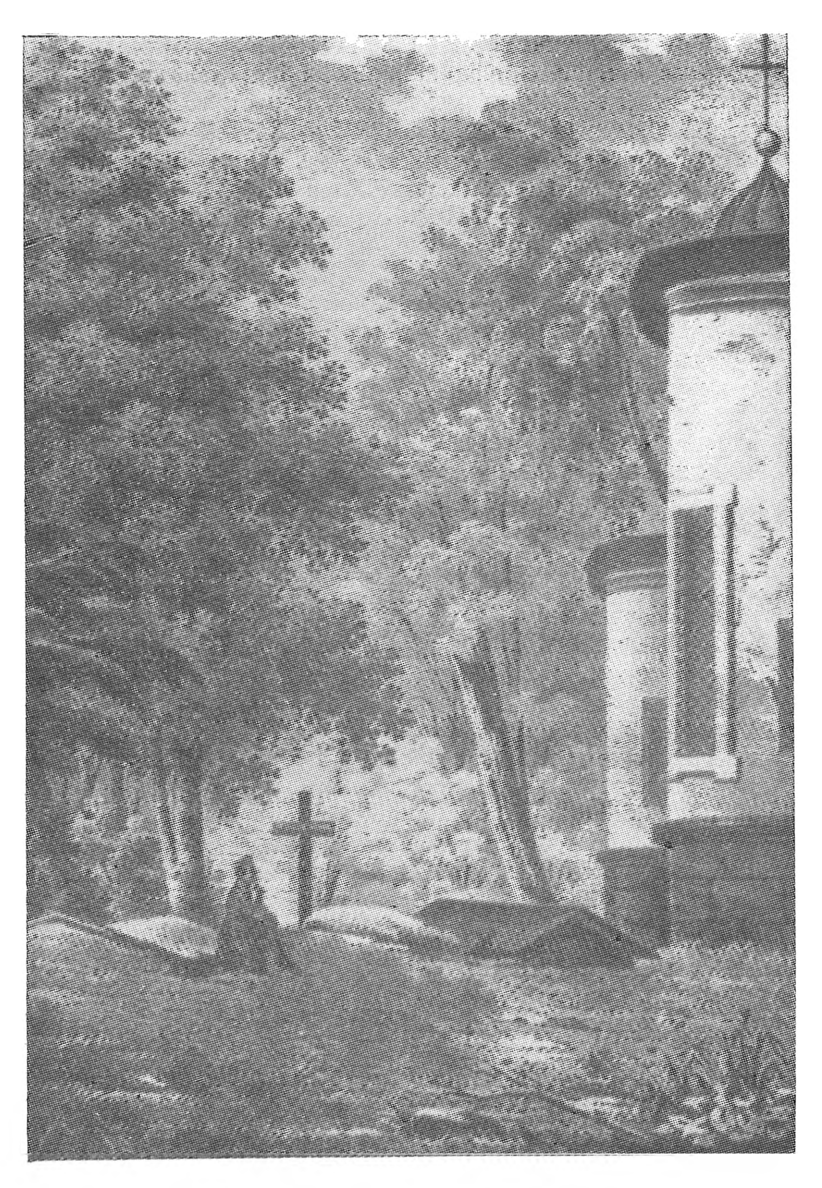
Наталья Николаевна в течение лета много раз бывала с детьми на могиле мужа, желая, по ее словам, утверждать в их сердцах священную его память... Ей и самой было очень тяжело еще и еще раз переживать гибель мужа. Вяземскому в начале июня 1841 года она пишет, что чувствует себя смертельно опечаленной...[2]

В декабре 1841 года, уже из Петербурга, в письме к Павлу Воиновичу Нащокину она писала*:

«Мое пребывание в Михайловском, которое вам уже известно, доставило мне утешение исполнить сердечный обет давно мною предпринятый. Могила мужа моего находится на тихом уединенном месте, место расположения однакож не так величаво, как рисовалось в моем воображении; сюда прилагаю рисунок, подаренный мне в тех краях — вам одним решаюсь им жертвовать. Я намерена возвратиться туда в мае месяце, есть ли вам и всему Семейству вашему способно перемещаться, то приезжайте навестить нас...»[3].

Михайловский дом сильно обветшал еще при жизни поэта. О состоянии его в 1841 году можно судить по письму к Наталье Николаевне П. А. Вяземского. «Вы прекрасно сделали, что поехали на несколько месяцев в де-

* Письмо написано по-русски.



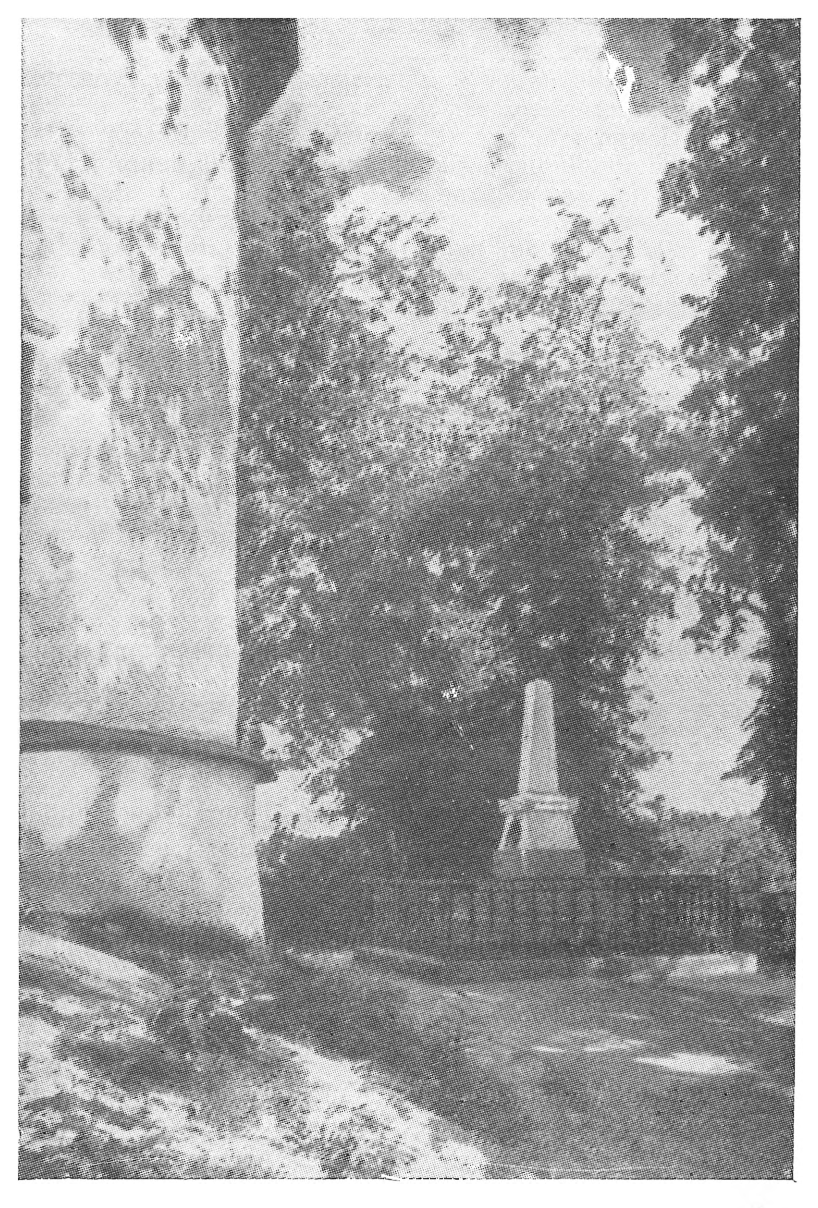
Могила А. С. Пушкина (1837 г.).

ревню,— пишет он 6 июня 1841 года.— Во-первых, для здоровья детей это неоцененно, для кошелька также выгодно. Если позволите мне дать вам совет, то мое мнение, что на первый год нечего вам тревожиться и заботиться об улучшении имения. Что касается до улучшений в доме, то это дело другое. От дождя и ветра прикрыть себя надобно, и несколько плотников за небольшие деньги все устроить могут. Если вы и сентябрь проведете в деревне, то и тут нужно себя оконопатить и заделать щели»[1]. Очевидно, какой-то небольшой ремонт Наталья Николаевна сделала, и для летнего жилья дом стал пригоден.

Однако жизнь в Михайловском, где не было хоть сколько-нибудь сносного усадебного хозяйства и все приходилось покупать на стороне, причиняла Наталье Николаевне постоянные беспокойства и хлопоты. За время пребывания семьи поэта в Михайловском сохранилось несколько писем Натальи Николаевны, здесь мы приведем наиболее интересные из них.

«20 мая 1841. Михайловское[2]

Вот мы и приехали в Михайловское, дорогой Дмитрий. Увы, лошадей нет, и мы заключены в нашей хижине, не имея возможности выйти, так как ты знаешь как ленивы твои сестрицы, которые не любят утруждать свои бедные ножки. Ради бога, любезный брат, пришли нам поскорее лошадей, не жди пока Любка оправится, иначе мы рискуем остаться без них все лето. Таратайка тоже нам будет очень кстати. Ты был бы очень мил, если бы приехал к нам. Если бы ты только знал, как я нуждаюсь в твоих советах. Вот я облечена титулом опекуна и предоставлена своему глубокому невежеству в отношении всего того, что касается сельского хозяйства. Поэтому я не решаюсь делать никаких распоряжений из опасения, что староста рассмеется мне прямо в лицо. Мне кажется, однако, что здесь все идет как бог на душу положит. Говоря между нами, Сергей Львович почти не занимался хозяйством. Просматривая счета конторы, я прежде всего поняла, что это имение за 4 года дало чистого дохода только 2600 руб.— Ради бога приезжай мне помочь; при твоем опыте, с твоей помощью я может быть выберусь из этого лабиринта. Дом совершенно обветшал; сад великолепен, окрестности бесподобны — это приятно. Не хватает только лошадей, чтобы нам здесь окончательно понравилось — поэтому, пожалуйста, пришли нам их незамедлительно, а также и деньги. Извини, дорогой брат, за напоминание, но я за-



Надгробие на могиле поэта, установленное Н. Н. Пушкиной (1841 г.).

няла у кн. Вяземского при отъезде, и это заставляет меня тебе надоедать. А пока прощай. Почта уходит сегодня вечером. Сейчас я еду в монастырь на могилу Пушкина. Г-жа Осипова была так любезна одолжить мне свой экипаж. Целую тебя от всего сердца, а также твоих детей. Твою жену целую отдельно, желая ей счастливых родов — и так как я полагаю, она хочет дочь, я ей ее желаю, вопреки твоему желанию, принимая во внимание, что тебе хватит уже двух мальчиков для удовлетворения отцовской гордости.— Прощай душа моя, целую тебя от души, будь здоров и щастлив. Дети тебя и всех твоих целуют нежно и крепко. Сестра также вас всех целует».

«5 июня 1841 г. Михайловское[1]

Хотя я и писала тебе в своем последнем письме, дорогой и добрейший брат, что я не осмеливаюсь настаивать и просить тебя прислать мне деньги, которые ты обещал, я, однако, все же вынуждена снова докучать тебе. В моем затруднительном положении я не знаю больше никого, к кому могла бы обратиться. Наступило время, когда Саша и я должны вернуть Вяземскому 1.375 рублей. Потом, так как я дала поручение подыскать нам в П.* квартиру, придется давать задаток. Следственно, если ты не придешь мне на помощь, я, право, не знаю, что делать. Касса моя совершенно пуста, для того чтобы как-то существовать, я занимаю целковый у Вессариона**, другой — у моей горничной, но и эти ресурсы скоро иссякнут. Занять здесь невозможно, так как я никого тут не знаю. Ради бога, любезный и дражайший братец, прости меня, если я тебе так часто надоедаю по поводу этих 2.000 рублей. Надеясь на твое обещание, я соответственно устроила свои дела, и эта сумма — единственная, на что я могу рассчитывать для расплаты с долгами и на жизнь до сентября.

Мой свекор находится здесь уже несколько недель, и я пользуюсь минуткой, пока он отлучился, чтобы написать тебе эти несколько строк. Хочу еще надоесть тебе с одной просьбой, но мне уже не так тяжело к тебе с ней обратиться. Не забудь о запасе варенья для нас; я не могу его сделать здесь, потому что тут почти нет фруктов; ты нам не откажешь, не правда ли, мой добрый братец?

* П.— Петербург.
** Виссарион — слуга Натальи Николаевны.



Сергей Львович Пушкин.

Прощай, вот уже свекор возвращается домой, и я оставляю тебя, целуя от всего сердца тебя, жену, а также столько детей, сколько теперь у вас имеется, так как я надеюсь, что уже есть прибавление семейства.

Ради бога, хоть словечко в ответ, не следуй пословице: на глупый вопрос не бывает ответа».

(Начала письма нет)[1]

«...для уплаты долгов и расходов по переезду; остальные 1000 руб. предназначаются мне на прожитие до сентября. Итак, я сейчас сижу без копейки и буду в таком же положении, даже если ты мне пришлешь майские 1000 руб., так как они должны пойти на уплату долга кн. Вяземскому. Поэтому прошу тебя, дорогой и добрейший брат, сделай милость пришли мне 2000 сразу. Ради бога не сердись на меня, но я действительно нахожусь в отчаянном положении, хотя и живу в деревне, но в этом имении ничего нет и все надо покупать на первых порах. Надеюсь, что в будущем году я устроюсь здесь лучше, но сейчас я нахожусь в большом затруднении. Признаюсь тебе, дорогой брат, что я горячо молю бога, чтобы ты

приехал, твое присутствие было бы для меня такой большой милостью, я брожу как в потемках, совершенно ничего не понимая и вынуждена играть свою роль, чтобы староста и не подозревал о моем глубочайшем невежестве. Прощай, дорогой и добрейший брат, целую тебя от всего сердца и люблю по-прежнему, еще раз прости за мою постоянную докучливость, я сама это сознаю. Поцелуй нежно свою жену, желаю ей счастливых родов, и расцелуй обоих мальчиков. Не знаю разберешь ли ты мои каракули, у меня плохое перо, которое едва пишет, а я ленюсь пойти за другим. Еще одна просьба, но я думаю, что ты легко ее удовлетворишь. У меня здесь есть мальчик 10 лет, которого я хотела бы обучить на ткача, не мог бы он пройти обучение у тебя, в этом случае я прислала бы его с людьми, которые пригонят нам лошадей. У тебя есть наш адрес, не правда ли? Прощай еще раз добрейший Дмитрий».

В течение всего лета Наталья Николаевна тщетно умоляла брата приехать и помочь ей своими советами, но так и не дождалась его. Отчасти это можно объяснить тем, что Дмитрий Николаевич ожидал родов жены (она родила 30 июня); заблаговременно до этого события он отвез ее в Калугу, потом, очевидно, прожил там с ней какое-то время после родов, пока можно было ей вернуться в Полотняный Завод. А там уже, ближе к осени, он, наверное, счел излишним ехать, полагая, что сестра в сентябре вернется в город. Дмитрий Николаевич так и не прислал ей деньги, которые был ей должен, и, видимо, вообще почти не писал ей: о рождении дочери он сообщил только 18 августа.

Бедная Наталья Николаевна чувствовала себя совершенно беспомощной, впервые очутившись одна в деревне, ничего не понимая в сельском хозяйстве. Как мы видим, Сергей Львович приехал в Михайловское задолго до Натальи Николаевны и прожил там до конца августа. В письме от 9 сентября 1841 года из Царского Села Вяземский пишет Наталье Николаевне, что встретил там ее свекра, вернувшегося из Михайловского. Высказывавшееся в некоторых исследовательских работах предположение, что Сергей Львович жил не в одном доме с невесткой, а в Тригорском у Осиповой или в Голубове у Вревских, письмом от 5 июня опровергается. Полагаем, что

если бы даже у него и было такое намерение, Наталья Николаевна никогда не допустила бы этого, во избежание сплетен и пересудов. Но, учитывая мелочный и придирчивый характер свекра, думаем, что жизнь с ним доставила ей немало неприятных минут. Недаром остроумный Вяземский в письме к Наталье Николаевне называет его «бо-перчиком»*.

Вспомним здесь, что отношения Пушкина с отцом всю жизнь были холодными. И хотя Сергей Львович искренне переживал гибель сына, отголоски этих отношений чувствуются и в последующие годы. Так, Сергей Львович отказался от своей доли наследства после смерти сына не в пользу вдовы с четырьмя детьми, а в пользу Ольги Сергеевны. «Подаренное» им в 1831 году Пушкину к свадьбе Кистенево было передано только в пожизненное владение и после смерти поэта вновь вернулось в собственность отца. В 1837 году по распоряжению Николая I была снята всякая задолженность с болдинских поместий старика Пушкина, следовательно, он получал значительные доходы, но, оплачивая карточные и другие долги младшего сына Льва, ничем не помогал Наталье Николаевне. И, как мы увидим далее, одолжив ей 2000 рублей, потребовал с нее «обеспечение» уплаты в виде письма в контору Строганова, с тем чтобы эти деньги вычли из ее пенсии...

Осложняли финансовые дела Натальи Николаевны и гости, посетившие в это лето Михайловское. В конце июля проездом с больной женой за границу заехал навестить сестер Иван Николаевич. Об этом до сих пор не было известно, мы узнаем это впервые из нижеприводимого письма. Иван Николаевич Гончаров, ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, блестящий красавец, был женат на Марии Ивановне Мещерской, родители которой, как мы уже упоминали, были близкими соседями Натальи Ивановны по Ярополыцу. А. В. Мещерский, племянник Марии Ивановны, так говорит о своей тетке:

«...Марья Ивановна была смолоду очень красива и соединяла блестящие дарования и остроумие с подкупающей добротой и необыкновенной пылкостью и отзывчивостью сердца»[1]. В декабре 1840 года Иван Николаевич уволился со службы, как сказано в приказе, «по домашним обстоятельствам», по-видимому, в связи с тяжелой

* Игра слов: beau-père — свекор *(франц.)*.



Наталья Николаевна с дочерью Машей.

болезнью жены. По совету врачей он повез ее за границу лечиться. О приезде Гончаровых Наталья Николаевна писала Дмитрию.

«30 июля 1841 г. Михайловское[1]

Я получила твое письмо, любезный и добрый брат, за два дня до приезда Вани, и эта причина помешала мне ответить на него сразу. Их приезд был для нас неожиданностью, а пребывание только в течение двух дней нас крайне опечалило. Мари очень плохо себя чувствовала, очень устала, но три ночи спокойного сна у нас ее немного подбодрили, и она была в состоянии продолжить путешествие. Здоровье Вани, мне кажется, тоже не блестяще, и хороший климат, я полагаю, ему так же необходим, как и жене. А сейчас мы находимся в ожидании Фризенгофов, которые собираются провести недели две с нами. Они будут постоянно жить в Вене; к счастью для нас, наш уголок лежит на пути за границу. Это доставляет нам радость, но также и печаль расставания со всеми нашими друзьями. Прощаясь с Ваней, мы имели

надежду через некоторое время снова встретиться; совсем иное дело — Фризенгофы, нет шансов, что мы когда-либо увидимся, поэтому последнее прощание будет еще печальнее. Мы связаны нежной дружбой с Натой, и Фризенгоф во всех отношениях заслуживает уважения и дружеских чувств, которые мы к нему питаем.

Мне очень стыдно снова возвращаться к деловой теме. Попытаюсь кратко и точно изложить тебе состояние моих дел, чтобы извинить в твоих глазах мою настойчивость. Я никогда не сомневалась в твоем расположении, при всех обстоятельствах моей жизни ты мне давал в том доказательства, а неблагодарность никогда не была моим недостатком. Прочти же снисходительно то, что дальше последует; повторяю, если я говорю тебе о моих затруднениях, то только для того, чтобы хоть немного извинить мою надоедливость. Итак, вот каково мое положение. При отъезде, как я уже тебе раньше писала, я заняла 1000 рублей у Вяземского без процентов, без какого-либо документа. Срок возврата был 1 июля. Я знаю, что он в стесненных обстоятельствах, и мне было очень тяжело не иметь возможности с ним расплатиться. Позднее, плата за новую квартиру, которую мне подыскивают в П., требовала отправки такой же суммы. Мне были необходимы две тысячи рублей, а где их взять? Я могла их ожидать только от тебя, а твое последнее письмо лишило меня всякой надежды. При таком положении вещей я была вынуждена обратиться к свекру. Он согласился одолжить мне эту сумму, но при условии, что я верну ему деньги к 1 сентября. Ему нужно было обеспечение, и он настоял на том, чтобы я дала ему письмо к служащему строгановской конторы, который ему выдаст эти деньги из пенсии за третий — сентябрьский — квартал. Эта сумма выражается в 3.600 руб., и я должна была жить на нее до января. Значит, мне остается всего 1.600 рублей, из них мне придется платить за квартиру, на эти же деньги переехать из деревни и существовать — этого недостаточно, ты сам прекрасно понимаешь. Я не поколебалась бы ни на минуту остаться на зиму здесь, но когда ты приедешь к нам, ты увидишь, возможно ли это. Мне не на кого надеяться, кроме тебя. Итак, дорогой и добрейший братец, простишь ли ты мне, что я еще раз умоляю тебя прислать мне 2.000 хотя бы к сентябрю, а остальные, которые мне причитаются или которые ты мне обещал на

сентябрь, я буду считать себя счастливой и спокойной, если у меня будет надежда получить их к концу октября. Письмо к Носову, что ты нам обещал, еще не пришло; тысячу раз спасибо от нас обеих.

Что касается лошадей, единственное, что я тебя попросила бы теперь, это сообщить мне без промедления, можешь ли ты прислать мне их на зиму, потому что тогда мне надо сделать запас овса и обучить кого-нибудь на форейтора. Если же нет, я ограничусь извозчичьими лошадьми, и эти расходы не нужны.

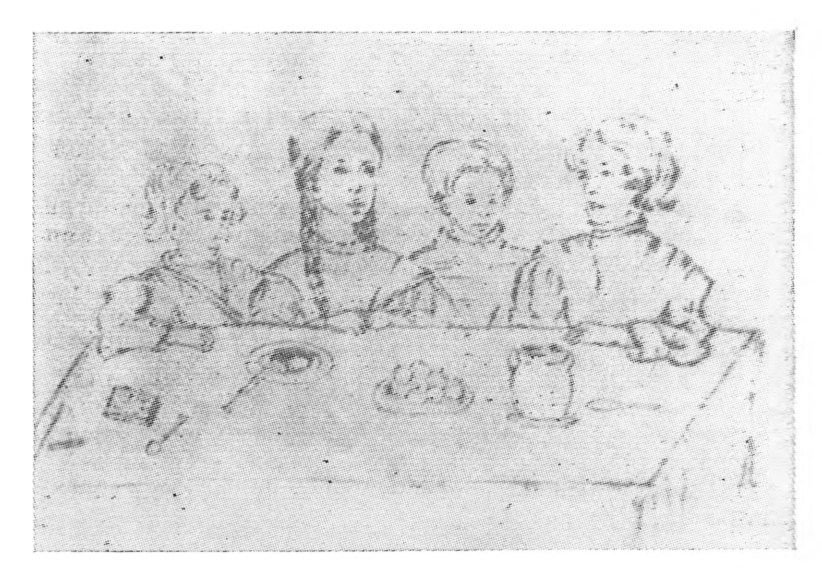
Я полагаю, мать сейчас живет у тебя, но ничего не передаю ей, так как в моем письме говорится о делах, которые от нее надо скрыть, как ты того желаешь. Я надеюсь, что твоя жена уже родила, и хотела бы, чтобы мне не оставалось ничего другого, как послать вам от всего сердца свое поздравление.

Прощай, мой добрый и горячо любимый Дмитрий, нежно целую все семейство, жену и детей. Шепни ласковое словечко нашей славной Нине, твоя жена не рассердится, если я дам тебе поручение крепко расцеловать в обе щеки нашего милого друга. Сашинька просит меня передать вам всем тысячу самых лучших пожеланий».

Фризенгофы приехали в Михайловское 1—2 августа и пробыли там более трех недель. В этот период и гости и хозяева часто общались с тригорскими соседками. Видимо, отношения с ними у Натальи Николаевны наладились, так как в дальнейшем мы уже не встречаем в переписке этих дам недоброжелательные отзывы о вдове поэта. В одном из писем Евпраксия Николаевна даже говорит, что мадам Пушкина ее очаровала: «это совершенно прелестное создание»[1].

Наталья Ивановна Фризенгоф очень недурно рисовала и оставила в альбоме Натальи Николаевны, хранящемся теперь в фондах Всесоюзного музея А. С. Пушкина, драгоценные рисунки с изображением обитателей Михайловского, Тригорского и Голубова*. Здесь мы видим Сергея Львовича сидящим в кресле со шляпой в руках, Прасковью Александровну Осипову, Евпраксию Николаевну; последняя изображена невероятно толстой, надутой женщиной — это, несомненно, шарж, но очень хо-

* Голубово — поместье Вревских, находившееся в 20 км от Тригорского.



Дети Пушкина. Слева направо: Гриша, Маша, Таша, Саша.

рошо ее характеризующий. Широко известен рисунок, на котором мы видим детей Пушкина, сидящих за столом. И совершенно очарователен рисунок, изображающий Наталью Николаевну с дочерью Машей, стоящими у березы.

Сохранился еще один интересный «свидетель» пребывания Фризенгофов в Михайловском — это альбом-гербарий, собранный по инициативе Н. И. Фризенгоф[1]. В нем мы находим засушенные цветы и травы, собранные в Михайловском, Тригорском и Острове. Под каждым растением Наталья Ивановна поставила дату и имя нашедшего. Таким образом, мы узнаем, что в составлении альбома участвовали, кроме самой Натальи Ивановны, Наталья Николаевна, ее дети, Александра Николаевна и Анна Николаевна Вульф. Датировки в альбоме позволяют установить приблизительно продолжительность пребывания Фризенгофов в Михайловском: растения собирались в период с 3 по 25 августа.

Приближалась осень. Неустроенность михайловского поместья не позволила Наталье Николаевне, а у нее было намерение, остаться здесь зимовать. Но состояние ее

денежных дел было таково, что ей даже не на что было выехать. Снова ей приходится обращаться к Дмитрию Николаевичу.

«3 сентября 1841 (Михайловское)[1]

Отчаявшись получить ответ на мое июльское письмо и видя что ты не едешь, дорогой брат, я снова берусь за перо, чтобы надоедать тебе со своими вечными мольбами. Что поделаешь, я дошла до того, что не знаю к кому обратиться. 3000 рублей это не пустяки для того, кто имеет всего лишь 14.000, чтобы содержать и давать какое-то воспитание четверым детям. Клянусь всем, что есть для меня самого святого, что без твоих денег мне неоткуда их ждать до января и следственно если ты не сжалишься над нами, мне не на что будет выехать из деревни. Я рискую здоровьем всех своих детей, они не выдержат холода, мы замерзнем в нашей убогой лачуге.

Я просила тебя прислать мне по крайней мере 2000 рублей не позднее сентября, и очень опасаюсь, что и этот месяц пройдет вслед за другими, не принеся мне ничего. Милый, дорогой, добрый мой брат, пусть тебя тронут мои мольбы, не думаешь же ты, что я решаюсь без всякой необходимости надоедать тебе, и что, не испытывая никакой нужды, я доставляю себе жестокое удовольствие тебя мучить. Если бы ты знал, что́ мне стоит обращаться к кому бы то ни было с просьбой о деньгах, и я думаю, право, что бог, чтобы наказать меня за мою гордость или самолюбие, как хочешь это назови, ставит меня в такое положение, что я вынуждена делать это.

Твое письмо к Носову было безрезультатным, и более того, сделало нас мишенью насмешек со стороны Вяземского, которые хотя и были добродушными, тем не менее поставили нас перед ним в крайне затруднительное положение. Ты знаешь, я полагаю, что Сашинька заняла у него 375 рублей. Как только твое письмо к Носову было получено, она страшно обрадовавшись, тотчас послала его Вяземскому, прося его получить деньги, которые Носов должен был нам вручить, и вычесть сам, что ему следовало получить. Но с последней почтой мы получили печальные известия, что Носов не признает себя твоим должником и наотрез отказался дать деньги. Так что ради бога найди другой способ, чтобы вывести ее из затруднительного положения. Ты ей должен в настоящее время за три месяца, а кредиторы забрасывают ее пись-

мами. Одному только Плетневу она должна 1.000 рублей, и срок уже прошел. Имей жалость к обеим сестрам, которым, кроме как от тебя, неоткуда ждать помощи. Рассчитывая только на твою дружбу, они не решаются поверить, что ты их покинешь в таком ужасном положении.

Прощай, дорогой брат, я так озабочена своими тревогами и денежными хлопотами, что ни о чем другом не могу говорить. Тем не менее я нежно целую тебя, так же сердечно как и люблю, не сомневайся в моей к тебе горячей дружбе. Целую твою жену; ты даже нам ничего не сообщаешь о ее родах. Не забудь поцеловать и детишек. Я полагаю, Маминька и Нина уже от вас уехали. Мои дети просят их не забывать, ради бога, не заставляй их мерзнуть, а это будет так непременно, если ты не придешь нам на помощь. Не забудь, что я рассчитываю на твое обещание приехать сюда и помочь мне своими советами».

«10 сентября (1841 г. Михайловское)[1]

Только вчера, 9 сентября, я получила твое письмо от 18 августа. Спешу ответить тебе сегодня же, чтобы засвидетельствовать тебе мою поспешность исполнить твое желание. Но прежде всего я хочу поздравить тебя и твою жену со счастливым событием в вашей семье. Я не сомневаюсь, что рождение дочери это исполнение всех ваших желаний. Вместо покровительства, которое я не имею возможности оказывать кому бы то ни было, я обещаю перенести на всех твоих детей искреннюю и глубокую привязанность, которую я всегда питала и никогда не перестану питать к тебе. Ты конечно не сомневаешься в искренности моего пожелания счастья новорожденной. Пусть она всегда будет приносить своим родителям только удовольствие и радость. Ты возьмешь на себя труд, не правда ли, передать твоей жене, как я была обрадована узнав, что она уже родила и быстро поправилась.

А теперь перейдем к вопросу, который тебя интересует. Граф Строганов вернулся в Петербург. Но если твоя поездка имеет целью только предложить Опеке купить Никулино, то я сомневаюсь, что это твое намерение удастся осуществить. Покупка имения, мне кажется, не входит в их намерения. Впрочем, смотри сам, я не очень в этом уверена. Но если ты хочешь предложить эту покупку мне, увы, дорогой брат, это выглядит грустной шуткой. Мои скромные богатства составляют 50.000 руб-

лей, может быть, немного больше. Этот несчастный маленький капитал приносит нам дохода всего 3. 000 рублей, которые помогали нам жить до настоящего времени. Но теперь, поскольку мой доход уменьшился до 14. 000 я может быть буду вынуждена его затронуть этой зимой, чтобы нанять учителей моим детям. Вот блестящее состояние моих дел. Ты извинишь меня, что я подняла этот вопрос, но положение мое очень невеселое, обескураживающее, и к несчастью я вынуждена тебе писать в один из таких моментов, когда мужество меня покидает и когда я лью слезы от отчаяния, не зная кому протянуть руку и просить сжалиться надо мной и помочь.

Для меня это печальная новость, что ты мне сообщаешь, уверяя в намерении прислать мне лошадей. Мое желание не осуществилось, они мне были нужны летом, но лето прошло, а зимой я прекрасно обойдусь без них. И я не могу отказаться добровольно от 1. 500 рублей, что получаю от тебя. Если ты хочешь оказать мне услугу, то не посылай мне лошадей. Бог знает, смогу ли я еще держать экипаж этой зимой. Занятия детей начинаются и потребуют следственно бо́льшую часть моего дохода.

Я покидаю тебя, дорогой брат. Сашинька тоже хочет приписать тебе несколько слов. Разреши мне поцеловать тебя и пожелать тебе больше счастья, чем до сих пор. Прощай, нежно целую жену и детей. Ты ничего не пишешь, у вас ли Нина. Если да, то скажи, что я ее люблю и нежно целую. Ничего не поручаю тебе передать матери, так как я ей пишу с этой же почтой».

После отъезда Фризенгофов Наталья Николаевна пришла просто в отчаяние. В связи с пребыванием гостей, возможно, пришлось обратиться за деньгами к Осиповой, и это ей было очень тяжело. Из письма мы узнаем, что Дмитрий Николаевич собирался приехать в Петербург, чтобы предложить Опеке купить одно из гончаровских поместий для семьи Пушкина, или уговорить Наталью Николаевну затронуть капитал в 50. 000 рублей, полученный за посмертное издание сочинений Пушкина, но Наталье Николаевне очень хотелось оставить его неприкосновенным для детей, и она всячески сопротивлялась притязаниям и Гончаровых, и Пушкиных.

В сентябре в Михайловское приехал последний гость — князь Петр Андреевич Вяземский.

«А у вас все гости да гости! — писал Вяземский Наталье Николаевне 8 августа 1841 года, собираясь в



Прасковья Александровна Осипова.

Михайловское.— Смерть мне хочется побывать у вас...*»[1]. «Я еще не теряю надежды явиться к моей помещице»[2],— писал он в другом письме от 12 августа.

Позднее в письме его к А. И. Тургеневу мы читаем: «В конце сентября я ездил на поклонение к живой и мертвому, в знакомое тебе Михайловское к Пушкиной. Прожил у нее с неделю, бродил по следам Пушкина и Онегина»[3]. В декабре он писал П. В. Нащокину: «Я провел нынешнею осенью несколько приятных и сладостно-грустных дней в Михайловском, где все так исполнено «Онегиным» и Пушкиным. Память о нем свежа и жива в той стороне. Я два раза был на могиле его и каждый раз встречал при ней мужиков и простолюдинов с женами и детьми, толкующих о Пушкине»[4]. Как мы видим, и тогда не зарастала народная тропа к Пушкину — простые люди посещали его могилу и чтили его память...

Возвращаясь из Михайловского, Вяземский провел день в Пскове и так писал об этом Наталье Николаевне

* Письма написаны по-русски.



Евпраксия Николаевна Вревская.

7 октября 1841 года из Царского Села: «Как я вас уже преуведомлял, я для успокоения совести провел день в Пскове, то есть чтобы придать историческую окраску моему сентиментальному путешествию. Поэтому я предстану перед вашей Тетушкой не иначе как верхом на коне на псковских стенах и не слезу с них. Она мне будет говорить о вас, а я буду говорить о стенных зубцах, руинах, башнях и крепостных валах»[1].

Как это будет видно и в дальнейшем, Вяземский был сильно увлечен Натальей Николаевной.

Приведем еще одно письмо, свидетельствующее о тяжелом материальном положении семьи Пушкина.

«1 октября 1841 г. (Михайловское)[2]

Дорогой Дмитрий. Получу ли я ответ хотя бы на это письмо. Я совершенно не знаю, что делать, ты меня оставляешь в жестокой неизвестности. Я нахожусь здесь в обветшалом доме, далеко от всякой помощи, с многочисленным семейством и буквально без гроша, чтобы

существовать. Дошло до того, что сегодня у нас не было ни чаю, ни свечей, и нам не на что было их купить. Чтобы скрыть мою бедность перед князем Вяземским, который приехал погостить к нам на несколько дней, я была вынуждена идти просить милостыню у дверей моей соседки, г-жи Осиповой. Ей спасибо, она по крайней мере не отказала чайку и несколько свечей. Время идет, уже наступил октябрь, а я не вижу еще момента, когда смогу покинуть нашу лачугу. Что делать, если ты затянешь присылку мне денег дольше этого месяца? У меня только экипажи на колесах, нет ни шуб, ничего теплого, чтобы защитить нас от холода. Поистине можно с ума сойти, ума не приложу как из етого положения выйти. Менее двух тысячь я не могу двинуться ибо мне нужно здесь долги заплотить, чтоб жить, я занимала со всех сторон и никому из людей с мая месяца жалованья ни гроша не плотила. Если это письмо будет иметь более счастливую судьбу, чем предыдущие, и ты пожелаешь на него ответить, или, что было бы очень хорошо с твоей стороны, сжалишься над моей нуждой, то есть пришлешь мне денежную помощь, о которой я умоляла столько времени, то адресуй то или другое Булгакову Александру Яковлевичу — московскому почт-директору, он мне перешлет, так как иначе я останусь неопределенное время без твоего ответа.

Сашинька также тебя умоляет снабдить ее письмом к Носову в отношении трех месяцев, за которые ты ей должен — август, сентябрь, октябрь, но чтобы, ради бога, оно было действительным. Князь нам сказал, что он получил сумму, которую мы просили его получить в уплату долга Саши. Отнесись внимательно к нашим двум просьбам, обещаю тебе, что бог тебя вознаградит*. Прощай, дорогой брат, целую тебя, а также жену и всех ваших детей. Моя детвора делает то же. Таша заставила меня серьезно поволноваться, она вдруг заболела, но сейчас ей лучше. Сестра вас также всех целует. Извини меня за каракули и зачеркивания, я торопилась, так как должна занимать князя, который завтра покидает нас. Это он отправит письмо петербургской почтой, я надеюсь, что таким образом ты получишь его скорее».

* Далее три строки густо зачеркнуты.

Наталья Николаевна прожила в деревне до конца октября. Она писала, что осталась бы там и зимовать, если бы дом был пригоден для жилья в зимнее время и если бы михайловское хозяйство давало возможность как-то существовать. Отговаривал ее от этого и Вяземский. Еще в письме от 6 июня, приведенном выше, он писал: «...О зиме и думать нечего, это героический подвиг, а в геройство пускаться не к чему». «Хотя вы человек прехрабрый... Но на зимний штурм лазить вам не советую. На первый раз довольно и летней кампании».

Задержалась Наталья Николаевна до поздней осени из-за отсутствия денег: ей не на что было выехать. Выручил ее Строганов.

«Последние дни, что мы провели в деревне, — писала Наталья Николаевна брату 2 ноября уже из Петербурга, — были что-то ужасное, мы буквально замерзали. Граф Строганов, узнав о моем печальном положении, великодушно пришел мне на помощь и прислал необходимые деньги на дорогу»[1].

Таким образом, семья Пушкина прожила в 1841 году в Михайловском около полугода. Приезжала Наталья Николаевна туда на лето и в следующем году.

ТРУДНЫЕ ГОДЫ

Наталья Николаевна с семьей вернулась в Петербург из Михайловского 26 октября 1841 года. Но, видимо, еще весною было решено, что она поселится отдельно от Местров, и летом тетушка Загряжская подыскивала ей квартиру. Почему было принято такое решение, мы не знаем. Но можно предположить, что сменили квартиру Местры, и Наталья Николаевна воспользовалась этим, чтобы поселиться отдельно. Надо думать, ей было тяжело «верховное правление» и каждодневное вмешательство Местров в ее жизнь. Кроме того, и Екатерина Ивановна хотела, чтобы она жила к ней поближе, недалеко от дворца. Александра Николаевна сообщает брату их новый адрес: «...У Конюшенного моста, дом Китнера».

Еще в сентябре Наталья Николаевна подала прошение в Опеку о выдаче ей пособия на образование детей. На заседании 1 октября 1841 года Опека вынесла решение:

«Слушали письмо вдовы Натальи Николаевны Пушкиной от 10-го минувшего сентября, которым она изъясняет, что для приготовления детей ее к помещению в казенные учебные заведения требуется нанять учителей и необходимую прислугу, а также на наем и содержание квартиры ныне требуется денежных сумм более, нежели сколько прежде оных употреблялось и что на все это всемилостивейше пожалованных на воспитание детей ее 6.000 р. ассигнациями в год она находит недостаточным, а потому и просит Опекунство оказать ей в сем случае законное пособие. Вследствие сего опекуны граф Григорий Александрович Строганов и граф Михайло Юрьевич Виельгорский, за отсутствием прочих г. г. опекунов, рассуждая о просьбе вдовы Пушкиной и находя оную вполне заслуживающую уважения, Положили: На наем учителей, квартиры и прислуги для детей покойного А. С. Пушкина выдавать сверхь всемилостивейше пожалованных 6.000 руб. ассигнац., по 4.000 рублей... в год...»[1].

«Всемилостивейше пожалованных» денег на воспитание детей Наталье Николаевне все время не хватало, и выделенные Опекой четыре тысячи, конечно, были некоторым подспорьем. Дети начинали учиться. Маше в это время было уже девять лет, Саше — восемь. И если до сих пор они могли довольствоваться занятиями с матерью и теткой — а из писем мы узнаем, что день неизменно начинался с уроков, которые давали детям Наталья Николаевна и тетя Азя, — то теперь уже необходимо было приступить к серьезным занятиям с учителями. Стоило это дорого, за урок брали 3—5 рублей и каждый учитель вел только свой предмет, значит, учителей было несколько. Вот почему в доме постоянно чувствовалась нехватка денег.

Сохранилось несколько писем Натальи Николаевны к Фризенгофам за границу за период с 17 ноября по 16 декабря 1841 года. Таких писем, несомненно, было много, но пока они, к сожалению, не обнаружены. С Натальей Ивановной Фризенгоф Наталью Николаевну связывала теплая дружба, которою она дорожила. По этим письмам мы можем до некоторой степени судить о жизни сестер. Дни текли, похожие один на другой. Много времени приходилось уделять родственникам: обе тетушки требовали, чтобы племянницы их часто посещали, а если им случалось заболеть, то вообще каждый день. Характеры у те-

ток были тяжелые, в особенности у Екатерины Ивановны, и Наталья Николаевна много терпела от их капризов. Описывая одну из сцен ссоры Софьи Ивановны и Екатерины Ивановны, Наталья Николаевна говорит, что с теткой Катериной «и ангел потерял бы терпение». Но милая, добрая Наталья Николаевна, зная, как любит тетушка ее и детей, и будучи в какой-то степени от нее зависима, терпела все...

Екатерина Ивановна жила недалеко, во фрейлинском флигеле дворца, и каждый день в 7 часов вечера приезжала к Наталье Николаевне, вернее — к детям. Она была очень привязана к маленьким Пушкиным и, видимо, у нее была потребность ежедневного общения с ними. Если сестры уезжали куда-нибудь в гости или в театр, тетушка все равно неизменно являлась в положенное время и проводила вечер с детьми.

На такое дорогое удовольствие, как театр, денег не было. Иногда их приглашали Строгановы, у которых была своя ложа. Сестер довольно часто навещали Александр Карамзин, Андрей Муравьев. Изредко бывала Наталья Николаевна у Вяземских и Карамзиных. Более близкие отношения с ними поддерживала Александра Николаевна. Пока была жива тетушка Екатерина Ивановна, она всячески препятствовала общению сестер с этими семьями (о чем писала, как мы увидим далее, Екатерина Николаевна). Так, в письме к Фризенгофам от 24 ноября 1841 года Наталья Николаевна описывает небольшую сцену, очень характерную в этом отношении. В этот день праздновались именины Екатерин. Утром Наталья Николаевна отправилась к тетушке Загряжской «всей семьей», как она говорит. Интересно отметить, что там был и Сергей Львович Пушкин, также пришедший поздравить именинницу. Днем был семейный обед у Строгановых, а вечером сестры собирались к Екатерине Андреевне Карамзиной. Но в 9 часов явилась тетушка Загряжская и упорно сидела, не желая уезжать, чтобы помешать сестрам ехать к Карамзиным. Наталья Николаевна поняла это, и в 11 часов вынуждена была встать и тем дать понять Екатерине Ивановне, что больше они ждать не могут. Поневоле тетушке пришлось уехать...

Салоны Карамзиных, графа Строганова и Местров, где бывала Наталья Николаевна, посещали и ее поклон-

ники. Как свидетельствует А. П. Арапова, за годы вдовства у Натальи Николаевны было несколько претендентов на ее руку. Она называет Н. А. Столыпина, блестящего дипломата, который, приехав в отпуск в Россию, был поражен красотою Пушкиной, без памяти влюбился, но, как говорит Арапова, «грозный призрак четырех детей», которые были бы, по его мнению, помехою в его дипломатической карьере, заставил его отказаться от «безрассудного брака».

Та же причина послужила препятствием и для второго претендента, которого Арапова зашифровывает буквой Г. — князь Г. Это, очевидно, князь Александр Сергеевич Голицын, штабс-капитан лейб-гвардии конной артиллерии, сослуживец братьев Карамзиных. Он часто упоминается в письмах Натальи Николаевны к Фризенгофам как постоянный посетитель салона Карамзиных. По-видимому, Голицын ухаживал за Пушкиной довольно настойчиво. Арапова пишет, что якобы через какое-то третье лицо Голицын пытался выяснить, как отнеслась бы Наталья Николаевна к тому, чтобы в случае брака с ним всех четверых детей отдать на воспитание в казенные учебные заведения. На что Наталья Николаевна сказала: «Кому мои дети в тягость, тот мне не муж!»

Из письма Вяземского 1842 года мы узнаем, что у Натальи Николаевны был еще один поклонник — иностранец. Вяземский не называет его, но нет сомнения, что он имеет в виду дипломата графа Гриффео, секретаря неаполитанского посольства. В одном из писем Наталья Николаевна упоминает о Гриффео: он был на вечере у Карамзиных. По поводу этого поклонника Вяземский разразился длиннейшим письмом Наталье Николаевне, на первом листке которого вверху ее рукой сделана полустершаяся теперь надпись: «Aff Grif»*. Конца имени нет, но, полагаем, и этих четырех букв достаточно. Приведем выдержки из этого письма, обнаруженного нами в архиве Араповой[1].

«...Ваше положение печально и трудно, — пишет Вяземский. — Вы еще в таком возрасте, когда сердце нуждается в привязанности, в волнении, в будущем. Только одного прошлого ему недостаточно. Возраст ваших де-

---

* Aff(aire) Grif(feo) — история с Гриффео *(франц.)*.

тей таков, что не нарушая своего долга в отношении их, вы можете вступить в новый союз. Более того, подходящий разумный союз может быть даже в их интересах. Следовательно, вы совершенно свободны располагать вашим сердцем и его склонностью. Но при условии, что чувство, которому вы отдадитесь, что выбор, который вы сделаете, будет правильным и возможным. Всякое другое движение вашего сердца, всякое другое увлечение может привести только к прискорбным последствиям, для вас более прискорбным, чем для кого-либо другого.

Вы слишком чистосердечны, слишком естественны, слишком мало рассудительны, мало предусмотрительны и расчетливы, чтобы вести такую опасную игру... То трудное положение, в котором вы находитесь, отчасти, проистекает из-за вашей красоты. Это — дар, но стоит он немного дорого. Вы — власть, сила в обществе, а вы знаете, что все стремятся нападать на всякую власть, как только она дает к тому хоть малейший повод. Я всегда вам говорил, что вы должны остерегаться иностранцев... Даже при наличии независимого состояния подобный союз всегда будет иметь серьезные затруднения. Рано или поздно вы будете вынуждены покинуть родину, отказаться от своих детей, которые должны оставаться в России... А без независимого состояния затруднения были бы еще более серьезными. Выйдя за иностранца, вы возможно лишитесь пенсии, которую получаете, и ваше будущее подверглось бы еще более опасным случайностям.

Все эти неблагоприятные обстоятельства проистекают из вашего особого положения, из вашего образа жизни. Вы ни принадлежите к светскому обществу, ни удалились от него. Эта полумера, полуположение имеет большой недостаток и таит в себе большую опасность. Во-первых, свет, не имея вас постоянно перед глазами и под своим контролем, видя вас очень редко, судит о вас по некоторым признакам и выносит свой приговор по малейшим намекам, которые дают ему возможность думать, что то, что он не видит, куда более серьезно, чем то, что он видит. Эти приметы, которые может быть прошли бы незамеченными, если бы вы были постоянно на глазах у ваших судей, носят оттенок тайны и умолчания вполне естественного, а вы знаете, что мнение большого света видит зло всюду, где оно видит что-либо скрытое. Но са-

мая большая опасность — в вас самой. Вы не должны ей подвергаться, борьба слишком сильна. В этом ложном положении вы слишком подвержены первой же атаке. Рассеяние большого света, его соблазны и притягательность, как бы они не были опасны, они гораздо менее опасны, чем это влияние, глухое и тайное, которое должно неизбежно вызвать в сердце женщины стремление к душевному волнению, и появление первого встречного может его разбудить. А это значило бы сдаться врагу вслепую и безоружной. Рассеяние большого света лучше, чем развлечение, которое начинается с того, что незаметно касается сердца, а кончается тем, что разрывает его. В большом свете лекарство рядом с болезнью: одно увлечение сменяет другое. А здесь болезнь предоставлена самой себе и с каждым днем распространяется все больше и больше. Мое мнение — вы должны вырваться из этого испытания и если уединение и сердечное спокойствие вам тяжелы, что вполне естественно, вернитесь смело в свет... Вы мне скажете, быть может, что я ищу там, где ничего нет, что у страха глаза велики, вы можете делать всякие предположения и дать моему поступку любое насмешливое толкование, пусть так! Но если мои слова правдивы, а они таковыми являются, если мой тревожный крик может вас предупредить об опасности, как бы далека она ни была, и заставить вас посмотреть на ваше положение серьезно и спокойно, я с удовольствием принимаю всю странность моего положения...»

Письмо это не имеет даты, но судя по тому, что в конце его Вяземский уговаривает ее во что бы то ни стало уехать на лето в Михайловское, чтобы «вырваться из-под рокового влияния», «избегнуть опасности»,— это письмо относится к 1842 году. Да это вытекает и из последующего.

Опасения Вяземского в отношении Гриффео, мы полагаем, не имели основания. В одном из писем к Н. И. Фризенгоф от конца 1841 года, Наталья Николаевна пишет, что никем из своих поклонников не увлечена (мы приводим это письмо ниже). Но Вяземский ревнует и, опасаясь, как бы ухаживание Гриффео не кончилось браком, бросает такой весомый для Натальи Николаевны козырь, как дети. Однако и Гриффео, видимо, оказывал внимание этой красивой женщине без серьезных намерений. Во всяком случае, вероятно, увидев, что здесь нельзя

ожидать легкого романа, он вскоре увлекся другой женщиной. 12 августа 1842 года[1] в самых язвительных выражениях Вяземский сообщает Наталье Николаевне в Михайловское об отъезде Гриффео:

«Гриффео уезжает из Петербурга на-днях; его министр уже прибыл, но я его еще не встречал. Чтобы немного угодить вашему пристрастию к скандалам, скажу, что сегодня газеты возвещают в числе отправляющихся за границу: Надежда Николаевна Ланская. Так ли это или только странное совпадение имен?»

Но это не было совпадением имен, и Вяземский прекрасно это знал, и, надо думать, нарочно, желая уколоть Наталью Николаевну, приписывает ей «пристрастие к скандалам». Надежда Николаевна Ланская (жена Павла Петровича Ланского, брата будущего мужа Натальи Николаевны) действительно оставила мужа и уехала с Гриффео за границу. Возник бракоразводный процесс, длившийся более 20 лет. Но чего только не бывает в жизни! Сын Надежды Николаевны, брошенный матерью, впоследствии нашел приют у Натальи Николаевны — в письмах 1849 года мы не раз встретимся с Пашей Ланским...

Да, положение Натальи Николаевны было действительно трудным. «Вы не принадлежите к светскому обществу»,— говорит Вяземский, и он был прав — к обществу светской аристократии она, по существу, не принадлежала. Ее доверчивость, искренность, естественность были разительным контрастом с окружавшим ее обществом — бездушным, лживым, лицемерным, выносившим жестокий приговор всему, что было на него не похоже, ему не подчинялось. Вяземский уговаривает ее вернуться в свет, чтобы не давать повода к злословию. Он хочет во что бы то ни стало вырвать ее из тесного круга карамзинской гостиной, где в каждом ее поклоннике, вероятно, видит претендента на ее руку.

При жизни Пушкина, любившего посещать Карамзиных, где он находил приятное ему общество друзей-литераторов, для которых сам он, конечно, был главной притягательной силой, салон этот был центром, где собиралась передовая петербургская интеллигенция. Но уже в 40-е годы характер этого литературного салона изменился. Умер Пушкин, женился и уехал за границу Жуковский. Неохотно, очевидно, стал бывать там и Плетнев. Судя по нижеприводимому письму Вяземского, надо полагать, что свет-

ские друзья и знакомые Софьи Николаевны, товарищи по полку братьев Карамзиных — вот кто главным образом наполнял теперь гостиную, где первую скрипку играла Софья Николаевна. В это время ей было уже сорок лет. Но она так и не вышла замуж, и это, несомненно, отложило отпечаток на ее характер. Н. В. Измайлов так пишет о ней: «...едва ли не главным интересом С. Н. Карамзиной была светская жизнь с ее развлечениями и интригами, сложной сетью отношений, сплетнями и пересудами. Судить о других — вернее, осуждать их зло и насмешливо — Софья Николаевна была большая мастерица, и об этом знали и говорили в «свете», считая ее злоязычной и любопытной...»[1]

В 1840 году Плетнев писал Гроту: «В воскресенье (20 октября) я пошел на вечер к Карамзиным. Признаюсь, одна любознательность и действительная польза от наблюдений в таких обществах еще удерживает меня глядеть на пустошь и слушать пустошь большесветия»[2]. И в более поздние годы в письмах к Жуковскому Плетнев так же отзывается о салоне Карамзиных. «...И у Карамзиных я почти не бываю. Новость этого развлечения прошла. Обороту в их обществе и жизни нет никакого» (2 марта 1845 г.). «...в зиму у Карамзиных были только два раза... Всех нас связывала и животворила чистая, светлая литература. Теперь этого нет. Все интересы обращены на мастерство богатеть и мотать. Видно, старое доброе время никогда к нам не воротится. Вот если бы еще поселились вы между нами — тогда, быть может, совершился бы переворот в отношениях и интересах. А то как соединиться, когда нет центра (4/16 марта 1850 г.)[3].

Пустошь большесветия... Как это верно! И мы находим тому подтверждение не только со стороны Плетнева, но и со стороны князя Петра Андреевича Вяземского!

В письмах Вяземского к Наталье Николаевне обращает на себя внимание его отношение к дому Карамзиных и характеристика, которую он дает посещавшему этот салон светскому обществу.

Вот что пишет Вяземский.

«12 августа 1842 г.[4]

...Мы предполагаем на будущей неделе поехать в Ревель* дней на десять. Моя тайная и великая цель в этой поездке — постараться уговорить мадам Карамзину про-

---

* Ревель — теперь Таллин, Эстонская ССР.

вести там зиму. Вы догадываетесь, с какой целью я это делаю. Это дом, который в конце концов принесет вам несчастье, и я предпочитаю, чтобы вы лучше посещали казармы. Шутки в сторону, меня это серьезно тревожит».

«13 декабря (1842)[1]

...Вы знаете, что в этом доме спешат разгласить на всех перекрестках не только то, что происходит в гостиной, но еще и то, что происходит и не происходит в самых сокровенных тайниках души и сердца. Семейные шутки предаются нескромной гласности, а следовательно, пересуживаются сплетницами и недоброжелателями. Я не понимаю, почему вы позволяете в вашем трудном положении, которому вы сумели придать достоинство и характер святости своим поведением, спокойным и осторожным, в полном соответствии с вашим положением,— почему вы позволяете без всякой надобности примешивать ваше имя к пересудам, которые, несмотря на всю их незначимость, всегда более или менее компрометирующи... Все ваши так называемые друзья, с их советами, проектами и шутками — ваши самые жестокие и самые ярые враги. Я мог бы многое сказать вам по этому поводу, привести вам много доказательств и фактов, назвать многих лиц, чтобы убедить вас, что я не фантазер, и не помеха веселью, или просто сказать собака, которая перед сеном лежит, сама не ест и другим не дает. Но признаюсь вам, что любовь, которую я к вам питаю, сурова, подозрительна, деспотична даже, по крайней мере пытается быть такой».

Поразительные высказывания! Так характеризовать дом Карамзиной, своей сестры! Поразительные еще и потому, что, как мы увидим далее, и Екатерина Дантес обвиняла Карамзиных в происшедших в семье Пушкина несчастьях и предостерегала Наталью Николаевну от посещения этого салона. Точно в тех же выражениях — несчастье — говорит о нем и Вяземский. Он пишет, что Наталья Николаевна ведет себя в высшей степени достойно, но позволяет примешивать свое имя к пересудам. Но как она могла «позволять» или «не позволять»? Ведь не в ее же присутствии все это говорилось, а то, что делалось за ее спиной,— как могла она этому помешать? Вяземский может назвать многих лиц, распространяющих сплетни о Пушкиной, но ведь все это исходило из салона Карамзиных, и в первую очередь, надо полагать, от Софьи Карамзиной. Разве не мог он пресечь хотя бы этот ис-

точник? И почему Вяземский полагает, что его ежедневные визиты к Пушкиной в обеденное время не дают повода к сплетням? Почему ему стыдно появляться перед детьми Натальи Николаевны и ее прислугой, как мы увидим далее?

И на этом письме Вяземского есть пометка рукою Натальи Николаевны: Aff. Alex.* Кто такой Алекс? Александр Голицын? Сделаем еще одно предположение: не Александр Карамзин ли это?.. Мы знаем, что он увлекался Натальей Николаевной еще при жизни Пушкина, каждую субботу у нее завтракал. Наталья Николаевна упоминает о его визитах и в письмах к Фризенгофам 1841 года. Ревность Вяземского к «Алексу» не вызывает сомнения. А Карамзины? Они, конечно, были бы против этого брака. Но это только наше предположение, не подтвержденное документально, так что будем пока считать, что «Алекс» — это Голицын.

И все-таки длительнее, настойчивее всех, до самого второго ее замужества, навязчиво ухаживал за вдовою поэта именно Петр Андреевич Вяземский. (Еще П. В. Нащокин говорил, что Вяземский «волочился» за Н. Н. Пушкиной. М. А. Цявловский пишет, что это сообщение Нащокина подтверждается письмами Вяземского к вдове поэта, как ему передавал это еще в 1924 году Б. Л. Модзалевский, говоря о «сильном увлечении князя Вяземского Н. Н. Пушкиной».)[1]. Почти ежедневно являлся он к обеду семейства Пушкиных и, не принимая в нем участия, сидел часа полтора. Часто бывал и по вечерам. И засыпáл Наталью Николаевну письмами. Вряд ли Вяземскому можно приписать возвышенное и чисто платоническое поклонение этой необыкновенно красивой, обаятельной женщине. Цели его, мы полагаем, были совсем иные. В одном из писем[2] Вяземский приводит стихотворение поэта Нелединского, вкладывая в его уста свои чувства к Наталье Николаевне:

О! если бы мог смертный льститься
Особый дар с небес иметь:
Хотел бы в мысль твою вселиться,
Твои желанья все узреть;
Для них пожертвовать собою,
И тайну ту хранить в себе —
Чтоб счастлива была ты мною,
А благодарна лишь судьбе.

---

* Aff(aire) Alex(andre) — история с Александром *(франц.)*.

Письма Вяземского полны изъяснений в любви. «Прошу верить тому, чему вы не верите, то есть тому, что я вам душевно предан» (1840)[1]. «Целую след ножки вашей на шелковой мураве, когда вы идете считать гусей своих» (1841)[2]. «Вы мое солнце, мой воздух, моя музыка, моя поэзия»[3]. «Спешу, нет времени, а потому могу сказать только два слова, нет три: я вас обожаю! нет четыре: я вас обожаю по-прежнему!» (1842)[4]. «Любовь и преданность мои к вам неизменны и никогда во мне не угаснут, потому что они не зависят ни от обстоятельств, ни от вас» (1841)[5].

Говоря Наталье Николаевне о том, что «одного прошлого ей недостаточно», он, вероятно, хотел заменить его настоящим в лице князя Вяземского... Но любовь эта, которая, по его утверждению, «никогда не угаснет», исчезла, как дым, когда Наталья Николаевна вышла второй раз замуж.

А как относилась сама Наталья Николаевна к Вяземскому, его «чувствам», его нравоучениям? Вот отрывок из ее небольшого, недатированного письма, написанного по-русски.

«...Не понимаю чем заслужила такого о себе дурного мнения, я во *всем*, *всегда*, и на все *хитрыя** вопросы с вами была откровенна и не моя вина, есть ли в голову вашу часто влезают неправдоподобные мысли, рожденные романтическим вашим воображением, но не имеющие никакой сущности. У страха глаза велики»[6].

Как мы видим, Наталья Николаевна прекрасно понимала притязания Вяземского, его «хитрые» вопросы и «неправдоподобные мысли», рожденные, как она говорит, со свойственной ей деликатностью, его «романтическим воображением».

Видимо, не всегда хватало у нее терпения выносить настойчивые ухаживания Вяземского. Сохранилось следующее его коротенькое письмо, которое, хотя и не имеет даты, может быть отнесено к 1842 г.[7].

«Вы так плохо обходились со мною на последнем вечере вашей тетушки, что я с тех пор не осмеливаюсь появляться у вас и еду спрятать свои стыд и боль в уединении Царского Села. Но так как, однако, я люблю платить добром за зло, и так как к тому же я обожаю ручку, которая меня карает, предупреждаю вас, что княгиня

* Слова, выделенные курсивом, подчеркнуты в подлиннике.

Владимир Пушкина* приехала. Если я вам нужен для ваших протеже, дайте мне знать запиской. Возможно, я приеду в город в понедельник на несколько часов и, если у меня будет время, а в особенности, если у меня достанет смелости, я зайду к вам вечером.

7-го числа этого месяца — день рождения Мари**. Не придете ли вы провести этот день с нею?

Ваша покорнейшая и преданная жертва Вяз.

Суббота».

Можно предположить, что ухаживание Вяземского на этом вечере было особенно настойчивым, что не понравилось Наталье Николаевне, и она дала ему это понять. Приезд княгини Пушкиной — предлог для примирения.

Но еще более интересно письмо П. А. Вяземского от 26 июня 1843 г. (Год в письме не проставлен, но нет никакого сомнения, что оно может относиться только к 1843 году, так как именно в этом году Наталья Николаевна была в Ревеле. Подробнее об этой поездке мы скажем далее):

«Чтобы не иметь более безрассудного вида, чем на самом деле, прошу вашего разрешения объяснить, почему я не пришел к вам перед отъездом. Много раз я готов был сделать это, но всегда мне не хватало смелости. А знаете ли — какой смелости? — Боязнь показаться смешным перед вашими детьми и прислугой. Ваша сестра меня нисколько не смущает. Она разумна и добра, а следовательно, беспристрастна. Она должна понимать каждого, и если она меня осуждает в некоторых случаях, в других, я уверен, она отдает мне должное и понимает меня. А вы, вы меня смущаете еще меньше, потому что что́ бы вы ни говорили или ни делали, но в глубине вашего сердца, если оно у вас есть, в глубине вашей совести, если она у вас есть,— вы должны признать, что вы виноваты передо мною. Поймем друг друга: вы виноваты в эгоизме, доходящем до безразличия и до жестокости. Разрешите вас спросить: пожертвовали ли вы хоть когда-

---

* В те времена, когда было несколько женщин с одинаковой фамилией, было принято называть и имя мужа. Так, Плетнев часто пишет: «Пушкина — поэт», чтобы отличить Наталью Николаевну от других Пушкиных.

** Мари — дочь Вяземского.

нибудь для меня малейшей своей прихотью, малейшим каким-нибудь желанием? Поколебались ли вы когда-нибудь хоть на один момент сделать то, что, вы знали, мне будет неприятно или огорчительно? Отвечаю за вас: никогда! тысячу раз никогда! Не будем говорить о том, что моя взыскательность всегда имела в виду ваши интересы, а не личный каприз с моей стороны, выгодный только для меня, но поймите, что не может быть никакой дружбы, искренней дружбы и привязанности, без взаимности, без взаимных уступок, а вы, вы никогда не хотели мне сделать никакой уступки, следственно, я был подле вас дураком, мебелью, я был для вас просто безразличной привычкой, и я хорошо сделал, что уехал. В один прекрасный день я пробудился, не знаю толком, как и почему, так как в вашем поведении ничто не изменилось, ни в том, что я переносил в течение долгого времени с таким ослеплением и примерным самоотвержением,— но в конце концов час пробил, это была капля, переполнившая чашу. Конечно, я мог и должен был бы действовать иначе. Я мог бы отдалиться от вас духовно и, не делая шума, продолжать у вас бывать. Я должен был бы так поступить и ради вас, и ради себя, и ради других. Это правда. Я был неправ и никто от этого не страдает больше, чем я. Я даже могу сказать, что страдаю один. Потому что, если бы у меня были хоть какие-нибудь сомнения в характере ваших ко мне чувств, или вернее в отсутствии всяких чувств, вашего поведения после нашей ссоры было бы достаточно, чтобы их полностью рассеять. Если мое предположение ехать в Ревель после возвращения от Мещерских мешает вашему намерению, скажите мне, пожалуйста, потому что я охотно от него откажусь и предоставлю вам возможность ехать одной.

Во всяком случае, вернувшись в Петербург, я воспользуюсь предлогом моего отсутствия, чтобы появиться перед вашими детьми в качестве Петра Бутофорича, как и прежде.

26 июня (1843) В.»[1]

Письмо это, видимо, отражает истинное отношение Натальи Николаевны к Вяземскому. В конце концов ей надоели и его «романтические чувства» и приписывание ей несуществующих увлечений, надоело постоянное ревнивое вмешательство в ее жизнь, чтение нотаций, и она ему это высказала...

Ухаживание Вяземского, женатого человека, за вдовой поэта говорит нам по меньшей мере о его неуважении к памяти Пушкина. Он убеждает Наталью Николаевну, что ее сердцу только одного прошлого недостаточно, что ему нужно и будущее. Графиня Фикельмон говорила, что Вяземский считал себя неотразимым и воображал, что все красивые женщины должны в него влюбляться. Можно понять его увлечение необыкновенной красотой Натальи Николаевны, но нельзя простить его навязчивости, хотя и прикрываемой словом «дружба». Любопытно, что Вяземский называет себя «Бутофоричем». Что он хотел этим сказать? Значит ли это, что и впредь, как и раньше, он будет появляться в гостиной Натальи Николаевны только в качестве мебели, «бутафории», «отдалившись от нее духовно»?

Видимо, так.

Но чем объяснить, что Наталья Николаевна терпела столько лет излияния Вяземского, его назойливые посещения, почему поддерживала она (хотя бы внешне) дружеские отношения с семьями Карамзиных и Вяземских, которых она должна была бы, по словам Екатерины Дантес, «упрекать во многих несчастьях»? Мы не знаем, в чем обвиняет Екатерина Николаевна этих людей, но Наталья Николаевна, вероятно, об этом знала, и именно в этом, мы полагаем, лежит объяснение ее поведения: она их боялась. В приводимом (во второй части книги) письме Наталья Николаевна пишет, что женщина должна бояться общественного мнения: «законы света были созданы против нее, и преимущество мужчины в том, что он может не бояться». И хотя у нее и произошло что-то вроде ссоры с Вяземским, ей пришлось «примириться» с ним и поддерживать внешне дружеские отношения. Пушкин пал жертвою клеветы и ненависти великосветского общества, и это было слишком хорошо известно его жене. Но не ей было бороться с ним. Арапова пишет: «Она не принадлежала к энергичным, самостоятельным натурам, способным себя отстоять». Ради детей, которым предстояло жить в этом обществе, ради их будущего поддерживала она, как мы увидим далее, светские знакомства; не могла она порвать и с Карамзиными и Вяземскими, тесно связанными с этими кругами. Но положение в корне изменилось, когда Наталья Николаевна вышла замуж: она перестала бывать у Карамзиных. В последующие годы она, видимо, изредка встречалась с Вяземским, иногда

они обменивались письмами. «Карамзиных я очень редко вижу,— пишет Наталья Николаевна Вяземскому в 1853 году.— Самой некогда заезжать, княгиня* всегда больна... Софи все бегает, но к нам никогда не попадает. Вечера их, говорят, многочисленны, но я на них ни разу не была»[1]. Вряд ли Наталье Николаевне было «некогда» заехать к Карамзиным, просто она не хотела больше посещать этот дом, и Софья Николаевна, как мы видим, тоже не бывала у нее. «Дружба» кончилась...

В письмах-дневниках 1841 года к Фризенгофам за границу есть письмо, которое рисует нам и чувства Натальи Николаевны, и ее отношение к так называемым друзьям.

«16 декабря (1841 г.)[2]

...Я получила ваши хорошие письма, мои добрые, дорогие друзья. Спасибо, Ната, что ты потрудилась написать разборчиво, и пора было это сделать, мы уже начали подозревать вас в обмане.

Фризенгоф, я очень опасаюсь, как бы удовольствие, которое вы предвкушаете получить от чтения моего дневника, не было обмануто, он совершенно не интересен: я ограничиваюсь только изложением фактов, а что касается чувств, которые мы можем *еще* испытывать, принимая во внимание *наш возраст,* то я вам о них не говорю. Могу сказать вам откровенно, заглянув в самые сокровенные уголки моего сердца, что у меня их нет. Саша, которую я на днях об этом спросила, может вам сказать то же самое. Я также ничего не скажу о тех, кто может за мной ухаживать. Часто люди становятся смешными, говоря об этом, и вы могли бы меня упрекнуть в самомнении, упрек, который вы мне часто делали, хотя я всегда хранила в отношении вас самое глубокое молчание о моих победах. Что касается Саши, то она сама может рассказать о своих. Она говорит, что их очень мало, а я ей приписываю больше.

Я очень вас жалею, милая Ната, что вы живете в чужой стране, без друзей. Хотя *настоящие друзья*** встречаются редко, и всегда чувствуешь себя признательной тем, кто берет на себя труд *ими казаться,* Вы, по крайней мере,

---

* Е. Н. Мещерская, дочь Карамзиных.

** Слова, выделенные курсивом, подчеркнуты в подлиннике.

можете сказать, что оставили истинных друзей здесь, они вам искренне сочувствуют».

К глубокому сожалению, в архиве Араповой сохранилось всего 9 листов этих писем-дневников, очевидно, вернувшихся к Наталье Николаевне после смерти Натальи Ивановны. Фризенгофы пробыли много лет за границей, и если бы удалось обнаружить остальные письма, это было бы значительным вкладом в биографию Пушкиной. Но и эти немногие страницы дают нам представление о жизни сестер в начале 40-х годов и дополнительные штрихи к облику Натальи Николаевны. Мы видим, что беспокойство Вяземского в отношении ее поклонников в действительности не имело основания: сердце ее свободно. Но особенно интересны здесь ее мысли о друзьях: настоящие встречаются редко, будем же благодарны и тем, кто хочет ими казаться!

Лето 1842 года Наталья Николаевна с семьей снова провела в Михайловском. За этот период обнаружено всего 3 ее письма. Из писем Вяземского и Загряжской мы узнаем, что там опять жил Сергей Львович, но только с июля месяца, а также, по-видимому, и Лев Сергеевич, упоминание о котором мы встречаем в одном из писем Загряжской. В архиве Араповой сохранилось 10 писем Екатерины Ивановны к Наталье Николаевне в Михайловское за 1842 год. Письма эти дышат заботой и любовью к милой Душке, как она ее называла, и ее детям. Тетушка посылает им три иллюстрированных тома истории и томик мифологии, детский журнал, а Наталье Николаевне — «Мертвые души», упоминая при этом, что сюжет был дан Гоголю ее покойным мужем. Но писались эти письма уже тогда, когда Екатерина Ивановна была серьезно больна, она сама говорит, что больше не может передвигаться без посторонней помощи, ее возят в кресле. Последнее письмо ее датировано концом июля, а 18 августа она скончалась. Это была большая потеря для Натальи Николаевны. Не только моральная, но и материальная. Приехать к похоронам Наталья Николаевна не успела бы, и она послала Г. А. Строганову очень теплое письмо:

«...Тетушка соединяла с любовью ко мне и хлопоты по моим делам, когда возникало какое-нибудь затруднение,— пишет она 25 августа 1842 года.— Не буду распро-

страняться о том, какое горе для меня кончина моей бедной Тетушки, вы легко поймете мою скорбь. Мои отношения с ней вам хорошо известны. В ней я теряю одну из самых твердых моих опор. Ее бдительная дружба постоянно следила за благосостоянием моей семьи, поэтому время, которое обычно смягчает всякое горе, меня может только заставить с каждым днем все сильнее чувствовать потерю ее великодушной поддержки»[1]. На Александро-Невском кладбище в Ленинграде сохранилось надгробие, на котором мы прочитали следующую надпись: «Здесь покоится тело Двора ея императорского величества фрейлины девицы Екатерины Ивановны Загрязской. Родившейся 14 марта 1779 года и скончавшейся 18 августа 1842 года»[2].

Летом 1842 года много неприятных переживаний доставили Наталье Николаевне и власти Опочецкого уезда, пытавшиеся возбудить процесс против наследников Пушкина и оттягать 60 десятин из михайловских земель, якобы подлежащих возврату.

Наталья Николаевна собиралась пробыть в деревне экономии ради до середины октября, но смерть Екатерины Ивановны ускорила ее отъезд.

«Ты, может быть, будешь удивлен дорогой, добрейший Дмитрий,— читаем мы в письме от 17 сентября,— увидев петербургский штемпель на моем письме. Столько разных неприятных обстоятельств, и самых тяжелых, произошли одни за другими этим летом, что я вынуждена была ускорить на два месяца мое возвращение. Это решение было принято после письма графа Строганова, который выслал мне 500 рублей на дорогу (зная, что у меня ни копейки), настоятельно рекомендуя мне вернуться незамедлительно[3].

Из письма Екатерины Дантес, которое будет приведено ниже, мы узнаем, что тетушка Местр, очевидно, выполняя волю покойной сестры, отдала Наталье Николаевне «все вещи, а также мебель и серебро». Как мы уже говорили, недвижимое имущество между сестрами поделено не было, и Екатерина Ивановна просила Софью Ивановну после ее смерти передать любимой племяннице поместье в 500 душ. Однако при жизни графиня Местр этого не сделала. Умерла она в 1851 году и, по завещанию, все свое состояние оставила племяннику Сергею Григорьевичу Строганову, обязав его исполнить волю Екатерины Ивановны в отношении Натальи Николаевны.

Впоследствии это завещание также причинило ей много волнений и неприятностей, так как Строганов потребовал от Натальи Николаевны уплаты половины долгов, лежащих на имениях, хотя львиную долю наследства получал он.

В 1843 году Наталья Николаевна впервые после смерти мужа появилась в великосветском обществе и стала бывать при дворе. Очевидно, она где-то встретила императора или императрицу, и те решили украсить придворные балы присутствием знаменитой красавицы. Отказаться от «всемилостивейших» приглашений было, конечно, невозможно.

«Этой зимой,— пишет Наталья Николаевна брату 18 марта 1843 года,— императорская фамилия оказала мне честь и часто вспоминала обо мне, поэтому я стала больше выезжать. Внимание, которое они соблаговолили проявить ко мне, вызвало у меня чувство живой благодарности. Императрица даже оказала мне честь и попросила у меня портрет для своего альбома. Сейчас художник Гау, присланный для этой цели ее величеством, пишет мой портрет»[1].

Это, очевидно, тот самый портрет, о котором упоминает в своих воспоминаниях Арапова. На одном из придворных костюмированных балов Наталья Николаевна появилась в костюме в древнееврейском стиле и была изумительно хороша в нем. В этом костюме и пожелала императрица иметь ее портрет в своем альбоме. По словам Натальи Николаевны, это был самый удачный из всех ее портретов. К сожалению, портрет этот до нас не дошел.

Наталье Николаевне было тогда 30 лет, и красота ее была в самом расцвете. Она была, по выражению Вяземского, «удивительно, разрушительно, опустошительно хороша»[2]. Денег на туалеты у Натальи Николаевны, конечно, не было, но тетушка Загряжская оставила ей в наследство свой гардероб, драгоценности, меха, кружева. И она, и Софья Ивановна, мы узнаем о том из писем, часто дарили обеим племянницам отрезы на платья. Внучка Натальи Николаевны Е. Н. Бибикова в своих воспоминаниях, со слов матери Е. П. Ланской (по второму мужу Бибиковой), пишет, как еще при жизни Пушкина обновлялись ее туалеты:

«Наталья Николаевна тратила очень мало на свои туалеты. Ее снабжала тетка Загряжская, а домашняя

портниха их дома перешивала. Лиф был обыкновенно хорошо сшитый, на костях, атласный, и чехол из канауса, а сверху нашивались воланы из какого-то тарлатана, которые после каждого бала отрывались и выкидывались и нашивались новые»[1]. Как видим, упреки в огромных тратах на туалеты, которые якобы разоряли Пушкина, вряд ли справедливы.

Летом 1843 года семья Пушкиных не выезжала из Петербурга. Вот что пишет Наталья Николаевна брату.

«18 марта 1843 г. (Петербург)[2]

...В этом году я буду вынуждена провести лето в городе, хотя и обещала Ване приехать на лето в Ильицыно*. Приезд сюда графа Сергея Строганова полностью изменил мои намерения. Он был так добр принять участие в моих детях, и по его совету я решила отдать своих мальчиков экстернами в гимназию, то есть они будут жить дома и ходить туда только на занятия. Но Саша еще недостаточно подготовлен к поступлению в третий класс, а по словам многих первые классы не благоприятны для умственного развития, потому что учеников в них очень много, а следственно, и надзор не так хорош, и получается, что ученье идет очень медленно, и ребенок коснеет там годами и не переходит в следующий класс. Поэтому я хочу заставить Сашу много заниматься в течение года, что мне остается, потому что он будет поступать в августе будущего года. А теперь, по совету директора гимназии, куда я хочу его поместить, я беру ему учителей, которые подготовят его к сдаче экзамена. Это будет тяжелый год в отношении расходов, но в конце концов меня вознаградит убеждение, что это решение будет полезно моему ребенку. Прежде чем решиться на это, я воспользовалась представившимся мне случаем поговорить с самим его величеством, и он не осудил это мое намерение».

Еще в 1841 году Плетнев писал: «...Чай пил у Пушкиной (жены поэта). Она очень мило передала мне свои идеи насчет воспитания детей. Ей хочется даже мальчиков, до университета, не отдавать в казенные заведения. Но они записаны в пажи — и у нее мало денег для исполнения этого плана».

Сыновья Пушкина были записаны в пажи вскоре после смерти поэта по распоряжению императора, и именно

---

* Ильицыно — одно из поместий Гончаровых в Рязанской губернии.

этим объясняется, что Наталье Николаевне пришлось «посоветоваться» с Николаем I, так как она боялась вызвать его неудовольствие. Ей так хотелось иметь детей при себе, дома, следить за их успехами и здоровьем, видеть их каждый день! Но главное, она считала необходимым дать детям солидное общее образование. Саша Пушкин поступил во 2-ю Петербургскую гимназию (здание сохранилось, ныне это школа № 232 на улице Плеханова), а год спустя за ним последовал и брат. По-видимому, оба мальчика окончили гимназию, но в силу денежных обстоятельств им не удалось поступить в университет. Плетнев говорит, что у Натальи Николаевны мало денег даже на гимназический курс. Как трудно ей приходилось, свидетельствуют ее письма к Д. Н. Гончарову.

«19 мая 1843 года, Петербург[1]

...Я не смогла ответить на твое письмо так быстро, как мне хотелось бы, по многим причинам, но главная — не было времени. Вскоре все уезжают из города и я, признаюсь тебе, в восторге от этого. Меньше обязательных выездов, а следственно, и меньше расходов. Местры будут жить в Царском Селе, Строгановы — на Островах. Друзья разъезжаются. А мы прочно обосновываемся здесь и никуда не двинемся. Дети продолжают усердно и регулярно заниматься.

Зная, что ты находишься в постоянных заботах, я понимаю, что надоедаю тебе с нашими делами, но если сейчас у тебя голова посвободнее, мой добрый брат, ради бога, подумай немножко о нас. Мне нет необходимости говорить тебе, что мы испытываем большой недостаток в деньгах, что, прислав нам обеим то, что нам полагается, ты чрезвычайно облегчишь наше положение, и мы считали бы это настоящим благодеянием. С тем, что нам причитается на 1-е июня, сумма достигает 3000 рублей, это такая большая сумма, что для нас она была бы помощью с неба. Прости, тысячу раз прости, любезный Дмитрий. Пока я могу обходиться без твоей помощи, я всегда молчу, но к несчастью, я сейчас нахожусь в таком положении, что совершенно теряю голову и обращаюсь к тебе, ты моя единственная надежда».

«...Право, прости дорогой, добрый брат, что я так надоедаю тебе,— пишет Наталья Николаевна 26 июня 1843 года,— с а м о й с м е р т ь с о в е с т н о, е й б о г у, н о т а к и н о г д а ж у т к о п р и х о д и т с я, а т е-

перь нахожусь в самом жалком положении»[1].

Но летом 1843 года Наталья Николаевна серьезно заболела и по предписанию врачей вынуждена была поехать в Ревель принимать морские ванны. В те времена морские купания пользовались большой славой, и летом в Ревель, где было много пансионатов и купальных заведений, съезжалось на лечение и отдых светское общество Петербурга. Очевидно, узнав о болезни Натальи Николаевны, Е. А. Карамзина пригласила ее к себе в гости. Карамзина родилась и, возможно, выросла в Ревеле, можно предположить, что у нее там был свой дом, так как она часто и подолгу живала в Ревеле; приезжали туда и Вяземские. Вряд ли и Вяземский уговаривал Екатерину Андреевну провести зиму в Ревеле, если бы ей пришлось жить в пансионате. Из переписки видно, что Наталья Николаевна и Александра Николаевна ездили туда на две недели, и ванны принесли большую пользу больной.

Осенью 1843 года пришло из Сульца известие о смерти Екатерины Николаевны. Реакция и Натальи Николаевны, и Александры Николаевны была очень сдержанной. Об этом мы расскажем в одной из следующих частей книги.

ВТОРОЕ ЗАМУЖЕСТВО

В течение многих десятилетий эта тема была каким-то «табу», ее избегали касаться... Почему? Вероятно, в силу какого-то внутреннего осуждения... Жене поэта и раньше не прощали ничего, очевидно, и теперь многим хотелось бы, чтобы она осталась верна Пушкину навсегда. Это очень романтично, но... нежизненно. Перенесемся почти на полтора столетия назад, войдем в положение этой молодой, необыкновенно красивой женщины, которой трудно живется с четырьмя маленькими детьми, которую преследуют недвусмысленные ухаживания поклонников. Вспомним, что ей было всего 24 года, когда погиб ее муж. Вспомним, что сам Пушкин, умирая, завещал ей носить по нему траур два года, а потом выходить замуж за порядочного человека. Он был мудр и хотел ей добра, он понимал, зная ее мягкий характер и тяжелое материальное положение семьи, как трудно будет ей без него. Такой

порядочный человек нашелся. Не будем же осуждать ее за то, что она решила опереться на дружескую мужскую руку, чтобы поднять детей, чтобы иметь твердое положение в обществе.

Наталья Николаевна познакомилась с Петром Петровичем Ланским, по-видимому, в начале зимы 1844 года. По воспоминаниям Араповой, осень 1843 года Ланской провел в Баден-Бадене, куда врачи послали его лечиться после длительной болезни. Там он постоянно встречался с Иваном Николаевичем Гончаровым, видимо, приехавшим вторично в Баден с больной женой. С Гончаровым его связывали давние дружеские отношения, и поэтому, когда Ланской возвращался на родину, Иван Николаевич попросил приятеля передать сестре посылку и письмо. Исполнив поручение и получив в благодарность радушное приглашение бывать в доме, Ланской, вероятно, не раз в течение зимы 1844 года посещал Наталью Николаевну.

Весной Наталья Николаевна собиралась ехать опять в Ревель, на этот раз ради здоровья детей; врачи советовали ей повезти их на морские купанья. Особенно беспокоил ее Саша, он часто болел, и тогда Наталья Николаевна приглашала врачей одного за другим: «Тут я денег не жалею, лишь бы дети здоровы были». Но неожиданно она вывихнула ногу, и поездка была отложена на неопределенное время, а потом и вовсе не состоялась. Очевидно, в мае Петр Петрович Ланской сделал Наталье Николаевне предложение, и на этот раз она дала согласие.

Генерал Ланской был уже немолод, ему шел 45 год, женат до этого он не был. По свидетельству современников, это был хороший добрый человек. Главным в решении Натальи Николаевны был, несомненно, вопрос об отношении будущего мужа к детям от первого брака. И она не ошиблась, как мы увидим далее.

Приведем недатированное письмо Александры Николаевны, относящееся к концу мая — началу июня 1844 года.

«Я начну свое письмо, дорогой Дмитрий, с того, чтобы сообщить тебе большую и радостную новость: Таша выходит замуж за генерала Ланского, командира конногвардейского полка. Он уже не очень молод, но и не стар, ему лет 40. Он вообще ...*, это можно сказать с полным основанием, так как у него благородное сердце и самые

* Одно слово неразборчиво.

прекрасные достоинства. Его обожание Таши и интерес, который он выказывает к ее детям, являются большой гарантией их общего счастья. Но я никогда не кончу, если позволю себе хвалить его так, как он того заслуживает...»[1].

Гончаровы-родители благожелательно отнеслись к этому браку. Наталья Ивановна писала Дмитрию Николаевичу и его жене 5 июня 1844 года:

«Дорогие Дмитрий и Лиза, на этот раз я пишу вам обоим вместе, уверенная, что Лиза меня поймет, чтобы сообщить вам счастливую новость. Таша выходит замуж за генерала Петра Ланского, друга Андрея Муравьева и Вани. Г-н Муравьев очень его хвалит с нравственной стороны, он его знает уже 14 лет; это самая лучшая рекомендация, которую я могу иметь в отношении его. Он не очень молод, ему 43 года, возраст подходящий для Таши, которая тоже уже не первой молодости. Да благословит бог их союз. Может быть, вы уже знаете об этой счастливой вести и я не сообщаю вам ничего нового. Я с большим удовольствием пишу вам о событии, которое, насколько я могу предвидеть, упрочивает благосостояние Таши и ее детей и может только послужить на пользу всей семье. Новый член, который в нее входит, со всеми его моральными качествами, как говорит Муравьев, может принести только счастье, а оно нам так нужно после стольких неприятностей и горя...»[2]

Отец, Николай Афанасьевич, также тепло откликнулся на второе замужество дочери. «...Поздравляю Вас и любезную Вашу Лизавету Егоровну с новым зятем генералом Петр Петровичем Ланским,— пишет он старшему сыну и невестке,— по какому случаю в исполнение требования письменного самой сестрицы Вашей Натальи Николаевны, дал я ей мое архипастырское (иноческое) благословение»*[3].

Нет сомнения, что по поводу своего замужества писала Д. Н. Гончарову и Наталья Николаевна, но, к сожалению, эти письма нами в архиве не обнаружены.

Свадьба, очень скромная, состоялась 16 июля 1844 года в Стрельне, где стоял полк Ланского. Николай I пожелал быть посаженым отцом, но Наталья Николаевна, как пишет Арапова, уклонилась от этой «чести».

Однако, когда на другой день Ланской докладывал ца-

---

* Письмо написано по-русски.

рю о состоявшейся свадьбе, Николай I сказал, что будет непременно крестить у него первого ребенка. Отказаться и от этой «чести» уже было нельзя, и, таким образом, крестным отцом Александры Ланской оказался сам император. Арапова пишет, что на свадьбе были братья и сестры с обеих сторон, мы полагаем, присутствовали и Строгановы и Местры. Свадьба была отпразднована в тесном семейном кругу.

Александра Николаевна осталась жить у сестры. Тяжелый ее характер, несомненно, осложнил семейную жизнь Натальи Николаевны. Бесконечно любя сестру, Александра Николаевна ревновала ее к мужу, и Наталья Николаевна, как мы увидим по ее письмам, очень страдала от этого разлада. Однако уравновешенный и спокойный Ланской ради жены, видимо, вел себя сдержанно, и натянутые отношения не привели к разрыву.

По долгу службы Ланскому приходилось отсутствовать целыми месяцами. Но Наталья Николаевна, судя по имеющимся в нашем распоряжении письмам, неизменно оставалась с детьми и даже на короткий срок не соглашалась оставить их, чтобы поехать к мужу. «Ты мне говоришь о рассудительности твоего довода,— пишет она 8 июля 1849 года.— Неужели ты думаешь, что я не восхищаюсь тем, что у тебя так мало эгоизма. Я знаю, что была бы тебе большой помощью, но ты приносишь жертву моей семье. Одна часть моего долга удерживает меня здесь, другая призывает к тебе; нужно как-то отозваться на эти оба зова сердца, бог даст мне возможность это сделать, я надеюсь»[1].

Обратим внимание на слова «ты приносишь жертву моей семье», то есть детям Пушкина. Из-за них она не едет к Ланскому, и это часть долга для нее важнее. В письме от 24 июля Наталья Николаевна пишет мужу, что сейчас она не может приехать к нему, так как не на кого оставить детей; Александре Николаевне будет трудно одной справиться с домом, поэтому она ждет возвращения гувернантки и рассчитывает приехать к Ланскому в конце сентября, с тем чтобы вернуться в Петербург к ноябрю, когда ей нужно будет вывозить Машу в свет. Но, как нам кажется, не только отсутствие гувернантки мешало ей оставить семью. В июле — августе у мальчиков каникулы, и ей хотелось побыть с ними, а в сентябре Гриша должен был поступать в Пажеский корпус: Наталья Николаевна не могла, конечно, отсутствовать в такой важ-

ный для сына момент. И только когда он попривыкнет к новой для него жизни, она считала себя вправе ненадолго уехать. Интересно отметить, что ни разу Наталья Николаевна не приводит такого, казалось бы, веского довода, как маленькие девочки Ланские, которых она могла бы опасаться оставить на нянек и гувернантку. Она говорит или о детях Пушкиных, или о доме вообще.

В своих письмах Ланской, очевидно, предупреждал жену, что не может предоставить ей необходимого, по его мнению, комфорта. Вот что писала по этому поводу Наталья Николаевна.

«Не беспокойся об элегантности твоего жилища. Ты знаешь, как я нетребовательна (хотя и люблю комфорт, если могу его иметь). Я вполне довольствуюсь небольшим уголком и охотно обхожусь простой, удобной мебелью. Для меня будет большим счастьем быть с тобою и разделить тяготы твоего изгнания. Ты не сомневаешься, я знаю, в том, что если бы не мои обязанности по отношению к семье, я бы с тобой поехала. С моей склонностью к спокойной и уединенной жизни мне везде хорошо. Скука для меня не существует»[1].

И невольно мы переносимся в прошлое, во времена Пушкина. С ее сильно развитым чувством ответственности за семью, склонностью к тихой, спокойной жизни можно себе представить, что Наталья Николаевна, если бы это было нужно, поехала бы с Пушкиным и в Михайловское и в любое «изгнание», и разделила бы с ним все тяготы жизни...

Наталья Николаевна посылает Ланскому письма-дневники. «Ты прав,— пишет она,— говоря, что я очень много болтаю в письмах и что марать бумагу одна из моих непризнанных страстей». Она шутит, конечно, но, очевидно, у нее была потребность делиться мыслями и чувствами, но только с близкими людьми. Надо полагать, такими же были и ее письма к Пушкину, которые, к глубокому сожалению, до сих пор еще не обнаружены. Вспомним, что посылая подробнейшие письма Фризенгофам, она признает, что излагает им только факты и умалчивает о чувствах...

Наталья Николаевна любила Ланского, но это уже была другая любовь, чем ее любовь к Пушкину,— прежде всего основанная на благодарности к человеку, хорошо относившемуся к ее детям от первого брака и давшему ей душевный покой, в котором она так нуждалась. «Благо-

дарю тебя за заботы и любовь,— пишет она.— Целой жизни, полной преданности и любви, не хватило бы, чтобы их оплатить. В самом деле, когда я иногда подумаю о том тяжелом бремени, что я принесла тебе в приданое, и что я никогда не слышала от тебя не только жалобы, но что ты хочешь в этом найти еще и счастье,— моя благодарность за такое самоотвержение еще больше возрастает, я могу только тобою восхищаться и тебя благословлять»[1].

Ланской любил Наталью Николаевну глубоко и преданно. Но Наталья Николаевна говорит: «Ко мне у тебя чувство, которое соответствует нашим летам; сохраняя оттенок любви, оно, однако, не является страстью, и именно поэтому это чувство более прочно, и мы закончим наши дни так, что эта связь не ослабнет»[2]. Уезжая надолго, Ланской все же ревновал жену к мужчинам, которые за нею ухаживали. Так, в одном из писем мы встречаем упоминание о каком-то ее поклоннике французе, и здесь для нас очень важны суждения Натальи Николаевны:

«Ты стараешься доказать, мне кажется, что ревнуешь. Будь спокоен, никакой француз не мог бы отдалить меня от моего русского. Пустые слова не могут заменить такую любовь, как твоя. Внушив тебе с помощью божией такое глубокое чувство, я им дорожу. Я больше не в таком возрасте, чтобы голова у меня кружилась от успеха. Можно подумать, что я понапрасну прожила 37 лет. Этот возраст дает женщине жизненный опыт, и я могу дать настоящую цену словам. Суета сует, все только суета, кроме любви к богу и, добавляю, любви к своему мужу, когда он так любит, как это делает мой муж. Я тобою довольна, ты — мною, что же нам искать на стороне, от добра добра не ищут» (10 сентября 1849 г.)[3].

Это письмо заставляет нас вспомнить о другом французе, перенестись мысленно на 13 лет назад. Думала ли об этом Наталья Николаевна, когда писала Ланскому? Вероятно, да. Жизненный опыт помог ей правильно оценить пустые слова и не поколебать ее отношения к мужу. А тогда? Верила ли она столь бурно выражаемой страсти Дантеса? Вначале, по молодости лет, очевидно, да. Она вызывала в ней волнение, смущение. Но то волнение, которое Наталья Николаевна, быть может, и испытывала в первое время при виде этой «великой и возвышенной страсти», как иронически писал Пушкин о чувствах Дантеса — иронически потому, что ничего великого и возвышенного в этих чувствах не было,— это волнение «угасло

в презрении самом спокойном и отвращении вполне заслуженном» (это тоже слова Пушкина), когда она воочию убедилась в том, каким подлым и низким человеком был Дантес в действительности. Как потом оказалось, у него не было к ней никакой любви, потому что любящий человек не мог бы, вступив в брак с сестрой, продолжать преследовать Наталью Николаевну, как это сделал Дантес. Для Натальи Николаевны это был урок на всю жизнь. Конечно, и тогда она понимала, что страсть кавалергарда никогда не может заменить ей любовь Пушкина, действительно великую и возвышенную, любовь отца ее четверых детей... Вот почему она пишет Ланскому, что все суета сует кроме любви к мужу, которой она дорожит и ставит так высоко, что приравнивает к любви к богу...

Пережитая трагедия никогда не могла забыться. Иногда Наталья Николаевна об этом говорит прямо, иногда это можно прочесть между строк. «Я слишком много страдала и вполне искупила ошибки, которые могла совершить в молодости: счастье, из сострадания ко мне, снова вернулось вместе с тобой»[1]. Какие ошибки? Ей, конечно, были известны упреки в легкомыслии, якобы погубившем Пушкина, которыми ее осыпали ненавидевшие поэта определенные круги великосветского общества, стремившиеся свою вину в его гибели переложить на жену. Но она не пишет, что совершила эти ошибки, а говорит: «могла». Несомненно, до нее доходили разговоры о ее виновности, и ей казалось, что, может быть, и в самом деле когда-то она поступила неправильно. Каждому человеку, потерявшему кого-либо из близких, приходит мысль о том, что он не все сделал, что должен был бы сделать, сказал что-то, чего не следовало говорить, и т. д. И это чувство становится неизмеримо сильнее, если жизнь близкого человека обрывается так трагично.

Наталью Николаевну всегда упрекали в том, что она якобы не любила Пушкина или любила недостаточно, и не была с ним счастлива. Но так переживать смерть мужа, как переживала она, может только любящая женщина. Д. Ф. Фикельмон, дочь приятельницы Пушкина Е. М. Хитрово, писала в те дни в своем дневнике: «Несчастную жену с большим трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, неудержимо влекло мрачное и глубокое отчаяние». Наталья Николаевна была с Пушкиным счастлива. Об этом говорят и ее слова: «счастье *снова**

* Курсив наш.— *И. О.* и *М. Д.*

вернулось ко мне». Значит, было счастье в ее первой любви, любви к Пушкину, и чувство, очевидно, было другое, а не то спокойное, «сохраняющее оттенок любви», которое супруги Ланские питают друг к другу.

Ланской гордился и восхищался красотой своей жены и, по словам Натальи Николаевны, «окружал себя ее портретами». Но интересно отношение самой Натальи Николаевны к ее внешности.

«Упрекая меня в притворном смирении, ты мне делаешь комплименты, которые я вынуждена принять и тебя за них благодарить, рискуя вызвать упрек в тщеславии. Чтобы ты ни говорил, этот недостаток мне всегда был чужд. Свидетель — моя горничная, которая всегда, когда я уезжала на бал, видела, как мало я довольна собою. И здесь ты захочешь увидеть чрезмерное самолюбие, и ты опять ошибешься. Какая женщина равнодушна к успеху, который она может иметь, но клянусь тебе, я никогда не понимала тех, кто создавал мне некую славу. Но довольно об этом, ты не захочешь мне поверить, и мне не удастся тебя убедить» (7 августа 1849 г.)[1].

Наталья Николаевна считала, что красота «от бога», и никакой заслуги в этом нет. Тщеславие ей чуждо, говорит она, и действительно в ее письмах мы не раз встречаем удивление, когда она слышит восторженные отзывы о своей красоте. Об этом же писала и ее дочь, А. П. Арапова. Вспомним и слова Пушкина: «Гляделась ли ты в зеркало и *уверилась ли ты**, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете». Не говорит ли это о том, что Пушкину приходилось убеждать ее, доказывать, что она обладает редкой, исключительной красотой? Один только раз, отправив Ланскому ко дню именин в подарок свой портрет, Наталья Николаевна пишет, что послала ему очень хорошенькую женщину и что «чуточку тщеславия» у нее здесь все же проскользнуло, в чем она «смиренно и признается»...

Но если бы Наталья Николаевна была только красивая женщина, она не привлекала бы так внимания всех мужчин, ее не мог бы страстно и безгранично любить такой тонкий знаток женской души, как Пушкин. Это была женщина исключительного обаяния, доброжелательная, приветливая, готовая все понять и всем помочь, и именно поэтому и дети и взрослые *так любили ее**. И выйдя вто-

* Курсив наш.— *И. О.* и *М. Д.*

рично замуж, она по-прежнему хлопочет о делах Дмитрия Николаевича, теперь привлекая и влиятельные знакомства Ланского. Мы становимся свидетелями ее забот о бывшей гувернантке детей г-же Стробель, которую она навещает, когда та болеет, привозит ей врача. Она беспокоится о старике лакее, прослужившем у нее много лет, и когда он ушел на покой, снимает ему комнату поблизости, чтобы он не был оторван от семьи, к которой очень привязан. Желая сделать приятное своей гувернантке-англичанке, которую очень любила в детстве, Наталья Николаевна посылает ей за границу письмо. «...Вернувшись в 9 часов, я села за английское письмо, которое должно быть послано с Каролиной* сегодня. Ко всеобщему и моему удивлению я прекрасно с ним справилась, не знаю право, как я вспомнила построение английских фраз, ведь уже прошло 17 лет, как я не упражнялась в языке. В общем все получилось неплохо, и моя гувернантка будет иметь право гордиться мною»[1].

Однако свойственная ей доброта и некоторая слабохарактерность часто оборачиваются против нее. Так, например, она чрезмерно балует, как мы увидим далее, свою дочь Александру, доставлявшую ей много неприятных и даже тяжелых минут; в отсутствие Ланского не умеет держать в руках слуг, которые пьянствуют и устраивают драки (она сама же их защищает, умоляя мужа и вида не показывать, что он об этом знает). «Я была бы в отчаянии, если бы кто-нибудь мог считать себя несчастным из-за меня»,— говорит она. Очевидно, не могла она повлиять и на сестру, в натянутых отношениях которой с Ланским виновата, несомненно, была Александра Николаевна. Несмотря на то что это в какой-то степени омрачало ее семейную жизнь, она в силу своей привязанности к сестре не смела даже и подумать о том, чтобы предложить ей оставить их дом.

В то же время она была, видимо, очень импульсивна: вспылит, а потом себя же казнит и просит извинения: «Я, как всегда, пишу под первым впечатлением, с тем, чтобы позднее раскаяться». «Гнев это страсть, а всякая страсть исключает рассудок и логику»,— говорит она. «Твердость — не есть основа моего характера»[1],— признается Наталья Николаевна. Она очень самокритична, в ее

---

* Каролина — гувернантка.

письмах к Ланскому мы часто встречаем осуждение своих необдуманных поступков. И очень редко она осуждает других, наоборот, обычно старается найти хоть какие-нибудь оправдывающие моменты в неблаговидном поведении тех или иных лиц.

Как большинство женщин ее круга того времени, Наталья Николаевна была далека от политики, в чем откровенно признается мужу. И если она и пишет иногда о «политике», то, видно, это с чужих слов. «Ты совершенно прав, что смеешься над тем, как я говорю о политике, ты знаешь, что этот предмет мне совершенно чужд. Я добросовестно стараюсь запомнить то, что слышу, но половина от меня ускользает, я определенно не в ладах с фамилиями, поэтому когда решаюсь говорить об этом, то это должно выглядеть смешно. Я более привыкла к семейной жизни, это простое, безыскусственное дело мне ближе, и я надеюсь, что исполняю его с бóльшим успехом»[1].

Невольно опять мы возвращаемся к Пушкину. Д. Д. Благой писал в предисловии к книге «Вокруг Пушкина»: «Его печальный закат был озарен улыбкой любви — большого личного счастья, к которому он так давно и так настойчиво стремился... Вносила это большое счастье в личную жизнь поэта именно его жена». Цитируя далее строфу из «Путешествия Онегина» (вариант первоначальной восьмой главы):

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой,—

Д. Д. Благой приводит черновые варианты первой строки: «Простая добрая жена», «Простая тихая жена», и говорит, что именно эти-то простота и тихость делали Натали непохожей на всех остальных и столь пленяли Пушкина[2].

Наталья Николаевна в своих письмах почти не упоминает о Пушкине. Не будем упрекать ее в этом. Ланской, по-видимому, ревновал ее к первому мужу, и, как женщина в высшей степени деликатная, она щадит его чувства и даже старается убедить его, что ничто прошлое не может повлиять на ее отношение к нему. Но Наталья Николаевна не скрывала от Ланского, что память о Пушкине ей дорога, и он в свою очередь лояльно относился к ее постам по пятницам (день смерти Пушкина) и к

уединению и молитвам в горестные траурные дни. Страстная, необыкновенная любовь Натальи Николаевны к детям Пушкина, каждый из которых был чем-то похож на отца, также говорит нам о многом...

ДЕТИ ПУШКИНЫ

Незадолго до женитьбы Пушкин писал, что молодость его прошла шумно и бесплодно, а счастья не было, что нужно искать его на проторенных дорогах — в семейной жизни. И любовь к жене и детям дала ему это счастье. «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня,— писал Пушкин другу своему Нащокину в январе 1836 года.— Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились».

На протяжении всей его короткой женатой жизни в письмах Пушкина к жене мы постоянно встречаем ласковые, нежные, заботливые строки о детях. Уезжая, он слал жене письмо за письмом, беспокоясь, как она справляется с детьми и хозяйством. Приведем несколько выдержек из этих писем разных лет[1].

«Что с вами? Здорова ли ты? Здоровы ли дети? Сердце замирает как подумаешь».

«Говорит ли Маша? Ходит ли? Что зубки?»

«Что моя беззубая Пускина? Уж эти мне зубы! А каков Сашка рыжий? Да в кого-то он рыж? Не ожидал я этого от него».

«Сверх того прошу не баловать Машку, ни Сашку».

«Радуюсь, что Сашку от груди отняли, давно бы пора... Машке скажи, чтобы не капризничала, не то я приеду и худо ей будет».

«Мне кажется, что Сашка начинает тебе нравиться. Радуюсь: он не в пример милее Машки, с которой ты напляшешься».

«Цалую Машу и заочно смеюсь ее затеям. Она умная девчонка, но я от нее покаместь ума не требую, а требую здоровья. Довольна ли ты немкой и кормилицей? Ты дурно сделала, что кормилицу не прогнала. Как можно

держать при детях пьяницу, поверя слезам и обещанию пьяницы? Молчи, я все улажу».

«...А Маша-то? Что ее золотуха и что Спасский?* Ах, женка-душа! Что с тобою будет?»

«Благодарю тебя, мой ангел, за добрую весть о зубке Машином. Теперь надеюсь, что и остальные прорежутся безопасно. Теперь за Сашкою дело».

«Здорова ли ты душа моя? И что мои ребятишки? Благословляю тебя и ребят».

«Что ты про Машу ничего не пишешь? Ведь я, хоть Сашка и любимец мой, а все люблю ее затеи».

«Помнит ли меня Маша и нет ли у ней новых затей?»

«Машу цалую и прошу меня помнить. Что это у Сашки за сыпь?»

О. С. Павлищева, сестра поэта, вспоминает: «Александр, когда возвращался при мне домой, целовал свою жену в оба глаза, считая это приветствие самым подходящим выражением нежности, а потом отправлялся в детскую любоваться своей Машкой, как она находится или на руках у кормилицы, или почивает в колыбельке, и любовался ею довольно долго, часто со слезами на глазах, забывая, что суп давно на столе»[1].

«Рыжим Сашей Александр очарован,— пишут Пушкины-родители дочери Ольге Сергеевне,— всегда присутствует, как маленького одевают, кладут в кроватку, убаюкивают, прислушивается к его дыханию; уходя, три раза его перекрестит, поцелует в лобик и долго стоит в детской, им любуясь»[2].

В письмах Пушкина к жене так ярко отражена его любовь, любовь отца и мужа к своей семье! Перечитывая их, снова и снова проникаешься убеждением, что, несмотря на неустроенность своей жизни, вечную нехватку денег, на заботы, именно семья давала то личное счастье, которого так недоставало ему в молодости. И милая, добрая, мягкая Наталья Николаевна предстает перед нами со всеми своими слабостями: балует Машу, не может прогнать пьяницу кормилицу, жалеет. И пушкинское «молчи, я все улажу» совершенно очаровательно: он заранее пресекает все ее оправдания!

Будущее детей тревожило Пушкина. В известном письме к Дмитрию Николаевичу он пишет, что в случае его смерти жена окажется на улице, а дети в нищете. С эти-

* Спасский — домашний врач Пушкиных.

ми мыслями мы постоянно встречаемся в его письмах к жене[1].

«Я крепко думаю об отставке. Должно подумать о судьбе наших детей... Я могу иметь большие суммы, но мы много и проживаем. Умри я сегодня, что с Вами будет? ...Ты баба умная и добрая. Ты понимаешь необходимость».

«Я деньги мало люблю — но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости»... «Хорошо, коли проживу я лет еще 25; а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать, и что скажет Машка, и в особенности Сашка».

«Денег тебе еще не посылаю. Принужден был снарядить в дорогу своих стариков. Теребят меня без милосердия. Вероятно послушаюсь тебя и скоро откажусь от управления имения. Пускай они его коверкают как знают; на их век станет, а мы Сашке и Машке постараемся оставить кусок хлеба. Не так ли?»

Сам того не подозревая, Пушкин действительно оставил своим четверым малолетним детям кусок хлеба. За посмертное издание его сочинений вдова получила 50 тысяч и, как мы упоминали, положила их в банк как неприкосновенный капитал для детей. Капитал, правда, очень небольшой, но все же что-то было на черный день. Получили дети в наследство и любимое их отцом Михайловское. По-видимому, Опека также приобрела для семьи Пушкина деревню Никулино, возможно, то самое Никулино, которое Пушкин собирался купить у Гончаровых в 1834 году. Заботу о будущности детей приняла от Пушкина его жена. Эта мягкая, покорная и добрая женщина, как только дело касалось защиты интересов ее детей, становилась настойчивой, деятельной, непреклонной. Она добилась выкупа Михайловского, отстояла капитал от посягательств Гончаровых и Пушкиных. И выйдя второй раз замуж, продолжала заботиться о благосостоянии детей. Вот что писала она Ланскому:

«Я тебе очень благодарна за то, что ты обещаешь мне и желаешь еще много детей. Я их очень люблю, это правда, но нахожу, что у меня их достаточно, чтобы удовлетворить мою страсть быть матерью многодетной семьи. Кроме моих семерых, ты видишь, что я умею раздобыть себе детей, не утруждая себя носить их девять месяцев и думать впоследствии о будущности каждого из них, потому что любя их всех так как я люблю, благосостояние

и счастье их — одна из самых главных моих забот. Дай бог, чтобы мы могли обеспечить каждому из них независимое существование. Ограничимся благоразумно теми, что у нас есть и пусть бог поможет нам всех их сохранить» (20 июля 1849 года)[1].

Однако не все было безоблачным в отношениях между супругами Ланскими. В письмах Натальи Николаевны обращает на себя внимание ее настойчивое стремление к тому, чтобы расходы на детей Пушкиных не ложились на плечи Ланского. Гордость не позволяла ей этого. Но материальное положение ее было трудным. Содержание всего семейства требовало больших средств. Кроме того, в связи с частыми отъездами Петра Петровича приходилось жить на два дома; как командир полка, он должен некоторую сумму тратить на «представительство». Наталья Николаевна часто жаловалась на нехватку денег. Расходы на гувернанток и учителей, на прислугу, постоянное присутствие посторонних детей — все это причиняло ей много хлопот. Трудно сказать, вызывалось ли это ее неумением вести хозяйство, или действительно денег постоянно недоставало, но, очевидно, Ланской упрекал ее в том, что она слишком легко тратит деньги. «Если бы я любила деньги, это было бы может быть лучше,— пишет она мужу,— я бы сумела для дома откладывать, а я, однако, только и делаю, что трачу. Но что приводит меня в отчаяние, это что отчасти это падает на тебя; я не чувствую себя виноватой, и все же нахожу, что ты вправе меня упрекать. Мои гордость и чувствительность от этого страдают, вот почему я так часто плачу над своими счетами. Ах боже мой, если бы я тратила мои собственные деньги, ты бы ни слова от меня об этом не услышал, а едак все-таки больно» (21 августа 1849)[2].

Михайловское приносило ничтожный доход, пенсии своей по выходе замуж Наталья Николаевна, вероятно, лишилась. Дети Пушкина, как мы упоминали, получали по полторы тысячи в год каждый, но этого было совершенно недостаточно. Мы не знаем, учились ли мальчики на казенный счет, и если нет, то их пребывание в Пажеском корпусе стоило дорого. Большие суммы тратились и на воспитание и образование девочек Пушкиных. В 1849 году Наталья Николаевна делает попытку переиздать сочинения Пушкина и обращается к книгоиздателю Я. А. Исакову. 20 июня этого года она пишет: «...Затем

я заехала к Исакову, которому хотела предложить купить издание Пушкина, так как не имею никакого ответа от других книгопродавцов. Но не застала хозяина в лавке; мне обещали прислать его в воскресенье»[1]. Переговоры ее с Исаковым тогда ни к чему не привели, и, как известно, второе издание сочинений Пушкина выпустил в 1855—1857 годах П. В. Анненков. А Исаков издал собрание сочинения поэта только в 1859—1860 годах.

Из доходов Полотняного Завода Наталье Николаевне выделялось всего полторы тысячи в год, но, как всегда, деньги задерживались, и ей приходилось постоянно напоминать об этом брату. Приведем еще одно ее письмо к Дмитрию Николаевичу. Начало его не сохранилось, поэтому нет даты, но лежит оно в архиве среди писем 1845 года, поэтому есть основание датировать его этим годом.

«...мой муж может извлечь выгоды из своего положения командира полка. Эти выгоды состоят, правда, в великолепной квартире, которую еще нужно прилично обставить на свои средства, отопить, и платить жалованье прислуге 6000. И это вынужденное высокое положение непрочно, оно зависит целиком от удовольствия или неудовольствия его величества, который в последнем случае может не сегодня, так завтра всего его лишить. Следственно, не очень великодушно со стороны моей семьи бросить меня со всеми детьми на шею мужа. Три тысячи не могут разорить мать, а нехватка этой суммы, уверяю тебя, очень чувствительна для нашего хозяйства. Я рассчитываю на твое влияние на ее характер, так как ты единственный в семье можешь добиться от нее справедливости, а я не осмеливаюсь хоть что-нибудь требовать, это значило бы навлечь на себя ее гнев. Строганову удалось с помощью писем получить 1000 рублей за сентябрь; к ним было приложено письмо, в котором ему дали понять, что в дальнейшем на нее не должно рассчитывать. Эти намеки она, кажется, хочет осуществить, так как вот уже апрель, а январские деньги за квартал не поступают, и мы накануне мая, который, я предвижу, также не оправдает мои ожидания. Бога ради, сладь это дело с нею и добейся для меня этого единственного дохода, потому что ты хорошо знаешь, что у меня ничего нет, кроме капитала в 30.000, который находится в руках у Строганова. Надеюсь только на тебя, не откажи в подобных обстоятельствах в помощи и опоре...»[2]

Как мы видим, Наталья Николаевна снова добивается помощи от матери. От капитала в 50 тысяч осталось только 30, очевидно, 20 было истрачено на образование детей: в 1843 году она писала, что придется для этой цели затронуть капитал. Почему Наталья Николаевна говорит о непрочности положения Ланского — мы не знаем, но, видимо, какие-то основания у нее к тому были.

После смерти Сергея Львовича в 1848 году начался раздел между наследниками. О нем иногда упоминается в письмах Натальи Николаевны 1849 года. Раздел тянулся очень долго, и только в 1851 году был оформлен юридически: сыновья получили в Нижегородской губернии Кистенево и Львовку, а дочерям была определена денежная компенсация, которую обязывались выплатить братья Александр и Григорий. Но все это в будущем, а в 1849 году приходится наводить жесткую экономию. Наталья Николаевна шьет сама домашние платья себе и Александре Николаевне, перешивает из старого пальто для своей маленькой дочери. Вечерами экономят свет; все собираются в одной комнате, кто-нибудь читает вслух, остальные рукодельничают. Как мы увидим дальше, приходилось отказывать детям в таких удовольствиях, как билеты в парк, на представление.

Подавляющее большинство писем Натальи Николаевны из архива Араповой относится к лету 1849 года, когда Ланской долго находился в Прибалтике и переписка была особенно интенсивной. Этим летом семья жила на Каменном Острове. В начале прошлого столетия на земле графа Строганова был разбит великолепный сад и построено большое здание искусственных минеральных вод, где в огромном зале часто бывали концерты известного в то время оркестра Ивана Гунгля, пел цыганский хор, давали представления фокусники и гимнасты. Публика очень охотно посещала эти вечера. Аристократия приезжала в своих экипажах и каталась перед музыкальной эстрадой. Строгановский парк славился своей красотой, в нем были пруды, искусственные горки, в аллеях стояли мраморные статуи, была и специальная площадка для развлечения детей.

Строгановы и Местры жили недалеко от дачи Натальи Николаевны: с этими родственниками и она, и Алексан-

дра Николаевна виделись постоянно, мы не раз уже встречали упоминание о них в письмах.

У сестер эти посещения тетушек назывались «нести службу при тетках». Графиня Юлия Павловна Строганова поддерживала родственные отношения с семьей Пушкиных и при жизни поэта. Он бывал у них в доме, часто встречались они и в свете. Юлия Павловна «почти безотлучно» находилась в квартире умиравшего Пушкина. Повидимому, она тепло относилась к племяннице и часто навещала ее и детей после смерти Пушкина, приглашала ее к себе. Наталья Николаевна, несомненно, была главным украшением строгановских и местровских вечеров и обедов.

В долгие отлучки Ланского дети были единственной радостью Натальи Николаевны. В письмах ее мы находим подробнейшие описания их характеров, занятий, развлечений. Дом Натальи Николаевны полон детьми, и своими и чужими. От брака с Ланским у нее было три дочери — Александра, Софья и Елизавета. Соня и Лиза редко упоминаются в письмах — они еще не выходили за пределы детской, но старшей, Александре, или, как ее звали в семье, Азе, было в описываемый период четыре года. Это — будущий автор воспоминаний о матери. Девочка, любимица отца, была взбалмошная, капризная. Можно предположить, что Наталья Николаевна со свойственной ей деликатностью опасалась, как бы Ланской не упрекнул ее в том, что она относится к Азе строже, чем к детям от первого брака, и потому тоже баловала ее. «Это мой поздний ребенок, я это чувствую, и при всем том — мой тиран»,— писала Наталья Николаевна мужу[1].

Избалованная, своевольная девочка причиняла много беспокойства окружавшим ее родным. Если ей не спалось по ночам, она не давала спать ни матери, ни Александре Николаевне. Постоянно надоедала старшим братьям и сестрам, требуя внимания к себе. Наталья Николаевна описывает один случай, заставивший ее много пережить. Однажды она собиралась в город и решила взять с собой младших девочек Ташу и Азю. В детской няня не быстро подала Азе требуемую ею косыночку, и та назвала ее «старой дурой». Схватив косынку, девочка побежала вниз, боясь, что уедут без нее. Наталья Николаевна пришла в детскую за дочерью и застала старушку в слезах. Узнав в чем дело, она наказала девочку и не взяла ее с собою. Та молча убежала, экипаж уехал. Как потом рассказали

Наталье Николаевне, девочка помчалась наверх и решила выброситься из окна. Случайно ее увидела горничная: она уже висела за окном, держась только пальцами за подоконник. «Не троньте, брошусь, брошусь,— кричала она,— как смели меня наказать, я им покажу!» Ее успели схватить и втащить в комнату. Можно себе представить ужас матери, когда ей все это рассказали. Публикуемый впервые в книге портрет Ази Ланской в возрасте 5 лет подтверждает данную нами ей характеристику: у девочки упрямое, капризное выражение лица. Однако она была, видимо, неглупа и часто обезоруживала мать своими репликами. На другой день после этой истории, в воскресенье, все собирались в церковь, но Наталья Николаевна не хотела в наказание за вчерашнее брать Азю с собой. «Но мне же надо раскаяться в грехах!» — сказала девочка с плутовским видом. Наталья Николаевна рассмеялась и... уступила.

Но помимо своих семерых детей, у Натальи Николаевны живут племянник мужа Павел Ланской, сын сестры Пушкина Ольги Сергеевны Лев Павлищев, который иногда приводил с собой из Училища правоведения и своих товарищей. «Ты знаешь,— говорит Наталья Николаевна,— это мое призвание, и чем больше я окружена детьми, тем больше я довольна»[1]. Саше Пушкину в то время было уже 16 лет, Маше — 17, Грише — 14, Таше — 13; Лев Павлищев был на год моложе Саши Пушкина. Пушкин видел племянника годовалым ребенком, когда Ольга Сергеевна в конце лета 1835 года приезжала в Петербург.

Павлищев занимает особое место в письмах Натальи Николаевны. «Горячая голова, добрейшее сердце, вылитый Пушкин»[2],— говорит она о нем. По ее письмам мы видим, что она уделяет большое внимание племяннику, ее восхищает живость его характера, по-видимому, всем, всем он напоминает ей Пушкина. И слова ее о Пушкине: *«горячая голова, добрейшее сердце, вылитый Пушкин»** вряд ли можно переоценить. Как верно определила она и характер покойного мужа: его пылкий, горячий нрав и безграничную доброту... Очень ласкова Наталья Николаевна с Пашей Ланским, которому в силу семейных обстоятельств (о чем мы уже говорили) просто негде

---

* Курсив наш.— *И. О.* и *М. Д.*

жить, и он также нашел приют в ее гостеприимном доме.

Саша Пушкин в 1849 году уже учится в Пажеском корпусе. Гриша собирается туда поступать. Девочки Маша и Таша учатся дома, к ним приглашаются учителя. Помимо общеобразовательных предметов, они занимаются музыкой, языками, рисованием, рукоделием. Горячей любовью и нежностью к детям Пушкиным полны письма Натальи Николаевны. Особенно любила она, как и Пушкин, а может быть, именно поэтому, старшего сына Александра. «Мать была всегда одинаково добра и ласкова с детьми,— вспоминает Арапова,— и трудно было отметить фаворитизм в ее отношениях. Однако же все как-то полагали, что сердце ее особенно лежит к нему. Правда, что и он, в свою очередь, проявлял к ней редкую нежность, и она с гордостью заявляла, что таким добрым сыном можно гордиться»[1].

Приведем ряд выдержек из писем лета 1849 года, так живо рисующих нам горячую любовь Натальи Николаевны к детям Пушкиным, теплое, ласковое отношение к племянникам и искреннюю привязанность к ней всех окружавших ее людей.

«...Вернувшись, мы застали у нас Павлищева — отца с сыном, они с нами пообедали. После обеда дети упросили меня повести их на воды, где было какое-то необыкновенное представление; за один рубль серебром кавалер мог провести столько дам, сколько захочет. Саша был нашим кавалером. Мы хотели, чтобы Гришу сочли за ребенка, но его не согласились признать таковым, и мне пришлось заплатить еще рубль. За эти деньги мы получили развлечение до 11 часов. Оркестр Гунгля чередовался с разными фокусами, исполняемыми Рабилями, маленьким Пашифито и несколькими учениками Вруля. Представление было действительно прелестно, в особенности для первого раза, потому что при повторении такие вещи утомляют, за исключением превосходного оркестра Гунгля, который всегда слушаешь с удовольствием» (13 июня)[2].

«Маленький Павлищев приехал сегодня ко мне, и вот наш пансион теперь в полном составе. Графиня Строганова, которая пришла сегодня к нам, не могла придти в себя от удивления сколько у нас народа. Она очень настаивала, чтобы я привела их всех к ней пить чай. С меня и Сашиньки она взяла обещание придти к ней обедать; мы думаем, что пойдем, когда мадам Стробель бу-

дет здесь, иначе невозможно оставить молодежь предоставленной самой себе» (21 июня)[1].

«Если бы ты знал, что за шум и гам меня окружают. Это бесконечные взрывы смеха, от которых дрожат стены дома. Саша проделывает опыты над Пашей, который попадается в ловушку, к великому удовольствию всего общества. Я только что отправила младших спать и, слава богу, стало немного потише» (21 июня)[2].

«У меня было намерение после обеда отправиться вместе со всеми на воды, чтобы послушать прекрасную музыку Гунгля и цыганок, и я послала узнать о цене на билеты. Увы, это стоило по 1 рублю серебром с человека, мой кошелек не в таком цветущем состоянии, чтобы я могла позволить себе подобное безрассудство. Следственно, я отказалась от этого, несмотря на досаду всего семейства, и мы решили благоразумно, к великой радости Ази, которая не должна была идти на концерт, отправиться на Крестовский полюбоваться плясунами на канате. Никто не наслаждался этим спектаклем с таким восторгом, как Азя и Лев Павлищев; этот последний хлопал в ладоши и разражался смехом на все забавные проделки полишинеля. Веселость его была так заразительна, что мы больше веселились глядя на него, чем на спектакль. Это настоящая ртуть, этот мальчик, он ни минуты не может спокойно сидеть на месте, но при всей своей живости — необыкновенно послушен, и сто раз придет попросить прощения, если ему было сделано замечание. В общем, я очень довольна своим маленьким пансионом, им легко руководить. Я никогда не могла понять, как могут надоедать шум и шалости детей, как бы ты ни была печальна, невольно забываешь об этом, видя их счастливыми и довольными. Лев развлекает нас своим пением, музыкой, своим остроумием. Он беспрестанно ссорится и мирится со своей кузиной Машей, но это не мешает им быть лучшими друзьями на свете» (29 июня)[3].

«Я прочла Саше и Маше строки, что ты им адресуешь. Спасибо, мой дорогой Пьер, и они тоже тебя благодарят и просят передать тебе привет, а также и все остальные дети. Сейчас все они собрались около фортепиано и поют; Лев Павлищев — Гунгль этого оркестра. Погода такая плохая, что никто не выходит из дома. Они вознаградили себя за это, устроив невообразимый шум и гам. Так как их увеселения совершенно невинны, я предоставила им полную свободу. Такое счастье, что я могу заниматься

своими делами при таком шуме, иначе мне было бы трудно найти минутку тишины, чтобы писать письма» (1 июля)[1].

«Вернувшись домой после чая, я прилегла отдохнуть на диван и предоставила мальчикам меня развлекать. Лев Павлищев играл на фортепиано, Гриша и Паша переоделись женщинами и разыгрывали разные комические сценки, очень хорошо, особенно Гриша, у которого в этом отношении замечательный талант» (10 августа)[2].

«...Перед отъездом я попрощалась со Львом. Бедный мальчик заливался слезами. Я обещала ему присылать за ним по праздникам, и что он может быть спокоен — я его не забуду. Мы расстались очень нежно» (16 августа)[3].

«По дороге на Острова я зашла к правоведам, чтобы утешить бедного пленника*, который умолял меня навестить его в первый же раз, что я буду в городе. Но я не видела его, они были в классе» (23 августа)[4].

«Забыла тебе сказать, что Лев Павлищев приехал вчера из своей школы провести с нами два дня. Бедный мальчик в совершенном отчаянии, и достаточно произнести слово *правоведение,* как он разражается потоком слез. Его уже бранил директор за то, что он вечно плачет.— «Что вы хотите,— сказал мне Лев,— я ничего не могу поделать, достаточно мне вспомнить о парке Строгановых и о том, как мне хорошо живется у вас, как сердце мое разрывается». Этот ребенок меня трогает, в нем столько чувствительности, что можно простить ему небольшие недостатки, которые состоят главным образом в отсутствии хороших манер. Я не смогла удержаться и не сделать замечание Саше, что расставаясь с нами, он не испытывал и четвертой доли того горя, что его двоюродный брат. Но в конце концов у каждого свой характер, а Саша так жаждет всяких перемен и нетерпеливо стремится стать мужчиной. Покинуть родительский кров для него это уже шаг, который, как он полагает, должен его приблизить к столь страстно им желаемой поре» (22 августа)[5].

«Саша и Лев приехали провести с нами воскресенье. Гриша завтра поедет с братом, чтобы держать экзамен у Ортенберга. Лев, кажется, попривык немного, но еще печален. Я не думаю, что Гриша будет в таком же от-

---

* Льва Павлищева.

чаянии*. В моих то́ хорошо, что общество мальчиков их не пугает, они умеют с ними ладить: то с одним немножко подерутся, то с другим, и устанавливаются дружеские отношения, а с ними и уважение» (28 августа)[1].

«Сегодня утром, едва одевшись, я велела заложить пролетку и, как только мы напились чаю, оторвала от семьи моего бедного Григория. Он оставил нас не без слез, хотя и стремился испытать новый образ жизни. Я поехала в казармы...** Там я взяла извозчика, чтобы отвезти моего молодого человека в церковь Все Скорбящие. Когда мы приехали туда, мы не смогли отслужить молебна, так как священник был в отсутствии, а дьячок нам сказал, что придется ждать более получаса. Я побоялась, что Гриша пропустит час обеда, который бывает в 2 часа, тогда он остался бы до вечера без кусочка хлеба, потому что он и чаю не выпил. И я решила отложить молебен до воскресенья, и велев ему приложиться к иконе, вернулась в казармы пересесть в экипаж, потому что явиться на извозчике в это аристократическое учебное заведение было бы не совсем прилично. Пажи были уже на учебном плацу, и я немного подождала, потом прибежал Саша. Когда я передавала ему брата, чтобы он представил его начальству, Жерардот через своего офицера попросил у меня разрешения самому мне представиться. Я пошла ему навстречу и рекомендовала ему Григория. Он мне обещал последить за ним, хвалил Сашу. После этого я рассталась с детьми. Несколько раз Гриша бросался мне на шею, чтобы попрощаться. Оба они проводили меня до пролетки, и я вернулась домой с печалью на сердце» (31 августа)[2].

«Вообрази, что в корпусе все находят, что Гриша очень красивый мальчик, гораздо красивее своего брата, и по этой причине он записан в дворцовую стражу, честь, которой Саша никогда не мог достигнуть, потому что он числится в некрасивых. Когда Гриша появился в корпусе, все товарищи пришли сказать Саше, что брат на тебя ужасно похож, но сравненья нет лучше тебя» (2 сентября)[3].

«Я велела подать завтрак пораньше, чтобы не опоздать поехать в корпус повидать сыновей. Там я имела

* В 1849 году Г. Пушкин поступил в IV класс Пажеского корпуса.

** При кавалергардских казармах Ланской имел казенную квартиру.

счастье узнать, что мой Гага отличается: по-французски получил 10*, без ошибки написал диктант; по-немецки получил 9, потому что он впервые подвергался испытанию по этому языку, а вчера по зоологии получил тоже 9. Дай бог, чтобы и впредь было так. Саша тоже имеет хорошие отметки. Признаюсь, это доставляет мне огромное удовольствие, так как я опасалась очень за Гришу» (10 сентября)[1].

«...Не брани меня, что я употребила твой подарок на покупку абонемента в ложу, я подумала об удовольствии для всех. Неужели ты думаешь, что я такая сумасшедшая, чтобы взять подобную сумму и бегать с ней по магазинам. Я достаточно хорошо знаю цену деньгам, принимая во внимание наши расходы, чтобы тратить столько на покупку тряпок... Не упрекай меня, я приняла твой подарок, но хочу разделить его со всеми» (31 августа)[2].

«...Покончив дела с гувернанткой, я поехала в Пажеский корпус, и была бесконечно счастлива узнать, что Саша сегодня утром был объявлен одним из лучших учеников по поведению и учению, и что Философов и Ортенберг очень его хвалили в присутствии всех пажей. Что касается Гриши, он также имел свою долю похвал, Ортенберг подошел к нему, чтобы сказать, что он не думал, что Гриша будет так хорошо заниматься, как он это делает. Ты представляешь, как я была счастлива, я благословляю бога за то, что у меня такие сыновья, потому что Гриша находится под влиянием брата, хочет ему подражать, и им все довольны. Мальчик уже не имеет апатичного вида, и я начинаю надеяться. Не говорю уж о Саше, оставив мою материнскую гордость, могу сказать — это замечательный мальчик. Да благословит бог их обоих за ту радость, которую они мне доставляют» (29 сентября)[3].

В послужном списке А. А. Пушкина имеется такая запись: «...в уважение примерной нравственности признан отличнейшим воспитанником и в этом качестве внесен под № 5 в особую книгу»[4].

Н. А. Раевский в книге «Портреты заговорили» рассказывает о виденном им в Бродзянах дагерротипе, на котором запечатлен образ Натальи Николаевны тех лет вместе с детьми. «Но лучше всего Пушкина-Ланская вышла на отлично сохранившемся дагерротипе... В одинаковых платьях и чепцах сидят рядом Наталья Николаевна и Александра Николаевна. За ними и сбоку трое детей

* В то время была 10-балльная система оценки успеваемости.

Пушкиных — сыновья в мундирах пажей и девочка-подросток (младшая дочь Наталья). Одна из девочек Ланских прижалась к коленям матери. Дагерротип снят не в ателье, а в комнате (видны книжные шкафы) и, по всей вероятности, относится к 1850 или, самое позднее, к 1851 году (старший сын, А. А. Пушкин, окончил Пажеский корпус в 1851 году). Наталье Николаевне было тогда 38—39 лет. Беру большую лупу и долго смотрю на генеральшу Ланскую. Прекрасные, тонкие, удивительно правильные черты лица. Милое, приветливое лицо — любящая мать, гордая своими детьми. Невольно вспоминаются задушевные пушкинские письма к жене. На известных до сих пор изображениях Натальи Николаевны, как мне кажется, нигде не передан по-настоящему этот немудреный, но живой и ласковый взгляд, который сохранила серебряная пластинка»[1].

В письме от 12 сентября 1849 года мы находим очень интересное упоминание о встрече Натальи Николаевны с женой Павла Воиновича Нащокина, самого близкого друга Пушкина. Нащокин был на свадьбе Пушкиных и постоянно встречался с ними в то время, когда молодые жили в Москве. Впоследствии между Нащокиным и Натальей Николаевной установились самые теплые отношения, это видно из переписки с ним Пушкина. Павел Воинович специально приезжал в Петербург крестить сына Пушкиных Сашу. И вот в 1849 году, оставляя сына одного в чужом ему Петербурге, Вера Александровна, его жена, обратилась с просьбой к Наталье Николаевне, зная ее доброту и отзывчивость, брать иногда мальчика в праздничные дни из Училища правоведения. Павел Воинович в это время был еще жив, и, вероятно, перед отъездом жены из Москвы говорил ей о том, чтобы она попросила Наталью Николаевну взять шефство над сыном. Речь идет о старшем сыне Нащокиных Александре, которому тогда было 10 лет. Нет сомнения, что он был назван в честь Пушкина. А родившуюся в 1837 году дочь Нащокины назвали Натальей.

Вот что писала Наталья Николаевна:

«На днях приходила ко мне мадам Нащокина, у которой сын тоже учится в училище правоведения, и умоляла меня посылать иногда в праздники за сыном, когда отсутствует мадемуазель Акулова*, к которой он обычно ходит в эти дни. Я рассчитываю взять его в воскресенье. Поло-

* Так писала Наталья Николаевна фамилию Окуловой,

жительно, мое призвание — быть директрисой детского приюта: бог посылает мне детей со всех сторон и это мне нисколько не мешает, их веселость меня отвлекает и забавляет»[1].

Нет никакого сомнения, что сын Нащокиных был частым гостем в этом приюте для всех лишенных по тем или иным причинам родительского тепла детей... Мадемуазель Окулова, о которой говорит Наталья Николаевна,— родственница Нащокина (сестра Павла Воиновича была замужем за М. А. Окуловым).

В 1849 году Маше Пушкиной исполнилось 17 лет. Некрасивая в детстве, она, как это часто бывает с девочками, вдруг расцвела и похорошела. Впоследствии, по свидетельству современников, она была хороша собой, в ней счастливо соединялись черты матери и отца. Зимою Маше предстояло «выезжать», и Наталья Николаевна, чтобы побороть застенчивость дочери, стала брать ее с собой, когда бывала у Строгановых и Местров. Так, в письме от 23 апреля она подробно рассказывает об одном из обедов у Строгановых, где Маша Пушкина в белом муслиновом платье с пунцовыми мушками и пунцовыми лентами у ворота и пояса, всем очень понравилась.

«Что касается Маши, то могу тебе сказать, что она тогда произвела впечатление у Строгановых. Графиня мне сказала, что ей понравились и ее лицо, и улыбка, красивые зубы, и что вообще она никогда бы не подумала, что Маша будет хороша собою, так она была некрасива ребенком. Признаюсь тебе, что комплименты Маше мне доставляют в тысячу раз больше удовольствия, чем те, которые могут сделать мне» (28 августа)[2].

«...Теперь пойду отдохнуть, я очень устала сегодня — эти образчики большого света заставляют меня с ужасом думать о предстоящих выездах этой зимой» (23 августа)[3].

«Если бы ты знал, как я была счастлива вернуться домой; я разделась и села писать тебе. Мои так называемые успехи нисколько мне не льстят. Я выслушала, как всегда, множество комплиментов. Никто не хотел верить, что Маша дочь моя, послушать их, так я могла бы претендовать на то, что мне столько же лет, сколько и ей». «...К несчастью, я такого мнения, что красота необходима женщине. Какими бы она ни была наделена достоинствами, мужчина их не заметит, если внешность им не соответствует. Это подтверждает мою мысль о том, что чувственность играет большую роль в любви мужчин. Но по-

чему женщина никогда не обратит внимания на внешность мужчины? Потому что ее чувства более чисты. Однако, я пускаюсь в обсуждение вопроса, в котором мы с тобой никогда не бывали согласны...» (28 августа)[1].

«...Что касается того, чтобы их* пристроить, то, уверяю тебя, мы все в этом отношении более рассудительны, чем ты думаешь; я всецело полагаюсь на волю божию, но не считаю преступлением иногда помечтать об их счастье. Можно быть счастливыми и не будучи замужем, конечно, но что бы ни говорили — это значило бы пройти мимо своего призвания. Я не решусь им это сказать, потому что еще на-днях мы об этом много разговаривали, и я, иногда даже против своего убеждения, для их блага говорила им многое из того, о чем ты мне пишешь в своем письме, подготавливала их к мысли, что замужество прежде всего не так легко делается, и потом — нельзя смотреть на него как на забаву и связывать его с мыслью о свободе. Говорила им, что это серьезная обязанность и что надо делать свой выбор в высшей степени рассудительно...

Союз двух сердец — величайшее счастье на земле, а вы** хотите, чтобы молодые девушки не мечтали об этом, значит, вы никогда не были молоды, никогда не любили. Надо быть снисходительными к молодежи, беда всех родителей в том, что они забывают, что́ они сами чувствовали, и не прощают детям, если последние думают иначе, чем они. Не следует доводить до крайности эту манию о замужестве, до того, чтобы забывать всякое достоинство и приличия, я держусь такого мнения, но предоставить им невинную надежду на приличную партию — это никому не принесет вреда» (25 июля 1851)[2].

Эти письма — еще одно свидетельство того, как тяжелы были для Натальи Николаевны выезды в свет, к которым ее вынуждали заботы о будущем положении детей, о том, чтобы выдать дочерей замуж, а также и поддержать нужные связи для мужа. Опасение, что дочери останутся старыми девами, навеяны, несомненно, судьбой Александры Николаевны; ее неустроенность, тайные страдания были постоянно перед глазами Натальи Нико-

---

* Дочерей.— *И. О.* и *М. Д.*

** Имеются в виду Ланской и Фризенгоф.

лаевны и она, конечно, боялась за дочерей. Отсюда и рассуждения ее о том, что красота необходима женщине, о разнице в чувствах мужчины и женщины. Вопрос этот, очевидно, не раз обсуждался супругами Ланскими, и Наталья Николаевна не соглашалась с возражениями мужа. В какой-то степени она права — внешность девушки или женщины в те времена играла большую роль в чувствах мужчины, во всяком случае в начале знакомства, но здесь более всего интересно ее суждение о чувствах женщин, о том, что женщина «никогда не обратит внимания на внешность мужчины». Оба ее брака доказывают это. Она вышла 18-летней девушкой за Пушкина, который не был красив и был старше ее на 13 лет, преодолела сопротивление матери, настояла на этом браке. Она была, по свидетельству одной современницы, «очень увлечена своим женихом», глубоко и искренне любила мужа, отца ее четверых детей. Как и Пушкин, Ланской был старше Натальи Николаевны на 13 лет и он не блистал красотой, однако и в нем она сумела разглядеть ту большую доброту, которая имела для нее решающее значение в вопросе отношения к детям от первого брака.

Когда Наталья Николаевна вышла замуж за Ланского, дети Пушкины были уже достаточно большими, в особенности Маша и Саша, чтобы сохранить память об отце, чтобы не только сознательно отнестись к браку матери, но и оценить доброе отношение к ним Ланского. Он никогда не претендовал на то, чтобы носить имя отца, дети называли его Петром Петровичем. Александра Николаевна, судя по письмам, внесла некоторый разлад в семью сестры. Арапова в своих воспоминаниях пишет, что якобы она настраивала дочерей Пушкина против отчима. Но письма нигде не говорят нам о плохом отношении детей Пушкиных к нему. Видимо, несмотря на вмешательство тетки, он сумел внушить им уважение и признательность за заботу о них. И, конечно, решающим были его отношение к матери и ее стремление поддерживать мир в семье. «Ты знаешь, как я желаю доброго согласия между вами всеми, — пишет Наталья Николаевна мужу, — ласковое слово от тебя к ним, от них к тебе — это целый мир счастья для меня» (23 июня 1849)[1].

Сохранилась небольшая приписка Маши Пушкиной к поздравительному письму Натальи Николаевны:

«Как старшая в семье, передаю Вам, дорогой Петр Петрович, поздравление моих братьев, Таши и Кароли-

ны. Я также присоединяюсь к их поздравлениям и желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Прошу вас верить моей искренней привязанности. М. Пушкина»[1].

Александр и Григорий Пушкины по окончании Пажеского корпуса были зачислены офицерами в полк Ланского, и письма Натальи Николаевны свидетельствуют об их взаимных хороших отношениях. Много лет спустя, когда Натальи Николаевны уже не было в живых, младшая дочь Пушкина Наталья развелась с первым мужем, и в 1868 году за границей вышла второй раз замуж. Детей своих от первого брака она была вынуждена оставить Ланскому, и он воспитал их. Вряд ли можно переоценить этот поступок Ланского. Об этом рассказывает в своих воспоминаниях внучка Натальи Николаевны Е. Н. Бибикова. Интересно отметить, что крестной матерью Бибиковой была Александра Николаевна, а крестным отцом Петр Петрович Ланской. Родилась она в Германии, в Висбадене, куда ее мать, очень боявшаяся первых родов, поехала рожать к старшей сестре Наталье Александровне. Там же в это время у падчерицы жил и Ланской, лечившийся от ревматизма. Все это еще раз подтверждает его родственное отношение к детям и внукам жены и детей Пушкиных к отчиму.

Дети Натальи Николаевны, Пушкины и Ланские, были очень дружны между собою, и эти отношения сохранились у них на всю жизнь. Так, Мария Александровна Пушкина-Гартунг, когда она овдовела, подолгу живала у старшего брата Александра Александровича и у сестер Ланских, у которых она часто проводила лето в их имениях.

В одном из очерков о жизни А. П. Араповой и ее мужа в их имении Ла́шма, в главе «Усадьба, где жили дети Пушкина»[2] мы читаем следующее:

«...Лашма, усадьба генерала Ивана Андреевича Арапова и супруги его, Александры Петровны, дочери от второго брака вдовы поэта с П. П. Ланским. Здесь в течение долгих лет проводила лето дочь поэта, Мария Александровна Гартунг, здесь гостил его старший сын Александр Александрович...»

Мария Александровна сюда приезжала из Москвы с наступлением майских дней. «...Будучи примерно на десяток лет старше своей единоутробной сестры, Мария Александровна совершенно на нее не походила. Это была худенькая, седая, подтянутая старушка, темноглазая, с

сеткой мелких морщинок, прорезавших смуглое, не лишенное все же известной привлекательности, характерное «пушкинское лицо»... Ежегодно посещал Лашму и проживал в ней летней порой старший сын поэта, генерал от кавалерии Александр Александрович Пушкин, сухой, седой, как лунь, но еще достаточно бодрый старик в своем васильковом мундире Нарвских гусар, которыми командовал на русско-турецкой войне.

...Мария Александровна, сухонькая, но бодрая, выходила к приезжим гостям в неизменном темном костюме без всякого следа украшений, скромно усаживаясь в тени, принимала участие в общей беседе, вносила в споры примиряющее начало. Между прочим, была она до крайности суеверна: пугалась совиного крика, избегала тринадцатое число, а если выплата пенсии из наравчатского казначейства приходилась на пятницу*, задерживала поездку «нарочного с оказией» на несколько дней».

О хороших родственных отношениях между детьми Пушкина и Ланских пишет в своих воспоминаниях и Е. Н. Бибикова:

«Зимой дядя Александр Александрович** приезжал в Петербург по делам институтов и заседал в Опекунском совете***, жил как всегда у моей матери****, и там я с ним встречалась и глубоко уважала этого гордого старика... Мария Александровна Гартунг была старшая дочь Пушкина... Она гостила у нас в Андреевке каждое лето до открытия Казанской железной дороги. После этого она стала ездить в Лашму к другой сестре, Александре Петровне Араповой... Она была очень ожесточена на свою неудачную жизнь... со своими седыми волосами напоминала какую-нибудь средневековую маркизу...»

«Я хорошо помню Александру Николаевну*****. Она была моей крестной матерью. Я родилась в Висбадене, в Германии. Мать боялась первых родов, которые и были очень тяжелые, и поехала в Висбаден, где тогда царила ее сестра — красавица Наталья Александровна, урожденная Пушкина, жена принца Нассауского. Крестным был дед П. П. Ланской, который лечился от ревматизма и

---

* Пятница — день смерти А. С. Пушкина.

** Сын А. С. Пушкина.

*** А. А. Пушкин был почетным опекуном женских институтов.

**** У Елизаветы Петровны Ланской — младшей дочери Н. Н. Пушкиной-Ланской.

***** А. Н. Гончарова — в замужестве Фризенгоф.

жил у падчерицы Натальи Александровны...» «Когда мне минуло уже 7 лет, мой отец Николай Андрéевич Арапов заболел нервным расстройством в деревне, и мама, списавшись с Фризенгофами, повезла отца и нас детей в Вену. Там мы прожили два года».

Хорошие добрые отношения между детьми Пушкиными и Ланскими продолжались и их потомками. Бибикова пишет, что в 1914 году она была в гостях у Натальи Михайловны Бессель (дочери Н. А. Пушкиной-Дубельт-Меренберг) и очень хорошо о ней отзывается: «Я у нее была в Бонне в 1914 году... я ее хорошо помню, она была пресимпатичная, живая, веселая и очень родственная... У нее было двое детей: сын Александр и дочь. Сын очень гордился, что он внук* поэта, и собирал целые коллекции его портретов и отзывов о Пушкине».

СВЕТСКИЕ ВСТРЕЧИ

В силу служебного положения своего мужа, а главное — необходимости поддерживать нужные связи в обществе ради детей Наталья Николаевна иногда бывала на званых обедах и вечерах, ездила с визитами к светским дамам, принимала их у себя. Но делала она это очень неохотно. Так, в письме от 20 июня 1849 года она пишет, что под предлогом, что у нее нет гувернантки и не с кем оставить детей, она отказалась от приглашения на обед к княгине Радзивилл. «Признаюсь тебе,— пишет она Ланскому, — я не чувствую себя способной присутствовать на этих больших обедах. Это жертва, которую моя лень находит бесполезной приносить»[1].

Еще менее охотно бывает она при дворе, о чем мы уже говорили выше. В одном из писем к Ланскому Наталья Николаевна пишет, что встретила у знакомой г-жу Мятлеву, мать известного поэта И. П. Мятлева. Разговор зашел о похоронах только что умершей маленькой великой княжны, и Мятлева сказала, что Наталья Николаевна должна быть на похоронах. «Я не пойду,— пишет Наталья Николаевна, — во-первых, потому, что я не получила никакого извещения ни приказа по этому

* Здесь Бибикова ошиблась: Александр Бессель приходился Пушкину правнуком.— *И. О.* и *М. Д.*

поводу, а во-вторых, так как с меня не требуют, чтобы я пошла, я избегну таким образом большого расхода, который мне мои капиталы не позволяют сделать, если только не входить в новые долги, а я начинаю приходить от них в ужас, так трудно мне вылезти из старых. Может быть, ты не согласишься со мною, но я еще так мало привыкла к тому, что я что-нибудь значу, и настолько убеждена, что мое отсутствие не будет замечено, так как я не принадлежу к интимному кругу при дворе, что считаю себя в праве позволить себе эту вольность. И потом, при моем образе жизни, кто может предполагать, что я здесь. Весь двор, как говорят, в городе» (18 июня 1849)[1].

Но по настоянию тетушки Строгановой, убеждавшей ее, что она как жена генерала непременно должна быть, Наталья Николаевна вынуждена была присутствовать на панихиде в Петропавловском соборе по великому князю Михаилу Павловичу. «Рядом со мной все время стояла госпожа Охотникова, — читаем мы в письме от 19 сентября того же года, — которая заливалась слезами, г-жа Ливен сумела выжать несколько слезинок. Другие дамы тоже плакали, а я не могла»[2].

Вряд ли нуждается в комментарии отношение самой Натальи Николаевны к этому печальному событию царствующего дома. Если г-жа Ливен сумела выжать несколько слезинок, то она этого сделать не смогла, фальш была чужда ее натуре...

Приведем теперь другое письмо, в котором выражены совсем иные чувства и мысли. Осенью 1849 года умер генерал-майор Дмитрий Петрович Бутурлин — военный историк, директор Публичной библиотеки. И он, и жена его Елизавета Михайловна, урожденная Комбурлей, были знакомы с Пушкиными давно. Пушкин с женой не раз бывал у них на балах и вечерах. Связь с этой семьей, с которой была дружна и тетушка Загряжская, не порывалась и после смерти поэта. В письмах Наталья Николаевна упоминает о том, что старик Бутурлин, живший неподалеку на даче у брата, часто навещает ее по утрам. В силу этих дружественных отношений она сочла своим долгом присутствовать на панихиде. В письме от 12 октября она описывает свое посещение дома Бутурлиных[3].

«После обеда я собрала все свое мужество и пошла одеваться, чтобы одной ехать к Бутурлиным. Я считала

необходимым сделать это ради сына, который действительно был мне верным другом, и потом старик всегда был так внимателен ко мне. Было даже время, когда принимая во внимание близкие отношения тетушки Катерины со старой Комбурлей, я постоянно бывала в их доме, стало быть, это было почти что моим долгом, и я решила побороть свою застенчивость. Приехав туда, я прошла через прекрасные гостиные, чтобы достигнуть бального зала, где столько раз я веселилась. Посредине стоял гроб. Из женщин были только две особы, живущие в доме, и горничные, зато довольно много мужчин. Я была просто ошеломлена. Но набралась смелости и прошла прямо к этим двум женщинам, которых я даже не знала. Когда началось чтение молитв, пришло много монахов, мне кажется — весь невский монастырь собрался здесь. Наконец приехали тетушка Местр и княгиня Бутера, их присутствие меня ободрило.

Не могу тебе выразить, какое тяжелое впечатление произвело на меня это печальное зрелище. Столько воспоминаний вызвало оно во мне. Я снова увидела покойного стоящего в дверях своей гостиной, в парадной форме, встречающего гостей, и его жену, сияющую от сознания своей красоты и успеха. Зала полна, сверкает огнями, танцы, музыка, всюду веселье, а теперь скорбь, слезы, монахи, несколько мужчин в траурной одежде и три дамы — единственные из некогда столь многочисленного общества. Ни жены, ни дочери не было, они были около старой матери, которой только что сообщили новость и теперь приводили в чувство после обморока. Я увидела сына. Мы молча обменялись рукопожатиями и больше я его не видела. Он сопровождал тело до монастыря. Тетушка и княгиня пошли к госпоже Комбурлей, а я вернулась домой. Мрачное настроение не оставляло меня весь вечер. Твой брат провел его с нами, и невольно разговор принял серьезное направление. Мысли о смерти и наши упования на будущее были единственной печальной темой. В полночь мы разошлись».

Наталья Николаевна не говорит о Пушкине, она щадит чувства Ланского, но все ее письмо пронизано мыслями о нем... Сколько воспоминаний, по ее словам, вызвало это печальное событие. Не только жену Бутурлина, но и себя вместе с Пушкиным увидела она в этих залах. И траурная церемония так живо воскресила в ней те чувства, которые пережила она двенадцать лет

тому назад... Сколько горечи в ее словах, что только несколько человек из некогда столь многочисленного общества, бывавшего в этом доме, пришли проводить в последний путь его хозяина.

Среди дошедших до нас портретов Натальи Николаевны этих лет наиболее интересен портрет, приписываемый кисти художника Макарова. Иван Кузьмич Макаров, сын бывшего крепостного художника, окончил Академию художеств, впоследствии стал академиком. В 1849 году ему было 27 лет, но он уже был известен как талантливый портретист. Его кисти принадлежит ряд семейных портретов Пушкиных, не только Натальи Николаевны, но и известный портрет Марии Александровны Пушкиной-Гартунг, а также девочек Пушкиных Марии и Натальи (о них упоминает Наталья Николаевна в своем письме) и два портрета сестер Араповых, внучек Натальи Николаевны.

Ко дню рождения Ланского Наталья Николаевна послала ему свой портрет, подробно описывая историю его написания. Сначала она хотела сделать мужу сюрприз и не говорила, какой именно подарок она ему готовит, потом обстоятельства вынудили ее сказать, что́ именно она ему посылает.

«Необходимость заставляет меня сказать, в чем состоит мой подарок. Это мой портрет, написанный Макаровым, который предложил мне его сделать без всякой просьбы с моей стороны и ни за что не хотел взять за него деньги: «Я так расположен к Петру Петровичу, что за щастие поставлю ему сделать удовольствие к именинам». Прими же, это дар от нас обоих» (4 июля 1849)[1].

«...Сегодня или завтра ты получишь мой портрет. Отчасти я сдержала слово: так как я не могу сама приехать в Ригу, моя копия тебе меня заменит, и все же я тебе послала очень хорошенькую женщину — все кто видел портрет подтверждают сходство, это мне очень льстит и заставляет предполагать, что мои притязания иметь успех у тебя (клянусь тебе, я не стремлюсь ни к какому другому) не покажутся смешными — я любовалась собой; увы, чуточку тщеславия все же проскользнуло, и я тебе в этом смиренно признаюсь. Прости мне отступление по этому поводу, но оно необходимо.

Макаров, автор этого сюрприза, с нетерпением ждет сообщения о впечатлении, которое на тебя произведет портрет. Надо мне тебе рассказать, каким любезным образом он предложил свои услуги, чтобы вывести меня из затруднения с дагерротипом и фотографией, которые у меня были, потому что оба они были неудачными. Он пришел однажды утром к нам работать над портретами детей, и мне пришла в голову мысль посоветоваться с ним, нельзя ли как-нибудь подправить фотографию, и не поможет ли в этом случае кисть Гау. — Да, сказал он, может быть. Потом, глядя на меня очень пристально, что меня немного удивило, он сказал: — Послушайте, сударыня, я чувствую такую симпатию к вашему мужу, так его люблю, что почту себя счастливым способствовать удовольствию, которое вы хотите ему доставить. Разрешите мне написать ваш портрет, я уловил характер вашего лица и легко набросаю на полотне только голову.— Ты прекрасно понимаешь, что я не заставила себя просить, в таком я была отчаянии, не имея ничего после стольких хлопот. Он назначил мне сеанс на следующий день, был трогательно точен, и заставил меня позировать три дня подряд. Не утомляя меня, делая большие перерывы для отдыха, он закончил портрет удивительно быстро. Я спросила его о цене, он не захотел мне ее назвать и просил принять портрет в подарок, который он счастлив тебе сделать. Не забудь выразить ему свою благодарность, я непременно ее передам. Мы расстались с ним очень тепло, он обещал время от времени бывать у нас. Положив руку на сердце, он меня всячески уверял в своем уважении и преданности. Теперь он начал писать портреты г-на и г-жи Айвазовских» (8 июля 1849)[1]. «Жду твоего первого письма с нетерпением, чтобы узнать доволен ли ты сходством»[2].

Посылая портрет, Наталья Николаевна в конце письма упоминает о портретах супругов Айвазовских. Знаменитый художник-маринист Иван Константинович Айвазовский был знаком с Пушкиным. Один из современников в своих воспоминаниях рассказывает, что в 1836 году Пушкин с женой были в Академии художеств на осенней выставке, и там поэт разговаривал с Айвазовским. Но и после смерти Пушкина Айвазовский продолжал знакомство с семьей поэта. Так, в 1847 году он подарил Наталье Николаевне свою картину «Лунная ночь у взморья». Недавно эта картина Айвазовского была

обнаружена в Риге и приобретена Картинной галереей имени И. К. Айвазовского в Феодосии. На обороте имеется полустершаяся дарственная надпись: «Наталье Николаевне Ланской от Айвазовского. 1 Генваря 1847 г. С. Петербург». В книге мы публикуем впервые фотокопию с этой картины*.

В письмах 1849 года Наталья Николаевна не раз упоминает о визитах Айвазовского, а 4 июля записывает, что, будучи в городе, заезжала к Айвазовским, но они в это время обедали. Она уехала, передав через слугу о своем сожалении, что не видела их, и обещала заехать в другой раз. «Айвазовский прибежал вечером на Острова, — пишет Наталья Николаевна, — и, не застав меня дома, передал через Сашу, что он пришел извиниться за глупость своего слуги, который не захотел обо мне доложить»[1].

Часто бывал у Натальи Николаевны летом 1849 года и Петр Александрович Плетнев, живший поблизости на даче. Видимо, он приезжал представить ей свою молодую жену, и Наталья Николаевна в один из вечеров решила запросто всей семьей навестить друга своего покойного мужа.

«Утро сегодняшнего дня я употребила на письмо мадам Бибиковой, а вечером на одно доброе дело. Мы отправились гулять в сторону лесничества, чтобы отдать визит Плетневу. Мы никого не застали дома, но зайдя в публичный сад, где играла музыка, мы его встретили прогуливающимся под руку с женой. Он нас увидел издалека и бросился навстречу. Узнав, что мы у него были, он настоял на том, чтобы мы вернулись. Мы были вынуждены уступить его просьбам. Но чтобы не оставаться там долго, я сослалась на то, что мне в 9 часов надо укладывать Азиньку. Сегодня его жена не показалась мне некрасивой, даже совсем наоборот, а дочь его, напротив, порядочная дурнушка. Он кажется очень счастливым, водил нас всюду по своей даче. Наш визит ему доставил удовольствие, но смутил его жену, которая выглядит очень застенчивой» (26 июля 1849)[2].

Мы уже не раз говорили о Плетневе. Приведенные строки еще раз подтверждают его очень теплое отношение к Наталье Николаевне. Краткость этого посещения,

---

* Фотокопия с картины любезно была прислана нам заместителем директора галереи С. С. Полун.

видимо, надо объяснить деликатностью Натальи Николаевны; видя, что молодая хозяйка смущена их неожиданным визитом, да еще такой большой компанией, она не захотела долее ее стеснять.

Теперь перейдем к одной из интереснейших встреч Натальи Николаевны, которая очень подробно описана в ее письмах 1849 года. Мы имеем в виду ее встречу с княгиней Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой. Об увлечении Пушкина Воронцовой написано очень много. Исследователи по-разному смотрят на этот роман: одни отрицают его серьезность и значение для Пушкина, другие приводят доказательства того, что у Воронцовой якобы даже был от Пушкина ребенок. Посмотрим, о чем говорят публикуемые нами письма.

«Графиня Строганова едет сегодня вечером к Лавалям и очень меня звала поехать к ним вместе с нею. Не знаю, решусь ли я на это и не возьмет ли верх моя лень» (17 августа 1849)[1].

«...Надо, однако вернуться ко вчерашнему вечеру, о котором я не смогла тебе рассказать. Мне кажется, я остановилась на прогулке на Острова. У елагинской дамбы мы увидели остановившуюся коляску Строгановых, и графиня сделала нам знак, чтобы мы подъехали к ней поговорить. При повороте лошади, это были серые, запутались, и мы сошли с коляски из опасения какого-нибудь несчастного случая. Прохожие пришли на помощь Василию, а мы тем временем подошли к экипажу Строгановых. Графиня снова предложила заехать за мною на вечер к Лавалям, и договорившись обо всем, мы расстались. Сев в коляску, мы отправились прямо домой — мне надо было заняться туалетом, так как графиня должна была заехать за мной в 9 часов. Я была в белом муслиновом платье с короткими рукавами и кружевным лифом, лента и пояс пунцовые, кружевная наколка с белыми маками и зелеными листьями, как носили этой зимой, и кружевная мантилья. В момент отъезда Александрина дала мне свой именинный подарок — очаровательную лорнетку; она отдала мне ее вчера, потому что моя была далеко не элегантна.

Когда мы приехали, там уже собралось большое общество. До того как начался вечер, был обед, и дипломатический корпус был в полном составе. Твоя старая жена как новое лицо привлекла их внимание, и все наперерыв подходили и смотрели на меня в упор. Ферьеры также

там были и тоже оказались в числе любопытных. Так как муж уже был мне представлен у Тетушки, он сел около меня, чтобы поговорить. Жена не сводила с меня глаз сидя на диване напротив.

В течение всего вечера я сидела рядом с незнакомой дамой, которая, как и я, казалось, тоже не принадлежала к этому кругу петербургских дам и иностранцев-мужчин. Графиня Строганова представила нас друг другу, назвав меня, но умолчав об имени соседки. Поэтому я была в большом затруднении, разговаривая с нею. Наконец, воспользовавшись моментом, когда внимание ее было отвлечено, я спросила у графини, кто эта дама. Это была графиня Воронцова-Браницкая. Тогда всякая натянутость исчезла, я ей напомнила о нашем очень давнем знакомстве, когда я ей была представлена под другой фамилией, тому уже 17 лет. Она не могла придти в себя от изумления. «Я никогда не узнала бы вас, — сказала она, — потому что, даю вам слово, вы тогда не были и на четверть так прекрасны, как теперь, я бы затруднилась дать вам сейчас более 25 лет. Тогда вы мне показались такой худенькой, такой бледной, маленькой, с тех пор вы удивительно выросли». Вот уже второй раз за это лето мне об этом говорят. Несколько раз она брала меня за руку в знак своего расположения и смотрела на меня с таким интересом, что тронула мне сердце своей доброжелательностью. Я выразила ей сожаление, что она так скоро уезжает и я не смогу представить ей Машу; она сказала, что хотя она и уезжает очень скоро, но я могу к ней приехать в воскресенье в час дня, она будет совершенно счастлива нас видеть. По знаку своего мужа она должна была уехать и, протянув мне еще раз руку, она опять повторила, что была очень рада снова меня увидеть.

Я видела там также Софи Радзивилл, она была в черном и красива, как никогда. Она меня упрекнула, что я не приехала к ней обедать, и сказала, что пожалуется на это тебе. Из дам были еще Барятинская и ее сестра Чернышева. Княгиня Долгорукова, жена Николая Долгорукова с дочерью, госпожа Анненкова, барышни Пашковы. Потом много других, которые сидели отдельным кружком и которых мне не удалось узнать*... Мы оставались на этом вечере до 11 часов. Трезолини не пела

---

* Наталья Николаевна была близорука.

из-за болезни великого князя. Можно было умереть со скуки. И как только графиня сделала мне знак к отъезду, я поспешно поднялась.

В карете она мне заявила, что я произвела очень большое впечатление, что все подходили к ней с комплиментами по поводу моей красоты. Одним словом, она была очень горда, что именно она привезла меня туда. Прости, милый Пьер, если я тебе говорю о себе с такой нескромностью, но я тебе рассказываю все, как было, и если речь идет о моей внешности, — преимущество которым я не вправе гордиться, потому что это бог пожелал мне его даровать, — то это только в силу привычки описывать все мельчайшие подробности...» (18 августа 1849)[1].

«...Тетушка проезжала мимо от Данзасов и была так любезна, что зашла к нам. Она рассказала, что я произвела ошеломляющее впечатление на иностранцев, которые были в гостях. Итальянец Регина заявил, что я была самой красивой на вечере у Лавалей (а это не так уж много; впрочем, я забыла, что там были две красавицы — Барятинская и Лебзеттерн-Бржинская). Потом он спросил Тетушку, почему я не бываю у нее, сказал, что он никогда меня здесь не встречает. Это были коготки, выпущенные Тетушкой мимоходом в мой адрес, но я сделала вид, что не поняла. Тетушка ему ответила, что я прихожу к ней изредка обедать. Впрочем, она была очень любезна, без конца ласкала детей и поручила мне передать тебе привет» (21 августа 1849)[2].

Но состоялось ли свидание Натальи Николаевны с Воронцовой у нее дома? Нет, и вот что она об этом пишет.

«...Прежде чем ответить, я расскажу тебе, как провела день. Он начался для меня с того, что я отправилась к обедне... Вернувшись, я велела заложить карету, чтобы ехать в город с визитом к княгине Воронцовой. В это время я получила твое письмо; торопясь ехать, я прочла его в карете... Но когда мы приехали к княгине, она уже уехала в Петергоф, и я вернулась прямо на Острова» (21 августа 1849)[3].

В пушкиноведении, как мы уже говорили выше, не раз поднимался вопрос об отношении Пушкина к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой. Общеизвестно, что, будучи в Одессе, поэт сильно увлекался ею, и в ряде исследовательских работ встречаются предположения об их близ-

ких отношениях и о том, что якобы у Воронцовой была от Пушкина дочь. В недавно вышедшей работе Г. П. Макогоненко[1] есть раздел, специально посвященный версии о любви Пушкина к Воронцовой. Подробно разбирая «за» и «против» этого романа, автор приходит к выводу, что «приведенные материалы решительно опровергают созданный пушкинистами миф о роли Е. К. Воронцовой в жизни Пушкина».

Напомним в нескольких словах о событиях в Одессе. За время пребывания Пушкина в Одессе на службе у М. С. Воронцова (июль 1823 — июль 1824 года) у него было два увлечения — Амалия Ризнич и графиня Воронцова. Не будем говорить о первом, нас интересует второе. По свидетельствам современников, Елизавета Ксаверьевна не была красавицей, но была очень привлекательной женщиной. Вероятно, графине импонировала влюбленность знаменитого поэта, возможно, и она сама немного им увлеклась. Отношения Воронцова с Пушкиным испортились. Затем последовала унизительная для поэта командировка «на саранчу», а в июле 1824 года в результате настоятельных просьб Воронцова к петербургским властям Пушкин был выслан в Михайловское.

Этим же летом в Одессе жила Вера Федоровна Вяземская, приехавшая туда на морские купания с больными детьми. Пушкин постоянно бывал у нее в доме. Вяземская была в курсе его сердечных дел и обо всем сообщала мужу. «Я была единственной поверенной его огорчений и свидетелем его слабости, так как он был в отчаянии от того, что покидает Одессу, в особенности из-за некоего чувства, которое разрослось в нем за последние дни, как это бывает... Молчи, хотя это очень целомудренно. Да и серьезно только с его стороны»[2]. Достаточно веское доказательство платонического характера этого романа, мы полагаем. Встреча Натальи Николаевны с княгиней Воронцовой на вечере у Лавалей дает еще один довод в пользу этого предположения.

Знала ли Наталья Николаевна об увлечении Пушкина Воронцовой? Думаем, что да, и вероятнее всего, — от самого Пушкина. И вряд ли он скрыл бы от нее характер этих отношений, если бы они были серьезны, и тем более если бы у Воронцовой была от него дочь. Но если даже предположить, что Пушкин ей ничего не сказал, можно ли поверить, что Вера Федоровна не поведала бы На-

талье Николаевне после смерти поэта об этом целомудренном (или тем более нецеломудренном) увлечении?

Здесь надо сказать, что Наталья Николаевна была очень ревнива, об этом свидетельствуют письма Пушкина к ней, постоянно оправдывающегося и старающегося рассеять ее ревнивые подозрения в отношении тех или иных женщин. С этой же чертой характера встречаемся мы и в письмах Натальи Николаевны ко второму мужу: она не раз осведомляется, не увлекся ли он какой-нибудь красивой полькой, и говорит, что не потерпела бы измены.

Что Наталья Николаевна не придавала значения одесскому «роману» Пушкина, подтверждает эта встреча у Лавалей. Иначе она никогда не носила бы такого характера, как мы видим из письма, никогда Наталья Николаевна не предложила бы Воронцовой приехать к ней, чтобы познакомить с дочерью Пушкина... А княгиня? Могла ли она с такой открытой, непосредственной доброжелательностью разговаривать с вдовой человека, который ей был когда-то близок? Брать ее за руку в искреннем порыве добрых чувств, приглашать к себе? Трудно в это поверить. Нам кажется, что Елизавету Ксаверьевну в этот вечер наполняли и воспоминания о прошлом, о своей молодости и молодости поэта, и чувство сострадания к Наталье Николаевне, так трагически потерявшей мужа, и какого мужа! И горькое сожаление о Пушкине, безвременно ушедшем, который мог бы быть так счастлив с этой красивой, обаятельной женщиной.

В 1849 году Елизавете Ксаверьевне было уже 57 лет, Наталье Николаевне — 37. Четверть века прошло с тех пор, как Пушкин навсегда покинул Одессу. Была, как мы видели из письма, 17 лет назад еще одна встреча, в 1832 году, на каком-то балу или вечере. Очевидно, у княгини осталось неясное воспоминание об этой встрече, она не запомнила, что жена поэта высокого роста, и внешность ее почему-то не произвела на нее впечатления, хотя все петербургское общество восхищалось красотой Пушкиной. Интересно отметить, что фамилия «Ланская» ничего не сказала Воронцовой при встрече в 1849 году, значит, она не знала, что вдова поэта вышла вторично замуж.

В 1834 году Воронцова напомнила о себе Пушкину, обратившись к нему с просьбой дать что-нибудь для из-

даваемого в Одессе альманаха в пользу бедных. Пушкин послал ей несколько сцен из трагедии, как говорит он в своем письме (по-видимому, из «Русалки»), добавляя: «Я хотел бы положить к вашим ногам что-либо менее несовершенное; к несчастию, я уже распорядился всеми моими рукописями и предпочитаю лучше не угодить публике, чем ослушаться ваших приказаний...» Однако, видимо, рукопись Пушкина опоздала и в альманахе напечатана не была. Вероятно, после 1832 года Пушкин и Воронцова больше не встречались, не сохранилось и никаких других писем, да вряд ли они и были.

Чем объяснить, что княгиня уехала в Петергоф, не дождавшись Натальи Николаевны? Полагаем, что Наталья Николаевна опоздала и, вероятно, намного, судя по тому, как она спешила. Но не исключено, что тут вмешался князь Воронцов и заставил жену уехать, чтобы избежать этого нежелательного, по его мнению, визита. Обратим внимание, что Наталья Николаевна ни единым словом не комментирует это несостоявшееся свидание. Надо думать, и в том, и в другом случае ей это было очень неприятно.

В письмах Натальи Николаевны за 1849 год неоднократно упоминается о ее посещении светских дам и их ответных визитах. Но чаще всего, чуть ли не ежедневно или она, или Александра Николаевна с кем-нибудь из детей ходили к Местрам. Тетушка Софья Ивановна болеет, теряет зрение, граф вспыльчив и раздражителен, видимо, их светские знакомые избегают бывать у них, но сестры считают своим долгом не оставлять стариков. Гораздо реже Наталья Николаевна бывала у Строгановых, мы уже видели выше, что графиня упрекала ее в этом. Почему-то Наталья Николаевна неохотно ходила туда. В одном из писем она говорит, что нехорошо бывать у них так редко, графиня так хорошо к ней относится. Полагаем, что ей не хотелось встречаться с их дочерью Полетикой. Когда-то Наталью Николаевну связывали дружеские отношения с Идалией Григорьевной, но позднее они в корне изменились. Что-то произошло между Пушкиным и Полетикой. По словам П. И. Бартенева, Пушкин якобы чем-то оскорбил ее однажды, и она возненавидела его. Во время преддуэльных событий и после Полетика поддерживала самые дружеские отношения с Геккернами и в дальнейшем, как мы увидим,

встречалась с ними за границей. Приведем отрывок из письма Идалии Полетики к Екатерине Николаевне Дантес конца 1838 — начала 1839 года[1].

«Я вижу довольно часто ваших сестер у Строгановых, но отнюдь не у себя; Натали не имеет духа придти ко мне. Мы с ней очень хороши; она никогда не говорит о прошлом, оно не существует между нами, и поэтому, хотя мы с ней в самых дружеских отношениях, мы много говорим о дожде и хорошей погоде, которая, как знаете, редка в Петербурге... Натали все хороша, хотя очень похудела. Есть дни, особенно когда у нее очень плохой вид и она совсем слаба. Два дня назад, например, я обедала с ней и Местрами у Строгановых, у нее была тоска, и она казалась очень нервной. Когда я расспрашивала ее об ее состоянии, она уверяла меня, что это бывает с ней очень часто. Ее дети хороши, мальчики в особенности, похожи на нее и будут очень красивы, но старшая дочь — портрет отца, что великое несчастье».

Ни о каких дружеских отношениях, конечно, не могло быть и речи. Как ясно из письма, Наталья Николаевна не бывала у Полетики, но во многом завися от Строганова, опекуна ее детей, вынуждена была бывать в его доме и, следовательно, встречаться с его дочерью. Полетика говорит, что «прошлое не существует между нами». Нет, это прошлое существовало, оно навсегда легло между ними... Тон этого письма явно тенденциозен по отношению к Пушкину, чего сто́ят только ее слова о том, что походить на Пушкина — великое несчастье! Однако внешне родственные отношения Идалия Григорьевна старалась поддерживать. В одном из писем 1849 года Наталья Николаевна говорит, что Идалия была с ней очень любезна и мила. Когда Полетика выдавала замуж свою дочь, она сочла нужным приехать с визитом к Наталье Николаевне с дочерью и женихом...

Ежедневные заботы о многочисленной семье, постоянная нехватка денег, безусловно, отражались на здоровье Натальи Николаевны. Нервы ее не в порядке. Мы с удивлением узнаем, что она стала курить. У нее часто болит сердце, по ночам мучают судороги в ногах, которые начались еще в те дни, когда умирал Пушкин. Она нередко пишет Ланскому, что у нее бывает непереносимая, необъяснимая тоска...

Видимо, это состояние здоровья жены побудило Ланского в 1851 году уговорить ее поехать лечиться за гра-

ницу. Но зная прекрасно, как трудно ей расстаться с семьей и что ради себя самой она никогда на это не согласится, он, вероятно, сговорился с врачами, которые уверили Наталью Николаевну, что здоровье Маши Пушкиной нуждается в лечении на водах, и настояли на поездке.

Весною 1851 года Наталья Николаевна с сестрой Александрой Николаевной и дочерьми Марией и Натальей выехала в длительную поездку за границу, рассчитанную на четыре месяца. Их сопровождали горничная и преданный слуга Фридрих. К сожалению, до нас дошли только шесть писем за июль из Бонна и Годесберга, хотя уже истекал второй месяц их путешествия. Наталья Николаевна упоминает, что они были в Берлине, но где провели остальное время — неизвестно.

Это тоже письма-дневники, подробно описывающие впечатления, чувства и мысли Натальи Николаевны. Они очень живы, порою остроумны, свидетельствуют о ее наблюдательности. Мы не имеем возможности привести здесь эти письма в сколько-нибудь существенном объеме, но некоторые небольшие выдержки, мы полагаем, дадут о них представление.

Сколько-то времени Наталья Николаевна пробыла в Берлине, где советовалась с несколькими врачами. «Уверяю тебя,— пишет она,— как только сколько-нибудь серьезно заболеваешь, теряешь всякое доверие в медицинскую науку. У меня было три лучших врача и все разного мнения»[1]. Судя по отрывочным упоминаниям об этих разговорах с врачами, можно прийти к выводу, что в основе заболевания Натальи Николаевны было истощение нервной системы и усталость. «Соседи по столу сочли меня серьезно больной... Никто не может подумать, что мы за границей для нее*, ибо у меня иные дни лицо весьма некрасивое. Вот только два дня стала немного поправляться и лицо не мертвое»[2].

Проведя несколько дней в Бонне, который очень понравился Наталье Николаевне, они переехали в малень-

---

* Маши Пушкиной.

кий курортный городок недалеко от него, в Годесберг, поселились в небольшом недорогом отеле и оттуда совершали различные прогулки в окрестностях. Наталья Николаевна принимала здесь ванны, лечебные воды Годесберга были известны еще римлянам. Очаровательные окрестности городка привели в восторг девочек, которые катались на лошадях и осликах. Всей компанией они ездили в горы, осматривали развалины знаменитого замка Годесберг.

Но состояние здоровья Натальи Николаевны было, видимо, так плохо и она так скучала по оставленной дома семье и беспокоилась о детях, что путешествие не доставляло ей удовольствия.

«Годесберг, 9/21 июля 1851[1].

Ну вот я и в Годесберге. Что я могу сказать? Городок очарователен и всякой другой здесь понравилось бы, но я как неприкаянная душа покидаю с радостью одно место, в надежде, что мне будет лучше в другом, но как только туда приезжаю, начинаю считать минуты, когда смогу его оставить. В глубине души такая печаль, что я не могу ее приписать ничему другому, как настоящей тоске по родине... Здесь великолепный воздух, но все же я жажду покинуть эти места. Лучший воздух для меня это воздух родины... Только тогда мне немного полегче, когда я в движении нахожусь в дороге. Некогда тогда предоваться тоске, иначе хоть на стену лезь, а ты знаешь, что скука не в моем характере, я етого чувства дома не понимаю».

В маленьком отеле русские паспорта, как говорит Наталья Николаевна, произвели большое впечатление, и все семейство занимало почетные места в верхнем конце стола. С большим юмором Наталья Николаевна описывает сидящих с ними за табльдотом «принцев».

«...Сегодня утром я тебе писала, что личности, сидящие с нами за табльдотом, мало интересны, придется мне исправить эту ошибку. Мы, оказывается, были в обществе ни много ни мало как принцев. Два принца de la Tour de Taxis[2] учатся в Боннском университете, старший из них — наследный принц. С ними еще был принц Липп-Детмольдский[3]. Что касается этого последнего, то уверяю тебя, что Тетушка, рассмотрев его хорошенько в лорнетку, не решилась бы взять его и в лакеи. У двух первых физиономии тоже совершенно незначи-

тельные, но все-таки не такие отвратительные... Остальные сидящие за столом — профессура и несколько англичан. Словом, это город в высшей степени ученый. От нас только будет зависеть, стать или не стать тоже учеными»[1].

Интересно отметить, что Наталья Николаевна разговаривала с соседями по столу по-немецки, но, по ее словам, длительный разговор на этом языке ей было вести трудно, она, видимо, уже начала его забывать, и ее выручала Александра Николаевна. Но немецкие романы она читала, об этом Наталья Николаевна упоминает в письмах. Надо полагать, что английский язык она знала значительно лучше.

Маша и Таша Пушкины удивляли всех иностранцев в Годесберге своим прекрасным знанием французского языка. Изучали они также и итальянский. Видимо, знали они достаточно хорошо и английский язык. О том, что Маша Пушкина брала уроки английского языка, Наталья Николаевна упоминает в письмах. Англичанин, сидевший за табльдотом напротив Маши, вел с ней разговоры о России. Удивлялся, как это можно давать балы зимой, ведь в Петербурге так холодно! И был поражен, когда она сказала, что в зале так жарко, что приходится открывать окна! Спрашивал ее, какие напитки пьют и едят ли мороженое. «Эти дураки были бы очень удивлены, — резюмирует Наталья Николаевна, — найдя в Петербурге такую роскошь, о какой не имеют и представления, и общество несравненно более образованное, чем они сами»[2].

Пробыв в Годесберге неделю и приняв несколько ванн, Наталья Николаевна почувствовала себя много лучше, она говорит, что постоянное пребывание на воздухе ей очень помогло. План их дальнейшего путешествия был таков: Саксония, Швейцария, Остенде, где Наталья Николаевна предполагала остаться некоторое время для лечения. В Дрездене они должны были встретиться с Фризенгофом и дальше путешествовать вместе. Очевидно, он уже считался женихом Александры Николаевны. В письмах из Годесберга мы встречаем неоднократные упоминания о Фризенгофе, интересна характеристика, которую дает Наталья Николаевна жениху сестры. Эти письма читатель найдет во второй части.

ПИСЬМА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Письмами из Годесберга и ограничиваются дошедшие до нас сведения о поездке Натальи Николаевны за границу. Далее в архиве Араповой следуют несколько разрозненных писем 1852 и 1855 годов, не представляющих особого интереса, и пять писем за 1856 год, написанных из Москвы и Петербурга.

В 1855 году, во время Крымской кампании, генерал Ланской был командирован в Вятку для формирования ополчения. Вместе с мужем поехала и Наталья Николаевна, оставив девочек Ланских на попечение старших дочерей. В Вятке Наталья Николаевна прожила с конца сентября до января 1856 года. Сохранились воспоминания лиц, встречавшихся там с Натальей Николаевной. Помимо Вятки, по делам ополчения Ланскому пришлось некоторое время прожить в городе Слободском, в 30 км от Вятки. В фондах вятской архивной комиссии хранится дневник слободского протоиерея И. В. Куртеева, в котором есть запись о пребывании Ланских в этом городе. Приведем небольшую выдержку из этого дневника: «1855 г., ноябрь 7. Сегодня генерал-адъютант Ланской смотрел Слободскую дружину и остался ею весьма доволен... Теперешняя супруга Ланского была прежде женою поэта Пушкина. Дама довольно высокая, стройная, но пожилая, лицо бледное, но с приятною миною. По отзыву архиерея Елпидифора, дама умная, скромная и деликатная, в разговоре весьма находчива»[1].

Но более интересные сведения о Наталье Николаевне мы находим в воспоминаниях Л. Н. Спасской, дочери вятского врача Н. В. Ионина, лечившего там Наталью Николаевну.

«Мать моя вскоре встретилась с Натальей Николаевной на детском вечере в вятском клубе, — пишет Спасская. — Наталье Николаевне понравились мои брат и сестра, танцевавшие между других детей (меня тогда еще не было на свете). Она стала о них расспрашивать и узнавши, что это дети ее доктора, пожелала познакомиться с их матерью и с ними, была чрезвычайно любезна с матерью, хвалила, ласкала детей и рассказывала ей много о своих детях, причем высказала между прочим, что находит своего сына Григория (которого она называла Гришкою) замечательно похожим, как наружностью, так и характером, на его знаменитого отца. В обращении

Наталья Николаевна производила самое приятное впечатление сердечной, доброй и ласковой женщины и обнаружила в полной мере тот простой, милый аристократический тон, который так ценил в ней Пушкин. Среди вятского общества Ланские особенно сошлись с управлявшим Палатою государственных имуществ Пащенко, состоявшим членом Губернского комитета по созыву ополчения, и его женою и бывали у них совершенно запросто. Мадам Пащенко, женщина редкой доброты, придумала заинтересовать Наталью Николаевну в судьбе М. Е. Салтыкова, который очень уважал и любил ее (мад. Пащенко) и был у нее в доме принят как родной. Она составила план воспользоваться большими связями Натальи Николаевны, чтобы выхлопотать Салтыкову прощение и позволение возвратиться в Петербург. План этот увенчался полным успехом: Салтыков был представлен Наталье Николаевне, которая приняла в нем большое участие (как говорят, в память о покойном своем муже, некогда бывшем в положении, подобном салтыковскому), и решилась помочь талантливому молодому человеку и походатайствовала за него в Петербурге и письменно и лично. Успех не замедлил обнаружиться. Наталья Николаевна уехала из Вятки в январе 1856 года, а в июне того же года Салтыков был уже назначен чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел и возвратился в Петербург»[1].

Факт участия Натальи Николаевны в судьбе Салтыкова-Щедрина общеизвестен, но вот в письмах 1849 года есть сведения о ее хлопотах еще об одном молодом человеке, на этот раз замешанном в деле петрашевцев. Об этом до сих пор не было известно.

«...Мне доложили о Николае Дубельте,— писала Наталья Николаевна 26 сентября,— которого я просила о деле одного арестованного, в нем принимают участие г-жа Хрущева и Александр Рейтер. Это некий молодой Исаков, замешанный в заговоре, который был открыт нынче летом. Мать его в совершенном отчаянии и хочет знать, сильно ли он скомпрометирован и держат ли его в крепости по обвинению в участии или для выяснения дела какого-нибудь другого лица. Орлов, к которому я обратилась, заверил меня, что он не должен быть среди очень скомпрометированных лиц, поскольку старый граф не помнит такой фамилии и она не значится в списке. Я передала это через г-жу Хрущеву матери, но она не успо-

коилась и меня попросила предпринять новые шаги. Так как Михаила сейчас нет, я принялась за Николая Дубельта, который явился по моей просьбе с большой поспешностью и обещал завтра принести ответ». Через день Николай Дубельт снова пришел к Наталье Николаевне и сообщил, что «дело молодого человека счастливо окончилось, он на свободе с сегодняшнего утра»[1].

Молодой Исаков, за которого хлопотала Наталья Николаевна, вероятно, сын или родственник петербургского книгопродавца Я. А. Исакова (впоследствии издателя сочинений Пушкина). Как мы видим, хлопоты ее через Николая Дубельта, брата Михаила Леонтьевича Дубельта, увенчались успехом: распоряжением старого графа Орлова, шефа жандармов и начальника III отделения, Исаков был отпущен, видимо, без всяких последствий в дальнейшем. Этим, надо полагать, он был обязан только Наталье Николаевне.

В первых числах января 1856 года мы находим Наталью Николаевну уже в Москве. Ланской, по-видимому, поехал вместе с сформированным им ополчением в Нижний Новгород. В Москве Наталья Николаевна пробыла более месяца. Здесь она встретилась с братьями Иваном и Сергеем. Еще был жив отец Николай Афанасьевич (он умер в 1861 году), и, вероятно, она остановилась в старом гончаровском доме. Приехали ее встретить и Маша с младшими девочками. Надо полагать, приезжал повидать сестру и Дмитрий Николаевич. Сохранились три письма из Москвы, в которых Наталья Николаевна очень живо описывает свое пребывание в древней столице, где прошли ее детство и юность. Она возобновляет старые знакомства, делает множество визитов, принимает у себя. Интересна ее встреча с известной поэтессой графиней Евдокией Петровной Ростопчиной, которой в то время было 45 лет.

«Сегодня утром мы имели визит графини Ростопчиной, которая была так увлекательна в разговоре, что наш многочисленный кружок слушал ее раскрыв рты. Она уже больше не тоненькая...*. На ее вопрос: «Что же вы мне ничего не говорите, Натали, как вы меня находите», у меня хватило только духу сказать: «я нахожу, что вы очень поправились». Она нам рассказала много интересного и рассказала очень хорошо»[2].

---

* Далее два слова неразборчивы.

Пушкин познакомился с Ростопчиной в 1828 году, когда она еще только начала выезжать в свет. В марте 1831 года в Москве поэт и его молодая жена вместе с Ростопчиной участвовали в санном катании. Осенью 1836 года Ростопчина с мужем переехала в Петербург, и Пушкин часто бывал на ее «литературных» обедах, на которых собирались Жуковский, Вяземский и другие литераторы. Встречались часто Пушкины с ней и в светском обществе. Пушкин ценил поэтическое дарование Ростопчиной, но, по свидетельству В. И. Анненковой, говорил, что «если пишет она хорошо, то, напротив, говорит очень плохо». Однако, видимо, за прошедшие годы она «научилась говорить», поскольку Наталья Николаевна отмечает ее умение интересно рассказывать.

«Все сегодняшнее утро,— пишет Наталья Николаевна,— я ездила по Москве с визитами. Расстояния здесь такие ужасные, что я едва сделала пять, а в списке было десять. Каждый день я здесь обнаруживаю каких-нибудь подруг, знакомых или родственников, кончится тем, что я буду знать всю Москву... Здесь помнят обо мне как участнице живых картин тому 26 лет назад и по этому поводу всюду мне расточаются комплименты» (17 февраля 1856)[1].

В Москве в эти дни происходили коронационные торжества по случаю восшествия на престол Александра II. Наталья Николаевна с дочерью собиралась на бал в Дворянское собрание, но упоминания об этом бале в следующем письме нет. Получила она также приглашение на костюмированный бал к Закревской, жене московского военного генерал-губернатора. Наталья Николаевна долго ездила по магазинам в поисках костюма для дочери, пока ее выбор не остановился на красивом цыганском костюме, который очень шел Маше. Аграфеной Федоровной Закревской в молодости увлекался Пушкин. Ей посвятил поэт три стихотворения, есть предположение, что она послужила прототипом Зинаиды Вольской в пушкинском отрывке «Гости съезжались на дачу». В описываемое нами время московской генерал-губернаторше было уже 56 лет...

В этот свой приезд в Москву Наталья Николаевна, по настоянию Ланского, заказала известному художнику Лашу свой портрет. Вот что пишет она мужу по этому поводу:

«Я, слава богу, чувствую себя лучше, кашель прошел

и я даже надеюсь вскоре начать мой портрет. Ты взвалил на меня тяжелую обязанность, но, увы, что делать, раз тебе доставляет такое удовольствие видеть мое старое лицо, воспроизведенное на полотне» (13 января 1856)[1].

«Мои несчастные портретные сеансы занимают теперь все утра и мне приходится отнимать несколько часов у вечера для своей корреспонденции. Вчера я провела все утро у Лаша, который задержал меня от часа до трех. Он сделал пока только рисунок, который кажется правильным в смысле сходства; завтра начнутся краски. Когда Маша была у него накануне вместе с Лизой, чтобы назначить час для следующего дня, и сказала, что она моя дочь, он, вероятно, вообразил, что ему придется перенести на полотно лицо доброй, толстой старой маменьки, и когда зашла речь о том, в каком мне быть туалете, он посоветовал надеть закрытое платье.— Я думаю, добавил он, так будет лучше. Но увидев меня, он сделал мне комплимент, говоря, что я слишком молода, чтобы иметь таких взрослых детей, и долго изучал мое бедное лицо, прежде чем решить, какую позу выбрать для меня. Наконец, левый профиль, кажется, удовлетворил его, а также и чистота моего благородного лба, и ты будешь иметь счастье видеть меня изображенной в $^3/_4$» (17 февраля 1856)[2].

Здесь Наталья Николаевна немножко кокетничает, говоря о своем старом лице (хотя и иронизирует в отношении «чистоты благородного лба» — очевидно, это слова художника); она, конечно, знала, что для своего возраста она еще очень хороша, ей было тогда 44 года, не так и много.

28 марта 1856 года Наталья Николаевна пишет уже из Петербурга, а 6 июня — с дачи (где живет — неизвестно); эти письма особого интереса не представляют. На этом заканчиваются письма Натальи Николаевны, хранящиеся в ИРЛИ. Несомненно, не все они дошли до нас, и найдутся ли они когда-нибудь или безвозвратно утрачены, сказать трудно. Но и то, что уцелело,— бесценный материал для характеристики этой женщины, душа которой была от нас скрыта до того, как были найдены ее письма, написанные при жизни Пушкина, а вот теперь публикуются и письма более поздних лет.

Видимо, в 50-е годы здоровье Натальи Николаевны начало медленно, но неуклонно ухудшаться. Много тревог и горя причинило ей неудачное замужество младшей дочери Таши Пушкиной. Она увлеклась Михаилом Дубельтом, сыном управляющего III отделения Л. В. Дубельта. Наталья Николаевна прекрасно понимала неуместность этого брака. Был против выбора падчерицы и П. П. Ланской. «Отец мой недолюбливал Дубельта,— писала А. П. Арапова.— Его сдержанный, рассудительный характер не мирился с необузданным нравом и страстным темпераментом игрока, который жених и не пытался скрыть. Будь Наташа родная дочь, отец никогда не дал бы своего согласия, явно предвидя горькие последствия; но тут он мог только ограничиться советом и предостережением»[1]. Долго боролась Наталья Николаевна против этого брака, но ничего не могла поделать с настойчивостью дочери. «Одну замариновала*, и меня хочешь замариновать!» — упрекала свою мать Наталья. В конце концов Наталья Николаевна вынуждена была дать согласие.

«Быстро перешла бесенок Таша из детства в зрелой возраст,— писала она П. А. Вяземскому незадолго до свадьбы,— но делать нечего — судьбу не обойдешь. Вот уже год борюсь с ней, наконец, покорилась воле божьей и нетерпению Дубельта. Один мой страх — ее молодость, иначе сказать — ребячество». «За участие, принятое вами,— заканчивает письмо Наталья Николаевна,— и за поздравление искренно благодарю вас» (6 января 1853 г.)[2].

Аналогичное письмо послала она и С. А. Соболевскому: «Дружба, связывавшая Вас с Пушкиным, дает мне право думать, что Вы с участием отнесетесь к известию о свадьбе его дочери**[3]. «Участие»,— повторяет она и в том и в другом письме, ища поддержки и как бы оправдания перед друзьями Пушкина. Как мы видим из письма, она боролась против этого брака целый год, а это говорит о многом, если принять во внимание ее мягкий характер. Мы полагаем, что не молодость дочери была здесь главной причиной и не «нетерпение Дубельта», а то, что она выходила замуж за сына жандарма Л. В. Дубельта. Не мог внушать ей доверия и жених, который был старше Таши Пушкиной на 14 лет. Бурно проведенная молодость и характер его были хорошо известны.

* Намек на старшую сестру, Марию.
** Эти письма написаны по-русски.

Как и предчувствовала Наталья Николаевна, брак этот не был счастлив, и в 1862 году, уже имея троих детей, супруги разъехались, а потом и развелись. Об этом мы скажем несколько подробнее в следующей части. «Почти с первых дней обнаружившийся разлад,— говорит Арапова,— загубил навек душевный покой матери». Всю жизнь Наталья Николаевна упрекала себя в том, что по слабости своего характера допустила этот брак.

Немало огорчений доставляла ей и старшая дочь Маша, которая долго не могла устроить свою судьбу. Только в 1860 году, в возрасте 28 лет она вышла замуж за лейб-гвардии офицера Л. Н. Гартунга и покинула материнский кров. За два года до этого женился Саша Пушкин на племяннице Ланского Софье Ланской, и таким образом дети Пушкина, кроме Григория, женившегося очень поздно, уже не жили с матерью.

О последних годах жизни матери пишет А. П. Арапова. Ей уже было тогда 15—17 лет, и она, конечно, хорошо помнила события того времени.

«Здоровье ее медленно, но постоянно разрушалось. Она страдала мучительным кашлем, который утихал с наступлением лета, но с каждою весною возвращался с удвоенным упорством, точно наверстывая невольную передышку. Никакие лекарства не помогали, по целым ночам она не смыкала глаз, так как в лежачем положении приступы учащались; и она мне еще теперь мерещится, неподвижно прислоненная к высоким подушкам, обеими руками поддерживающая усталую, изможденную голову. Только к утру она забывалась коротким лихорадочным сном»[1].

В 1861 году консилиум врачей признал необходимым длительное лечение за границей. Ланской подал прошение об отпуске на год и в мае увез жену и дочерей за границу. Сменив несколько курортов в Германии, не принесших облегчения Наталье Николаевне, они переехали осенью в Женеву, провели зиму 1862 года в Ницце, и здесь здоровье ее значительно поправилось. Врачи, однако, предписали провести еще одну зиму в теплом климате. На лето Наталья Николаевна с девочками поехала к Александре Николаевне в Венгрию, а Ланской вернулся на службу в Россию. Имение Бродзяны лежало глубоко в горах, в долине реки Нитры. Здесь еще раз встретились так нежно, преданно любившие друг друга сестры. Это было последнее их свидание... Но и тут бедная

Наталья Николаевна не нашла столь необходимого ей покоя. Как раз в это время произошел окончательный разрыв супругов Дубельтов. Вот что пишет об этом А. П. Арапова.

«...Дурные отношения между моей сестрой и ее мужем достигли кульминационного пункта; они окончательно разошлись и, заручившись его согласием на развод, она с двумя старшими детьми приехала приютиться к матери. Религиозные понятия последней страдали от этого решения, но, считая себя виноватой перед дочерью, она не пыталась даже отговорить ее. Летние месяцы прошли в постоянных передрягах и нескончаемых волнениях. Дубельт, подавший первый эту мысль жене, вскоре передумал, отказался от данного слова, сам приехал в Венгрию, сперва с повинной, а когда она оказалась безуспешной, то он дал полную волю своему необузданному, бешеному характеру. Тяжело даже вспомнить о происшедших сценах, пока, по твердому настоянию барона Фризенгофа, он не уехал из его имения, предоставив жене временный покой. Положение ее являлось безысходным, будущность беспросветная. Сестра не унывала; ее поддерживала необычайная твердость духа и сила воли, но зато мать мучилась за двоих. Целыми часами бродила она по комнате, словно пыталась заглушить гнетущее горе физической усталостью... Под напором неотвязчивых мыслей она снова стала таять, как свеча, и отец, вернувшийся к нам осенью, с понятной тревогой должен был признать происшедшую перемену; забрав с собой сестру и ее детей, мы направились в Ниццу»[1].

Но, по словам Араповой, зима в Ницце снова принесла улучшение, и Наталья Николаевна решительно стала настаивать на возвращении домой. Ланскому надо было возвращаться на службу, дочери Александре предстояло выезжать в свет, ей минуло восемнадцать лет. «Я всем существом стремилась к этой минуте,— читаем мы в воспоминаниях Араповой,— да и остальным это двухлетнее скитание прискучило». И несмотря на предупреждение врачей, что ей еще нельзя так резко менять климат, что нужно закрепить начавшееся улучшение, Наталья Николаевна, как всегда, пожертвовала собою ради дочери и мужа. Семья вернулась в Россию.

Лето 1863 года прошло благополучно. Все три сестры Ланские провели его у брата Александра Александровича в Ивановском, Бронницкого уезда. Родители были в это

время в Петербурге, они устраивались на новой квартире, но Наталья Николаевна иногда навещала дочерей. Вскоре родился у Александра Александровича, жившего тогда в Москве, долгожданный сын, которого в честь деда и отца решили назвать Александром. Александр Александрович очень хотел, чтобы мать приехала крестить внука. Несмотря на то что муж отговаривал ее, она настояла на своем. В Москве, накануне возвращения, Наталья Николаевна простудилась, а поездка в холодном вагоне усугубила простуду. Болезнь возобновилась.

До нас дошло ее письмо к Ивану Николаевичу (Дмитрия Николаевича уже не было в живых) от 30 октября. Возможно, что это было ее последнее письмо. Написано оно не на почтовой бумаге, а на листочке в клетку, очевидно, вырванном из ученической тетради, и почерк уже необычный: писала она лежа. В этом письме, верная себе, прежде всего она сообщает брату о выполнении его поручений, и только в конце вскользь пишет, что после возвращения из Москвы она плохо себя чувствует, лежит, и только сегодня вот нашла силы ему написать... Приведем это письмо.

«30 октября 1863. Санкт-Петербург[1]

Дорогой и добрейший Ваня. Если я не написала тебе до сих пор, то это не значит, что я не хлопотала по твоему поручению, но только вчера я выяснила окончательно, сколько это будет стоить. В готовом виде это будет 250 рублей, и так как это превышает на 100 рублей сумму, что ты мне назначил, я не решилась сделать заказ. Если ты согласишься на 250, напиши мне поскорее, чтобы сделать его во-время. Но прими во внимание вот еще что: соболь в Москве дешевле; Натали* могла бы узнать цену. Тот, что мне показывали, правда, очень хорош, он стоит 20 руб. серебром шкурка. Если в Москве дешевле, я могла бы прислать выкройку, и вы заказали бы там. Во всяком случае дай мне быстро ответ. И еще о выкупных свидетельствах, их здесь продают по 84 и даже по 82, но курс постоянно меняется.

Спешу послать тебе это письмо, чтобы оно не опоздало на почту. Пишу тебе лежа в постели. Со времени моего возвращения из Москвы я очень плохо себя чувствовала и только два дня как мне немного получше.

---

* Натали — по-видимому, дочь С. Н. Гончарова.

Прощай, дорогой добрейший брат, тысячу поцелуев самых нежных моим двум дорогим невесткам и детям.

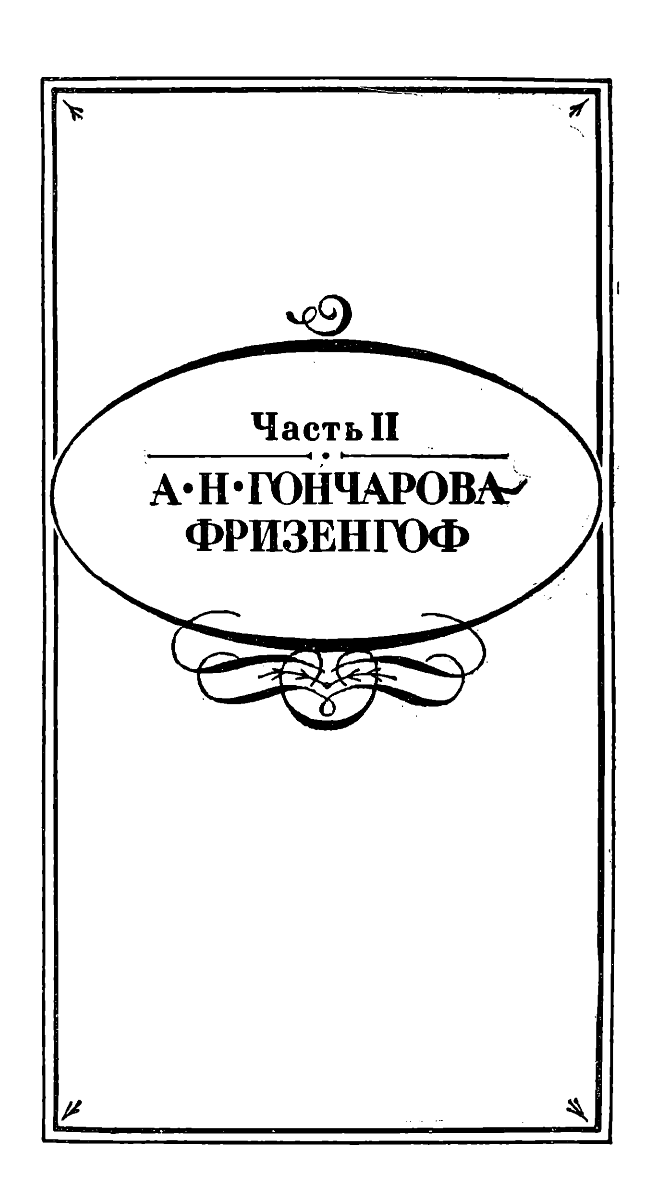
Н. Л.»

Но болезнь приняла роковой оборот, у Натальи Николаевны развилось тяжелое воспаление легких. Все дети, кроме Натальи, бывшей за границей, собрались у постели умирающей матери. Маша успела приехать только накануне ее смерти. Но и теперь Наталья Николаевна думала только о детях. Арапова свидетельствует, что их «всех поражало, что она об отце заботилась меньше, чем о других близких». Больше всего ее тревожила судьба младшей дочери Пушкина, Натальи, разошедшейся с мужем и оставшейся без всяких средств, с тремя детьми на руках. Вероятно, она просила Петра Петровича не оставлять их, что, как мы говорили, он и сделал.

Почти целый месяц боролась Наталья Николаевна с болезнью, но слабый организм не выдержал, и 26 ноября 1863 года она скончалась.

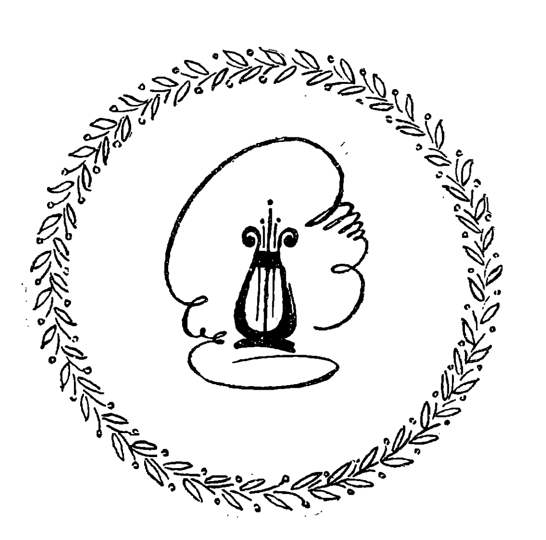
Похоронена жена Пушкина в Александро-Невской лавре. Еще совсем недавно такая заброшенная и в этой своей заброшенности такая печальная, могила Натальи Николаевны теперь приведена в порядок, кругом посажены цветы. И идут люди... несут цветы. На черном мраморном саркофаге в течение всего лета можно видеть тюльпаны, розы, гладиолусы— дань памяти жены великого русского поэта.

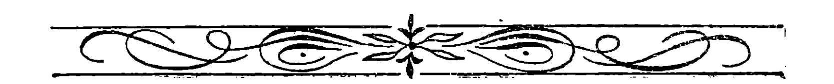




Часть II

А·Н·ГОНЧАРОВА-ФРИЗЕНГОФ





ОПРОВЕРЖЕНИЕ КЛЕВЕТЫ

Младшая свояченица Пушкина, Александра Николаевна Гончарова, в литературоведческих работах, касающихся истории гибели Пушкина, оказалась в числе людей, роль которых до сих пор дискутируется среди исследователей жизни поэта. Нет единодушия и в оценке ее как личности. Это, несомненно, вызвано тем, что до последнего времени пушкиноведение располагало очень незначительным количеством подлинных материалов, характеризующих сестру Натальи Николаевны, а также ее отношение к Пушкину и трагическим событиям конца 1836 года — начала 1837 года.

Теперь, когда найдены новые, неизвестные письма А. Н. Гончаровой-Фризенгоф, ее родных, мужа и некоторых современников, написанные как при жизни поэта, так и после его смерти, читатель получает возможность составить о ней иное представление, свободное от наслоений «рассказов» современников и неправильных выводов некоторых исследователей, базировавшихся на недостоверных материалах прошлого.

Мы не будем повторять сказанного в предыдущей нашей работе* о детстве и юности сестер Гончаровых. Напомним только, что в юные годы она пережила какую-то драму, и это надолго оставило след в ее душе. По-видимому, это было связано со сватовством А. Ю. Поливанова, соседа Гончаровых по Полотняному Заводу, с не-

* См.: И. Ободовская, М. Дементьев. Вокруг Пушкина. М., «Советская Россия», 1975.

сбывшимися надеждами на этот брак, который расстроила ее мать, Наталья Ивановна, возможно, из-за причастности брата Поливанова к декабристскому движению.

Осенью 1834 года Александра и Екатерина Гончаровы переехали в Петербург и поселились в квартире Пушкиных. Наталья Николаевна надеялась устроить судьбу сестер, выдать их замуж, и вскоре после их приезда начала вывозить их в свет. В семье Пушкиных они нашли заботу и родственное отношение, которых так не хватало им дома. Наталья Николаевна горячо любила сестер, тепло относился к ним и Пушкин.

8 декабря 1834 года Екатерина Николаевна пишет брату Дмитрию: «...Признаюсь тебе, что Петербург начинает мне ужасно нравиться, я так счастлива, так спокойна, никогда я и не мечтала о таком счастье, поэтому я право не знаю, как я смогу когда-нибудь отблагодарить Ташу и ее мужа за все, что они делают для нас, один бог может их вознаградить за хорошее отношение к нам»[1].

А в письме Александры Николаевны от 28 ноября того же года мы читаем: «...Я простудилась на другой день после отправки этого злополучного письма и схватила лихорадку, которая заставила меня пережить очень неприятные минуты, так как я была уверена, что все это кончится горячкой. Но слава богу все обошлось, мне только пришлось пролежать 4 или 5 дней в постели и пропустить один бал и два спектакля, а это тоже не безделица. У меня были такие хорошие сиделки, что мне просто было невозможно умереть. В самом деле, как вспомнишь о том, как за нами ходили дома, постоянные нравоучительные наставления, которые нам читали, когда нам случалось захворать, и как сама болезнь считалась божьим наказанием, я не могу не быть благодарной за то, как за мной ухаживали сестры, и за заботы Пушкина. Мне, право, было совестно, я даже плакала от счастья, видя такое участие ко мне; я тем более оценила его, что не привыкла к этому дома»[2].

Найденные нами письма свидетельствуют о том, что и Александра Николаевна также тепло, по-родственному относилась к зятю. Так, например, неоднократно по поручению Пушкина передает она брату различные его просьбы.

«Пушкин просит тебя прислать ему писчей бумаги разных сортов*: почтовой с золотым обрезом и разные

* У Гончаровых была большая бумажная фабрика.

и потом голландской белой, синей и всякой, так как его запасы совсем кончились. Он просит поскорее прислать. Не задержи с отправкой, потому что, мне кажется, он скоро уедет в деревню» (конец июля 1836 г.)[1].

«Что касается денег за бумагу, то Пушкин просит передать, что у него их совершенно нет, и что даже когда они у него будут, он ничего не может тебе уплатить вперед в настоящее время» (октябрь 1835 г.)[2].

«Посылаю вам условия, заключенные вашим превосходительством, чтобы напомнить об обещании нам данном насчет лошадей... Надеемся на твое честное слово. Еще два мужских седел, одно для Пушкина, а другое похуже — для Трофима... Пушкин христа ради просит нет ли для него какой-нибудь клячи, он не претендует на что-либо хорошее, лишь бы пристойная была; как приятель он надеется на тебя» (июнь 1835 г.)[3].

«А теперь у меня есть поручение от Пушкина напомнить тебе прислать ему то, что ты ему обещал, а что — я не знаю. Я выполнила только его поручение» (конец декабря 1836 г.)[4].

«Пушкин просит передать, что если ты сможешь достать для него денег, ты окажешь ему большую услугу» (22—24 января 1837 г.)[5].

В пушкиноведческой литературе неоднократно говорилось о том, что Александра Николаевна якобы мало выезжала в свет, не интересовалась балами и театрами и в семье Пушкиных занималась хозяйством и воспитанием детей. Мы не находим тому подтверждения в опубликованных за последние годы ее письмах.

Александра Николаевна с детства была очень дружна с младшей сестрой, поэтому она была ближе к ней, чем Екатерина, и в период совместной их жизни в Петербурге. Вполне естественно поэтому, что она принимала более близкое участие в семейных делах Пушкиных, однако не настолько, чтобы приписывать ей роль хозяйки и воспитательницы детей, вела хозяйство и воспитывала детей Наталья Николаевна. Александра Николаевна вовсе не избегала светского общества, наоборот, сестры Гончаровы стремились бывать там и нередко заставляли Наталью Николаевну чаще, чем она хотела бы, ездить с ними на вечера и в театр. «Не слушайся сестер,— писал Пушкин жене в 1834 году,— не таскайся по гуляньям с утра до ночи, не пляши на бале до заутрени».

В первое время после переезда Александры Никола-

евны в Петербург в ней вновь воскресли надежды выйти замуж — мы будем далее говорить об этом — но вскоре, видимо, они угасли, и письма ее часто полны печали и разочарования. Это была натура неуравновешенная: приступы черной меланхолии сменялись у нее веселым настроением, тогда она смеялась и шутила, иногда остроумно и зло. Письма рисуют нам ее как девушку культурную, очень интересующуюся музыкой, которая играет большую роль в ее жизни. Живя в Полотняном Заводе, она много читала, надо полагать, что и в Петербурге, где к тому были несравненно большие возможности, она знакомилась, как и ее сестры, с новинками литературы.

В пушкиноведении нет единого взгляда на отношение Александры Николаевны к Пушкину и Дантесу. Наиболее устойчивым на протяжении ряда лет было утверждение, что она была влюблена в поэта и, более того, в связи с ним. С совершенно непонятной легкостью Пушкину инкриминировалась эта связь, причем не были приняты во внимание ни благородство натуры поэта, ни его безграничная любовь к жене, ни, наконец, нежная, искренняя привязанность друг к другу обеих сестер, продолжавшаяся всю их жизнь.

Откуда же появилась эта клевета? Щеголев в своих исследованиях о дуэли и смерти Пушкина приводил материалы по этому вопросу[1], но все они основаны не на документах, а на рассказах современников, переданных через вторых или даже третьих лиц, а именно: 1) рассказ кн. А. В. Трубецкого в передаче В. А. Бильбасова; 2) рассказ В. Ф. Вяземской в передаче П. И. Бартенева и, наконец, 3) «воспоминания» А. П. Араповой. Но все эти лица, «свидетельствующие» о связи Пушкина со свояченицей, рассказывают об этом также со слов других лиц: Вяземская и Трубецкой со слов Идалии Полетики, Арапова (несомненно, прекрасно осведомленная о рассказах Трубецкого и Вяземской) — со слов... няньки. А Полетика, откуда *она* взяла эти сведения, на кого ссылается? Ни больше ни меньше как на саму... Александру Николаевну, якобы она ей все рассказала. То есть Александра Николаевна — вот тот первоисточник, от которого будто бы все и пошло!..

Большинство исследователей жизни и деятельности Пушкина и его окружения считают А. Н. Гончарову взбалмошной, неуравновешенной, но все единодушно признают ее умной женщиной. Она, несомненно, знала о

враждебном отношении Полетики к Пушкину. У нас совершенно нет свидетельств о том, что Александра Николаевна была дружна с Полетикой. Как же эта умная женщина могла делать подобные «признания» Полетике? Зачем? Зачем ей сознаваться в связи с Пушкиным, позорить прежде всего себя, а также и сестру с зятем? Абсурд. Нелепость.

В письме Софьи Карамзиной от 27 января 1837 года впервые затрагивается вопрос об отношении Пушкина к свояченице. «Предсмертная драма Пушкина,— пишет доктор филологических наук Н. В. Измайлов в предисловии к письмам Карамзиных,— является в письмах Карамзиных как драма личная прежде всего, и даже — по крайней мере сначала — не драма, а весьма обычная в свете история между мужем и женой и влюбленным в жену молодым человеком. Именно с этой стороны внимательно интересуется всем происходящим такая любительница светских сплетен и «отношений»... как Софья Николаевна»[1]. Приведем это письмо.

«В воскресенье* у Катрин** было большое собрание без танцев: Пушкины и Геккерны (которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества). Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя — это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности. Катрин*** направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует жену из принципа, то свояченицу — по чувству. В общем, все это очень странно и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных»[2].

Это письмо — единственный документ, автор которого говорит от себя *лично*, а не через вторых и третьих лиц. Появление этого документа только еще раз подтвердило, что версия об интимных отношениях поэта со свояченицей — явная клевета. Первой из современных нам исследователей, кто так характеризовал его, была Анна Ахма-

---

* 24 января 1837 года.
** Е. Н. Мещерская.
*** Е. Н. Дантес.

това. «От всего этого за версту пахнет клеветой,— говорит она.— Если Пушкин и Александрина в связи и живут в одном доме, зачем им демонстрировать свои преступные отношения? Как можно кокетничать с человеком, который от ярости скрежещет зубами и т. д. и т. д.?»[1]

Этот вывод совершенно справедлив.

Но письмо Карамзиной носит и явно тенденциозный характер, мимо чего пройти никак нельзя. Софья Николаевна говорит, что «Пушкины и Геккерны продолжают разыгрывать свою комедию», но осуждает только одних Пушкиных: Пушкин скрежещет зубами и принимает выражение тигра, Александрина кокетничает с Пушкиным, который *серьезно в нее влюблен*. Натали кокетничает с Дантесом. В чем заключается кокетство? В том, что она опускает глаза под «жарким и долгим» взглядом Дантеса (который Карамзина должна была бы назвать *наглым*, но она этого не делает). Но мало того, это вполне естественное смущение квалифицируется Карамзиной как «нечто большее, чем обыкновенная безнравственность» (обратим внимание — обыкновенная, очевидно, допустима!). И ни одного слова осуждения в адрес Дантеса! И «дядюшка Вяземский закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных», Пушкиных, но не Геккернов...

Эта явная тенденциозность в письме С. Карамзиной доказывает, что она была на стороне Дантеса и Геккерна, под их влиянием, и что клеветнические слухи о связи Пушкина со свояченицей шли и из этого источника. Ярким доказательством того, что эта сплетня исходила от Дантеса, является рассказ кн. Трубецкого.

В 1887 году была издана брошюрка В. А. Бильбасова под названием «Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу. Записан со слов князя А. В. Трубецкого»[2]. Бильбасов в предисловии пишет:

«Князь Трубецкой не был «приятельски» знаком с Пушкиным, но хорошо знал его по частым встречам в высшем петербургском обществе *и еще более по своим близким отношениям к Дантесу**. В 1836 году летом, когда кавалергардский полк стоял в крестьянских избах Новой деревни, князь Трубецкой жил в одной хате с Дантесом, который сообщал ему о своих любовных похождениях, вернее о своих победах над женскими сердцами. *Это обстоятельство и дало возможность кн. Трубецкому*

---

* Курсив наш.— *И. О.* и *М. Д.*

*узнать об истинных, быть может, причинах роковой дуэли 27 января 1837 года»**.

Что же Дантес рассказал Трубецкому, а Трубецкой Бильбасову?

«Не так давно в Одессе умерла Полетика (Полетыка), *с которой я часто вспоминал этот эпизод, и он совершенно свеж в моей памяти**... Александра очень некрасивая, но весьма умная девушка. Еще до брака Пушкина на Nathalie, Alexandrine знала наизусть все стихотворения своего будущего beau-frère и была влюблена в него заочно. Вскоре после брака Пушкин сошелся с Alexandrine и жил с нею. Факт этот не подлежит сомнению, Alexandrine сознавалась в этом г-же Полетике. Подумайте же, мог ли Пушкин при этих условиях ревновать свою жену к Дантесу... Посещая дом Пушкиных, Дантес встречался с Alexandrine. Влюбленный в Alexandrine, Пушкин опасался, чтобы блестящий кавалергард не увлек ее... Вот почему после брака Дантеса с Катериной Пушкин стал относиться к Дантесу даже дружески. Повторяю однако, связь Пушкина с Александриною мало кому была известна... Вскоре после брака в октябре или ноябре Дантес с молодой женой задумали отправиться за границу к родным мужа... Оказалось, что с ними собирается ехать и Alexandrine. Вот что окончательно взорвало Пушкина и он решился во что бы то ни стало воспрепятствовать их отъезду... Пушкин все настойчивее искал случая поссориться с Дантесом, чтобы помешать отъезду Александрины. Случай скоро представился...» Далее Трубецкой заканчивает свой рассказ тем, что Пушкин, получив пасквиль, этим «воспользовался» и написал общеизвестное письмо Геккерну.

Трубецкой, блестящий кавалергард, был в самых дружеских отношениях с Дантесом. Недавними исследованиями установлено, что Трубецкой был любовником императрицы Александры Федоровны[1], следовательно, все подробности «побед» Дантеса — конечно, в его интерпретации — были известны двору. Рассказ Трубецкого полон лживых выдумок о «романе» Дантеса с Натальей Николаевной и Пушкина с Александриной. Все эти нелепости действительно соответствуют «тому, что мы знаем о жизни этого круга», как говорит Щеголев, то есть его способности принимать на веру и *распространять* глу-

---

* Курсив наш.— *И. О.* и *М. Д.*

нейшие сплетни, не задумываясь о последствиях. А последствия, как мы видим, к сожалению, дошли до наших дней...

Советским пушкиноведением установлены истинные причины гибели Пушкина: не жена и тем более не свояченица, не ревность привели его к барьеру. «Трагически, безвременно пресеклась жизнь Пушкина,— пишет Д. Д. Благой,— по форме дуэль, «поединок чести». Но по существу, как об этом наглядно свидетельствует вся преддуэльная история, жизнь поэта была пресечена бесстыдной и беспощадной политической расправой»[1].

Несколько слов о Бильбасове. Что это за человек и почему он опубликовал рассказ Трубецкого? Бильбасов — историк, фактический редактор газеты «Голос», издававший ее совместно с Краевским — официальным редактором. В статье «Еще раз о виновниках пушкинской трагедии», опубликованной в 1973 году[2] профессор Л. Вишневский, исследуя связи иезуитов в России, считает агентами иезуитского ордена, стремившегося насадить в России католицизм и преследовать все передовое, прогрессивное, министра иностранных дел Нессельроде, Дантеса, Геккерна и Гагарина. Последний, как известно, еще современниками подозревался в составлении пасквиля, полученного Пушкиным 4 ноября 1837 года. По мнению Вишневского, «Бильбасов был одно время модным историком, тщательно скрывавшим под маской либерала свои тайные связи с иезуитами и правительственными кругами». Если это так, то не удивительно, что именно этот человек в дни, когда вся передовая Россия отмечала 50-летнюю годовщину со дня гибели Пушкина, выпустил свою клеветническую брошюрку.

Скажем здесь также, что в феврале 1901 года Бильбасов в журнале «Русская старина» снова опубликовал «рассказ» князя Трубецкого, но только в сокращенном виде, сильно изменив редакцию. Так, Трубецкой уже не говорит, что «вскоре после брака Пушкин сошелся с Александриной и жил с нею», а — «вскоре после брака Пушкин сам увлекся Александриной до безумия». Таким образом, уже не пишется, что Пушкин сошелся со своей свояченицей, Полетика же и вовсе не фигурирует.

На этот раз публикация вызвала резкие отклики в печати. Так, известный литературовед того времени, член-корреспондент Академии наук А. И. Кирпичников в апреле того же года и в этом же журнале писал: «Имеют ли

какую-нибудь степень вероятности «разоблачения» князя Трубецкого? По моему глубокому убеждению — ни малейшей»[1].

После брошюрки Бильбасова П. И. Бартеневым были опубликованы в «Русском архиве» воспоминания о Пушкине, записанные со слов супругов Вяземских в 1860—1880-е годы. Щеголев приводит небольшую выдержку из этих записей, где есть такая фраза: «Хозяйством и детьми должна была заниматься вторая сестра, Александра Николаевна, после Фризенгоф. Пушкин подружился с нею...» Поставленное Бартеневым многоточие заинтересовало Щеголева: пропуск или желание умолчать о чем-то? Бартенев был еще жив, и Щеголев обратился к нему за разъяснением. «Бартенев ответил мне следующим сообщением,— говорит Щеголев,— «что он (Пушкин) был в связи с Александрой Николаевной, об этом *положительно* говорила мне княгиня Вера Федоровна»[2].

Вот еще один дом, где спустя несколько десятков лет после смерти поэта (Вера Федоровна умерла в 1886 году в возрасте 96 лет) еще была жива эта клевета... Бартенев не рискнул напечатать в 1888 году эти слова Веры Федоровны, хотя ее уже и не было тогда в живых, а в 1928 году Щеголев привел их для подтверждения «виновности» Пушкина.

По этому поводу А. Ахматова пишет: «В. Ф. Вяземской, достигшей к этому времени 80 лет, мы совсем не обязаны верить. Она, конечно, была озабочена лишь тем, чтобы снять всякое обвинение с себя (ведь ей Пушкин сказал о дуэли) и с своего дома»[3].

Но если даже предположить, что между Пушкиным и Александрой Николаевной были интимные отношения (о чем ей якобы говорила Полетика), зачем Вере Федоровне, «близкому другу» поэта, сообщать об этом Бартеневу, а через него делать это достоянием истории? Зачем? Что хотела она этим доказать? Свою необыкновенную близость к семейным делам Пушкиных? «Вот как мы были дружны, мне обо всем рассказывали?» Но истинность дружбы как раз выражалась бы в том, чтобы не рассказывать самой... Можем ли мы представить себе, чтобы подобные слухи распространяли Нащокин или Плетнев?

В книге Щеголева приведено еще одно «свидетельство», идущее от «воспоминаний» Араповой. Не будем останавливаться на нем, скажем только, что, основываясь, несомненно, на предшествующих материалах (Трубец-

кой — Вяземская), а также на «откровениях няньки», не заслуживающих абсолютно никакого доверия, Арапова снова повторила эту клевету. Но даже внучка Натальи Николаевны от ее дочери Елизаветы Ланской Елизавета Николаевна Бибикова на основе рассказов матери опровергла измышления тетки в своих воспоминаниях: «Вопреки рассказам Александры Петровны Араповой, никакого романа не было между Пушкиным и его свояченицей. Пушкин был честный человек, обожал красавицу жену и не стал бы ухаживать за престарелой, некрасивой свояченицей». Ну, «престарелой и некрасивой» Александра Николаевна, на наш взгляд, не была, но основное сообщение Бибиковой очень важно: в семье потомков Ланских знали, что сплетни эти не соответствуют действительности.

Арапова говорит также, что якобы Пушкин «не допустил» Александру Николаевну попрощаться с ним перед смертью. Но и это опровергается свидетельством давнего друга Пушкина Данзаса, неотлучно находившегося у постели поэта. «Поутру на другой день, 28 января,— читаем мы в воспоминаниях Данзаса,— боли несколько уменьшились. Пушкин пожелал видеть жену, детей и свояченицу свою Александру Николаевну Гончарову, чтобы с ними проститься»[1].

И наконец, совсем недавно, в 1976 году, вышла книга Н. А. Раевского «Портреты заговорили» (2-е издание), в которой автор, базируясь на все тех же рассказах Трубецкого, Араповой и Вяземской и не приводя никаких новых документов, пишет: «По-видимому, именно в эти преддуэльные месяцы разыгрывается его (Пушкина) роман со свояченицей Александрой Николаевной, о котором тоже осталось немало свидетельств»[2].

Но в советское время, уже после Щеголева, стали появляться работы, опровергающие эту клевету. Мы имеем в виду статьи М. Яшина и А. Ахматовой. Вот что говорит Яшин: «Версия об интимной близости Пушкина и Александры упорно держится в работах о поэте. Биографы приняли ее на веру, не заботясь о критической проверке, набросили романтическую мантию на сомнительные факты и поспешно сделали Александрину другом Пушкина. Чтобы в биографических работах освободиться от слишком специфических материалов, надо прежде всего перестать пользоваться сведениями Араповой». Известный пушкинист А. Ф. Онегин еще в самом начале пуб-

ликации их писал: «Записи Араповой еще нелепее Смирновой-дочери и Павлищева-сына, т. е. сочинены и приноровлены... защищать одну сестру*, пачкая другую... Черт знает что такое! Подобную оценку заслуживает и сообщение Вяземской»[1].

«Эту версию,— читаем мы у Ахматовой,— выдуманную Геккернами, вырастила и пестовала до своего последнего дыхания Идалия Полетика. Она не уставала вдалбливать свою бесстыдную сплетню полоумному Трубецкому в Одессе... Она говорила В. Ф. Вяземской, что Александрина «призналась» ей, она везде тут как тут. Геккерн и Полетика были людьми своего времени и круга и твердо знали, что ничто в глазах света не могло так запачкать и совершенно уничтожить Пушкина, как такая сплетня. Недаром Трубецкой пишет о романе Пушкина и Александрины: «Об них (причинах смертельной дуэли) в печати вообще не упоминается, быть может потому, что они набрасывают тень на человека, имя которого так дорого для нас русских». Он еще помнит, а Щеголев уже не помнит и не понимает неприличие и чудовищность этого обвинения, а затем уже все с умилением пересказывают эту «легенду» и пишут стишки подруге поэта»[2].

Все это правильно, кроме одного: для Трубецкого имя Пушкина не было дорого, поскольку он предал гласности клеветнические измышления Геккерна и Полетики, несомненно, зная, что они попадут в печать. Если бы он не хотел «набросить тень» на поэта, он не стал бы рассказывать об этом в Павловске, на даче Краевского, в присутствии нескольких лиц, да еще в год 50-летия со дня смерти Пушкина.

Обратимся еще к одной гипотезе, а именно, к увлечению Александры Николаевны... Дантесом. Версия эта была выдвинута в 1964 году Яшиным[3], а в 1973 году снова появилась в опубликованных материалах об Александрине Анны Ахматовой[4]. Яшин приписывает Александре Николаевне восторженное внимание к Дантесу, основываясь на одной ее фразе в письме к брату в 1835 году, где она якобы называет его «образцовым молодым человеком». Но внимательное изучение подлинника показало, что там в тексте есть запятая, не замеченная переводчиком, и эти слова относятся к другому лицу[5]. Ахматова же делает вывод, что «Александрина влюблена все в того

---

* Наталью Николаевну.

же Дантеса», основываясь на *«контексте»* письма С. Н. Карамзиной от 27 января 1837 года. Что касается еще одного ее довода, а именно, портрета Дантеса, якобы висевшего при Александре Николаевне в ее столовой в Бродзянах, то об этом мы скажем подробнее далее.

Но каково же было в действительности отношение Александры Николаевны к преддуэльным событиям, к Пушкину, к Дантесу? Новонайденные письма дают нам возможность совсем иначе рассматривать этот вопрос. Александра Николаевна, несомненно, знала всю подноготную брака Екатерины с Дантесом, так взволновавшего своей «загадочностью» петербургское общество. Очевидно, желая поддержать сестру в первое время ее новой и трудной жизни после замужества, она иногда ходила к ней. Напомним, что писала Александра Николаевна брату 22—24 января 1837 года, то есть чуть ли не накануне дуэли.

«Все кажется довольно спокойным, жизнь молодоженов идет своим чередом; Катя у нас не бывает... Что касается меня, то я иногда хожу к ней, я даже там один раз обедала, но признаюсь тебе откровенно, я бываю там не без довольно тягостного чувства. Прежде всего я знаю, что это неприятно тому дому, где я живу, а во-вторых, мои отношения с дядей и племянником не из близких; с обеих сторон смотрят друг на друга несколько косо, и это не очень-то побуждает меня часто ходить туда... Что касается остального, то что мне сказать? То, что происходит в этом подлом мире, мучает меня и наводит ужасную тоску. Я была бы так счастлива приехать отдохнуть на несколько месяцев в наш тихий дом в Заводе...»[1].

Это чрезвычайно важные для пушкиноведения высказывания. Отношение Александры Николаевны к «дяде и племяннику» выражено здесь совершенно ясно. Она не писала бы так, если бы была влюблена в Дантеса. Кроме того, чувствуется, что и Дмитрий Николаевич разделяет это ее отношение к Геккернам, и она доверительно пишет ему, уверенная, что он ее поймет. Обратим внимание и на «я даже там один раз обедала» — слово «даже» еще раз подчеркивает ее нежелание бывать в доме Дантесов. Но самое главное для нас в данном случае в этом письме ее стремление не причинять неприятность дому Пушкиных, то есть Пушкину и Наталье Николаевне. Вряд ли можно переоценить значение этого письма для характеристики чувств Александры Николаевны в эти

тревожные дни, ее истинного отношения к «подлому миру», то есть к великосветскому обществу, включая и Геккернов, о поведении которых ей, конечно, было хорошо известно.

Но вот в процессе дальнейших поисков нами найден еще один, до сих пор неизвестный документ, имеющий первостепенное значение для опровержения утверждений, что Александра Николаевна была увлечена то Пушкиным, то Дантесом.

Александра Николаевна прожила в Петербурге при жизни Пушкина более двух лет и постоянно бывала в обществе. Неужели она никем не увлекалась, никого не любила? Любила, и ей отвечали взаимностью. Кто же *он?* Аркадий Осипович Россет, брат известной приятельницы Пушкина Александры Осиповны Россет, молодой офицер, сослуживец братьев Карамзиных. Он постоянно бывал в карамзинском салоне и там, видимо, познакомился с Александрой Николаевной и увлекся ею. Известно также, что Аркадий Осипович часто посещал и дом Пушкиных, так как в своих воспоминаниях (в записи П. И. Бартенева) он говорит, что «полюбил Пушкина, у которого был домашним человеком и о котором до конца жизни вспоминал он с особой теплотою». Пушкин, очевидно, также тепло относился ко всему семейству Россетов. Через одного из братьев, Климентия Осиповича, он хотел поручить в ноябре 1836 года передать Дантесу свой первый вызов на дуэль. Аркадий Осипович был завсегдатаем дома Пушкиных. Александра Осиповна, женщина широко образованная, остроумная — постоянная собеседница поэта.

По свидетельству друга Пушкина П. А. Плетнева, Аркадий Россет был умный, благородный и добрый человек. В одном из писем к Гроту Плетнев писал о нем: «Я очень люблю его за ум, опытность и какой-то замечательный мир души»[1].

Впервые о романе Россета и Александры Николаевны мы узнаем из письма С. Н. Карамзиной от 18 октября 1836 года, где она пишет, что они вернулись с дачи в город и возобновили свои вечера, на которых с первого же дня все заняли свои *привычные места:* «Александрина — с Аркадием»[2]. Значит, ухаживание Россета началось еще раньше, в сезоне 1835/36 года.

Много лет спустя, в 1849 году, в письме Натальи Николаевны к Ланскому мы находим тому подтверждение и,

более того, узнаем о взаимной любви Александры Николаевны и Россета. Вот это письмо[1].

«...Вчера вечером не могла тебе писать — Россет пришел пить чай с нами. Это давнишняя страстная и взаимная любовь Сашиньки. Ах, если бы это могло кончиться счастливо. Я вижу отсюда, как ты улыбаешься на мои проекты, но почему знать: никто как бог — у каждого своя судьба, и кто знает, что это не ее. Прежде отсутствие состояния было препятствием. Эта причина существует и теперь, но он имеет надежду вскоре получить чин генерала, а с ним и улучшение денежных дел, и потом Сашинька должна получить 300 душ. С этим можно прожить, по крайней мере, вполне прилично. Оба они не любят света и смогут поладить. Последние дни я, не стесняясь, посылала ее вместо себя на воды. Он их также принимает, и я полагаю — надо пользоваться обстоятельствами: помоги себе сам и бог тебе поможет, стучись и отверзится. По моим наблюдениям он сохранил к ней много дружеских чувств: я не решаюсь сказать, что это любовь, но он с удовольствием ее видит, с ней встречается, и вот уже два вечера, что он провел с нами, не будучи приглашенным, и не застал ее в третий, когда мы были у Борхов. Все это только надежды, и я пишу тебе доверительно, имея привычку делиться с тобой самыми сокровенными мыслями, не воспринимай их как нечто в чем я уверена, а также не смейся надо мной, а присоедини свои молитвы к моим за счастье сестры». Эти слова Натальи Николаевны о любви Россета имеют и несколько косвенных подтверждений, которые мы приводим ниже. Они говорят о многом...

«Давнишняя страстная и взаимная любовь Сашиньки». Вот разгадка тех настроений, которыми полны письма Александры Николаевны, то веселые, то печальные. Видимо, роман этот протекал не гладко. Россет был увлечен, это несомненно, он постоянно бывал в доме Пушкина, по-видимому, ради Александрины, все же жениться не решался, возможно, и из-за материальной своей неустроенности. Однако весьма вероятно, что его ухаживания и закончились бы браком — Наталья Николаевна говорит, что Россет любил Александрину, а ее словам можно вполне верить, если бы не события конца 1836 года. В это время, очевидно, уже ходили по Петербургу сплетни о «романе» Пушкина со свояченицей. Россет знал и о пасквиле, и о вызове в ноябре Пушкиным Дан-

теса на дуэль, которая тогда не состоялась. Далее события развивались очень быстро и закончились гибелью Пушкина. В этих условиях, конечно, думать о браке Аркадий Осипович не мог. В цитированном нами выше письме Александры Николаевны, написанном за несколько дней до дуэли, может быть, всего за день-два, она писала, что все, что происходит в этом подлом мире, мучает ее и наводит ужасную тоску. «Я была бы так счастлива приехать отдохнуть на несколько месяцев в наш тихий дом в Заводе»,— говорит она.

Подлый мир. Подлое великосветское общество. Оно разрушило ее счастье, счастье ее сестры... Тут было отчего прийти в отчаяние. И тихий Полотняный Завод, который некогда она так проклинала, показался теперь Александре Николаевне землей обетованной, где она могла бы скрыться на некоторое время и пережить свое горе.

А потом Александра Николаевна уехала, и прошло два долгих года, прежде чем они снова свиделись. Но прежние чувства Россета уже не вернулись. И встретившись с Александрой Николаевной много лет спустя на даче у Натальи Николаевны, он не испытал ничего, кроме «дружеских чувств». Наталья Николаевна в глубине души понимает, что ее матримониальные надежды весьма эфемерны: любовь ушла и не вернется, обоим им было уже под сорок, все в прошлом... Навестив несколько раз семью покойного поэта, которого он уважал и любил, Россет уехал.

ГОДЫ ИДУТ...

Осенью 1838 года вместе с семьей Пушкиных Александра Николаевна вернулась в Петербург. Надо полагать, что она, как и тетушка Загряжская, уговаривала сестру ускорить их возвращение. Недаром Наталья Ивановна говорит, что «старшая несомненно больше всех виновата». Скучная, однообразная жизнь в Заводе, после того как прошли первые месяцы тяжелых переживаний, тяготила ее. А тут еще Екатерина Ивановна обещала ей свою протекцию — устроить ее фрейлиной во дворец. И, вероятно, главной притягательной силой был Россет: быть может, не совсем еще угасли у нее надежды связать с ним свою судьбу.

За 1838—1851 годы сохранилось не так много писем Александры Николаевны, некоторые из них посвящены только денежным вопросам. Положение фрейлины обязывало, приходилось выезжать, бывать на дворцовых приемах, следовательно, нужны были туалеты, а денег не было.

Александра Николаевна всецело зависела от брата, который должен был высылать причитающуюся ей долю доходов с гончаровских предприятий, но всегда задерживал. Не получая аккуратно своего содержания (иногда задолженность достигала трех тысяч), Александра Николаевна, естественно, делала долги, и это ее очень мучило. Тетушка, конечно, помогала, но, видимо, недостаточно, ее главной заботой была семья Пушкиных.

Первое дошедшее до нас письмо Александры Николаевны относится к осени 1838 года.

«24 ноября 1838 г. (Петербург)[1]

Впервые я хочу тебя побаловать и пишу на такой красивой бумаге, но не каждый раз у тебя будет такой праздник. Я еще не исполнила твоего поручения касательно бумаги в английском магазине. Я там, конечно, была, но так как я была слишком занята своей дражайшей персоной, твоя совершенно вылетела у меня из головы. А теперь я хочу подождать, когда у нас будет экипаж, чтобы мне совершать свои поездки, потому что платить 20 рублей слишком дорого.

Скажи, пожалуйста, в каком положении дело Доля, я уверена, что ты и с места не сдвинулся. Ну же, расшевелись немножко и скажи, что там делается: мне не терпится знать результат. Поблагодари хорошенько твою жену и свояченицу за их заботы о Доля, она очень этим тронута, недавно она нам писала. Бога ради, дорогой брат, устрой ее замужество, бог тебя возблагодарит за это доброе дело.

Как поживает наследник? Процветает?

Мы ведем сейчас жизнь довольно тихую. Таша никуда не выходит, но все приходят ее навестить и каждое утро точат у нас лясы. Что касается меня, то я была только у Мари Валуевой, Карамзиных и Мещерских. Со всех сторон я получаю приглашения, но мне пока не хочется выезжать, да и туалетов у меня еще мало.

Прошу тебя, дорогой и добрый Дмитрий, уплатить мне к празднику 1160 рублей, что ты мне остался должен. Деньги у меня кончаются, и я еще не все сделала, что

мне нужно. Пожалуйста не откажи, мне очень нужно. Теперь, к 1 января ты уже сделал все распоряжения, можем ли мы обратиться к другу Носову? В этом случае снабди нас рекомендательным письмом к молодому человеку и дай его адрес, так как я уже его забыла.

Целую нежно тебя и жену, передай привет твоей свояченице. Таша ко мне присоединяется. Ради бога, пришли 1160 рублей, я боюсь наделать долгов. Крепко целую Доля, я рассчитываю ей написать на днях. Что с моей лошадью, есть ли надежда ее продать?»

Конец ноября. Уже месяц, как сестры живут в Петербурге. За это время Александра Николаевна, видимо, только один раз была с визитом у Карамзиных, а также у Мещерских и дочери Вяземских, Валуевой, ее приятельницы. Была одна, без Натальи Николаевны.

Екатерина Ивановна заранее подготовила почву, и назначение Александры Николаевны фрейлиной к императрице состоялось очень быстро — уже в январе 1839 года. Самый факт появления при дворе имел для Гончаровой большое значение: Александра Николаевна получала определенное положение в великосветском обществе. И то, что императрица подошла к ней на балу и великий князь разговаривал с нею, значило для нее очень многое: этим подтверждалась безупречность ее репутации.

(Январь 1839 г. Петербург)[1]

«Я полагаю, что ты уже вернулся, дорогой Дмитрий и получил мои послания. Умоляю тебя, будь великодушен, пришли мне пожалуйста остальные 660 рублей, и напиши каким образом ты предполагаешь нам выплачивать деньги каждого первого числа месяца. Таше они также нужны, а мы не решаемся обратиться к Носову, так как в прошлый раз он это сделал очень неохотно. Если ты можешь продать мою серую лошадь, сделай это, я тебя прошу. Пошли даже ее в Москву, если нет покупателя поблизости. Мне очень нужны деньги, я наделала много долгов, и так как я бываю теперь в большом свете, у меня много расходов. Графиня Строганова вывозит меня всюду; я уже была на нескольких балах, в театре и прошу тебя верить, что я в высшей степени блистательна. Недавно великий князь Михаил оказал мне честь, подошел ко мне и разговаривал со мною. Таким образом, ты видишь, что я должна поддержать свое положение в свете и вынуждена тратиться на туалеты.

Крепко целую тебя, дорогой братец, а также твою

жену. Я надеюсь, что ты не задержишься с присылкой денег. Ради бога также распорядись касательно выплаты по первым числам. Самый нежный поцелуй моему маленькому племяннику».

(Конец января 1839 г. Петербург)[1]

«Дорогой Дмитрий, я в состоянии тебе написать только пару слов, так как совершенно измучена. Вот уже два дня как я танцевала — позавчера у Кочубеев, а вчера у Бутурлиных. На балу у Кочубеев я видела их величества. Императрица соблаговолила подойти ко мне и была очень любезна. Я еще не была при дворе, жду когда мне назначат день.

Перейдем теперь к вещам самым для меня интересным. Когда же ты пришлешь мне деньги? Меня терзают со всех сторон, мне надо сделать придворное платье, я наделала долгов. В конце концов я больше не могу. Любезный брат, ради бога выведи меня из затруднения, пришли 660 рублей, потом 375 январских и столько же за февраль. Мы уже накануне 1-го числа и я опасаюсь, что ты пришлешь только январские деньги, что нас совсем не устроит. Таша также просит тебя прислать то, что ей причитается. Надеюсь, ты не рассердишься на меня за мою надоедливость, но я так боюсь запутаться в долгах, уже целый месяц я сижу без гроша. Бога ради, пришли мне всю сумму сразу. Что касается лошади, то Нина тебе, вероятно, говорила о моих условиях. Если ты хочешь мне прислать сначала 400, я тебе ее уступаю. Но если ты будешь тянуть с деньгами, мне нет никакой выгоды тебе ее отдавать.

Прощай, дорогой и добрейший братец, не сердись на меня за мою просьбу. Крепко тебя целую, тысячу приветов твоей жене. Что поделывает мальчуган? Нежный поцелуй Доля».

Как мы уже упоминали, до нас дошло письмо без подписи от 10 апреля 1839 года к Екатерине Дантес за границу. Уже отсутствие подписи указывает на то, что это было лицо, близкое семье Гончаровых. Почти наверное можно сказать, как мы уже предположили, что это была Нина Доля.

«Александрина получила шифр* по просьбе тетки-покровительницы. Александрина сделала свой первый выход ко двору в Пасхальное утро. Она выезжает и бывает ино-

* Шифр — вензель императрицы, который фрейлины прикалывали к придворному платью.

гда на балах, в театре, но Натали не ездит туда никогда»[1].

Первое время Александра Николаевна, видимо, с удовольствием бывала в обществе и танцевала на балах. «Мадемуазель Александрина всю масленицу танцевала,— пишет брату в недатированном письме Наталья Николаевна.— Она произвела большое впечатление, очень веселилась и прекрасна как день»[2].

Вечерами сестры часто бывали у тетушки Местр, жившей, как мы уже говорили, этажом выше.

19 сентября 1839 года Ксавье де Местр писал князю Д. И. Долгорукову: «Вечера мы проводим в семейном кругу. Часто две племянницы моей жены — г-жа Пушкина и ее сестра приходят дополнить наше небольшое общество. Первая из них, вдова знаменитого поэта, очень красивая женщина, а сестра ее, хотя и не так одарена природою, однако, тоже весьма хороша»[3].

Это очень интересное замечание о внешности Алексадры Николаевны, которую почему-то было принято считать некрасивой. Мнение Местра как художника безусловно заслуживает внимания.

Ну, а Аркадий Россет? В письмах Александры Николаевны он никак не упоминается, но они, вероятно, встречались в обществе, главным образом у Карамзиных и Валуевых, где она часто бывала и одна, без Натальи Николаевны. В 1841 году, когда Пушкина с детьми и Александра Николаевна были в Михайловском, Вяземский писал им туда:

«13 июня 1841[4]

...Вчера всевозможные Пётры обедали у Валуевых... Хотя Россетый и не Петр, но все-таки считаю не излишним доложить, что и он изволил кушать и даже выпил одну рюмку шампанского задумавшись с глазами навыкате, и произнес какое-то слово вполголоса. Мне послышалось: Александ... Впрочем, удостоверить не могу».

«9 июля 1841[5]

...Аркадий Осипович Россети очень был тронут нежным воспоминанием одной персоны (тут другая из вышереченных сестриц изволила затянуться пахитоской и сказать: как он мил, этот Аркаша!)»

Вяземский пишет в свойственной ему развязно-шутливой манере и потому трудно сказать определенно, продолжалось ли ухаживание Россета или уже все было кончено? Полагаем, что за два года, прошедшие со времени

возвращения Александры Николаевны в Петербург, Россет имел возможность объясниться окончательно, но он этого не сделал. Вначале Александра Николаевна, возможно, надеялась, что ее новое положение фрейлины будет импонировать Россету. К тому же после двухлетнего пребывания в деревне она, несомненно, расцвела, похорошела (недаром сама о себе говорила: «Я в высшей степени блистательна»). Но... видимо, прежнее чувство Россета уже не вернулось, и отношение его было только дружественным, с легким оттенком ухаживания. Для нас в данном случае важно, что строки Вяземского являются подтверждением слов Натальи Николаевны о когда-то бывшем увлечении Россета ее сестрой.

Несколько писем Александры Николаевны касаются, в основном, бесконечных просьб о деньгах, мы их здесь опускаем. Выезды и туалеты требовали больших средств, одно придворное платье стоило 1400 рублей. Екатерина Ивановна подарила ей отрез бархата стоимостью 500 рублей, но его надо было вышить, очевидно, золотыми нитками, и нехватало еще 900 рублей. Иногда нужда чувствовалась особенно остро. «Писать все подробно было бы слишком долго,— жалуется Александра Николаевна,— но в конце концов я буду вынуждена ходить в костюме Евы. Мне стыдно перед прачкой, которая насмехается над моим бельем. Вот до чего я дошла»[1]. Но сестры делились друг с другом последней копейкой, об этом говорится не раз в их письмах. «Положение Саши еще более критическое, чем мое,— писала Наталья Николаевна в 1843 году,— и совершенно в порядке вещей, что я ей отдавала все, что мы получали от тебя. Таким образом, с июля 42 по июль 43 я не получала ни копейки из тех денег, что ты нам присылал. Сумма довольно круглая, достигающая 1500 рублей; ты понимаешь, какой помощью она была бы мне сейчас»[2].

В 1842 году Александра Николаевна шутливо писала брату из Михайловского: «Не подумай, любезный братец, что, очутившись в деревне, наслаждаясь прекрасной природой, вдыхая свежий воздух, и даже *необыкновенно* свежий воздух полей,— что я когда-либо могла забыть о тебе. Нет, твой образ, в окладе из золота и ассигнаций, всегда там, в моем сердце. Во сне, наяву, я тебя вижу и слышу; не правда ли, как приятно быть любимым подобным образом, разве это не трогает твоего сердца? Но в холодной и нечувствительной душе, держу пари, мой призыв не

найдет отклика. Ну, в конце концов, да будет воля божия»[1].

Постоянная задержка с деньгами приводила в отчаяние Александру Николаевну, она часто писала брату резкие и раздраженно-иронические письма, но тем не менее она любила его, и всякое проявление теплых чувств с его стороны трогало ее до глубины души.

«8 ноября (1840 или 1841 г.)[2]

Как только я получила твое письмо, дорогой, добрейший друг Дмитрий, я поспешила исполнить твое поручение и сегодня утром послала тебе материю, и очень счастлива, что могла оказать эту небольшую услугу тебе и твоей жене. Я очень огорчена, узнав, что она по-прежнему больна, надеюсь, однако, что ее недомогание продлится недолго и сейчас она уже здорова.

Мы должны поблагодарить тебя, любезный брат, за две приятные недели, что ты дал нам возможность провести с тобой. Не могу тебе сказать, какую пустоту мы почувствовали после твоего отъезда. Первые дни, когда мы расстались с тобой, мы бродили как неприкаянные, и с каким-то ужасом я входила в комнату, где ты жил. Мне так хочется, чтобы твои дела заставили тебя еще раз приехать в Петербург, и тогда ты хоть немного продлил бы пребывание здесь.

Я так счастлива, что могу не употреблять слово «деньги» в моем послании и не думать о них некоторое время. Ты пишешь, что до января месяца не ждешь от нас писем. Возможно, что наша возлюбленная сестрица лень и помешала бы нам сделать это, но твое нежное, сердечное письмо так меня тронуло, что вот результат. Мы иногда бываем обе, и Таша и я, в таком тоскливом настроении, что малейшее проявление интереса к нам со стороны близких так живо чувствуется: поверь мне, ты имеешь дело не с неблагодарными сердцами.

Образ жизни наш все тот же: вечера проводим постоянно наверху или бываем у Мари Валуевой или Карамзиных. Завтра, однако, я иду на первый бал, что дают при дворе. Признаюсь тебе, это меня не очень радует, я так отвыкла от света, что мне ужасно не хочется туда идти. Просто грустно и только. Весь верхний этаж благодарит тебя за память и шлет тысячу приветов. Ты не забыл, дорогой брат, послать одеколон Нине, она уже получила его? У нас уже три дня как установилась настоящая зима и даже очень холодно.

Как нашел ты своих мальчуганов, были ли они рады тебя увидеть? Доволен ли Митя своим костюмчиком?

Прощай, дорогой и добрый брат, целую тебя так же нежно, как и люблю, а также твою жену и племянников. Таша нежно тебя целует, она напишет тебе в другой раз, сейчас она в самом мрачном расположении духа».

По этому письму чувствуется, как рады были Наталья Николаевна и Александра Николаевна приезду брата. И не только, вернее, не столько потому, что он уплатил их долги и, очевидно, оставил еще какую-то сумму, но им действительно очень не хватало его теплых родственных чувств, на которые они так живо откликнулись. И на Дмитрия Николаевича, очевидно, встреча с сестрами, трудное положение двух одиноких женщин с большой семьей произвела впечатление, и он по возвращении тотчас же написал им нежное, сердечное письмо, что, вероятно, было не в его обычаях... Дмитрий Николаевич пробыл в Петербурге две недели. Он ездил в сестрами в театр, бывал с ними у тетушки Загряжской, у Андрея Муравьева, но нельзя не отметить, что, когда сестры однажды собрались вечером поехать к Карамзиным, Дмитрий Николаевич остался дома. Его не пригласили или он не захотел поехать?..

Настроение у Александры Николаевны грустное. В одном из писем 1841 года к Наталье Ивановне Фризенгоф Наталья Николаевна писала (письмо это приведено нами в первой части), что, заглянув в самые сокровенные уголки своего сердца, она может сказать о себе, что ником не увлечена, и то же ей говорит и сестра, хотя у них и есть поклонники.

«...Дети с 6 часов пошли на свой урок танцев, брат вышел куда-то, а мы остались вдвоем, читали каждая в своем углу. Нами овладела такая черная меланхолия, что я готова была плакать весь вечер. Что касается Саши, то ее и голоса почти не слышно. Что это — предзнаменование несчастья или счастья? Будь что будет, во всяком случае — да будет воля божия»[1]. Эти слова еще раз подтверждают наше предположение, что роман с Россетом был уже кончен. Но были ли другие серьезные поклонники? В письме от 5 октября 1844 года Александра Николаевна пишет о каком-то Персе. «Ты меня спрашиваешь, дорогой брат, какие у меня новости о П. Увы! Никаких! Однако я видела однажды летом сестру прекрасного Перса, и если верить ее прекрасным словам, то

чувства ее брата ни в чем не изменились. Что касается меня, то я стараюсь об этом больше не думать, чтобы не обмануться в своих надеждах. Пусть все будет как бог даст»[1].

Кто скрывается под прозвищем «Перс»? Не Россет ли это? (Россеты были итальянского происхождения, смуглые, может быть, поэтому Аркадий Осипович и носил такое прозвище.) И не Александру ли Осиповну встретила она, и та заверяла ее в чувствах брата?

Осенью 1843 года пришло известие о смерти Екатерины Николаевны. Как мы уже говорили, реакция сестер на это печальное событие была очень сдержанной. «Нашей бедной Катерины нет больше на свете, помолимся за нее» — это все, что пишет по этому поводу Александра Николаевна. В письмах ее к Дмитрию Николаевичу за 1838—1843 годы мы не находим ни одного упоминания об этой сестре, о получении от нее писем. Это знаменательно. Писала ли ей Александра Николаевна? Возможно, но очень редко, может быть, 2—3 письма за все эти годы. Екатерина Николаевна постоянно жаловалась брату на то, что сестры ей не пишут. Но эта смерть, несомненно, заставила Наталью Николаевну и Александру Николаевну еще раз пережить прошлое: и детские, и юные девичьи годы, и трагедию 1837-го...

Как мы уже знаем, летом 1844 года Наталья Николаевна вторично вышла замуж, и Александра Николаевна с искренней радостью восприняла это событие. Она понимала, как Наталья Николаевна была одинока, как ей трудно было справляться с такой большой семьей: мальчики подрастали, им нужна была мужская поддержка. Брак этот должен был принести и известную материальную обеспеченность, сестра так страдала от постоянного безденежья и непосильных забот о том, как дать образование детям.

Александра Николаевна осталась в доме сестры и прожила у нее восемь лет, вплоть до своего замужества в 1852 году. Но ничто не изменилось в ее характере, возможно, даже неустроенность своей собственной судьбы еще больше ожесточила ее.

«Я в таком мрачном настроении,— пишет Александра Николаевна 10 апреля 1846 года,— в таком глубоком сплине, что я покидаю тебя, дорогой Дмитрий, чтобы не очень докучать тебе»[2]. «Что касается меня, то я живу и прозябаю как всегда,— читаем мы в письме от 8 ноября

1847 года.— Годы идут и старость с ними, это печально, но верно. Ничто не вечно под луною, и все иллюзии исчезают»[1].

В первой части было приведено письмо Александры Николаевны, в котором она говорит о благородном сердце и прекрасных достоинствах Ланского. Казалось бы, любя Наталью Николаевну, она должна была бы поддерживать с ним, если не дружеские, то хотя бы спокойные, ровные отношения. Но как мы знаем, этого не произошло. Ревнуя сестру к ее мужу, она стала чуть ли не враждебно относиться к Ланскому.

Арапова пишет в своих воспоминаниях, что тетка якобы настраивала детей Пушкина, в особенности Машу, против отчима. Но мы не находим отражения таких отношений в письмах Натальи Николаевны, и сама же Арапова говорит: «С полным доверием поручила она* честной, благородной душе участь своих детей, для которых ее избранник неизменно был опытным руководителем, любящим другом. Слово «отец» нераздельно осталось за отошедшим. «Петр Петрович» — был он для них прежде, таким и остался навек. Но вряд ли найдутся между отцами многие, которые бы всегда проявляли такое снисходительное терпение, которые так беспристрастно делили бы ласки и заботы между своими и жениными детьми»[2].

Мы полагаем, что недоброжелательный отзыв Александры Петровны о тетке основывается на том, что та постоянно читала ей наставления: она росла трудным, избалованным ребенком и причиняла много огорчений и тревог Наталье Николаевне, и, конечно, Александра Николаевна со свойственной ей страстностью вмешивалась в воспитание Азиньки (так звали девочку в семье). Что касается детей Пушкина, то, мы уже говорили, добрые, хорошие отношения с отчимом они сохранили до конца его жизни, а он после смерти Натальи Николаевны даже растил ее внуков.

Ланской ради жены терпеливо относился к причудам и выпадам свояченицы. Посылая подарки жене, он неизменно делал подарок и Александре Николаевне. Наталья Николаевна писала мужу, что внимание к сестре ее трогает гораздо больше, чем к ней самой.

«Сашинька просит тебя поблагодарить за твое любезное к ней внимание; она, кажется, была тронута теми строками, что ты адресуешь ей в моем письме, она на-

* Наталья Николаевна.

деется, что ты на нее не рассердишься за то, что она сама тебе не пишет, но ты ведь знаешь, что для ее самых обязательных писем я служу ей секретарем, поэтому и здесь я снова являюсь передатчиком ее чувств, что я и делаю»[1].

Но все же иногда Наталье Николаевне удавалось заставить сестру приписать несколько строк к ее письму:

«23 июня 1849[2]

Несмотря на мою непреодолимую лень, я все же хочу приписать несколько слов к письму Таши, чтобы поздравить вас с днем ангела, пожелать вам счастья, благополучия, здоровья, а также поблагодарить за добрые слова в мой адрес в ваших письмах. Тысячу раз благодарю вас, верьте моей искренней преданности.

А. Г.»

Начало первой фразы весьма нелюбезно, и поэтому слова об «искренней преданности» — не более как вежливая формула, обычно употреблявшаяся тогда в конце писем. Видимо, приписка эта была сделана по настоянию Натальи Николаевны, но Александра Николаевна не преминула дать понять, что ей не хочется этого делать.

Наталья Николаевна очень страдала от этого семейного разлада. Она всячески старалась примирить сестру с мужем. Приведем несколько отрывков из ее писем.

«13 июня 1849[3]

...Я прочитала Саше часть письма, которая ее касается. Она была очень тронута и очень тебя благодарит; я ее знаю, она теперь более благосклонно настроена. Увы, что ты хочешь, невольно я являюсь немножко причиной ее отчуждения в отношении тебя, что тут поделаешь: раньше я принадлежала только ей, а теперь тебе и ей. Не может быть, чтобы в глубине сердца она не отдавала тебе должное, не ценила благородство твоего характера».

«13 июля 1849[4]

...В конце концов можно быть счастливой оставшись в девушках, хотя я в это не верю. Нет ничего более печального, чем жизнь старой девы, которая должна безропотно покориться тому, чтобы любить чужих, не своих детей, и придумывать себе иные обязанности, нежели те, которые предписывает сама природа. Ты мне называешь многих старых дев, но проникал ли ты в их сердца, знаешь ли ты, через сколько горьких разочарований они прошли и так ли они счастливы, как кажется...»

«26 июля 1849[1]

...Ты может быть опять скажешь, что я неправа, что женщина может быть счастлива не будучи замужем. И все-таки нет, я убеждена в обратном. Это значило бы изменить своему призванию. Как бы ни была окружена она привязанностью — главной у нее не будет, и ничто не может заполнить пустоту, которую оставляет любовь. Потеря всякой надежды на чувство ожесточает характер женщины. Печально пройти по жизни совсем одной».

«6 августа 1849[2]

...Я передала твою благодарность Саше. Вот уже неделя, как она в плохом настроении, я редко слышу звук ее голоса. Так что, как видишь, твое присутствие в этом случае не имеет значения. Она всегда была такая, даже в те времена, когда ей было семнадцать лет и все будущее было перед нею».

«10 сентября 1849[3]

...Что мне доставило огромное удовольствие, это твое внимание к моей сестре. Как я была бы счастлива, если бы в вашей совместной жизни, когда ты вернешься, было бы больше согласия, чем раньше. Лишь бы она могла выбросить из головы мысль, что ты когда-нибудь имел что-либо против нее, и понять, что ты питаешь к ней только привязанность. Самое мое горячее желание, чтобы она была справедлива к тебе и ценила благородство твоего сердца, и здесь я надеюсь на время и на бога. Невозможно, чтобы в конце концов она не убедилась, что твоя душа не способна к ненависти. Во всяком случае я полагаю, что ее немножко ревнивый характер страдает от того, что моя любовь к ней теперь разделена — ей нужна горячая привязанность, и если провидению будет угодно, как я о том молюсь, даровать ей счастливое замужество, счастье сгладит неровности ее нрава и даст возможность проявиться ее многим хорошим качествам».

«14 сентября 1849[4]

...Сашинька просит передать тебе тысячу приветов. Бог мой, как я была бы счастлива, если бы вы были хороши друг с другом, все будет зависеть от первой встречи; я от души молюсь богу, чтобы не было никакого злопамятства с обеих сторон. Вы оба хорошие люди, с добрейшими сердцами, как же так получается, что вы не ладите. Это одно печалит меня, но в конце концов я говорю себе, что счастье не может быть полным».

Как вся Наталья Николаевна тут, в этих письмах! Без любви, без материнства женщина не может быть счастлива, это значило бы изменить своему призванию. Это воплощение женственности, несомненно, и вызвало такую безграничную, самоотверженную любовь к ней Пушкина, нашедшего в ней свой идеал жены и матери своих детей. И Наталья Николаевна оказалась права: впоследствии замужество и материнство изменили характер Александры Николаевны, принесли ей то счастье, о котором она так мечтала.

В одном из писем Ланскому за 1849 год Наталья Николаевна пишет, что получила письмо от Фризенгофов, в котором они сообщают, что весною 1850 года собираются в Россию, «чтобы провести целый год со стариками». Это намерение осуществилось. Приехала ли Наталья Ивановна уже больная или заболела в России, мы не знаем, но осенью 1850 года она скончалась и была похоронена в Петербурге в Александро-Невской лавре.

Родилась она в России, в Тамбове. Очевидно, была чьей-то незаконной дочерью, но чьей? По одним данным, она носила фамилию Ивановой, по другим — Соколовой, третьи считали ее дочерью Ивана Александровича Загряжского, четвертые — даже незаконной дочерью Александра I (А. Н. Раевский пишет, что в замке Фризенгофов в Бродзянах сохранилось такое предание) и, наконец, дочерью самого Ксавье де Местра. Раевский во время своего посещения Бродзян в 1938 году, сравнив портреты Ксавье де Местра и Натальи Ивановны, нашел между ними сходство и решил, что она его дочь, а фамилия Иванова (и отчество Ивановна) дана по крестному отцу, как тогда было принято делать в отношении внебрачных детей. Такого мнения раньше придерживались и мы.

Но внимательно рассмотрев имеющиеся в музеях Советского Союза портреты Натальи Ивановны и Ксавье де Местра, мы не нашли такого сходства. Исследователям пока так и не удалось установить, чья же она дочь.

Наиболее вероятно, что Наталья Ивановна была незаконной дочерью Александра Ивановича Загряжского*. Если это так, то она приходилась племянницей сестрам Загряжским и двоюродной сестрой сестрам Гончаро-

* Сына Ивана Александровича Загряжского.

вым — отсюда их близкая дружба. Поэтому не случайно Густав Фризенгоф в письме к брату Адольфу называет Софью Ивановну тетей.

Мы были на кладбище Александро-Невской лавры в Ленинграде и разыскали надгробие Натальи Ивановны с очень интересной надписью. Там значится: «Фризенгоф Наталья Ивановна, урожденная Загряжская. Баронесса Фризенгоф, родилась 7 августа 1801 года. Скончалась 12 октября 1850 года».

Урожденная Загряжская! Старики Местры были, несомненно, религиозными людьми и вряд ли стали бы лгать на надгробной надписи, указывая чужую фамилию...

А. И. Загряжский жил в имении Кариан, под Тамбовом. Свидетельство о рождении Натальи Ивановны тоже дано в Тамбове. Когда умер А. И. Загряжский, он оставил большое состояние, которое было разделено между тремя сестрами. Получив после брата наследство, Софья Ивановна вскоре вышла замуж за Местра. А наследство действительно было солидное: судя по материалам гончаровского архива, доля каждой из сестер оценивалась в 300 000 рублей!* После брата, видимо, осталась его дочь, родившаяся у неизвестной нам женщины, и бездетные Местры взяли девочку к себе. Но, очевидно, не удочерили в законном порядке, так как в брачном свидетельстве она значится Ивановой. Почему? Сделаем еще одно предположение. Прежде всего, Местры, может быть, надеялись, что у них будут еще и свои дети, но главное, тогда из наследства пришлось бы выделить известную долю и дочери Александра Ивановича, а этого, по-видимому, все сестры не хотели. Однако, мы полагаем, что Софья Ивановна дала за своей воспитанницей хорошее приданое.

Но тут возникает еще один вопрос: даты на надгробии. Если судить по надписи, то Наталье Ивановне в 1836 году, когда она вышла замуж за Фризенгофа, было 35 лет, а ему... 29! Странный брак...

В молодости Наталья Ивановна была, видимо, интересной девушкой. Местры долгое время жили в Италии. Там ее окружала масса поклонников, среди которых были и русские, путешествовавшие в то время по Италии,

---

*Подробнее об этом см.: И. Ободовская, М. Дементьев. Пушкин в Ярропольце.— «Москва» № 3, 1977, с. 182.

так, например, князь Петр Мещерский, поэт В. А. Жуковский, посвятивший ей стихотворение «Поляны мирной украшение», которое и записал ей в альбом. Золотая молодежь, окружавшая Наталью Ивановну, даже образовала специальный «орден» поклонников русской красавицы. В Италии она встретила и Густава Фризенгофа.

Отец барона Густава Фогеля фон Фризенгофа, Ян Фогель Фризенгоф, жил в Вене (умер в 1812 году). По некоторым сведениям, его семья происходила из Эльзаса; Ян Фогель в свое время переехал на службу в Австрию и там получил от австрийского императора наследственный титул барона. Эльзасские корни Фризенгофов очень интересны: в Эльзасе жили Дантесы. Не были ли эти семьи знакомы еще в давние времена, и не этим ли объясняется, как мы увидим далее, что Фризенгофы принимали у себя в Вене Жоржа Дантеса и Екатерину Николаевну?

Густав Фризенгоф родился в Вене в 1807 г. В 1828 году окончил юридический факультет Венского университета и в 1830 году, путешествуя по Италии, познакомился с Натальей Ивановной. Фризенгоф получает сначала назначение в посольство в Дрездене (Саксония), а через три года на должность атташе — в австрийское посольство в Неаполе. Местры долго путешествовали по Италии, а с 1832 года жили в Неаполе, таким образом, Фризенгоф встречался с их воспитанницей в течение пяти лет, прежде чем сделал предложение. Свадьба состоялась в Неаполе в 1836 году[1].

В 1839 году Густав Фризенгоф получает место в австрийском посольстве в Петербурге, Местры и Фризенгофы едут в Россию. Путешествуя за границей, они постоянно поддерживали связь с Екатериной Ивановной Загряжской и были в курсе всех петербургских событий. По приезде, как мы уже говорили, Местры поселились в одном доме с семьей Пушкиных и Александрой Николаевной. Там ли жили Фризенгофы или отдельно в посольском доме, пока выяснить не удалось. Но несомненно одно: в это время установились тесные дружеские отношения Натальи Николаевны, и особенно Александры Николаевны, с Натальей Ивановной Фризенгоф. В письмах к брату Адольфу за 1839—1841 годы Густаф Фризенгоф часто упоминает об их встречах с обеими сестрами.

В 1841 году, как мы упоминали, Фризенгоф был отозван в Вену, и, видимо, до 1850 года супруги не возвра-

щались в Россию, хотя, возможно, и приезжали навестить стариков Местров. Очевидно, в середине или конце 40-х годов Фризенгоф вышел в отставку.

В 1850 году, приехав погостить в Россию, Фризенгофы жили у Местров, и после смерти Натальи Ивановны Густав остался у них. В августе 1851 года скончалась Софья Ивановна. Старик Местр был уже тогда серьезно болен.

После смерти жены Фризенгоф стал постоянно бывать в доме Ланских. Вот что пишет он брату.

«...Ты знаешь, что обе сестры Гончаровы, начиная с первого нашего пребывания здесь (в Петербурге) стали нашими — Натальи и моими —близкими приятельницами, и что у нас была, в особенности к Александрине, большая симпатия, вызванная оценкой ее характера. Когда моя Наталья перед своей смертью переехала в город*, Александрина, у которой было больше свободного времени, была ее постоянной собеседницей, а в последние печальные дни и ее неутомимой сиделкой. Естественным последствием этих предшествовавших событий было то, что в течение целой зимы я охотнее всего бывал у Ланских и находился преимущественно в общении с Александриной, с которой одной во всем Петербурге я мог сколько угодно говорить о своей Наталье — наша тетушка** от этого уклонялась — и находил утешение и поддержку»[1].

А. В. Исаченко в статье «Родственники Пушкина в Словакии», где был впервые опубликован отрывок из этого письма (оригинал не датирован), относит его к марту 1852 года. Мы полагаем, что оно было написано гораздо раньше. Этим письмом, как говорится в статье, Фризенгоф извещал своего брата о вторичной женитьбе. Свадьба состоялась 6 апреля 1852 года, и не может быть, чтобы Фризенгоф писал о том брату чуть ли не накануне. В архиве Фризенгофов в ИРЛИ есть письмо Александры Николаевны от 4/16 января 1852 года[2] к Адольфу Фризенгофу, в котором она пишет, что вступая через несколько месяцев в их семью, она хотела бы напомнить ему, что когда-то давно они познакомились у тетушки Загряжской, что, может быть, он помнит об этом, и они встретятся как старые знакомые. (Отметим, кстати, что Адольф Фризенгоф приезжал в Россию, надо полагать,

---

* По-видимому, с дачи.— *И. О.* и *М. Д.*

** Тетушка — С. И. Местр.

в период 1834—1836 годов и, возможно, был знаком с Пушкиными, которых мог встретить у Загряжской.) Принимая во внимание привязанность Адольфа к Густаву и к его сыну Григорию (от первой жены), Александра Николаевна выражает надежду, что частицу этого чувства он перенесет и на нее, которая волею провидения предназначена заменить им ту, что ушла от них и которую она сама нежно любила. В заключение Александра Николаевна говорит, что одобрение выбора Густава будет иметь для нее огромное значение.

Письмо это, как пишет Александра Николаевна, является дополнением к посылаемому одновременно письму Густава. Таким образом можно с уверенностью сказать, что письмо Фризенгофа может быть датировано январем 1852 года. Из писем Фризенгофа к невесте мы узнаем, что Адольф Фризенгоф благожелательно отнесся к женитьбе брата, и Густав был очень доволен его ответом.

Однако вопрос об этом браке был решен гораздо раньше, еще весною 1851 года, то есть всего через полгода после смерти Натальи Ивановны; об этом писала Наталья Николаевна к Ланскому из-за границы.

В 1851 году Наталья Николаевна с Александрой Николаевной и старшими дочерьми поехала за границу. В этом время Александра Николаевна уже была невестой Фризенгофа (хотя еще и не официально), следовательно, все было решено еще в конце зимы 1851 года. И Фризенгоф, возможно, сопровождал сестер в начале их путешествия. Во всяком случае, в июле 1851 года он был в Вене, и между женихом и невестой шла деятельная переписка. Натальи Николаевны часто упоминает об этом в письмах к Ланскому.

Из этих писем мы узнаем, как боялась Наталья Николаевна, что по каким-либо причинам брак не состоится, как ей хотелось скорее приблизить этот счастливый момент в жизни сестры. Приведем несколько выдержек из этих писем.

«10/22 июля 1851[1]

...В то время как я мыла тебе голову, или вернее делала тебе замечание по поводу того, что ты не был у Фризенгофа, я подумала, что ты и не мог этого сделать, и что когда мое письмо до тебя дойдет, визит будет уже сделан, но я, как и всегда, пишу тебе под первым впечатлением, с тем чтобы позднее раскаяться.

Я тебе больше ничего не скажу, что думаю об их женитьбе; то, что было только простым предположением, было так плохо принято Фризенгофом, который вообразил, что я хочу избавиться от Саши при проезде через Вену, что я рассердилась на вас обоих: на тебя за твою болтовню, на него — за то, что он не воспринял вещи такими, какими они есть на самом деле. Вот причина того, что я вспылила. Но забудем всё это, и если случайно ты приедешь за мной в Вену, я надеюсь, что ты не будешь ни о чем упоминать — я не хочу, чтобы дела Сашиньки от этого пострадали, ни чтобы ее будущее было поставлено под угрозу из-за какой-нибудь новой нескромности с нашей сторны. Он такой немец мнительный и вспыльчивый, он так любит все усложнять, что Сашиньке будет трудно сладить с его характером. Придется ей взяться за это дело очень осторожно. Не знаю, как Ната сумела так хорошо взять над ним верх, потому что ей удалось так обуздать его характер, что он стал покорным слугой своей жены, и надо отдать ему справедливость — он был замечательным мужем. Но так как он разгневался на меня за то, что я имею неверное представление о его чувствах и считаю его способным забыть всякое приличие и жениться на Сашиньке до того, как минет год, значит, я верно угадала — правда глаза колет. Он хотел бы, чтобы я верила в то, что скорбь его еще так свежа, но я к ней отношусь спокойно, так как не могу ее сочетать с пылкостью его чувств к моей сестре.

Но все это между нами, я тебя умоляю, я делюсь своими мыслями только с тобой, я даже не буду говорить об этом с Сашей, я так теперь всего боюсь».

«13/25 июля 1851 г.[1]

...А Фризенгоф, не успел он овдоветь, как принял в качестве утешения любовь Сашиньки, и перспектива брака с нею заставила его забыть все свое горе... Что касается Фризенгофа, то при всем своем уме он часто в некоторых вещах доходит до крайностей; тому свидетельством его опасение не соблюсти приличие и боязнь общественного мнения до такой степени, что он становится просто бесхарактерным. Женщина должна всему этому подчиняться, законы света были созданы против нее. Но преимущество мужчины в том, что он может не бояться, а он несчастный всех и всего боится. Пример тому — его любовь, он дрожит, как бы его брат или вен-

ские друзья о том не догадались. Из-за этого он не решается назначить свадьбу раньше, как того желал бы и он сам. Я прекрасно понимаю, что он не хочет нарушать своего вдовства в течение года, но после этого срока все зависит только от его страха перед тетушкой и братом, а никак не от его дел. Но все это, ради бога, между нами. Никому об этом не говори и будь осторожен с моими письмами, запирай их как только прочтешь».

Судя по этим письмам, Ланской при свидания с Фризенгофом в Вене неосторожно что-то сказал о желании Натальи Николаевны ускорить свадьбу. Реакция на это Фризенгофа вполне понятна, и вмешательство Ланских, несомненно, было бестактным. Однако его чувства вызывают некоторое удивление: слишком скоро, нам кажется, после смерти жены он увлекся Александриной. Но что любовь его была чувством искренним и глубоким, подтверждают его письма к ней от 1852 года, когда она уже была с ним помолвлена.

В начале 1852 года Фризенгоф вновь в Петербурге, живет у овдовевшего к тому времени Ксавье де Местра. Видимо, он повредил ногу и в течение некоторого времени не мог ходить, поэтому из дома Ланских к дому Местра и обратно курсирует все тот же преданный слуга Фридрих, который сопровождал Наталью Николаевну в заграничном путешествии. Жених и невеста переписываются. Письма Фризенгофа дошли до наших дней. Это по большей части коротенькие записки* (без дат, иногда с указанием дня недели и часа отправления), сообщающие о состоянии его здоровья, о том, как прошел день, а главное, пламенные уверения в его любви к ней. Сохранились и три конверта с шутливо-ласковыми адресами: «Мадемуазель Александрине Гончаровой, самой лучшей из невест». «Густаву принадлежащей Александрине, иначе говоря Гончаровой, дочери Николая». «Любимейшей из невест». Приведем несколько выдержек из этих писем, характеризующих его чувства к ней.

«Я тебя люблю как всегда, а больше или меньше — было бы невозможно»[1].

«Я тебя обожаю и жду с нетерпением»[2].

«Правда ли, дорогая подруга моего сердца, что ты меня любишь как и раньше? Я был бы счастливейшим из мужчин, если бы был совершенно в этом уверен»[3].

---

* На французском языке.

«Я тебя обожаю, я тебя люблю так, как не могу выразить словами, и больше чем ты меня, хотя ты меня и очень любишь, но невозможно любить меня так, как я тебя люблю»[1].

«Как ты себя чувствуешь, ангел моего сердца, солнце души моей»[2].

Только одна записка имеет дату, она здесь очень важна для Фризенгофа:

«18/6 марта. Через месяц, моя Александрина, будет 18/6 апреля, твое сердце радуется»[3]. Нет сомнения, что он говорит об уже назначенном дне свадьбы.

Свадьба состоялась, очевидно, в назначенный срок, и молодые уехали из России, по-видимому, сначала в Вену, а потом в Бродзяны, поместье Фризенгофа в Венгрии, где они и прожили большую часть своей жизни. Это, судя по письмам, было очень счастливое супружество. Наталья Николаевна верно предчувствовала, что любовь и материнство изменят характер сестры. И кто бы мог предполагать, что мятущаяся душа Александрины найдет покой и счастье не в пышном, шумном Петербурге, а в глухом уголке, в замке Бродзяны...

БРОДЗЯНЫ

В горах, в долине реки Нитры, среди большого парка стоял старинный замок Бродзяны, принадлежавший венгерским аристократам Brogyanyi. Это большое поместье купил Густав Фризенгоф еще при жизни первой жены Натальи Ивановны, привел в порядок запущенные дом и парк. В Бродзянах в 1938 году побывал у потомков Фризенгофов Н. А. Раевский, рассказавший об этой интереснейшей поездке в статье «В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой» и в книге «Портреты заговорили»[4]. Воспользуемся его описанием замка и парка.

«Замок — охряно-желтое трехэтажное строение — не очень велик и совсем не роскошен. Скромная резиденция небогатых помещиков. Не зная архитектуры, вида здания описывать не берусь. Оно красиво, но единого стиля во всяком случае нет. Создавался замок на протяжении многих веков. Некоторые помещения нижнего этажа, по преданию, построены еще в одиннадцатом столетии, главный корпус, вероятно, в семнадцатом, другая часть — в половине восемнадцатого, а библиотечный зал пристроен уже

в девятнадцатом. В нижнем этаже помещаются апартаменты для гостей и службы, во втором — жилые комнаты. В третьем я не был, кажется, сейчас там живет прислуга».

«...Вот и ворота старого парка. Они открыты. Очень напоминают знакомый всем по фотографиям вход в Ясную Поляну — те же белые приземистые столбы. Машина останавливается у подъезда. Открывается тяжелая дубовая дверь со старинным железным кольцом, вставленным в львиную пасть. Я не без волнения переступаю порог замка, в котором жила и умерла Александра Николаевна». «...Обстановка замковых покоев почти целиком старинная. Сохранилось и немало вещей, принадлежавших Александре Николаевне: ее бюро работы русских крепостных мастеров, к сожалению, переделанное, несколько икон, столовое серебро, печати с гербами Гончаровых и Фризенгофов, под стеклянным колпаком маленькие настольные часы — очень скромный свадебный подарок императрицы Александры Федоровны фрейлине Гончаровой». «...После кофе Вельсбург пригласил меня пройтись по парку. Он невелик, но красив. Хорошо распланирован в английском вкусе и немного напоминает Павловск. Старые толстые деревья — липы, дубы, ясени, вязы, лужайки с видами на замок. Немного позднее здесь зацветет сирень. Не помню, где я еще видел такие огромные кусты. Вероятно, им не менее ста лет. Может быть, любуясь ими, Александра Николаевна невольно вспоминала гончаровское имение Полотняный Завод. И небольшая белая беседка с ампирными колоннами, можно думать, построена по ее желанию или по просьбе первой жены Фризенгофа Натальи Ивановны — в Средней Европе ампирных построек почти нет». «...Мы ужинали при свечах. Все было как во времена Александры Николаевны. На столе скатерть из русского льна, искрящийся богемский хрусталь, массивное серебро из приданого шведской принцессы Ваза вперемежку с серебряными вещами с монограммой «А. Г.». В полусумраке чуть видны портреты — Дантес, Жуковский, «русские гравюры» с забытыми людьми. Воспоминания, воспоминания... После долго беседуем в малой гостиной. В разных местах комнаты мягко горят свечи. Я сижу в старинном глубоком кресле... Вот здесь, в этой комнате, в этих самых креслах сиживали две стареющие женщины — генеральша Ланская и ее сестра. О чем они говорили, о чем думали?..»

Не так давно в Бродзянах в замке Фризенгофов был научный сотрудник Института балканистики АН СССР Л. С. Кишкин. Он рассказал нам, что на косяке двери одной из комнат сохранились отметки о росте Натальи Николаевны и ее детей. Рост Натальи Николаевны и ее дочери Натальи Александровны — 173 см, Александра Александровича — 174 см. Эти отметки так ярко характеризуют отношения двух сестер, стремление Александры Николаевны перенести и в свой дом (очевидно, это было в обычаях Полотняного Завода) милые приметы родственной близости.

В этом старинном замке прошла вся остальная жизнь Александры Николаевны. Сорок лет прожила она в Бродзянах, окруженная дорогими ее сердцу русскими реликвиями, портретами родных и знакомых. По этим аллеям парка гуляла с Натальей Николаевной, несколько раз приезжавшей к сестре. Здесь посещали ее Иван Николаевич и, по-видимому, Сергей Николаевич, племянники и племянницы Пушкины и Ланские. Здесь она скончалась.

Граф Георг Вельсбург, правнук Александры Николаевны, любезно предоставил А. Н. Раевскому возможность ознакомиться с богатой библиотекой, бесчисленным количеством портретов и альбомов, хранящихся там со времени кончины Александры Николаевны. Мы не имеем возможности дать подробное описание всего того, что совершенно неожиданно было обнаружено там Раевским, и отсылаем читателя к его книге «Портреты заговорили». Но на некоторых моментах, имеющих прямое отношение к нашему повествованию, должны остановиться.

Среди множества портретов и рисунков там оказались портреты Гончаровых, Пушкиных и Ланских, Фризенгофов и Ксавье де Местра, а также П. А. Вяземского, Ю. П. Строгановой и др. Обращает на себя внимание портрет Дантеса с собственноручной подписью, висевший в столовой. Наличие этого портрета в бродзянском замке дало повод некоторым пушкинистам упрекать Александру Николаевну в неэтичном отношении к памяти Пушкина. Так, А. Ахматова писала: «В замке у Александрины в столовой до самой войны 1940 года висел портрет Дантеса. Для меня лично этого было бы достаточно, чтобы доказать, что она никогда не любила Пушкина. ...Несомненно, этот портрет в столовой — это остаток культа Дан-

теса...»[1]. Эта гипотеза не имела никакого документального подтверждения. И, как мы видели выше, у Александры Николаевны не было никакого культа Дантеса.

Что касается того, как попал портрет Дантеса в Бродзяны, то этому можно найти объяснение теперь, когда мы имеем письма Екатерины Николаевны Дантес. В 1842/43 году Дантесы провели зиму в Вене, где встречались с Натальей Ивановной и Густавом Фризенгофами. В высшем обществе венского двора убийцу Пушкина и его жену не принимали, и единственным домом, где они бывали запросто, был дом Фризенгофов. Как мы уже говорили, возможно, Дантесы и Фризенгофы были давно знакомы, так как обе эти семьи происходили из Эльзаса. В 1843 году осенью Екатерина Николаевна умерла, но Жорж Дантес и после ее кончины, конечно, бывал в Вене у Луи Геккерна, и там он мог подарить Фризенгофам свой портрет (он датируется 1844 годом). С этой нашей точкой зрения согласен и Н. А. Раевский, посетивший Бродзяны. Висел ли он в доме при Наталье Ивановне, мы не знаем, но думаем, что нет, учитывая ее очень близкие отношения с Натальей Николаевной. Тем более трудно предположить, что ежедневно могла спокойно смотреть на убийцу Пушкина Александра Николаевна... Вероятно, портрет этот появился в столовой гораздо позднее. Отметим здесь также знаменательный факт: в Бродзянах среди множества портретов родственников Александры Николаевны не было обнаружено ни одного портрета Екатерины Николаевны! На это как-то до сих пор не обратили внимания. (Вспомним, что и в доме Натальи Николаевны не было ни одного изображения старшей сестры.) И если даже предположить, что Александра Николаевна могла повесить на самом видном месте портрет Дантеса, то почему бы ей не иметь рядом или в альбомах портрет его жены, своей родной сестры? Однако его *не было*... А портретов Натальи Николаевны было несколько. Нет, не висел при Александре Николаевне портрет убийцы Пушкина!

Но среди многочисленных иконографических материалов там не было и ни одного портрета Пушкина. В огромной библиотеке, насчитывавшей не менее 10 000 томов, в так называемом «русском шкафу» Раевский обнаружил только посмертное издание его сочинений с экслибрисом герцогини Ольденбургской, дочери Александры Николаевны. Никаких писем, ни одной пушкинской стро-

ки... Странно, не правда ли? Но известно, что перед смертью Александра Николаевна сожгла все письма, а после — ее дочь по ее просьбе уничтожила и остальные бумаги[1]. Все исчезло навсегда... Уцелели только письма Густава Фризенгофа к брату. Некоторые материалы и портреты разными путями попали в Пушкинский дом в Ленинграде, часть находится в Словакии, а остальное, по-видимому, погибло во время второй мировой войны.

Чем же объяснить такое полное отсутствие каких-либо следов Пушкина в Бродзянском замке? Думаем, что ответ следует искать в событиях последних месяцев 1837 года, а главное — в факте публикации клеветнических измышлений Трубецкого о связи Пушкина со свояченицей. В 1887 году и Александра Николаевна, и Густав были еще живы, и если до этого что-нибудь пушкинское, например, портреты, и было, оно исчезло (если не было уничтожено, то убрано), чтобы ничто не напоминало об этой истории. Можно себе представить, как переживали старики Фризенгофы это позорное обвинение Пушкина и Александры Николаевны. Но в 1889 году умер Густав Фризенгоф, в 1891-м — Александра Николаевна, владелицей замка стала их дочь, Наталья Густавовна. Вероятно, ей мы «обязаны» окончательному исчезновению всего пушкинского, по-видимому, это именно она повесила в столовой портрет Дантеса. Очевидно, плохо разбираясь во всех петербургских трагических событиях, которые были для нее далекой историей, она полагала, что таким образом (странным, на наш взгляд) «реабилитирует» честь своей матери. Что касается Вельсбургов, то они тщательно храня все, что осталось после прабабки, не сочли нужным убрать портрет Дантеса; возможно, они были согласны с Натальей Густавовной, а вернее, по незнанию всех обстоятельств, стремясь только сохранить «все как было».

Но вернемся к 1852 году, когда Александра Николаевна впервые вступила хозяйкой на бродзянскую землю. Какое впечатление произвел на нее этот мрачноватый старинный замок? Была ли она рада укрыться здесь от всех бурных переживаний прежней своей жизни? Нашла ли она здесь успокоение? Думаем, что да.

В первые годы после приезда из Петербурга Фризенгофы жили в Бродзянах только летом. В Вене у Фризенгофа был свой дом, унаследованный, вероятно, от отца, об этом мы узнаём из одного из писем Александры Ни-

колаевны к Ивану Николаевичу, которое мы приведем ниже; подтверждается это и ее письмом к брату Густава Адольфу Фризенгофу от 1852 года: Александра Николаевна сообщает, что скоро, как обычно, они приедут на зиму в Вену.

В первые годы супружеской жизни их постигло несчастье — смерть Адольфа, брата Густава. Сохранились три письма Густава к Александре Николаевне, выдержки из которых мы приводим (опуская описание болезни и лечения Адольфа). Они свидетельствуют о его глубокой любви к жене. Тесная дружба связывала обоих братьев Фризенгофов, и когда в 1852 году Адольф перенес серьезную операцию, Густав немедленно поехал к нему в Вену. Оттуда он шлет жене в Бродзяны письма, подробно описывая встречу с братом, его состояние. Третье письмо (1853 год) уже говорит о смерти брата и чувствах Густава. Отметим, что он ищет утешения только в общении с любимой женой.

«Вена, 12 ноября 1852[1]

...Когда имеешь такую хорошую жену и нежно любимого ребенка, и когда все счастье жизни в этом, не следует никогда разлучаться, даже ненадолго, и тем более — надолго... Я понимаю, что немного взволнован всеми этими подробностями*, хотя в общем-то они хорошие, но более чем когда-либо я чувствую, как огорчительно быть далеко от своих, от тех, кто меня любит, утешает, радует, заставляет сердце улыбаться. Я люблю тебя всей душой, моя добрая Александрина... Сейчас 9 часов, ты кончаешь курить, и может быть, думаешь о твоем Густаве, который должен сидеть напротив тебя... Нежно целую тебя и Григория. Твой Густав».

«Вена, 13 ноября 1852 г. 7 часов вечера[2]

Добрый вечер, моя дорогая. Я вижу тебя отсюда лежащей на диване в маленькой желтой гостиной, с книгой в руках, и любящей твоего Густава, если только Поль де Кок позволяет тебе о нем думать. Это час, когда ты меня любишь. Ты видишь, что я не забыл этого и что я хочу послать тебе свои самые нежные чувства в тот самый час, когда они непременно встретятся с такими же твоими чувствами. Я люблю тебя всей душой, моя дорогая Алинка, и что бы ты ни говорила, ты примерная жена, с которой не следует расставаться».

---

* О состоянии здоровья брата.

Операция не помогла Адольфу Фризенгофу, и в 1853 году Густав едет на его похороны. Он тяжело переживает смерть брата и делится своими чувствами с любимой женой.

«Магдебург, 17 мая 1853 г. 8 ч. вечера[1]

...Ах, моя Александрина, какого друга я потерял! Какая пустота в моей душе! Вот еще одна*, которую тебе нужно будет заполнить, но ты сумеешь это сделать, так как ты настоящий ангел, и твой прекрасный характер, твоя глубокая привязанность все это преодолеют. Дорогая жена, как мне не терпится тебя увидеть снова, тебя прежде всего, а потом нашего дорогого малыша. У меня так пусто на душе, когда я думаю, что у меня нет этого друга, которому я имел привычку в течение 30 лет все говорить, все поверять, вплоть до малейших моих поступков, друга, который всегда выслушивал меня и обсуждал всегда все с самым живым интересом и самой нежной дружбой! Это ужасный удар, поразивший меня в самых лучших привязанностях моей души, я еще долго буду его ощущать. Я чувствую, что еще постарел; когда ты уже не молод, ничто не производит такого впечатления, как смерть того, кого так любил.— Похороны состоятся завтра утром. Следовательно, послезавтра вечером я обниму тебя, и эта минута будет первой после жестокого часа расставания с братом, которая принесет мне счастья, радость, утешение. А пока, моя Александрина, мой Григорий, целую вас тысячу раз и прижимаю крепко-крепко к моему сердцу».

«..Счастье сгладит неровности ее нрава и даст возможность проявиться ее многим хорошим качествам»,— писала в свое время Наталья Николаевна Ланскому. И в одном из писем к Вяземскому она говорит, что сестра очень счастлива в браке. Теперь мы можем сказать, что это было действительно так, да и последующие письма, которые мы приведем здесь, это подтверждают. Александра Николаевна нашла в союзе с Фризенгофом и любовь, и успокоение. Ей предстояла еще долгая, долгая жизнь с любимым человеком, радости и заботы материнства.

В 1854 году, 8 апреля, у супругов родилась дочь Наталья, названная так, вероятно, в честь обеих Наталий —

* Фризенгоф имеет в виду смерть первой жены.

Натальи Николаевны и Натальи Ивановны Фризенгоф.

Поселившись в деревне, Густав Фризенгоф занялся хозяйством, доходы от которого, видимо, составляли основные средства семьи. Когда бывали неурожаи, материальное положение их было трудным. Из-за недостатка средств в более поздние годы Фризенгофы не имели уже возможности жить зимой в Вене, и Александра Николаевна была очень озабочена тем, что не может дать дочери необходимое образование.

В гончаровском архиве сохранились письма супругов Фризенгоф, в основном, к Ивану Николаевичу. После смерти матери Натальи Ивановны Гончаровой в 1848 году при разделе Яропольца Иван Николаевич взял долю Александры Николаевны на себя, обязавшись выплатить ее деньгами, и выдал ей соответствующие документы. В 1860 году скончался Дмитрий Николаевич, и Иван Николаевич встал во главе гончаровских предприятий. Этими обстоятельствами объясняются денежные расчеты между братом и сестрой, о которых часто упоминается в письмах.

Живя в Бродзянах, Александра Николаевна не порывает связи с родиной, постоянно переписывается с Натальей Николаевной, интересуется всеми членами большой гончаровской семьи, тяжело переживает события русско-турецкой войны 1854 года. Много пишет она и о горячо любимой дочери. Письма, представляющие интерес, мы здесь публикуем полностью, остальные — в выдержках.

Первое дошедшее до нас письмо Александры Николаевны относится к 1854 году.

«Бродзяны, 12 ноября 1854[1]

Не могу написать тебе ничего особенно интересного, принимая во внимание то уединение, в котором мы живем, дорогой и горячо любимый Ваня. Беру перо просто для того, чтобы уведомить тебя о получении твоего последнего письма и поблагодарить за деньги, что нам прислала Таша*. Я послала тебе две расписки, как ты просил, так что теперь наши с тобой дела в порядке. У меня было небольшое недоразумение с сестрой по поводу суммы, что я должна платить Нине, но это произошло по-видимому из-за твоей забывчивости, дорогой брат. Ты вычел эти деньги, как ты, наверное, помнишь,

* Таша — Наталья Николаевна.

из первой половины суммы, что ты нам прислал за год, а Таша, не зная этого, удержала из присланных в последний раз денег. Эта ошибка, впрочем, может быть исправлена в будущем году, принимая во внимание, что мы уже ей уплатили. Пишу тебе об этом только для того, чтобы избежать подобной ошибки в дальнейшем. При следующем платеже, если ты удержишь деньги для Нины, предупреди об этом Ташу, чтобы не было подобной путаницы. Это письмо, так как ты надеешься оставить службу в ноябре, последует, я полагаю, за тобою в Москву; посылаю его на адрес сестры, не зная где ты находишься.

Я была очень огорчена твоим сообщением касательно плохого здоровья твоей дражайшей жены. Я надеюсь, что когда ты ее увидишь, ты найдешь ее в лучшем состоянии. Поцелуй нежно от моего имени нашу милую Машу* и скажи, что ее молчание меня чрезвычайно огорчает. В одно прекрасное утро я нарушу ее пассивность письмом. Я не буду удивлена, если в скором времени узнаю о свадьбе моей дорогой племянницы Маши, говорят, что она прелестная девушка.

Я так глубоко сожалею, что не знаю никого из твоих детей. Мне очень тяжело, что я им совсем чужая, принимая во внимание мою любовь к вам обоим, мои дражайшие, добрые друзья. Бог знает, когда мне придется их увидеть, и не предстану ли я перед ними в виде старой, старой тетки, сгорбленной и ворчливой. Ну, будем надеяться, что провидение соединит нас раньше этого времени (которое, впрочем, не так уж далеко). Я не хотела бы внушать ни ужаса, ни отвращения моим племянникам и племянницам.

Мы живем по-прежнему, очень довольные своей судьбой. Маленькая Таша растет хорошо; кажется, скоро у нее будут резаться зубки, но что-то это дело двигается медленно. Нас задерживает в деревне холера в Вене, которая, однако, за последнее время несколько уменьшилась. Вряд ли мы вернемся в город раньше декабря.

Живя вдали от военных бедствий, мы страдаем только душою, когда какая-нибудь прискорбная неудача случается с русскими. Да ниспошлет им господь помощь в их неудачных сражениях и дарует им славную победу в обороне Крыма. Мысль о множестве семей, пережи-

---

* Маша — М. А. Пушкина.

вающих горе потери своих близких, заставляет нас содрогаться. Молодой Орлов и Андрей Карамзин — две жертвы, которые я искренне оплакиваю.

Вот уже наверное раз двадцать я оставляла сегодня мое письмо из-за моей респектабельной девицы, которую я сейчас отправила гулять.

А теперь, мой горячо любимый, дорогой брат, разреши мне тебя поцеловать как можно нежнее от меня лично и от Густава. Муж просит напомнить о нем невестке, а ты передай ей от меня нежный поцелуй.

Всем сердцем твоя
Александра Фризенгоф».

Уже это первое письмо вводит нас в обстановку замка Фризенгофов. Тихо и спокойно течет жизнь семьи, «довольной своей судьбой». Растут дети — Григорий, сын Фризенгофа от первого брака, и маленькая Таша — обожаемая дочь уже немолодых родителей. Густав, очевидно, больше не служит, иначе он не мог бы задержаться надолго в Бродзянах. Письмо ее, если сравнить его с петербургскими письмами, полными тоски и жалоб на свою судьбу, говорит о том, как успокоилась ее мятущаяся душа, нашедшая, наконец, свое счастье.

Следующие из сохранившихся писем относятся уже к более поздним годам. За 1860 год имеется несколько писем: поздравления с женитьбой Ивана Николаевича, описание их бродзянской жизни. В 1859 году умерла жена Ивана Николаевича Мария Ивановна, оставив ему четырех детей. В 1860 году он женился вторично на немолодой уже девушке Екатерине Николаевне Васильчиковой. Супруги Фризенгоф очень тепло поздравляют его с этим браком.

«Бродзяны, 13/25 мая 1860[1]

Я только что узнала от Таши о счастливом событии — твоей женитьбе, мой милый, дорогой Ваня и спешу послать тебе по этому случаю самое искреннее поздравление, вместе с самыми горячими пожеланиями счастья. Все, что мне пишет сестра о твоей невесте,— верная гарантия того, на что ты надеешься в будущем. Да ниспошлет тебе господь долгие годы жизни без всяких тревог, как ты того заслуживаешь. По крайней мере тебе будет с кем разделить свои заботы и моральные страдания; незаконченное образование твоих сыновей, и затруднения с воспитанием еще маленькой дочери, я думаю, бремя слишком тяжелое для тебя одного. Твое здоровье, столь

подорванное тяжелой жизнью в связи с разделом, восстановится от прежних потрясений благодаря спокойствию, которое непременно сойдет на твою душу. Да смилуется над тобой небо и избавит тебя от всех домашних забот.

На какое число назначена ваша свадьба? Я полагаю, что вы спокойно проведете лето в деревне. Ты еще на службе или вышел в отставку?

Таша мне пишет неопределенно о надеждах пристроить вашу прелестную Мари*, но не называет мне имени и не сообщает каких либо сведений о претенденте, которого кажется желает графиня Софья Мещерская для своей племянницы. Если это хорошая партия, я хотела бы, чтобы ей это удалось, и тебе облегчение — с плеч долой. К счастью, Таша избавилась от одной из своих забот, но никогда приготовления к свадьбе не сопровождались такими сложными событиями, как это было у Маши**. Ну, будем надеяться, что теперь их оставят в покое и никто не будет больше вмешиваться в этот роман.

Я еще должна тебя поблагодарить, дражайший, милый Ваня, за присылку денег за 1859 год. Прилагаю к письму расписки, как ты мне говорил.

Не знаю передавала ли тебе Таша о моем большом желании иметь твою фотографию размером визитной карточки. Если у тебя ее нет, исполни мою просьбу, присоединив к ней и фотографию моей будущей невестки, с которой мне так не терпится познакомиться, хотя бы по фотографии, и потом также моих племянников и племянниц, как только у тебя будут лишние экземпляры.

А теперь я попрощаюсь с тобою, мой дражайший, обожаемый брат, целую тебя нежно от всего сердца. Рекомендуй меня дружеским чувствам твоей будущей жены и предоставь нам счастье когда-нибудь познакомиться с нею.

Таша*** еще помнит своего дядю Ваню и просит передать ему нежный поцелуй.

А. Ф.

Прошу тебя, напиши мне о нашем бедном отце, целую вечность я о нем ничего не знаю, а также несколько слов о себе».

---

* Мари — дочь Н. И. Гончарова.

** Маша — М. А. Пушкина. Вышла замуж за Л. Н. Гартунга в 1860 году.

*** Таша — дочь Фризенгофов.

«Бродзяны, 15/27 мая 1860[1]

Я пишу вам только несколько строк, дорогой Жан, чтобы письмо Александрины, готовое еще вчера и ожидающее только моей приписки, не опоздало на почту. Григорий приехал сегодня утром сделать нам сюрприз своим визитом, и я потерял время в болтовне с ним. Впрочем, напишу ли я десять слов или десять страниц, вы не будете сомневаться больше или меньше в том удовлетворении, с которым я узнал о вашей женитьбе. Вы знаете, дорогой Жан, что мое сердце для вас — сердце настоящего брата и друга, и, следовательно, понимаете, чтó оно испытало. Натали нам подробно пишет о нашей будущей невестке, и то, что она говорит о ней, радует тех, кто вас любит... Напишите нам о нашей будущей невестке, скажите ей, что есть в Венгрии уголок, где у вас живет сестра, обожающая вас, и зять, который, являясь одним целым со своей женой, питает те же чувства, и что, следовательно, эта приятная пара заранее просит немного ее полюбить, а может быть, и побольше, если счастливый случай соединит нас в один прекрасный день и даст возможность с ней познакомиться. Не дадите ли вы возможность ей попутешествовать? Но вы отныне будете чувствовать себя великолепно и не будете нуждаться в каком-либо курсе лечения. Прощайте на сегодня, дорогой Жан, я вас люблю и целую сердечно.

Густав».

«Бродзяны, 5/17 июля 1860[2]

...Ничего нового не могу сказать о нас. Жизнь наша течет спокойнее, чем когда-либо; в отношении сельского хозяйства год удовлетворительный. Заботы, конечно, в этом прелестном подлунном мире всегда есть, но пока бог сохранит мне мою жену, любящую и добрую, и моих детей, которые пока преуспевают как нельзя лучше, с моей стороны было бы несправедливо жаловаться на небольшие облака на картине, и я говорю об этом только для того, чтобы не забывать о них и доказать, что каждый человек имеет право немножко посетовать.

Густав».

«Бродзяны, 14/16 июля 1860[3]

Нужна вся моя любовь к тебе, дорогой и горячо любимый Ваня, чтобы решиться взять перо в руки сегодня, принимая во внимание, что я только что отправила другое послание и что в течение месяца регулярно каждое утро я сижу за своим бюро и пишу, пишу направо и нале-

во, и истощилась уже и физически и умственно. Но мне было бы тяжело, если бы я не поспешила выразить тебе всю радость моего сердца от того, что ты наконец счастлив и успокоился насчет твоего будущего, как ты того заслуживаешь. Так что ты удовлетворишься, не правда ли, на этот раз несколькими строками поздравления по поводу твоей женитьбы, сопровождаемыми самыми искренними пожеланиями полного счастья в твоей новой семейной жизни. Я надеюсь, что твое здоровье, под влиянием спокойной жизни и без больших забот, укрепится, и больше не будет речи о мрачных и печальных предчувствиях. Я радуюсь за тебя, что ты успокоился душою, тихо живя в деревне, окруженный семьею, и что ты не одинок в твоих заботах о детях. Когда же я смогу познакомиться со всеми твоими, это мое самое горячее желание...

Сестра мне пишет о неясных еще надеждах относительно замужества моей милой племянницы, похоже ли, что они осуществятся? Я очень хотела бы этого для Маши; ее жизнь при дворе*, конечно, очень приятна, но иметь свой счастливый семейный очаг гораздо лучше.

Благодарю за обещание прислать ваши фотографии, жду их с огромным нетерпением. Видеть оригиналы было бы для меня предпочтительнее, но раз уж в ближайшее время нет и речи о вашем путешествии, то мне придется удовольствоваться тем, что ты можешь мне дать.

Мы с апреля месяца все время ждем визита Сережи, я надеюсь, что он все же приедет, но так как сдвинуться с места для него, насколько мне известно, очень большое дело, то я не знаю, когда он одарит нас своим присутствием.

Жизнь наша сейчас как нельзя более уединенна, соседи поразъехались, но в будущем месяце окрестности оживятся, и мы избавимся, я полагаю, от привычного домоседства.

Я, конечно, занята исключительно своей дорогой дочерью, которая становится уже в некотором роде сознательным существом. Она очень умна, а ее способность все схватывать просто необыкновенна, так что развить ум этой маленькой головки не составит труда, если бог нам ее сохранит. Она также подает мне надежду стать хорошей музыкантшей, потому что занимается музыкой с большим увлечением.

* Мария Пушкина была фрейлиной императрицы.

Вот, дорогой, любимый Ваня, все что я могу тебе сказать о нас. Разреши мне поцеловать тебя столь же нежно, как я тебя люблю, а также от имени Таши. Тысячу поцелуев детворе.

А. Ф.

Пиши нам время от времени, не будь так ленив. Ты не представляешь себе какое удовольствие доставляют нам твои письма. Ты знаешь, строки написанные твоей женой, заставили биться мое сердце — так похож ее почерк на почерк нашей покойной матери».

В письме от 13/25 мая 1860 года обращают на себя внимание какие-то намеки, касающиеся Марии Пушкиной. В 1860 году старшая дочь Пушкина вышла замуж за офицера лейб-гвардии конного полка Леонида Николаевича Гартунга. Это был уже довольно поздний брак — Маше было 28 лет, но нам до сих пор не было известно о каких-либо «сложных событиях», предшествовавших свадьбе, хотя и эти скупые строки ничего не разъясняют. Можно себе представить только, как все это переживала Наталья Николаевна. Судя по письму, и Александра Николаевна принимала близко к сердцу эти события. Как мы видим, она живо интересовалась всеми своими близкими, очень тепло и она, и Густав отнеслись к женитьбе Ивана Николаевича. По письмам Фризенгофа можно сделать вывод, что он по-родственному относился к Гончаровым. Мы не знаем, приезжала ли когда-нибудь Александра Николаевна в Россию. А. М. Игумнова, не раз гостившая в Бродзянах, в своих воспоминаниях пишет, что она «всячески поддерживала связь с Россией, не раз ездила к своей родне». Но в письмах Александры Николаевны ни разу не упоминается об этом, более того, в письме от 22 января/3 февраля 1868 года она опять говорит о том, что очень хотела бы познакомиться с женой Ивана Николаевича. Следовательно, до 1868 года она в России не бывала. Думаем, что материальное положение семьи вряд ли позволяло тогда предпринять это путешествие. Ездила ли Александра Николаевна позднее, мы не знаем, а после 1880 года это и вообще было невозможно: ее разбил паралич. Что касается Ивана Николаевича, то он приезжал к сестре в Бродзяны, по-видимому, в 1858 или 1859 годах, поскольку его помнит шестилетняя Таша Фризенгоф. Подтверждается это и письмом Густава от 1860 года, которое мы здесь опускаем: он пишет Ивану Николаевичу, что надеется видеть его с мо-

лодой женой в Бродзянах, чтобы отдохнуть, так как он *по опыту* знает, что его здесь ожидает тихая, спокойная жизнь.

Александра Николаевна много внимания уделяет воспитанию маленькой Таши. Видимо, в более поздние годы (1865—1867) материальное положение семьи вследствие неурожаев и стихийных бедствий было затруднительным, и Фризенгофы были вынуждены в целях экономии жить по зимам в Бродзянах. В одном из писем 1867 года Александра Николаевна сетует, что девочка подросла (Таше было тогда 13 лет), и ей уже недостаточно гувернантки, нужны учителя, а их нет в здешней глуши. Страдают также ее занятия музыкой, нет у нее и общества сверстниц, что необходимо для воспитания.

«Девочка растет как дикое растение,— пишет Александра Николаевна.— Она должна ходить в церковь, но не может этого делать; вот уже четыре года как мы не говели. Счастье еще, что у нее есть ярко выраженная склонность к набожности, и для меня важно, чтобы она знала, к какой религии она принадлежит. Но так как у нее нет в этом отношении прочной основы, ее религиозные убеждения могут быть легко поколеблены»[1].

Следует отметить, что если Екатерина Николаевна согласилась с тем, что ее дети будут католиками, то Александра Николаевна настояла на том, чтобы ее дочь была крещена в православной вере. Однако нам кажется странным, что, думая о том, чтобы дочь не забывала о своей принадлежности к православной религии, мать не позаботилась, чтобы девочка знала русский язык. Здесь, возможно, сказалось влияние Густава. Александра Николаевна беспокоилась о дочери не напрасно; мы увидим далее, что Наталья Густавовна выросла избалованной, эксцентричной девушкой, а в старости была просто чудаковата.

Трудное материальное положение Фризенгофов заставило их неоднократно обращаться к Ивану Николаевичу с просьбой уплатить им задолженность по наследству от матери, а позднее — и по разделу после смерти отца Николая Афанасьевича. Но Иван Николаевич, обремененный большой семьей (и от второго брака у него было тоже четверо детей), не мог платить даже проценты по векселю. Эти денежные расчеты, видимо, несколько нарушили их дружеские отношения. В 1865 году Густав Фризенгоф даже обращается к племяннику Александру Александ-

дровичу Пушкину с просьбой помочь им в этом деле и повлиять на дядю.

В письмах Фризенгофов за 1866 год мы находим интересное упоминание о приезде в Бродзяны дочери Пушкина Натальи Александровны. Брак ее с Дубельтом, как мы знаем, был очень неудачным: в 1862 году супруги разъехались, а в 1864 году Наталья Александровна получила отдельный вид на жительство и окончательно поселилась за границей.

Младшая дочь Пушкина поражала всех своей оригинальной красотой. Сын писателя Загоскина С. М. Загоскин писал в 1856 году:

«В жизнь мою я не видал женщины более красивой, как Наталья Александровна, дочь поэта Пушкина. Высокого роста, чрезвычайно стройная, с великолепными плечами и замечательною белизною лица она сияла каким-то ослепительным блеском. Несмотря на мало правильные черты лица, напоминавшего африканский тип ее знаменитого отца, она могла назваться совершенной красавицей, и если прибавить к этой красоте ум и любезность, то можно легко представить как Наталья Александровна была окружена на великосветских балах и как около нее увивалась вся щегольская молодежь в Петербурге»[1].

Близкая знакомая Натальи Александровны Е. А. Регекампф с восхищением говорит о ней: «Про красоту ее скажу лишь одно: она была лучезарна. Если бы звезда сошла с неба на землю, она сияла бы так же ярко, как она. В бальной зале становилось светлее, когда она входила, осанка у нее была царственная, плечи и руки очертаний богини»[2].

Наталья Александровна, судя по приводимым в книге портретам, действительно была похожа на мать и отца, а характер у нее был, видимо, отцовский, живой, веселый.

Фризенгофы так описывают ее приезд в Бродзяны.

«Бродзяны, 29 мая/10 июня 1866[3]

...Я ничего не пишу вам об Александрине, которая рассчитывает сама добавить несколько строк. Здоровье всех нас удовлетворительно, а наша семейная жизнь счастлива настолько, насколько ей позволяют заботы, которые не перестают расти в последние два года. Наша малютка процветает, растет, развивается очень хорошо, и мы благодарим бога, что хотя бы в этом отношении он дарует нам полное утешение.

У нас две недели гостила Таша Дубельт со своей младшей дочерью, сегодня она уезжает, чтобы вернуться в Висбаден. Она не падает духом, молода, прекрасна, оживлена, как всегда. Однако ее положение далеко не розовое. Но какая прекрасная вещь — молодость, она не думает о будущем и, пожалуй, она права, так как пока человек молод — будущее всегда с ним, и как бы ни было печально прошлое, всегда можно надеяться на счастливые перемены в будущем, оно всегда перед тобою. А когда стареешь, надо прямо себе говорить, что, может быть, его осталось очень мало, вот почему тогда заботы очень тягостны...

Густав».

«Бродзяны, 29 мая/10 июня 1866[1]

Хочу добавить несколько строк к письму моего мужа, дорогой Ваня, чтобы напомнить тебе о себе и умолять тебя придти на помощь в наших теперешних отчаянных денежных делах. Густав тебе рассказал о бедствии, случившемся в наших краях*. Не буду распространяться на этот счет, скажу только, что мы были бы тебе благодарны, если бы ты мог уплатить нам проценты, что ты должен за год. Это было бы настоящим благодеянием с твоей стороны придти нам на помощь в теперешнем нашем очень затруднительном положении.

Было бы также очень желательно знать в каком положении дела по разделу**, которые вместо того, чтобы продвигаться, кажется, более чем когда либо отодвигаются. Саша*** ни слова нам об этом не пишет, а теперь когда предполагается, что он поедет путешествовать за границу, я очень опасаюсь, что это будет тянуться до бесконечности. Будь добр и великодушен и сообщи нам подробности этого дела. Будущее предстает в таких далеко не розовых тонах, что просто впадаешь в уныние от этой жизни. Мое моральное состояние очень плохо, и как я ни хочу избавиться от преследующего меня печального настроения, мне это совершенно не удается. Всякая суета вокруг меня тяготит, я чувствую себя хорошо только, когда кругом царит полное спокойствие и я могу зани-

---

* В начале своего письма Г. Фрпзенгоф писал, что их постило большое несчастье: морозы погубили весь урожай.

** Речь идет о разделе после смерти отца Н. А. Гончарова (1861).

*** Саша Пушкин.

маться своими повседневными делами, методически, без малейшего перерыва.

Вчера Таша Дубельт покинула нас и вернулась в Висбаден, пробыв у нас недели две. Ее малютка приехала тремя неделями раньше, пока мать путешествовала по Швейцарии. Планы Натали меняются каждый день, так что в будущем нет ничего твердого. Счастливый возраст и счастливый характер в одном отношении: она совершенно забывает свое *столь трудное* положение и предается сомнительным надеждам, которые уже столько раз ее обманывали. Вчера она получила письмо из Петербурга, в котором ее извещают, что ее муж отплывает в Америку и соглашается оставить малютку (которую он всегда таскал с собой за границу) только кн. Суворовой, сестре его невестки Дубельт, если Натали даст письменное обязательно не забирать у нее ребенка. Но из двух зол надо всегда выбирать меньшее, и хотя опека кн. Суворовой мало внушает доверия, все же лучше знать, что бедная девочка находится на родине, нежели за морем, без всякой защиты. Так как русская няня, которая была с ними во время поездки, отказывается ехать в столь дальнее путешествие, то если случится что-нибудь худое, кто приютит это несчастное создание. Вообще о будущем этих троих детей надо хорошенько подумать, да возьмет их господь под свое покровительство.

Я надеюсь, дражайший Ваня, что ты не заставишь нас долго ждать ответа, и что он будет благоприятным, как мы того желаем. Напиши нам о своем здоровье и о своей семье, и то и другое меня беспокоит. Когда была жива наша горячо любимая сестра, я время от времени получала вести о вас. Тяжело не быть в курсе всего того, что вас касается. Моя единственная корреспондентка в семье это Аринка*, но она, увлеченная своими радостями и своим счастьем, не пишет мне о том, что делается у вас.

Я покидаю тебя, дорогой, добрейший брат, целую тебя со всей нежностью моего сердца. Тысячу приветов моей невестке и поцелуев всей семье.

А. Фризенгоф».

Эти письма дают нам новые сведения о Наталье Александровне. Мы узнаем, что в 1866 году она путешествовала по Швейцарии. Своих детей она, как мы знаем, оста-

* Аринка — по-видимому, какая-то родственница Гончаровых. В 1868 году она с семьей гостила в Бродзянах.

вила в России. Но в 1866 году, очевидно, выписала младшую дочь Анну в Бродзяны для свидания с нею. Судя по письмам, этот ребенок был яблоком раздора между родителями.

Это был уже не первый приезд Натальи Александровны в Бродзяны. Из воспоминаний А. П. Араповой известно, что Наталья Александровна была там со своими двумя старшими детьми в 1862 году. Как мы уже упоминали, одновременно там гостила и Наталья Николаевна с девочками Ланскими, так что Александра Петровна была свидетельницей всего происходившего, а ей тогда было уже 16 лет, и в данном случае ей можно доверять. «К тому времени вопрос о разводе был уже решен между супругами, однако Дубельт неожиданно передумал и явился в Бродзяны — сперва с повинной, а когда она оказалась безуспешной, то он дал полную волю своему необузданному, бешеному характеру,— пишет Арапова в письме, на которое мы уже ссылались.— Тяжело даже вспомнить о происшедших сценах, пока, по твердому настоянию барона Фризенгоф, он не уехал из его имения, предоставив жене временный покой»[1].

О намерении Дубельта ехать в Америку мы узнаем из письма 1866 года впервые; было ли оно осуществлено — неизвестно, но младшая дочь Натальи Александровны, Анна, осталась в России. Е. Н. Бибикова говорит, что ее воспитывала тетка Дубельта Базилевская; в данном письме говорится о кн. Суворовой. Как было в действительности — мы не знаем. Но двоих старших детей — Леонтия и Наталью — Наталья Александровна, уезжая из России в 1862 году, оставила матери и отчиму. В 1863 году Наталья Николаевна умерла, и дети остались у П. П. Ланского, который всячески заботился о них.

Несколько слов об этих внуках Пушкина. О них рассказывает в своих воспоминаниях Е. Н. Бибикова. Мы не знаем, насколько они достоверны в деталях, но основные события, вероятно, соответствуют действительности. Леонтий учился в Пажеском корпусе в Петербурге, праздничные дни и каникулы проводил у П. П. Ланского. Он, очевидно, унаследовал от отца вспыльчивый характер и однажды, поссорившись с товарищем по корпусу, всадил ему в бок перочинный нож. Решив, что он убил его, Леонтий бросился домой и, найдя в кабинете отсутствовавшего Ланского револьвер, выстрелил себе в грудь. Рана была не смертельной, но пулю извлечь не удалось;

в результате этого ранения у него появились эпилептические припадки, не оставлявшие его всю жизнь. Из Пажеского корпуса его уволили, Ланской устроил его в морской корпус, который он благополучно окончил. Леонтий дослужился до капитана второго ранга, но умер молодым, во время одного из припадков.

Старшая дочь Натальи Александровны, тоже Наталья, училась в институте и, как и ее брат, каникулы и праздники проводила дома, в семье Ланских. Когда она окончила институт, дочь Натальи Николаевны Елизавета Петровна взяла ее к себе в деревню, где жила с мужем. Там за нее посватался земский врач, и Елизавета Петровна написала Наталье Александровне, прося ее разрешения на брак. Но мать не согласилась, видимо, считая, что это неподходящая партия для ее дочери, выписала ее к себе в Висбаден и вскоре выдала замуж за отставного капитана Бесселя. Впоследствии Е. Н. Бибикова встречалась с ней в Бонне, где жила к тому времени овдовевшая Наталья Михайловна Дубельт-Бессель.

О младшей дочери Натальи Александровны, Анне Михайловне Дубельт, мы знаем немногое. Она жила в России, вышла замуж за А. П. Кондырева. После смерти мужа осталась с тремя маленькими детьми и очень нуждалась.

В 1868 году Наталья Александровна Пушкина-Дубельт, получив, наконец, развод, вторично выходит замуж за немецкого принца Николая Вильгельма Нассауского, с которым она познакомилась еще в Петербурге на одном из придворных балов. Брак этот считался морганатическим, т. е. неравнородным. Вследствие этого Николай Нассауский должен был отказаться от престола в пользу брата, но, по свидетельству Бибиковой, получил 1 миллион марок (как бы в виде компенсации). При вступлении в брак Наталье Александровне был присвоен титул графини Меренберг. Всю остальную жизнь она прожила преимущественно в Германии. На этот раз брак, очевидно, был счастливым. После смерти мужа она узнала, что не имеет права, как морганатическая супруга, быть похороненной рядом с ним в родовом склепе. Возмущенная этим Наталья Александровна взяла слово с зятя, что он сожжет ее тело, а прах рассыплет над гробницей Нассауского, что и было сделано. Умерла она в 1913 году во Франции, в Канне, где последнее время жила у замужней дочери.

От брака с Нассауским у Натальи Александровны было тоже трое детей, две дочери и сын. Старшая дочь Софья славилась своей красотой. В 1891 году она вышла замуж за великого князя Михаила Михайловича Романова. При заключении брака Софья Николаевна получила титул графини де Торби. Александр III был очень недоволен этим, с его точки зрения, неравнородным браком, не признавал его, и таким образом супруги навсегда остались за границей. Они поселились в Англии.

После смерти матери Софья Николаевна унаследовала 10 писем Пушкина к невесте и одно к теще Наталье Ивановне. Когда она скончалась, эти письма были проданы ее мужем великим князем С. П. Дягилеву, а от него перешли к известному парижскому балетмейстеру С. М. Лифарю.

Вторая дочь Натальи Александровны, Александра Николаевна Меренберг, была замужем за аргентинцем д'Элиа. Это все, что мы о ней знаем. И наконец, сын Георг-Николай Меренберг жил в Висбадене, был женат на княжне Ольге Александровне Юрьевской, дочери Александра II от морганатического брака с кн. Долгоруковой. В 1930 году он женился вторым браком на Аде Моран Брамберг[1].

Таким образом, внуки Пушкина по линии Нассауский — Меренберг все жили за границей, и от них пошли многочисленные потомки великого поэта, живущие сейчас в разных странах.

За 1867—1868 годы до нас дошло несколько писем Фризенгофов. Приведем те из них, которые представляют наибольший интерес.

«Бродзяны, 22 января/3 февраля 1868[2]

Я до сих пор не поблагодарила тебя, дорогой, славный брат за твое такое дружеское ноябрьское письмо, которое доставило мне большое удовольствие, так как я попрежнему нежно люблю тебя и потому не хочу стать для тебя чужой. Эта задержка с ответом произошла только из-за моей крайней лености, овладевшей мною, как никогда, а потом я хотела присоединить расписку в получении денег к моему посланию, которое хотела тебе написать, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев. Но теперь, когда срок уплаты, который ты нам назначил, прошел, я хочу тебе напомнить о себе, тем более что с нами случилась большая неприятность. Муж должен был

сегодня утром выехать в Вену, чтобы предупредить могущее быть несчастье. Управляющий его городского дома прикарманил деньги, которые должны были пойти на уплату налога за это владение, на которое наложен секвестр. Густав сейчас очень стеснен в деньгах и в большом затруднении, где их достать. Ради бога, дорогой Ваня, приди нам на помощь как можно скорее и пришли нам то, что ты должен. Я просто страдаю, видя, как муж волнуется и как озабочен этими денежными делами, и серьезно опасаюсь за его здоровье, потому что он не умеет воспринимать вещи спокойно. Настоящее, будущее — все его очень тревожит. С твоей помощью он по крайней мере сможет избежать этого неожиданного удара, который отнял бы у нас доход, на который мы должны жить.

Я как нельзя более обескуражена всеми теми огорчениями, которые вынуждена терпеть в отношении окончания образования Таши, а она становится совсем большой барышней. А что могу я сделать, будучи заперта в деревне? Как хороший отец, ты поймешь мои сетования по этому поводу. Я твердо рассчитываю на тебя, зная благородство твоих чувств и дружбу ко мне, и уверена, что ты поможешь нам в этих печальных обстоятельствах.

А о нас, по правде говоря, ничего особенного тебе сказать не могу. Дни проходили бы тихо среди нашего семейного счастья, если бы оно не омрачалось расстройством денежных дел.

Ты знаешь, я полагаю, от нашего семейства, что Натали Дубельт вышла замуж за принца Нассауского, она нам сообщила недавно об этом в письме из Парижа, где она сейчас находится. Дай бог, чтобы этот союз был более счастливый, чем первый. Они обещают приехать к нам летом. Мы ждем также Аринку с мужем и ребенком в мае месяце. А когда же я смогу сказать то же самое о тебе, дражайший Ваня, как была бы я счастлива снова тебя увидеть. Муж, уезжая, просил меня передать тебе свои дружеские чувства; я жду его не раньше следующей недели.

Таша поручает себя твоей благосклонности, а я целую так же нежно, как и люблю. Дай мне скоро возможность поблагодарить тебя за присылку денег. Я надеюсь, что твое здоровье и здоровье всех твоих удовлетворительно. Передай привет моей невестке, с которой я хотела бы познакомиться.

А. Фризенгоф».

«Бродзяны, 9/21 июля 1868[1]

Прежде всего благодарю тебя, мой дорогой Ваня, за твое очень хорошее письмо, а затем за надежду, что ты мне подаешь ликвидировать твою задолженность в непродолжительном времени. Я тебе также признательна как нельзя более за подробности касательно моих дел в отношении наследства после отца. Это совершенно неожиданный и приятный сюрприз, о котором ты мне пишешь, что часть, на которую я могу рассчитывать, составляет капитал в 10 тысяч рублей, положенный в банк. Я не имела об этом ни малейшего представления. Лишь бы только все это я получила без особой задержки, чтобы я могла таким образом в какой то степени участвовать в улаживании дел моего мужа и в образовании Таши, которое сейчас более чем когда-либо не двигается с места. Я так не привыкла к тому, что мои ожидания в чем бы то ни было осуществляются, что поверю в эти неожиданные деньги, которые ты мне обещаешь, только когда буду держать их в руках.

Что касается твоего предложения обратиться к моему племяннику Сергею* чтобы попросить его взять на себя мои интересы при разделе, скажу тебе, что мне не только это приходило в голову, но более года тому назад я послала ему по этому поводу письмо, которое осталось *без ответа*. Я нашла, что это совсем нелюбезно с его стороны, и признаюсь тебе, что у меня не хватает духу докучать ему своей вторичной просьбой. Но я была бы очень рада, если бы кто-нибудь из нашей семьи захотел придти мне на помощь, я бы оставила в стороне всякую обиду и попросила бы тебя, если ты его увидишь, позондировать почву в этом отношении. Если он будет так великодушен взять на себя защиту моих интересов, я предоставила бы ему право действовать от моего имени. Пусть только он мне скажет, что́ я должна для этого сделать. Может быть, ему будет достаточно бумаги, что я дала Саше Пушкину; если же нет, пусть он будет так добр прислать мне образец документа, который мне оставалось бы только подписать.

Ты мне оказал бы большую услугу, дражайший брат, если бы устроил это дело, одной заботой на сердце у меня было бы меньше, если бы я знала, что кто-то думает обо мне. К горьким сожалениям, которые я не перестаю

* Сергей — сын Сергея Николаевича Гончарова.

испытывать в связи с потерей нашей горячо любимой сестры, часто примешивается мысль, что в ней я нашла бы самого ревностного помощника в тех затруднениях, что сыплются на меня по поводу нашего несчастного семейного раздела. С ее пламенной, преданной своим близким душой, она, я не сомневаюсь, сделала бы все возможное, чтобы вывести меня из этого лабиринта.

Если ты можешь мне помочь в теперешних моих затруднениях, дорогой Ваня, будь милосерден в память нежной, братской дружбы, которую ты всегда свидетельствовал в дни нашей молодости, протяни великодушную руку единственной оставшейся у тебя сестре, которая тебя любит так же, как и раньше.

Прошу мою невестку не забывать меня, искренне желаю тебе полного благополучия, а также всей твоей семье.

А. Фризенгоф».

Денежные затруднения по-прежнему преследуют Фризенгофов, и они вынуждены безвыездно жить в Бродзянах. Как в свое время Дмитрий Николаевич, так и Иван Николаевич постоянно задерживает присылку денег, даже процентов по тем векселям, что он выдал сестре, «купив» у нее ее часть Ярополъца. Мы не знаем, получила ли Александра Николаевна и те 10 тысяч рублей, что пришлись на ее долю после смерти отца. Одновременно с женой пишет своему шурину и Густав Фризенгоф (письмо от 11/23 июля 1868), в котором он говорит, как тяжело ложиться и вставать с постоянными мыслями и заботами о том, как существовать. В очень деликатных выражениях Фризенгоф дает понять Ивану Николаевичу, что скорейшее окончание дела по наследству было бы для них настоящим благодеянием и что они оба надеются на его содействие. «Поверьте, что мы не сомневаемся в вашей привязанности,— пишет он,— было бы очень печально, если бы пришлось перестать любить друг друга, потому что, так как мы окружены заботами и печалями, мне кажется, наоборот, чувствуешь еще большее стремление сблизиться с теми, кого любишь, найти у них утешение, такое благотворное, если оно идет от сердца»[1].

Письмом Александры Николаевны от 22 января 1868 года еще раз подтверждается, что у Густава Фризенгофа был дом в Вене. Возможно, он сдавался внаем в те годы, что Фризенгофы не жили в столице. В одном из писем Густав говорит еще об одной неприятности: обойщик, у которого находилась на хранении их обстановка из вен-

ского дома, разорился, его имущество было продано с молотка, в том числе и их мебель, которую Фризенгофу пришлось выкупать!

Но больше всего в последнем письме обращают на себя внимание строки, относящиеся к Наталье Николаевне, свидетельствующие об искренней, большой привязанности Александры Николаевны к сестре, с которой ее связывала тесная дружба с детских лет. «Пламенная, преданная своим близким душа» — в этих словах вся Наталья Николаевна, отзывчивая, любящая, всегда готовая сделать все, что в ее силах, для родных. Такой мы видим ее и в письмах на протяжении всей жизни. *Пламенная душа* — как много говорят нам эти слова, как раскрывают они образ этой обаятельной женщины, как становятся нам понятны чувства Пушкина, сказавшего ей однажды, что душу ее он любит более ее лица...

Последнее сохранившееся в архиве Фризенгофов письмо относится к 1870 году. Это черновик письма Александры Николаевны к Ивану Николаевичу, с многочисленными поправками и вставками, сделанными рукою ее мужа. Оно свидетельствует об ухудшении отношений между братом и сестрой в связи с задолженностью Ивана Николаевича. Ссылаясь на то, что она должна спасти хотя бы остатки родительского капитала для дочери (видимо, она так и не получила тех 10 тысяч, о которых мы упоминали выше), Александра Николаевна пишет, что она вынуждена опротестовать вексель, выданный ей братом, по которому за три года накопилось почти 3000 руб. процентов. Упоминая о каком-то письме Ивана Николаевича с несправедливыми упреками в ее адрес, она говорит, что ни в чем перед ним не виновата и никогда и в мыслях у нее не было усугублять его дела.

Иван Николаевич умер в 1881 году, но переписка 70-х годов до нас не дошла. Мы не знаем, продолжали ли Фризенгофы до 1876 года, когда вышла замуж их дочь, безвыездно жить в Бродзянах. Но если они и жили по зимам в Вене, то не менее полугода, вероятно, проводили в Бродзянах, так как Фризенгоф должен был заниматься своим хозяйством. Есть сведения, что в 60—70-х годах он вел большую общественную деятельность, принимал участие в словацком обществе «Матица», ставившем своей целью развитие национальной культуры. В одном из сло-

вацких журналов даже было в 1863 году помещено стихотворение, посвященное «просвещенному господину Густаву Фризенгофу, помещику, первому выдающемуся словацкому деятелю».

Как мы знаем из писем Александры Николаевны, детство и, видимо, раннюю юность Наталья Фризенгоф провела в деревне. Она страстно любила собак и лошадей, постоянно ездила верхом. Росла она без подруг, в обществе взрослых, и это, конечно, сказалось на ее характере. Нет сомнения, что Густав Фризенгоф, высококультурный человек, много занимался образованием дочери в эти годы, она много читала. В 1876 году Наталья Густавовна вышла замуж за герцога Элимара Ольденбургского, с которым познакомилась в Висбадене, вероятно, когда гостила там у тетки Натальи Александровны Меренберг-Нассауской. Это был опять морганатический брак. Герцог Элимар принадлежал к королевской семье, он был в родстве с домом Романовых, а раз так, то молодые не могли надеяться на благожелательное отношение к ним русского двора вследствие этого «неравного» брака. Брат Элимара был правителем герцогства Ольденбург в Северной Германии. Он так же, как Нассауские, не признал неравнородного брака Элимара. Дети Натальи Густавовны впоследствии, после смерти отца, получили титул графов Вельсбург; о правнуке Александры Николаевны, Георге Вельсбурге, мы уже упоминали. Возможно, в силу всех этих обстоятельств, Наталья Густавовна и не интересовалась русской родней, не знала языка и никогда не бывала в России. Но Наталью Николаевну, несомненно, помнила, ей было уже 8 лет, когда та приезжала в последний раз в Бродзяны.

Герцог Элимар, получивший наследство от матери, был очень богат. Под Веной у него было роскошное имение Эрлаа, в котором и поселились молодые. По зимам там жили и старики Фризенгофы. Дом был всегда полон гостей, устраивались охоты, пикники, музыкальные вечера. Супруги Ольденбург интересовались литературой и искусством. Наталья Густавовна писала стихи, даже выпустила два томика своих стихотворений, хорошо рисовала, писала и масляными красками (в молодости, как говорит А. М. Игумнова, она училась в Мюнхене у известного художника Ленбаха). В бродзянской гостиной висели два портрета ее родителей, написанные ею.

У Ольденбургов было двое детей, сын и дочь. Воспи-

тателем их был молодой священник Пауль Геннрих, проживший в Эрлаа и Бродзянах около 10 лет (с 1887-го по 1896-й). Он оставил «Воспоминания», в которых говорит и об этом периоде своей жизни. Хорошо знал он, конечно, и стариков Фризенгофов. Познакомился он с ними 10 ноября 1887 года, когда впервые появился в замке Эрлаа. За обедом он встретился «...с родителями герцогини — бароном Фризенгофом, изящным старым господином, который состоял на австрийской дипломатической службе и, обладая знаниями в самых различных областях, умел очень интересно говорить... и его женой, бывшей придворной дамой русского двора и свояченицей поэта Пушкина. У нее уже несколько лет был левосторонний паралич. Говорила она обычно по-французски, но немецкому кандидату все же сказала несколько исковерканных немецких слов»[1].

К сожалению, в воспоминаниях Геннриха мы мало находим сведений об Александре Николаевне. Мы узнаем из них, что часто, уезжая с мужем путешествовать, Наталья Густавовна оставляла своих детей на попечении бабушки, которая их очень баловала. Наталья Густавовна была этим недовольна, высказывала это матери, а Александра Николаевна в свою очередь была не согласна с дочерью, и отношения их в последние годы жизни Александры Николаевны, по словам Геннриха, были плохими.

В течение многих лет Александра Николаевна не могла ходить, и ее возили в кресле. Об этом говорят нам и Игумнова, и Пауль Геннрих.

В 1889 году в Бродзянах умер Густав Фризенгоф, а в 1891 году, в возрасте 80 лет, скончалась и Александра Николаевна. Сначала они были похоронены на местном сельском кладбище, а когда было закончено строительство часовни, гробы обоих супругов были перенесены туда. Во время своего пребывания в Бродзянах А. Н. Раевский посетил часовню, где покоится прах Александры Николаевны. В склепе под часовней стоит на бетонном постаменте серебристый с золотом гроб с немецкой надписью на кресте:

Баронесса Александра Фогель фон Фризенгоф,
урожденная Гончарова
Род. 7 авг. 1811 — Скончч. 9 авг. 1891*.

* По данным гончаровского архива, А. Н. родилась в 1811 году 27/VI ст. ст., т. е. 9/VII н. ст.

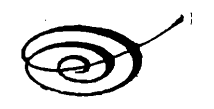
Так, далеко от родины, закончила свою жизнь Азя Гончарова, московская барышня, петербургская фрейлина двора, баронесса Фризенгоф... К сожалению, она не оставила никаких воспоминаний, и с нею ушло в могилу все, что знала она о Пушкине, о последних годах его жизни, о сестрах, а знала она многое...

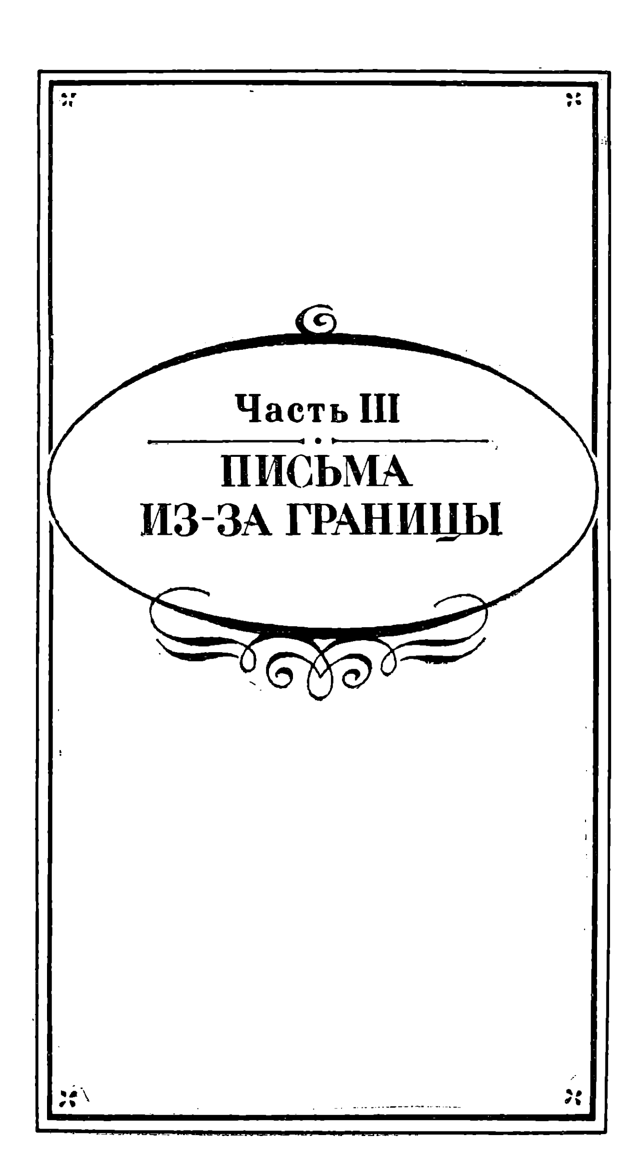
После смерти герцога Элимара (1885 г.) Наталья Густавовна, не любившая Эрлаа, продала его и окончательно поселилась в Бродзянах. Пауль Геннрих и А. М. Игумнова довольно подробно рассказывают об этой эксцентричной женщине. Она вела безалаберную жизнь: в замке постоянно жили многочисленные гости, «непризнанные таланты» — поэты, писатели, художники, музыканты; некоторые из них прожили в Бродзянах всю жизнь. Говорят, что она была доброй женщиной. Она открыла в деревне кооператив, построила там больницу и нечто вроде клуба — «казино», где давались иногда концерты и театральные представления. Была она большой оригиналкой. Одевалась или в мужской костюм, или в старинные платья, давно уже не модные. Жила она не в замке, а в башне, построенной на холме, там ночевала одна с постоянно окружавшими ее собаками. В течение всего года каждое утро Наталья Густавовна посвящала верховой езде и появлялась в замке только к обеду. «Хозяйством она совсем не занималась,— пишет А. М. Игумнова,— и все шло вкривь и вкось, так что, несмотря на ее богатство, у нее часто не было в кармане и 20 крон на мелкие расходы... Жизнь в замке шла по заведенному десятилетиями образцу, и постепенно все разваливалось, т. к. на ремонт и починки никогда не было денег». И Пауль Геннрих пишет в своих воспоминаниях, что в конце своей жизни Наталья Густавовна с трудом сводила концы с концами: первая мировая война, аграрная реформа в Чехословакии и обесценение в результате инфляции денег, полученных за Эрлаа и находившихся в венском банке,— все это разорило владелицу Бродзян. «Лишь с трудом удавалось предотвратить полное банкротство, отчасти путем продажи ценных вещей из богатой коллекции драгоценностей герцогини. В общем, мое последнее пребывание (в 1933 г.) было печальной противоположностью богатой и веселой жизни, которая протекала раньше в Бродзянах»,— пишет Геннрих[1].

Наталья Густавовна умерла в 1937 году в возрасте 83 лет, пережив и сына, и дочь.

Во время второй мировой войны бродзянский замок был разорен и разграблен гитлеровцами. Солдаты, стоявшие в Бродзянах, жгли в печах ценнейшую старинную библиотеку. Судьба многих портретов и альбомов до сих пор неизвестна. Но некоторые портреты и бумаги, как мы уже упоминали, все же попали в Пушкинский дом в Ленинград, они были переданы в 1947 году приезжавшей в СССР делегацией чехословацких писателей и журналистов.

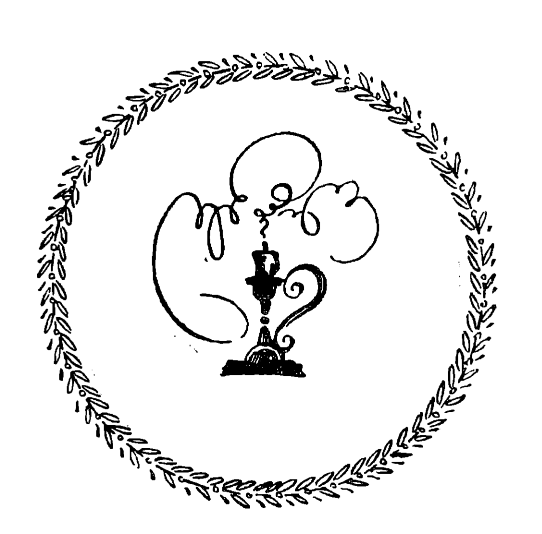
Публикуемые нами письма Александры Николаевны Гончаровой-Фризенгоф и ее мужа, как петербургского, так и бродзянского периодов, дают нам возможность объективно судить об этой женщине. Она была глубоко порядочным человеком, не способным ни на какую временную связь, тем более с мужем сестры, ни вообще на какой-либо предосудительный поступок. Она страдала, это верно, тяжело переживала свое вынужденное девичество (об этом неоднократно так проникновенно говорит Наталья Николаевна), но мы не можем ее обвинить ни в одном некрасивом поступке. К Пушкину она относилась, как подобает свояченице, то есть по-родственному, несомненно, высоко ставила его талант, и из всей ее переписки с родными никак нельзя сделать вывод, что у нее были какие-то «особые» отношения с Пушкиным. Еще раз скажем здесь, что тесная дружба и нежная любовь друг к другу до конца жизни обеих сестер подтверждает это. И то, что Александра Николаевна была так счастлива в браке, свидетельствует о том, что и она, как и Наталья Николаевна, высоко ставила обязанности жены и матери.





Часть III

ПИСЬМА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ





ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ПЕТЕРБУРГЕ

После смерти Пушкина в его кабинете были найдены разрозненные клочки черновика письма поэта к Геккерну. На одном из них мы читаем: «...вы играли вы трое такую роль... и наконец госпожа Геккерн...»[1] Эти пушкинские строки вводят нас в самую гущу преддуэльных событий. «Вы трое» — это голландский посланник в России барон Луи Геккерн, его приемный сын Жорж Дантес-Геккерн и жена Дантеса Екатерина Николаевна, урожденная Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной. В обстоятельствах, предшествовавших дуэли, до настоящего времени много неясного, нераскрытого, недоговоренного. Это в полной мере относится и к той роли, которую играла в этот период Екатерина Николаевна Дантес.

Продолжая работу над архивом Гончаровых, что хранится в Центральном государственном архиве древних актов, мы обнаружили не известные до сих пор письма из-за границы Екатерины и Жоржа Дантес-Геккернов и Луи Геккерна*. Поскольку эти три лица тесно связаны с гибелью поэта, новые материалы представляют значительный интерес для пушкиноведения. Письма говорят нам о том, какая тяжелая атмосфера сложилась вокруг четы Дантесов в светском обществе Парижа и Вены, по-новому освещают отношение Натальи Николаевны и семьи

* В дальнейшем Екатерина и Жорж Дантес-Геккерны будут именоваться только Дантес.

Гончаровых к Екатерине Николаевне, рисуют ее положение в семье мужа и, наконец, дают дополнительную характеристику Дантесу и Геккерну.

П. Е. Щеголев в своем труде «Дуэль и смерть Пушкина» писал, что память о Пушкине была коротка и у его жены, и у всех ее родных. Однако опубликованные нами ранее письма Натальи Николаевны и публикуемые теперь, рисуют ее женщиной большой душевной щедрости, любившей Пушкина и крайне тяжело переживавшей его гибель. Память о муже она хранила всю жизнь, а приводимые здесь письма говорят о том, что она, по-видимому, порвала отношения с сестрой Екатериной, женой убийцы ее мужа.

По этим письмам иной представляется и роль Гончаровых, близких родственников Натальи Николаевны. «В архиве Дантесов-Геккернов,— читаем мы у Щеголева,— сохранилось немало пространных и задушевных писем Н. И. Гончаровой и ее сыновей к Екатерине Николаевне и ее мужу Дантесу. Эта переписка с очевидностью говорит нам о том, что деяние Жоржа Дантеса не диктовало Гончаровым никакой сдержки в отношениях к убийце Пушкина...»[1]. Мы не знаем, был ли Щеголев знаком с архивом Дантесов-Геккернов, во всяком случае он ни одной выдержки из этих писем не приводит, а на страницах 336—341 своей книги дает в качестве примера пять писем Гончаровых, но каких? Из них только два, очень коротких, написаны матерью, Натальей Ивановной, Дантесу в Петербург: одно о согласии на брак, другое — поздравление по поводу бракосочетания; остальные три письма адресованы Екатерине, а не Дантесу. И это все. Делать выводы только по этим письмам об отношении Гончаровых к Дантесу, нам кажется, никак нельзя. Публикуемые нами письма иначе освещают этот вопрос. Что касается «пространных и задушевных» писем Натальи Ивановны и ее сыновей, то в дальнейшем мы выскажем наше мнение по этому поводу.

Нами обнаружено 18 писем Екатерины Дантес, 4 письма Ж. Дантеса и 6 писем Луи Геккерна из-за границы. Но прежде чем обратиться к письмам, мы хотели бы сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о Екатерине Николаевне. Она родилась в Москве в 1809 году и была старшей из трех сестер Гончаровых. Детство ее и юность прошли в старом московском доме Гончаровых на Никитской улице. Большая семья — шестеро

детей, тяжелая обстановка в доме: суровая, деспотичная мать, психически больной отец. С ранних лет тесная дружба со старшим братом Дмитрием.

До сих пор считалось, что Екатерина, Александра и Наталья получили очень скудное домашнее образование, но хранящиеся в ЦГАДА ученические тетради детей Гончаровых говорят нам обратное: это были культурные и для своего времени вполне образованные девушки.

В силу ряда обстоятельств в 1831—1834 годах Екатерина Николаевна и ее сестра Александра жили у деда в калужском поместье Полотняный Завод. Здесь они, несомненно, много читали, в доме была большая старинная библиотека, пополнявшаяся и новыми изданиями.

У одного из потомков Ж. Дантеса в семейном архиве хранятся два альбома[1], принадлежавшие Екатерине Николаевне, заполненные ее рукою в период, когда она жила в Заводе у деда. Альбомы эти представляют значительный интерес, так как свидетельствуют о литературных вкусах Екатерины Николаевны. В первом из них, «голубом», на 123 страницах переписана комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума», тогда еще не изданная. Далее следует ряд стихотворений известных поэтов, в том числе Веневитинова, Языкова, Баратынского, Вяземского, Дельвига, Рылеева и стихотворение Пушкина «К Лиденьке». Во втором альбоме, «красном», мы находим стихотворения тех же и других поэтов. Из пушкинских произведений полностью переписан «Домик в Коломне» и два стихотворения: «Епиграмма (из Антологии)» и «Желание славы (Елегия)». На титульном листе заглавие: «Разныя стихотворения». «Полот. Завод, Маия 23, 1833». Фотокопия стихотворения Н. Языкова из второго альбома «Тригорское. К А. С. Пушкину» впервые публикуется в этой книге*. Обращает на себя внимание то, что в Собрании сочинений Языкова это стихотворение значится посвященным П. А. Осиповой, а в альбоме Е. Н. Гончаровой — А. С. Пушкину.

Мы не имеем возможности подробнее остановиться на этих альбомах, несомненно, заслуживающих специального изучения. Приведем только еще один пример интересов Екатерины Николаевны. В архиве Дмитрия Николаевича сохранилось письмо некоего Мейор Пастера от 12 мая

---

* Эту фотокопию любезно прислал нам праправнук Пушкина Г. М. Воронцов.

1836 года, в котором он просит мадемуазель Екатерину вернуть ему взятые год назад две тетради по Риторике[1]. Екатерина Николаевна, как мы видим, изучала ораторское искусство Древней Греции! В ее письмах, написанных и при жизни Пушкина, и позднее, из-за границы, мы не раз встретимся с ее довольно смелыми суждениями об императорской фамилии и петербургской знати. Все это говорит о том, что старшая Гончарова была далеко не такой заурядной личностью, какой ее представляли до того, как были найдены ее письма.

В нашу задачу не входит описание всех событий, предшествовавших замужеству Екатерины Николаевны, читатель найдет их в книге «Вокруг Пушкина», но мы считаем необходимым хотя бы кратко напомнить о некоторых обстоятельствах последних месяцев пребывания Дантесов и Геккерна в России, так как они найдут отражение в публикуемых письмах.

Неожиданная женитьба блестящего кавалергарда на Гончаровой вызвала много толков и пересудов в великосветском обществе.

«Вас заинтересует городская новость: фрейлина Гончарова выходит замуж за знаменитого Дантеса, о котором вам Ольга наверное говорила, и способ, которым, говорят устроился этот брак, восхитителен»,—пишет А. Н. Вульф своей сестре баронессе Вревской 28 ноября 1836 года»[2].

«Никогда еще с тех пор, как стоит свет,— читаем мы в письме гр. С. А. Бобринской к мужу,— не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустую молву. Он женится на старшей Гончаровой... Ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю»[3].

«Я должна сообщить тебе еще одну необыкновенную новость,— пишет брату за границу С. Н. Карамзина.— Догадываешься? Ну, да, это Дантес, молодой, красивый, дерзкий Дантес (теперь богатый), который женится на Катрин Гончаровой!» «Все это по-прежнему очень странно и необъяснимо... Дантес не мог почувствовать увлечения, и вид у него совсем не влюбленный. Катрин во всяком случае более счастливым, чем он»[4].

В книге «Вокруг Пушкина» мы привели ряд документов, свидетельствующих о том, что брак Дантеса был вы-

нужденным. Он сошелся с Екатериной Гончаровой (по-видимому, летом 1836 года) и принужден был в силу ряда обстоятельств жениться на нелюбимой женщине. Получив 4 ноября 1836 года известный пасквиль, Пушкин, уверенный, что авторами его являются Геккерны, послал вызов Дантесу. Итак, у Дантеса было два выхода: или дуэль, или женитьба. Но в первом случае карьера и его, и старика Геккерна в России была бы кончена, а тот и другой дорожили ею. Из двух зол пришлось выбирать меньшее: жениться. Не следует также забывать, что Е. Н. Гончарова была фрейлиной императрицы, это тоже немаловажное обстоятельство; в случае обнаружения тайной связи скандал был бы неминуем и также привел бы к нежелательной для Геккерна и Дантеса развязке. Через два месяца после женитьбы Дантеса, Луи Геккерн писал весьма откровенно русскому министру иностранных дел К. В. Нессельроде, что этим браком Дантес «закабалил себя на всю жизнь»[1].

Но вызывать подозрение, что он женился не по своей воле, и ставить себя в двусмысленное положение Дантес ни в коем случае не хотел. Вот почему он пишет «нежные» письма своей невесте и впоследствии старается доказать, что в вопросе женитьбы им руководило только чувство, а материальные или иные мотивы не играли никакой роли...

Свадьба состоялась 10 января 1837 года. Молодые поселились в голландском посольстве, где Геккерн великолепно отделал для них несколько комнат. «Катерина была без памяти влюблена в Дантеса и с первого же дня стала игрушкой в руках баронов»,— говорит А. Ахматова[2]. «Екатерина Николаевна вошла в семью Геккернов-Дантесов,— пишет Щеголев,— и стала жить их жизнью»[3]. Все это верно. Тотчас же после свадьбы Екатерина Николаевна послала письмо свекру Жозефу Конраду Дантесу в Сульц.

(Петербург, январь 1837 года)[4]

«Милый папа́, я очень счастлива, что, наконец, могу написать вам, чтобы благодарить от всей глубины моего сердца за то, что вы удостоили дать ваше согласие на мой брак с вашим сыном, и за благословение, которое вы прислали мне и которое, я не сомневаюсь, принесет мне счастье. Наша свадьба состоялась в последнее воскресенье, 22-го текущего месяца*, в 8 часов вечера, в двух

* Нового стиля.

церквах — католической и православной. Моему счастию недостает возможности быть около вас, познакомиться лично с вами, моим братом и сестрами и заслужить вашу дружбу и расположение. Между тем, это счастие не может осуществиться в этом году, но барон обещает нам наверное, что будущий год соединит нас в Зульце. Я была бы очень рада, если бы, ввиду этого, моя сестра Нанина вступила со мной в переписку и давала мне сведения о вас, милый папа́, и о вашей семье. С своей стороны я беру на себя держать вас в курсе всего, что может вас здесь интересовать, а ей я дам те мелкие подробности интимной переписки, какие получаются с радостию, когда близких разделяет такое большое расстояние. Мое счастие полно, и я надеюсь, что муж мой так же счастлив, как и я; могу вас уверить, что посвящу всю мою жизнь любви к нему и изучению его привычек, и когда-нибудь представлю вам картину нашего блаженства и нашего домашнего счастья. Я ограничусь теперь очень нежным поцелуем, умоляя вас дать мне вашу дружбу. До свидания, милый папа̀, будьте здоровы, любите немного вашу дочь Катрин и верьте нежному и почтительному чувству, которое она всегда питает к вам».

Екатерина Николаевна безгранично любила мужа. В недатированном письме из Петербурга в 1837 году она писала Дантесу: «...единственную вещь, которуя я хочу, чтобы ты знал ее, в чем ты уже вполне уверен, это то, что тебя крепко, крепко люблю, и что в *одном тебе все мое счастье, только в тебе, тебе одном...»**[1]. Она пожертвовала для мужа всем: и родиной, и семьей, и своим положением в обществе. Но не следует думать, что сделала она это легко и просто. И не случайно Александра Николаевна, изредка посещавшая сестру в Петербурге после свадьбы, говорит, что Екатерина «скорее печальна иногда; она слишком умна, чтобы это показывать и слишком самолюбива тоже, поэтому она старается ввести меня в заблуждение»[2].

Подтверждение этому наблюдению мы находим и в одном из писем С. Н. Карамзиной[3], сомневающейся в искренности чувств Геккернов. Вот как она описывает свой визит к новобрачным: «На следующий день, вчера, я была у них. Ничего не может быть красивее, удобнее и очаровательно изящнее их комнат, нельзя представить себе

* Курсив наш.— *И. О.* и *М. Д.*

лиц безмятежнее и веселее, чем их лица у всех троих, потому что отец является совершенно неотъемлемой частью как драмы, так и семейного счастья. Не может быть, чтобы все это было притворством: для этого понадобилась бы нечеловеческая скрытность, и притом *такую игру им пришлось бы вести всю жизнь!* Непонятно!»* Публикуемые письма говорят, что Карамзина была права: эту игру они вели всю жизнь. Обращает на себя внимание и то, что она считает участниками драмы «всех троих», включая и Екатерину Дантес.

Было ли известно Екатерине Николаевне о подлом поведении Геккернов? Конечно, да. Она видела ухаживание мужа за сестрой, не могла не знать, какую отвратительную роль играл в этом Геккерн. Пушкин писал ему 26 января 1837 года:

«...Вы представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну. По-видимому, всем его поведением (впрочем в достаточной степени неловким) руководили вы. Это вы вероятно диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына... Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой и еще того менее — чтоб он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец»[1].

Знала ли Екатерина Николаевна о дуэли? Приведем выдержку из письма В. Ф. Вяземской: «В среду 27 числа, в половине 7-го часа пополудни, мы получили от г-жи Геккерн ответ на записку, написанную моей дочерью. Обе эти дамы виделись сегодня утром. Ее муж сказал, что он будет арестован. Мари просила разрешения у его жены навестить ее, если это случится. На вопросы моей дочери в этом отношении г-жа Г. ей написала: «Наши предчувствия оправдались. Мой муж только что дрался с Пушкиным; слава богу, рана (моего мужа) совсем не опасна, но Пушкин ранен в поясницу. Поезжай утешить Натали»[2].

В. Ф. и П. А. Вяземские знали о дуэли еще нака-

---

* Курсив наш.— *И. О.* и *М. Д.*

нуне, но ничего не предприняли, чтобы ее предотвратить. Из письма видно, что они посылали свою дочь Марию Валуеву к Екатерине Геккерн,— Геккерн, а не к Наталье Николаевне! И о каких «предчувствиях» может идти речь, если все уже было известно? Итак, очевидно, Екатерина Николаевна знала о дуэли, но не предупредила ни сестру, ни тетку и вольно или невольно (если Геккерны заставили ее молчать) стала на сторону врагов Пушкина. Вот этого, мы полагаем, не могли ей простить ни Наталья Николаевна, ни Загряжская, ни Гончаровы.

Рана поэта была смертельна, и 29 января он скончался. Дантес был арестован, судим, разжалован в солдаты и 19 марта 1837 года выслан за границу. Карьера старика Геккерна в России тоже была кончена.

Что за человек был Луи Геккерн, хорошо известно, однако напомним читателю несколько высказываний о голландском посланнике. Н. М. Смирнов, хороший знакомый Пушкина, так писал о нем в своих воспоминаниях:

«Бар. Геккерн, голландский посланник, должен был оставить свое место. Государь отказал ему в обыкновенной последней аудиенции и семь осьмых общества прервали с ним тотчас знакомство. Сия неожиданная развязка убила в нем его обыкновенное нахальство, но не могла истребить все его подлые страсти, его барышничество: перед отъездом он опубликовал о продаже своей движимости, и его дом превратился в магазин, среди которого он сидел, продавая сам вещи и записывая сам продажу. Многие воспользовались сим случаем, чтоб сделать ему оскорбления. Например, он сидел на стуле, на котором выставлена была цена; один офицер, подойдя к нему, заплатил ему за стул, и взял его из-под него... Геккерн был человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком, перессоривший уже многих, презираемый теми, которые его проникли»[1].

П. Е. Щеголев в книге «Дуэль и смерть Пушкина» так характеризует Геккерна:

«Крепкий в правилах светского тона и в условной светской нравственности, но морально неустойчивый в душе; себялюбец, не останавливающийся и перед низменными средствами в достижениях; дипломат консервативнейших по тому времени взглядов, не способный ни ценить, ни разделять передовых стремлений своей эпохи, не увидавший в Пушкине ничего, кроме фрондирующего

камер-юнкера; человек духовно ничтожный, пустой — таким представляется нам Геккерн»[1].

По-видимому, кроме четы Строгановых и Идалии Полетики, никто у Геккернов перед их отъездом из Петербурга не бывал. Не показывались нигде и Геккерн, и Екатерина Николаевна. Она была на третьем месяце беременности. Ей предстояло пробыть в Петербурге еще две недели, и вдогонку Дантесу она пишет письма. Приведем первое ее письмо.

«В Тильзит (20 марта 1837 г.)[2]

Не могу пропустить почту, не написав тебе хоть несколько слов, мой добрый и дорогой друг. Я очень огорчена твоим отъездом, не могу привыкнуть к мысли, что не увижу тебя две недели. Считаю часы и минуты, которые осталось мне провести в этом проклятом Петербурге; я хотела бы быть уже далеко отсюда. Жестоко было так отнять у меня тебя, мое сердце, теперь тебя заставляют трястись по этим ужасным дорогам, все кости можно на них переломать; надеюсь, что хоть в Тильзите ты отдохнешь, как следует; ради бога, береги свою руку; я боюсь, как бы ей не повредило путешествие. Вчера после твоего отъезда, графиня Строганова оставалась еще несколько времени с нами; как всегда, она была добра и нежна со мной, заставила меня раздеться, снять корсет и надеть капот; потом меня уложили на диван и послали за Раухом, который прописал мне какую-то гадость и велел сегодня еще не вставать, чтобы поберечь маленького: как и подобает почтенному и любящему сыну, он сильно капризничает, оттого что у него отняли его обожаемого папашу; все-таки сегодня я чувствую себя совсем хорошо, но не встану с дивана и не двинусь из дому; барон окружает меня всевозможным вниманием, и вчера мы весь вечер смеялись и болтали. Граф* меня вчера навестил, я нахожу, что он действительно сильно опустился; он в отчаянии от всего случившегося с тобой и возмущен до бешенства глупым поведением моей тетушки и не сделал ни шага к сближению с ней; я ему сказала, что думаю даже, что это было бы и бесполезно. Вчера тетка мне написала пару слов, чтоб узнать о моем здоровье и сказать мне, что мысленно она была со мною; она будет теперь в большом затруднении: так как мне запретили подниматься на ее ужасную лестницу, я у нее быть

* Граф — Г. А. Строганов.

не могу, а она, разумеется, сюда не придет, но раз она знает, что мне нездоровится и что я в горе по случаю твоего отъезда, у нее не хватит духу признаться в обществе, что не видится со мною; мне чрезвычайно любопытно посмотреть, как она поступит; я думаю, что ограничится ежедневными письмами, чтобы справляться о моем здоровье.

Идалия приходила вчера на минуту с мужем, она в отчаянии, что не простилась с тобою; говорит, что в этом виноват Бетанкур; в то время, когда она собиралась итти к нам, он ей сказал, что уже будет поздно, что ты по всей вероятности уехал; она не могла утешиться и плакала как безумная. Мадам Загряжская* умерла в день твоего отъезда в семь часов вечера.

Одна горничная (русская) восторгается твоим умом и всей твоей особой, говорит, что тебе равного она не встречала во всю свою жизнь и что никогда не забудет, как ты пришел ей похвастаться своей фигурой в сюртуке. Не знаю разберешь ли ты мои каракули, во всяком случае немного потерял бы, если бы и не разобрал, не могу сообщить тебе ничего интересного; единственная вещь, которую я хочу, чтобы ты знал, в чем ты уже вполне уверен, это то, что тебя крепко, крепко люблю и что в одном тебе все мое счастье, только в тебе, тебе одном мой маленький St. Jean Baptiste. Целую тебя, от всего сердца так же крепко, как люблю. Прощай, мой добрый, мой дорогой друг; с нетерпением жду минуты, когда смогу обнять тебя лично».

Да, она считала часы и минуты, что ей оставалось до отъезда, стремилась броситься в любую неизвестность: что бы ни ожидало ее «там» — все казалось лучше *проклятого* Петербурга, где она встречала враждебное отношение и где все напоминало о происшедшей трагедии. Геккерн внимателен к невестке. Это возможно. И он надел маску, которую носил до самой ее смерти, как мы увидим далее из писем.

Екатерина Николаевна пишет, что граф Строганов «возмущен до бешенства глупым поведением» ее тетушки. Что именно говорила и писала Загряжская, мы не знаем, но вряд ли она только справлялась о здоровье или только выражала сочувствие по поводу отъезда Дантеса. Надо полагать, она встала на защиту Пушкиных и осуж-

---

* Н. К. Загряжская.

дала всех Геккернов. Между теткой и племянницей в этот период шла интенсивная переписка, пока Геккерн, по его словам, не *запретил* Екатерине Николаевне «проводить целые дни за письмами к ней». Об этом она не пишет мужу. Несомненно, Загряжская со свойственной ей прямотой высказала все, что она думала, а Екатерина Николаевна оправдывала и себя, и мужа; вероятно, Геккерны сумели ее убедить, что во всех событиях виноват Пушкин. Подтверждение неприязненных отношений между теткой и ею читатель найдет в публикуемых письмах.

Все это время Екатерина Николаевна не бывала у сестры. Надо полагать, Наталья Николаевна не хотела ее видеть.

Перед отъездом Н. Н. Пушкиной из Петербурга Екатерина Николаевна все же приехала к ней. Несомненно, свидание происходило в присутствии братьев, а что при этом была и Загряжская, свидетельствует друг Пушкина А. И. Тургенев. «С другой сестрою*, кажется, она простилась,— читаем мы в письме Тургенева к П. А. Осиповой от 24 февраля 1837 года,— а тетка высказала ей все, что чувствовала она в ответ на ея слова, что «она прощает Пушкину». Ответ образумил и привел ее в слезы»[1]. «Обе сестры увиделись, чтобы попрощаться, вероятно навсегда,— пишет брату С. Н. Карамзина,— и тут, наконец, Катрин хоть немного поняла несчастье, которое она должна была бы чувствовать и на своей совести; она поплакала, но до этой минуты была спокойна, весела, смеялась, и всем, кто бывал у нее, говорила только о своем счастье»[2]. Александр Карамзин писал брату Андрею за границу, что Екатерина в день отъезда Натальи Николаевны послала сказать ей, что «готова забыть прошлое и все ей простить».

«До этой минуты была спокойна и весела, смеялась и всем говорила только о своем счастье». Эти слова Карамзиной, кстати, еще раз свидетельствующие о ее поверхностном восприятии событий, говорят нам о начале той двойной жизни, которую пришлось вести Екатерине Николаевне до самой смерти. Даже при последнем свидании с родными она не решилась хоть сколько-нибудь обвинить мужа и Геккерна и не нашла ничего лучшего, как сказать, что она «прощает Пушкину»! Мы полагаем, что Карамзин ошибается, говоря, что Екатерина Ни-

* Натальей Николаевной.

колаевна «послала» кого-то к Наталье Николаевне; вероятно, все это было сказано при последнем свидании, когда Наталья Николаевна высказала сестре все, что было у нее на душе...

Никто из родных не провожал Екатерину Николаевну, когда она навсегда покидала родину. Даже Дмитрий Николаевич не приехал, а ограничился прощальным письмом.

«Март 1837, Полотняный Завод[1]

Дорогая и добрейшая Катенька.

Извини, если я промедлил с ответом на твое письмо от 15 марта, но я уезжал на несколько дней. Я понимаю, дорогая Катенька, что твое положение трудное, так как ты должна покинуть родину, не зная, когда сможешь вернуться, а быть может, покидаешь ее навсегда. Словом, мне тяжела мысль, что мы, быть может, никогда не увидимся; тем не менее, будь уверена, дорогой друг, что как бы далеко я от тебя ни находился, чувства мои к тебе неизменны, я всегда любил тебя, и будь уверена, дорогой и добрый друг, что если когда-нибудь я мог бы тебе быть полезным, я буду всегда в твоем распоряжении, насколько мне позволят средства, в моей готовности недостатка не будет.

Итак, муж твой уехал и ты едешь за ним; в добрый путь, будь мужественна. Я не думаю, чтобы ты имела право жаловаться: для тебя трудно было бы желать лучшей развязки, чем возможность уехать вместе с человеком, который должен быть впредь твоей поддержкой и твоим защитником. Будьте счастливы друг с другом, это смягчит вам боль некоторых тяжелых воспоминаний, это единственное мое пожелание, да сбудутся мои желания в этом направлении. Когда ты уедешь, пиши как можно чаще, и с возможными подробностями, особенно во всем, что касается тебя, ибо ничто не интересует меня так, как твоя дальнейшая судьба; по правде сказать, изо всей семьи ты сейчас интересуешь меня всех более, поэтому будь откровенна со мною и, повторяю, в минуту нужды рассчитывай на мою дружбу.

Я уже приготовил Носову письмо о деньгах, когда получил твое письмо, в котором ты пишешь, что он выдал тебе сумму, в которой раньше отказывал. Чтобы не подвергать тебя возможности нового отказа с его стороны, я посылаю тебе при этом 416 рублей, которые адресую тебе через Носова, чтобы в случае твоего отъезда он пере-

слал тебе их со Штиглицем; пишу ему сегодня же, чтобы условиться относительно дальнейшей доставки предназначаемых тебе денег.

Маменька еще здесь и я посылаю тебе при сем ее письмо. Ваня приехал сегодня из Ильицына; что касается денег, которые он должен тебе, дорогой друг, потерпи немного, вскоре я тебе их вышлю, сейчас наши дела в застое.

Жена моя согласна взять твою горничную, но, в самом деле, дорогой друг, мы не сможем платить ей более двухсот рублей в год. Если она согласна на это, пусть едет, и будь уверена, что из дружбы к тебе мы будем хорошо относиться к ней, только бы она не заводила сплетен.

Прощай дорогой друг, и проч.
Дмитрий Гончаров».

В этом письме Дмитрий Николаевич прощался с сестрой навсегда. Он понимал, что возврата на родину ей нет. Но и там, далеко, она не будет счастлива, и желает ей мужественно перенести все, что ее ожидает...

В январе 1837 года в силу ряда обстоятельств братья Гончаровы вынуждены были перед свадьбой Екатерины Николаевны дать Геккерну обязательство выплачивать ей ежегодно 5000 рублей. Это было непосильным бременем для бюджета семьи, фактически почти разоренной, и мы увидим в дальнейшем, что вопрос об этих деньгах будет занимать большое место в переписке с Дмитрием Николаевичем.

В ИЗГНАНИИ

1 апреля 1837 года Геккерн с невесткой выехали из Петербурга за границу. В Берлине они встретились о ожидавшим их там Дантесом. Оттуда молодые отправились в Сульц к отцу Дантеса, а Геккерн поехал в Голландию улаживать свои дела в Гааге.

В конце июня Дантесы и Геккерн приехали в Баден-Баден. Возможно, Дантес предполагал увидеться с лечившимся там великим князем Михаилом Павловичем и через него попытаться подготовить себе почву для возвращения в Россию. Но тот, встретившись с ним, якобы даже не ответил на его приветствие.

Писем Екатерины Николаевны из Бадена мы не об-

наружили, но об их пребывании там мы узнаем из переписки Карамзиных. Живший в это время в Бадене Андрей Карамзин довольно подробно описывает свою встречу с Дантесами. Так бурно реагировавший в первое время на гибель Пушкина, резко осуждавший великосветское общество, погубившее, по его словам, поэта, он, однако, счел возможным оправдывать убийцу Пушкина. «Что Дантес находит защитников, по-моему, это справедливо: я первый с чистой совестью и со слезою в глазах о Пушкине протяну ему руку; он вел себя честным и благородным человеком — по крайней мере так мне кажется...» — писал он своим родным 28/16 февраля 1837 года[1].

Увидев чету Дантесов в парке Бадена, Карамзин первый подошел к ним; в начале разговора он высказал Дантесу свои обвинения в связи с трагическими событиями, но очень скоро тот сумел убедить его в своей «невиновности». Потом они встретились «за веселым обедом в трактире». «Последние облака негодования во мне рассеялись и я должен делать над собой усилие, чтобы не быть с ним таким же дружественным, как прежде»,— пишет А. Карамзин[2]. Однако, встретившись со стариком Геккерном, Карамзин не ответил ему на поклон и отошел от него, когда тот попытался с ним заговорить. Карамзины, повидимому, были убеждены, что пасквиль был послан Пушкину Геккерном (этим и объясняется поведение Андрея по отношению к нему), убийцу же Пушкина они оправдывали.

Приведем также несколько выдержек из писем Софьи Николаевны Карамзиной.

«Я рада, что Дантес совсем не пострадал и что, раз уж Пушкину суждено было стать жертвой, он стал жертвой единственной...» (2 февраля 1837 г.)[3]

«Дантеса будут судить в Конной гвардии; мне бы хотелось, чтобы ему не было причинено ничего дурного» (10 февраля 1837 г.)[4].

«Некоторые так называемые «патриоты» держали, правда, у нас такие же речи о мщении, об анафеме, о проклятии, которые и тебя возмущали в Париже, *но мы их отвергли с негодованием»** (29 марта 1837 г.)[5].

Вряд ли эти строки нуждаются в комментариях. Вот их, Андрея и Софью Карамзиных, Щеголев имел бы пол-

---

* Курсив наш.— *И. О.* и *М. Д.*

ное право обвинить в том, что у них не было «никакой сдержки» в отношении к убийце Пушкина!

Сульц, где жило семейство родного отца Дантеса, был в те времена маленьким городком, затерявшимся в горах Эльзаса и насчитывавшим едва четыре тысячи жителей. Старик Дантес, богатый помещик, член Генерального совета департамента Верхнего Рейна, занимал видное положение в Сульце. Внук Екатерины Николаевны, Луи Метман, оставивший биографический очерк о Жорже Дантесе, так описывает усадьбу старика Дантеса.

«Жизнь была проста в большом старом доме, которым в Сульце, близ Кольмара, владел ее свекор, барон Дантес. Он был окружен многочисленной семьей, сыновьями, незамужними дочерьми, родственниками. Дом с высокой крышей, по местному обычаю увенчанный гнездом аиста, просторные комнаты, меблированные без роскоши, лестница из вогезского розового камня — все носило характер эльзасского дома состоятельного класса. Скорее господский дом, нежели деревенский замок, он соединялся просторным двором, превращенным впоследствии в сад, с фермой, которая была центром земледельческой и винодельческой эксплуатации фамильных земель. Боковой флигель, построенный в XVIII веке, был отведен молодой чете. Она могла жить в нем совершенно отдельно, в стороне от политических споров и местных ссор, которые временами занимали, не задевая, впрочем, глубоко, маленький провинциальный мирок, ютившийся вокруг почтенного главы семейства»[1].

Нетрудно себе представить, какой отклик нашел брак Дантеса в семье старого барона. Рухнули все надежды на столь удачно начатую карьеру сына: трагические петербургские события, разжалование в солдаты и позорное изгнание из России не давали надежд на какие-либо перспективы, по крайней мере в ближайшие годы.

Мы не знаем, как относились Дантесы к Екатерине Николаевне. Но полагаем, что «декорум» был соблюден. Нельзя не учитывать того, что они жили в маленьком провинциальном городке и, конечно, стремились избегать всяких сплетен и пересудов. Однако Метман намекает на какие-то «политические споры и местные ссоры», от которых якобы была в стороне новая невестка. Обращает на себя внимание и то, что русскую невестку поселили не в большом доме, вместе со всей семьей, а в отдельном флигеле.

Казалось бы естественным, что, вступив в новую для нее семью мужа, Екатерина Николаевна должна была бы писать о ней Дмитрию Николаевичу, но она хранит глубокое молчание во всех дошедших до нас письмах о том, как к ней относились Дантесы. Ничего не говорит она и об окружавших ее людях, об обстановке, в которой живет. А между тем, как мы видели, Дмитрий Николаевич просил ее: «...Пиши как можно чаще, и с возможными подробностями, особенно во всем, что касается тебя...» Интересовались ею и в Петербурге. Так, в одном из писем к О. А. Долгоруковой за границу Вяземский пишет: «Интересно, какова будет ее судьба теперь?»

Первое дошедшее до нас письмо Екатерины Николаевны написано ею вскоре после рождения дочери.

«Сульц, 30 ноября 1837 г.[1]

Едва я избавилась от своего карантина*, дорогой Дмитрий, как спешу ответить на твое милое, любезное письмо. Я получила его через несколько дней после родов, и оно доставило мне большое удовольствие, как и вообще все письма, что я получаю от моей семьи, что, к моему крайнему огорчению, бывает очень редко. Мой муж сообщил тебе о рождении твоей достопочтенной племянницы мадемуазель Матильды-Евгении, имею честь тебе ее рекомендовать, надеюсь, что со временем это будет очень хорошенькая девушка, прекрасно воспитанная, которая будет относиться к тебе с большим уважением; сейчас она чувствует себя превосходно и становится очень толстой. Что касается меня, то я уже совершенно поправилась, через две недели я была вполне здорова, однако не подумай, что я делала какие-нибудь неблагоразумные поступки, вовсе нет — в течение 6 недель я не покидала своих комнат, что мне достаточно досаждало.

Ты сообщаешь мне о рождении сына у Сережи, я его искренне поздравляю и желаю ему всякого благополучия. Это, однако, не мешает мне на него серьезно сердиться за то, что он до сих пор не отвечает на мое письмо, что я послала ему из Петербурга; передай ему мои упреки и скажи, что именно по этой причине я с тех пор ему ничего не писала.

Твои дела причиняют тебе большие неприятности, мой бедный мальчик, я жалею тебя от всего сердца, но тер-

---

* Карантин — 6 недель после родов, в течение которых, по обычаю того времени, роженица не выходила из дома.

пение, не падай духом, со временем ты пожнешь плоды своих трудов, не может быть, чтобы те старания, что ты прилагаешь, не дали бы тебе возможности привести дела в порядок. К тому же с тех пор как ты находишься во главе всех дел, ты уже сделал столько улучшений, что тебе остается только вооружиться мужеством и довести до конца все, что ты так хорошо начал; что касается меня, то я уверена в ожидающем тебя успехе.

Вы будете иметь счастье этой зимой принимать почтеннейшую Тетушку; мне кажется, это визит, который тебе совсем не улыбается и без которого ты охотно обошелся бы. У меня было намерение ей написать, чтобы сообщить о рождении Матильды, но причина, что ты мне приводишь, ее молчания в отношении меня такова, что я не осмелюсь больше компрометировать ее доброе имя в свете перепиской со мною. Я тебе признаюсь, однако, что не очень понимаю эту фразу, потому что судя о других по себе, я не постигаю, как можно вносить расчеты в свои привязанности; если только любишь кого-нибудь, какое может быть дело до мнения света, и не порывают так всякие отношения с человеком, если только он не подал к тому повода. Итак, я имею честь засвидетельствовать ей свое почтение и распрощаться, потому что теперь она может быть уверена, что больше не услышит обо мне, по крайней мере *от меня.*

Я бесконечно благодарна Ване за привет, поцелуй его нежно; как только я узнаю, что он где-то обосновался, я ему напишу. Вернулся ли он снова на службу в Петербург? Удался ли ему ремонт?* Не было ли у вас в связи с этим споров, как в прошлом году? Что поделывает отец, ты ни слова о нем не говоришь, напиши мне, как он, и пришли мне его портрет, который ты мне обещал, тот, что у тебя в кабинете.

Ты хочешь, чтобы я сообщила тебе подробности о Сульце. Я очень удивлена, что ты его не нашел на карте Лапи**, он там должен быть, посмотри хорошенько. Это очень милый город, дома здесь большие и хорошо построенные, улицы широкие и хорошо вымощенные, очень прямые, очаровательные места для гулянья. Что касается общества, то я совсем шокирована тем, что ты

---

* Ремонт — покупка новых лошадей для полка, которой ведал специальный офицер — ремонтер.

** Лапи — французский географ.

так непочтительно говоришь о достопочтенных жителях этого города. Общество, правда, невелико, но есть достаточная возможность выбора, а ты знаешь, что не количество, а качество является мерилом вещей; что касается развлечений, то они тоже у нас есть: бывает много балов, концертов, вот как!

Передай, пожалуйста, прилагаемое письмо Доля, я не знаю, как ей его переправить, полагаю, что она при детях Натали. Напиши мне о моих бывших горничных, у вас ли еще Авдотья? Я многое отдала бы, чтобы ее опять иметь, потому что та, что здесь у меня, настоящая дура, решительно ничего не умеющая делать.

Поцелуй от меня все семейство, муж благодарит тебя за память и просит передать привет, а я целую тебя от всего сердца.

Твоя любящая сестра К. де Геккерн.

Барон* просит передать тебе наилучшие пожелания».

Это письмо сразу вводит нас в сложившиеся с самого начала отношения семьи Гончаровых с Екатериной Николаевной. В течение тех нескольких лет, что она прожила в Сульце, с ней вели более или менее регулярную переписку только старший брат и мать. Дмитрий Николаевич, как мы уже говорили, был дружен с Екатериной с детства, очень привязан к ней и, видимо, не хотел порывать с сестрой. Кроме того, его к тому вынуждали, как мы увидим далее, и денежные их дела и расчеты. Но писал он ей редко, неохотно, так как денег у него не было, а постоянно оправдываться ему было неприятно.

Что касается матери, то любя и жалея дочь, она стремилась поддержать ее в новой жизни, и письма Натальи Ивановны к дочери, судя по ее переписке с Дмитрием Николаевичем, несомненно, были в стиле того «декорума», что соблюдали Дантесы, и не касались никаких интимных и щекотливых вопросов. Надо полагать, они были любезными, но вряд ли «задушевными», как говорит Щеголев.

За все 6 лет ни разу не написал сестре Сергей Николаевич, любимый брат Натальи Николаевны, к которому очень тепло относился Пушкин. У нас нет сведений, писал ли сестре Иван Николаевич. Что касается Загряжской, то она глубоко и нежно любила Наталью Никола-

---

* Барон — Луи Геккерн.

евну, была ей другом, несомненно, разделяла ее отношение к Дантесам и не ответила ни на одно письмо племянницы из-за границы.

В приведенном выше письме совершенно не упоминается о сестрах, и это не случайно. Оно является ответом на письмо Дмитрия Николаевича от 14 сентября 1837 года, в котором он пишет о Наталье Николаевне: «Ты спрашиваешь меня, почему она не пишет тебе; по правде сказать, не знаю, но не предполагаю иной причины, кроме боязни уронить свое достоинство или, лучше сказать, свое доброе имя перепиской с тобою, и я думаю, что она напишет тебе не скоро»[1].

Обратим внимание на мотивы, по которым не пишут Екатерине Дантес ни Загряжская, ни Наталья Николаевна. В первом случае сама Екатерина Николаевна говорит (с иронией и вместе с тем с горечью), что, по-видимому, тетушка боится «скомпрометировать свое доброе имя» перепиской с нею. Тот же довод, но в несколько иных выражениях (боится уронить свое достоинство, свое доброе имя) приводит и Дмитрий Николаевич в отношении молчания Натальи Николаевны. Можно себе представить, как это было тяжело читать самолюбивой и гордой Екатерине Николаевне. Она, конечно, понимает истинную причину их молчания — она жена убийцы Пушкина, мужа сестры, но делает вид, что не знает, почему ей не пишут.

У нас нет сведений о том, писала ли Наталья Николаевна сестре. По свидетельству А. П. Араповой, в доме Натальи Николаевны не было ни одного портрета Екатерины, имя ее никогда не упоминалось в разговоре. Возможно, писала Александра Николаевна, но, как мы увидим из писем, так редко, что годами Екатерина Николаевна не имела сведений о сестрах. Очевидно, ничего не сообщали о них и Наталья Ивановна, и Дмитрий Николаевич, так как Екатерина Николаевна постоянно жалуется, что ничего о них не знает.

Описывая Сульц, она старается всячески приукрасить этот маленький городок, который Дмитрий Николаевич даже не может отыскать на карте! И тот факт, что она не нашла там себе приличной горничной, также говорит о том, что в те времена Сульц был глухой провинцией.

Письмо от 30 ноября 1837 года очень интересно еще и тем, что оно подтверждает дату рождения старшей дочери Дантесов Матильды — 19 октября 1837 года, ука-

занную в метрической книге Сульца. В пушкиноведческой литературе встречались предположения, что дата эта не соответствует действительности, что Екатерина Николаевна была беременна до брака и родила раньше положенного срока. Это письмо и приводимое далее от 1 октября 1838 года опровергают эту гипотезу.

«Сульц, 4 марта 1838 г.[1]

Вот уже очень давно я жду от тебя письма, дорогой Дмитрий, но, видно, напрасно, и я решила написать еще раз до того, как получу от тебя ответ на два моих письма, тем более, что сегодня я напишу всего несколько слов, чтобы поговорить о делах. Я вижу, как ты делаешь гримасу, но однако не могу поступить иначе и потому приступаю к этому предмету: это касается денег. Вот уже скоро год, как я уехала из Петербурга, и однако Штиглиц получил до сих пор только 1500 или 1800 рублей, я не помню точно сейчас. Я умоляю тебя, дорогой Дмитрий, будь так добр переслать ему полностью сумму содержания, что ты мне назначил.

Не могу тебе сказать, как мне тяжело беспрестанно обращаться к тебе с просьбой быть аккуратным, но дело в том, я тебе признаюсь откровенно, что, получая от Барона регулярно каждый месяц мое содержание, так мучительно сознавать, что это он мне их дает, и хотя дела Барона в хорошем состоянии, тем не менее ты должен понимать, что после того, как он оставил такое место, как в Петербурге, доходы должны были значительно уменьшиться, а 9000 больше или меньше — большая разница. Обо всем этом Барон не говорит мне ни слова, он чрезвычайно деликатен в отношении меня, и когда я ему об этом говорю, он даже не дает мне закончить фразу. Но ты понимаешь, дорогой друг, что бывает такого рода деликатность, которая заставляет меня испытывать чувство отвращения из-за того, что я за все должна и ничего не вношу со своей стороны. Ради бога, дорогой друг, не сердись на меня за это, я тебе пишу с полным доверием, я хорошо знаю, что в твоем добром желании нет недостатка и только плохое состояние дел является причиной неаккуратности, вот почему мне тем более тяжело тебе надоедать. Ты мне также обещал, дорогой Дмитрий, 700 рублей, что мне должен Ваня, прошу тебя не забыть об этом и переслать их Штиглицу, я буду тебе за это очень признательна.

В последнем письме я тебе писала насчет собак для

мужа; не покупай датских, он их достанет здесь. Все, что он просит, это прислать ему пару больших и красивых борзых, из тех, что выводят в России, он тебе будет очень благодарен. Он ни за что не хотел, чтобы я давала тебе это поручение из опасения причинить тебе большое беспокойство, но я уверяла его, что ты слишком ко мне привязан, чтобы отказать мне сделать это для него, не правда ли, мой славный друг, в этом я не ошиблась?

Прощай, дорогой и добрый друг, целую тебя нежно, а также твою жену, сестер и братьев, и не могу удержаться, чтобы не закончить письмо, побранив вас всех, говоря, что вы настоящая куча лентяев.

К. д'Антес де Геккерн».

Просьбы о деньгах — лейтмотив многих писем Екатерины Николаевны. Письма Дантеса и Геккерна позволяют сделать вывод, что именно они побуждали ее к этому. Однако она старается скрыть это от брата и даже пытается оправдать Геккерна, хотя его «деликатность» и внушает ей отвращение...

И Дантес, и Геккерн прекрасно знали, что Гончаровы почти разорены, что Дмитрий Николаевич делает титанические усилия, стараясь спасти остатки состояния. В то же время оба, и Дантес, и Геккерн, будучи людьми состоятельными, беспрестанно требовали «причитающихся» им денег.

Как мы видели выше, сама Екатерина Николаевна говорит, что «дела Барона в хорошем состоянии». Что касается старика Дантеса, то вот что писал о нем А. И. Тургенев Вяземскому 4/16 августа 1837 года[1]: «Я узнал и о его* происхождении, об отце и семействе его: всё ложь, что он о себе рассказывал и что мы о нем слыхали. Его отец — богатый помещик в Эльзасе — жив, и кроме его имеет шестерых детей; каждому достанется после него по 200 тысяч франков».

Забегая несколько вперед, приведем три письма Геккерна за разные годы с бесцеремонными требованиями высылки денег на содержание Екатерины Николаевны.

«Сульц, Верхний Рейн, 19 июня 1838 г.[2]

Сударь.

При заключении брака вашей сестры Катрин с Жоржем, соблаговолите вспомнить, вы взяли на себя обяза-

---

* Ж. Дантеса.

тельство по отношению к ней, ее мужу и ко мне — обеспечить ей ежегодный пенсион в пять тысяч рублей ассигнациями. Этот пенсион регулярно вами выплачивался Катрин в январе, феврале и марте 1837 года; с этого времени ваш поверенный в делах в Петербурге уплатил господам Штиглиц и К°: 30 апреля 1837 г. 415 рублей и пятого августа того же года 1661 руб. 60 коп. С тех пор всякие платежи прекратились. Следовательно я получил на счет Катрин 2076 рублей 60 коп., тогда как мне причитается за 15 месяцев ее пенсиона, начиная с 1 апреля 1837 года до июня сего года включительно, 6250 рублей. Из этой суммы надо вычесть 2076 руб. 60 коп., которые уплатил г-н Носов; следовательно вы должны мне 4173 р. 40 коп.

В оправдание того требования, с которым я к вам обращаюсь сейчас относительно выплаты мне этой суммы, равно как я надеюсь, что в будущем вы будете так любезны уполномочить господина Носова регулярно выплачивать Катрин ее пенсион, я вынужден обратить ваше внимание, сударь, на то, что я с своей стороны не ограничиваюсь регулярной выплатой пенсиона вашей сестре, но что я всеми имеющимися в моем распоряжении средствами стараюсь предупреждать все ее желания. Ее дом здесь так же удобен и так же хорошо обставлен, как и в Петербурге; у нее есть свой экипаж, верховая лошадь и т. д. Недавно я ей предоставил возможность совершить крайне дорогостоящее путешествие в Париж, и мне хотелось бы верить, что когда она будет писать вам, она засвидетельствует свое полное и совершенное удовлетворение.

Благоволите рассудить, с другой стороны, каково бремя моих расходов: Катрин теперь мать, и это обстоятельство требует новых и значительно больших расходов; следовательно, я вынужден быть как нельзя более аккуратным в выдаче денег, чтобы удовлетворить потребности нашего семейства.

Я полагаю, бесполезно, сударь, далее настаивать на этом вопросе, я знаю, что адресуюсь к честному человеку, а также к брату, который всегда изъявлял искреннюю привязанность к сестре. Достаточно будет поэтому, что я изложил в нескольких словах мое положение в отношении вашей сестры, чтобы вы поспешили пойти навстречу моему законному требованию.

Именно с этой надеждой имею честь заверить вас

в моем высоком уважении и совершенном почтении, ваш нижайший и покорнейший слуга

Б. де Геккерн».

«Париж 2 января 1840[1]

Приехав в Париж по делам, я пользуюсь этой возможностью, так как она вряд ли представилась бы мне в Сульце, чтобы написать вам без ведома Катрин и ее мужа и чтобы поставить вас в известность о тех затруднениях, которые до сих пор мне удавалось скрывать от наших детей, но не удастся в дальнейшем, если вы не придете мне на помощь. Однако чисто отеческая привязанность, которую вы всегда питали к нашей славной Катрин, является мне порукой, что вы сделаете все зависящее от вас, чтобы не причинить ей горя, которое она испытала бы, узнав правду, в особенности теперь, когда она готовится стать матерью в третий раз. Мне очень нелегко быть вынужденным сделать этот шаг, обращаясь к вам, сударь, и если бы я не ценил по достоинству родственные чувства, доказательства которых Катрин не раз имела с вашей стороны, и в особенности если бы мною не руководило настойчивое желание избавить вашу сестру и ее мужа от всего, что могло бы им причинить малейшее огорчение, желание, которое, я совершенно уверен, вы со мной разделите, я конечно постарался бы избегнуть необходимости вам докучать.

Со времени моего отъезда из Санкт-Петербурга, события, происшедшие в моей стране, и обстоятельства, в силу которых мое правительство было вынуждено намного сократить количество своих чиновников, не дали ему возможности предоставить мне место. Таким образом, я вынужден был ограничиться только своими личными доходами, к ним я присовокупил 5000 рублей, которые вы обязались ежегодно выплачивать вашей сестре. Этого было достаточно, чтобы обеспечить скромную, правда, но приличную жизнь Катрин и ее мужу, и бог свидетель, что не было такой жертвы, которую бы я не принес, чтобы окружить моих приемных детей всем, что могло бы сделать их жизнь спокойной и приятной. Однако мне приходилось самым неукоснительным образом вести свои расчеты, и в особенности было необходимо, чтобы никакая недостача денег не нарушала моих планов. Но случилось обратное. Семья увеличилась, родились двое детей, и скоро появится третий, соответственно, увеличились мои расходы, тогда как вы оказались не в состоянии прислать Катрин

условленную сумму. Я вошел в долги, срок погашения которых приближается и, признаюсь вам, у меня нет никаких возможностей их погасить. При таком трудном стечении обстоятельств, и опасаясь в особенности, как я вам сказал выше, сделать свидетелями моих затруднений тех, кто нам так дорог, я не поколебался воззвать к вашей дружбе, будучи совершенно уверен, что мой призыв будет услышан и что вы поймете мое положение.

За 1838 год остались невыплаченными 4000 рублей, также за истекший год — полностью 5000 рублей; этой суммы мне хватило бы, чтобы уплатить долги. Благоволите, следовательно, сударь, сделать все от вас зависящее, чтобы мне ее вручили. Я не требую процентов и буду счастлив, и я бы даже сказал — признателен, если, идя навстречу моему желанию, вы избавите меня от моих треволнений.

В случае, если, вопреки тому, что я ожидаю, вам будет абсолютно невозможно собрать всю сумму полностью, я осмеливаюсь рассчитывать на все ваше старание прислать мне бо́льшую часть, а остальное как только вам представится к тому возможность. Прошу извинить мою настойчивость, но вы найдете ее обоснованной, учитывая срочность дела.

Будьте добры ответить мне в Париж в адрес г-на С. Дюфура № 1а, улица Вермейль, чтобы ваша сестра и не подозревала о вашем письме, что неизбежно случилось бы, если бы вы адресовали ваш ответ в Сульц.

Примите, сударь, выражение моих самых дружеских и преданных чувств.

Б. де Геккерн».

«Сульц, Верхний Рейн, 7 апреля 1840 г.[1]

Сударь

Спешу, любезный друг, сообщить вам о благополучном разрешении Катрин; к несчастью, это опять девочка, но крепкая и хорошо сложенная. Надо надеяться, что в четвертый раз ваша сестра подарит, наконец, своему мужу мальчика. Последний написал бы вам сам, но он не отходит от своей жены, и я попросил доставить мне удовольствие вам написать, чтобы поблагодарить вас за письмо, которое вы мне прислали в Париж, оно вселило в меня уверенность в вашем дружеском расположении к нам троим, и я настолько рассчитываю на выполнение ваших обещаний, что решил хранить молчание в отноше-

нии Жоржа и его жены. Я обращаюсь к вам по этому поводу без церемоний и не буду торопить вас в этом письме, уверенный, что вы понимаете мое критическое положение с тремя маленькими детьми.

Сохраните мне вашу дружбу, любезный сударь, рассчитывайте всегда на мое старание сделать вашу сестру счастливой, а вы с своей стороны сделайте все, что можете, чтобы облегчить мою задачу.

Так как мне предстоит еще написать много писем, извините меня за краткость данного письма и примите повторные уверения в моих самых сердечных и преданных чувствах.

Б. де Геккерн.

Новорожденной будет дано имя Леони. Катрин чувствует себя хорошо».

Тон письма от 19 июня 1838 года очень жесткий, исключающий какие бы то ни было намеки на «родственные» отношения. Нас не должны удивлять расчеты этого торгаша от дипломатии. За время длительной службы при российском дворе он, несомненно, нажил солидное состояние. Предприимчивый посол занимался попросту... спекуляцией. В архиве Министерства иностранных дел того времени сохранилась объемистая папка с документами «о пропуске через таможню вещей, привезенных из-за границы на имя нидерландского посланника барона Геккерна». Только в 1835—1836 годах (с июля 1835-го по май 1836-го), когда Геккерн выезжал в отпуск за границу, он привез с собой 12 ящиков (оцененных в 10 000 рублей), в которых находились: серебряная, хрустальная и фарфоровая посуда, вазы, античная утварь, художественная бронза, картины в рамах, громадные запасы разнообразных вин, часы, статуэтки и т. д. и т. п.[1] В течение всей службы в России (а пробыл Геккерн на посту посла ни много ни мало 14 лет) непрерывным потоком шли из-за границы все эти ценные вещи в адрес голландского посольства. В Петербурге барон перепродавал их столичным негоциантам. Как говорится, комментарии излишни...

Что касается расходов на содержание семьи Жоржа Дантеса, то и старик Дантес, и Геккерн делали это совсем не ради Екатерины Николаевны. К тому обязывало положение семьи в Сульце, им нельзя было держать невестку в черном теле. Личных же денег у нее не было даже на шпильки. И она засвидетельствовала брату, как

мы видим, не «свое полное и совершенное удовлетворение», а чувства совсем противоположные... Что касается «дорогостоящего» путешествия в Париж, то, мы полагаем, предпринято оно было для скучавшего в Сульце Дантеса, а отнюдь не для его жены.

Все три письма говорят о том, что Дмитрий Николаевич с «крайне огорчительным постоянством» не высылал сестре денег. Он просто был не в состоянии это сделать. К тому же прекрасно знал, что оба «отца» могли содержать семью Дантеса, тем более что в Сульце они могли жить скромно, не делая больших расходов. Лицемерие Геккерна вызывает отвращение. Кто может поверить, что он скрывает от Дантеса и Екатерины Николаевны свои «затруднения», когда он постоянно заставлял ее требовать деньги от брата.

Обратим внимание, что Дантес не счел нужным сообщить Дмитрию Николаевичу о рождении дочери, поручив это Геккерну. Возможно, он был расстроен, что это опять девочка, но, вернее, он просто не хотел писать шурину. Во всяком случае трудно поверить, что он не мог написать из-за того, что «не отходит от жены».

О своей поездке в Париж Екатерина Николаевна написала брату, это одно из самых интересных ее писем.

«Париж, 25 мая 1838 г.[1]

Давно уже собиралась я написать тебе, дражайший и славный Дмитрий, но всегда что-то мне мешало. Сегодня я твердо решила выполнить это намерение, заперла дверь на ключ, чтобы избежать надоедливых посетителей, и вот беседую с тобой. Я здесь с 5 мая и в восхищении и восторге от всего, что вижу. Париж действительно очаровательный город, все, что о нем говорили, не преувеличено, он прекрасен au nec plus ultra*. И как можно сравнивать блестящую столицу Франции с Петербургом, таким холодно-прекрасным, таким однообразным, тогда как здесь все дышит жизнью, постоянное движение толпы людей взад и вперед по улицам днем и ночью, всюду великолепные памятники, красивейшие магазины. А рестораны, просто слюнки текут, когда проходишь мимо вкусных вещей, которые там выставлены. И потом — полная свобода, каждый живет здесь, как ему хочется, и никто ни единым словом тут его не упрекает.

Так как мы приехали сюда только для того, чтобы развлечься, посмотреть и познакомиться со всем тем,

* в высшей степени (*лат.*).

что в Париже есть любопытного и интересного, мы целыми днями бегаем по городу, но не бываем в светском обществе, потому что это отняло бы у нас драгоценное время, которое мы посвящаем достопримечательностям; свет — это до следующего приезда. Многие хотели непременно нас туда сопровождать, все с нами очень любезны, но мы им приводим те же доводы, что я тебе говорила выше. Удовольствия, которых мы однако себя не лишаем, это театры. Здесь их четырнадцать, так что, как видишь, выбор есть; я была почти во всех, но предпочитаю Комическую оперу и Большой оперный театр; к сожалению, я не видела итальянцев, которые играют здесь только до апреля месяца. Все вечера мы проводим или в театре, или в концерте. Я очень часто встречаюсь с г-жой де Сиркур, она очень мила и добра ко мне; каждое воскресенье она заезжает за мною, чтобы отправиться в посольскую церковь. Это настоящее счастье для меня; я так долго была лишена православной службы, поэтому я этим воспользовалась и говела и причащалась, едва только приехала в Париж. Об этом я позаботилась прежде всего.

Здесь несметное количество русских: кажется, что после того, как их государь наложил запрет, они как бешенные стремятся в Париж*. Я воспользовалась моим пребыванием здесь, чтобы заказать свой портрет, который у меня просила мать; я делаю это с большим удовольствием, хотя, признаюсь тебе, что позирование смертельно скучная вещь. А что поделываете вы, как себя чувствуете, когда же появится наследник? Ваня, я слышала, уже женат. На днях, как мне говорили, у его шурина Николая пили за здоровье новобрачных, но я ничего об этом не знаю, я их не видела.

Прощай, дорогой друг, целую всех вас миллион раз.

Твой друг и сестра

К. д'Антес де Геккерн».

Прежде всего обратим внимание на то, что Екатерина Николаевна пишет это письмо, запершись на ключ, чтобы избежать «надоедливых посетителей». Каких посетителей? Кроме госпожи Сиркур, она, по-видимому, ни

* Здесь речь идет об указе Николая I, запрещающем пребывание русских подданных за границей сроком свыше 3—4 лет. Указ был вызван тем, что доходы с русских поместий растрачивались вне государства, а временное проживание за границей зачастую превращалось в постоянное.

с кем не встречается, так как никого не называет из тех «многих» лиц, которые во что бы то ни стало хотят сопровождать их в светское общество. Персонально о Дантесе она в своем письме не говорит ни слова, это тоже очень интересно. И мы полагаем, что не ошибемся, сделав вывод, что именно от него она заперлась, когда писала брату.

Тон ее письма нам кажется наигранно-веселым. Очевидно, Дантесы столкнулись в Париже с враждебным к ним отношением живших там русских. Больше всего Екатерину Николаевну радует в Париже полная свобода: «...каждый живет здесь, как ему хочется, и никто ни единым словом тут его не упрекает». Это случайно вырвавшаяся фраза говорит нам и о Петербурге, и о ее жизни в Сульце, где, видимо, ее поведение диктовалось Геккернами. Очевидно, единственным человеком, не отвернувшимся от Екатерины Дантес, была Анастасия Сиркур, жена французского писателя графа Сиркура, урожденная Хлюстина, соседка Гончаровых по Полотняному Заводу. В Париже Екатерина Николаевна узнает о свадьбе брата Ивана Николаевича, узнает от посторонних, так как никто из родных своевременно ее об этом не известил.

Портрет, о котором она говорит, написан художником Сабатье. На нем изображена молодая женщина, черты лица которой, хотя и не имеют классической правильности, свойственной Гончаровым, весьма привлекательны, в особенности хороши большие черные глаза. Выражение ее лица серьезное, скорее даже печальное, оно очень хорошо передано художником. Этот портрет приводится нами в книге.

«Сульц, 1 октября 1838 г.[1]

От всего сердца благодарю тебя, любезный и дражайший Дмитрий, за твое хорошее письмо. Давно уже я беспокоилась о вас, никто из вас не писал мне ни строчки, и я не знала, чему приписать это молчание, что все хранили в отношении меня. Я думала, может быть, ты на меня сердишься за просьбу о деньгах, но что поделаешь, ты сам прекрасно знаешь, что это вещь, без которой, к несчастью, нельзя обойтись на этом свете. Я была твердо уверена, что твоя неаккуратность была вынужденной.

А теперь поговорим о другом. От всей души поздравляю тебя с рождением сына и желаю, чтобы он составил твое счастье, как Матильда — наше. С каждым днем она

становится все милее и забавляет нас все больше и больше. Я думаю скоро отнять ее от груди, через несколько дней ей исполнится год.

Я получила недавно письмо от сестер, в котором они мне сообщают о твоем отъезде в Калугу. Надеюсь, что здоровье Лизы не задержит вас там надолго: судя по тому, что мне пишут, как будто бы ей лучше. Поцелуй ее от меня и поздравь с рождением сына, скажи ей, что я восхищаюсь ее талантами: она родила двух мальчиков подряд, тогда как я сделала такую оплошность и начала с девочки. Надеюсь, что впредь я буду более искусной, я хочу, чтобы тот, кто последует за ней, был мальчиком.

Напиши мне о Ване, что он поделывает? Когда ты его увидишь, передай ему, что со времени его женитьбы он еще не написал мне ни разу*. Я хорошо знаю, что он не силен в писании писем, но все же между «часто» и «никогда» — большая разница. А как отец, ты мне о нем ничего не пишешь. Вы, наверное, забыли, милостивый государь, что давным-давно обещали мне его портрет, написанный Соболевским.

Ты пишешь, что скоро вы будете иметь огромное счастье принимать у себя добрую несравненную, сентиментальную тетку Катерину, с чем тебя искренне поздравляю, но предпочитаю, чтобы это случилось с тобой, а не со мной, так как своя рубашка ближе к телу, как ты знаешь. Напиши мне подробно о пребывании в ваших краях этого благодетельного существа, а также засвидетельствуй ей заверения в моих нежных и почтительных чувствах.

Я забыла тебе сказать, что мы недавно купили ферму в четырех или пяти лье от Сульца. Там теперь строится дом, где мы будем проводить три самых жарких летних месяца. Addio mia cara carissime fradre**, целую твою жену, муж шлет привет, а племянница свидетельствует свое почтение».

«Сульц, 3 ноября 1838 г.[1]

Мой дорогой, добрый Дмитрий, письмо которое на-днях получил барон де Геккерн от Штиглица, вынуждает меня вернуться к вопросу о деньгах, чтобы тебе было ясно, какую сумму ты мне должен. 4049 руб. 5½ коп.— эта цифра точна, плюс 1000 руб., которые по словам Штиглица он не получил; затем за август, сентябрь и октябрь

* И. Н. Гончаров женился 27 апреля 1838 года.

** Прощай, мой дорогой, дражайший брат *(итал.)*.

1838 г. по 416 руб. 66½ коп., это составляет 1250 руб.; общая причитающаяся мне сумма достигает 6299 руб. 5½ коп. Я не понимаю, есть ли у тебя расписка Штиглица на 1000 руб., потому что он утверждает, что ты ошибся. Не знаю, откуда происходит ошибка, но так как это Носов должен был их ему передать, как ты говоришь, я ему пишу сегодня, чтобы попросить переговорить с самим Штиглицем и выяснить где же ошибка.

Ты можешь быть уверен, дорогой друг, что мне бесконечно тяжело все время возвращаться к денежным вопросам, особенно в момент, когда я знаю, что ты испытываешь недостаток в деньгах, но что поделаешь? В таких случаях зависишь от обстоятельств, а сейчас, когда мы купили поместье и приводим его в порядок, ты понимаешь, что для того, чтобы платить, нужны наличные деньги, и что, видя Барона в стесненных обстоятельствах, я стараюсь, как могу, придти ему на помощь, потому что, так как он не позволяет, чтобы я в чем-нибудь нуждалась, надо быть справедливой и в свою очередь помочь ему сколько я могу.

Итак, я надеюсь, мой добрый брат, что ты согласишься с моими доводами и в особенности — не рассердишься на меня за мою докучливость, ты очень хорошо знаешь мою привязанность к тебе, чтобы быть уверенным, что отнюдь не желание причинить тебе затруднения вынуждает меня так поступать, а только крайняя необходимость.

Как ты живешь, как здоровье твоей жены и мальчика; я надеюсь, что Лиза теперь уже совсем поправилась, передай ей от меня тысячу нежных приветов. Хотя я ее и не знаю, я люблю ее от всего сердца, знаю, что она составляет счастье брата, которого я нежно люблю. Надо признаться, дорогой Дмитрий, что ты и я, мы оба счастливые смертные в браке, так как я тоже счастливейшая женщина на свете, любимая и балуемая мужем, который обожает меня. Я счастлива также всем тем, что меня окружает, не знаю, как и благодарить небо за все то счастье, что оно мне посылает, и право не знаю, что я сделала, чтобы его заслужить. Моя маленькая дочка прелестна и составляет наше счастье, нам остается только желать сына.

Прощай, мой добрый брат, целую тебя от всего сердца.

К. д' Антес де Геккерн.

Муж просит передать тебе тысячу приветов».

В письме от 1 октября 1838 года Екатерина Николаевна говорит, что получила письмо от сестер. Обращает на себя внимание, что она никак его не комментирует, видимо, написано оно было в таких тонах, что ей не хочется об этом говорить. В последующие годы она укоризненно-раздраженно постоянно жалуется, что сестры ей не пишут.

Екатерина Николаевна довольно часто вспоминает об отце, настойчиво просит прислать его портрет и выражает большую радость после его получения. Но переписки между отцом и дочерью, очевидно, не было. Во всяком случае, Екатерина Николаевна не осмеливается ему написать. В многочисленных письмах Николая Афанасьевича, с которыми мы познакомились, нет ни одного упоминания о том, что он писал дочери или получал письма от нее. Что касается тетушки, то во всех письмах Екатерина Николаевна говорит о ней только в иронических тонах. И нам понятно ее раздражение: Екатерина Ивановна не ответила ни на одно ее письмо.

Нет сомнения, что письмо от 3 ноября написано под давлением Геккерна, так и чувствуется, что эти расчеты вплоть до полукопеек исходят от него. И он же заставляет Екатерину Николаевну писать доверенному лицу Гончаровых в Петербурге Носову и не для того, чтобы выяснить, «где ошибка», а чтобы заставить Дмитрия Николаевича выслать деньги.

Екатерина Николаевна сообщает брату, что они купили ферму в окрестностях Сульца. «Они» — это Луи Геккерн, об этом пишет Метман в своих воспоминаниях. Геккерн, видимо, до 1843 года, когда он снова вернулся на дипломатическую службу, жил в Сульце. Так, в метрическом свидетельстве о рождении Матильды Дантес, где он фигурирует в качестве свидетеля, говорится, что он «жительствует в помянутом городе».

Все письма Екатерины Николаевны — это стремление доказать, что она любима и счастлива, но именно потому, что эти уверения так настойчивы, им не верится. А. П. Арапова в своих воспоминаниях говорит о ней. Сведения эти почерпнуты, очевидно, из разговоров окружавших ее лиц, и хотя мы не знаем, все ли в них достоверно, заслуживает внимания, что́ именно говорилось о Екатерине Дантес в семье. «Она привязалась к мужу с беззаветной страстью, — пишет Арапова, — и годами

убеждалась, что ничто не в силах победить его равнодушие и холодность. Разочарование в надеждах и ревниво гложущее горе, подтачивая организм, преждевременно свели ее в могилу»[1].

Откуда поступили такие сведения? Может быть, постоянно встречаясь с Дантесами в течение зимы 1842/43 года в Вене, могла наблюдать их жизнь и сделать такие выводы Наталья Ивановна Фризенгоф? Она регулярно переписывалась с Натальей Николаевной и Александрой Николаевной, с которыми была очень дружна. Этот источник кажется нам наиболее вероятным.

В письмах заграничного периода мы имеем немало свидетельств тому, что Екатерина Николаевна страстно любила мужа. Она постоянно стремится во всем угодить ему: надоедает брату в отношении денег, пишет длиннейшие письма с просьбой прислать собак для мужа, умоляя сделать это ради нее. Она говорит, что муж любит ее и что она счастлива всем тем, что ее окружает, но мы не видим в ее письмах ни одного доказательства любви Дантеса, нет ни слова и об окружающих ее родных мужа. А вот тоска по навсегда утраченной родине, по своим близким, по тем местам, где жила она когда-то,— эти чувства выражены необыкновенно ярко, это мы увидим в следующем письме. И эта женщина, так часто говорящая о своем счастье, вероятно, была очень одинока и несчастна...

«Сульц, 26 мая 1839 г.[2]

Я получила твое письмо из Катунков* за несколько дней до родов, дорогой и добрый брат, и эта причина помешала мне ответить. Но сейчас я уже совсем поправилась и не хочу долее мешкать с ответом, потому что если наша переписка будет идти так, как сейчас, то в конце концов мы совсем перестанем писать друг другу, а это меня очень опечалило бы. Ты — совсем другое дело, так как ты живешь среди того, что тебе дорого, а я так оторвана от моей семьи, что если кто-либо из вас хоть иногда не смилостивится надо мной и не напишет, я и совсем не буду знать, живы вы или нет, а ведь не так легко отказаться от всего того, чем так привыкла дорожить с раннего детства.

Ты пишешь, любезный брат, что ты очень огорчен тем, что не можешь выполнить свои обязательства в от-

* Катунки — одно из поместий Гончаровых.

ношении меня. В письме мужа ты найдешь все необходимые разъяснения по этому поводу, поэтому я не буду их повторять, скажу только, что твое последнее письмо заставило меня пролить много слез, так я была обманута в своих ожиданиях.

Недавно я получила письмо от Нины, которая сообщает мне новости обо всех вас. Она очень хвалит твою жену, и напротив, говорит, что у жены Сережи адский характер. Как мне пишет мать, у него снова будет прибавление семейства, решительно род Гончаровых умножается. Что касается тебя, то, кажется, ты хочешь ограничиться одним наследником*; я думаю, ты прав, однако вам надо бы еще девочку.

А что скажешь ты о Катуш, вот у нее уже вторая дочь, она могла бы однако лучше иметь мальчика. Ты еще не знаешь, как зовут твою племянницу? Берта-Жозефина, смотри, не дай такое имя какой-нибудь лошади, так как Матильда уже имела благоприятную возможность носить одинаковое имя с твоей священной памяти вороной кобылой.

Кстати о лошадях, скажи не мог бы ты прислать мне хорошую верховую лошадь? Если у тебя такая есть, у меня, возможно, будет оказия ее доставить, если ты будешь любезен отправить ее до Белостока, куда мой деверь Люзиньян должен поехать осенью за польскими лошадьми. Одновременно ты мне пришлешь, не правда ли, пару больших борзых для охоты на волков. Это страстишка моего дорогого супруга, от которой он никак не может избавиться, и ты оказал бы ему большую услугу, но это только в том случае, если ты отправишь лошадь. Не топай ногой и не говори «черт возьми!», потому что это невежливо.

Вы имели счастье принимать у себя вашу дорогую тетушку Катерину, которая приехала похитить у вас сестер. Я о них недавно имела известия и узнала с удовольствием, что Н. не бывала в свете этой зимой; признаюсь, я считаю, что это было бы нехорошо с ее стороны. Прощай мой славный братец, целую тебя, также твою жену и сына. Муж передает тебе тысячу приветов, Матильда и Берта целуют руки Дяде и обнимают двоюродного брата.

К. Дантес де Г.»

«Сульц, 20 ноября 1839 г.[1]

Мой деверь приехал неделю тому назад, дорогой

* Один из сыновей Д. Н. Гончарова умер в 1838 году.

Дмитрий, и моя кобыла, названная им Калугой, прибыла в прекрасном состоянии. Это красивая лошадь, и знатоки утверждают, что это самая лучшая из всех лошадей, привезенных Люзиньяном, нет ни одной, которая могла бы с ней сравниться. Мой муж в восторге и поручает мне бесконечно поблагодарить тебя за твою любезность в отношении нас, он очень тронут, и я также. Досадно только, что она не так высока ростом, впрочем, она очаровательна.

Я бесконечно тебе благодарна, мой славный друг, за портрет отца, он мне доставил огромное удовольствие. Он стоит у меня тут, на столе и я очень часто на него смотрю. Матильда уже его знает и всегда просит «посмотлеть на длугую Дедуску» (это означает — на другого дедушку, не моего свекра*, которого она обожает).

Ты не представляешь себе, как эта малютка умна, ей всего два года, и, однако, она уже хорошо говорит, все понимает, слушается с первого взгляда, очень хорошенькая и имеет очень добрый характер. Все удивляются ее поразительному сходству со мной, и мой муж уверяет, что я, должно быть, была в детстве такая же гримасница, как Матильда. Берта, моя младшая, которой уже исполнилось семь с половиной месяцев, очень хороша, она блондинка с голубыми глазами, на редкость крепкая и живая. В общем я не могу пожаловаться на своих детей, их здоровье до сих пор, слава богу, не приносило мне никакого беспокойства; я надеюсь, что то же будет и с ребенком, которого я жду в начале апреля, лишь бы только это был мальчик. Что касается тебя, дорогой друг, кажется ты упорствуешь и не хочешь увеличивать свое семейство. Тебе однако все же следовало бы постараться иметь девочку; мне кажется, что двое детей, сын и дочь, как раз то, что нужно, а один ребенок дает слишком много беспокойства, всегда опасаешься, как бы с ним чего не случилось.

Напиши мне о сестрах. Вот уже скоро год, как они мне не дают о себе знать, я думаю, что наша переписка совсем прекратится, они слишком часто бывают в свете, чтобы иметь время подумать обо мне. Не поговаривают ли о какой-нибудь свадьбе, что они поделывают, попрежнему ли находятся под покровительством Тетушки-факельщицы? Кстати, скажи-ка мне, нет ли надежды в будущем получить наследство от Местров, у них ведь нет

* Жозефа Дантеса — родного отца Жоржа Дантеса.

детей. Это было бы для нас всех очень кстати, я полагаю. Впрочем, вероятно все распоряжения уже сделаны, и так как обычно за отсутствующих некому заступиться, я думаю, мне не на что надеяться.

Целую Лизу и вашего сына, муж шлет вам тысячу приветов, а я целую тебя и люблю всем сердцем.

К. д'Антес».

Вот уже третий год, как Екатерина Николаевна живет в Сульце. Родилась вторая дочь — Берта. Судя по письмам, ничто не изменилось в ее переписке с родными. «...Если наша переписка будет идти так, как сейчас, то в конце концов мы совсем перестанем писать друг другу, а это меня очень опечалило бы»,— с горечью говорит она. Иногда проскальзывает в ее письмах то, о чем ей больно думать и писать: «...Ты живешь среди того, что тебе дорого, а я так оторвана от моей семьи...». В этих словах так ярко выражено чувство одиночества, которое она испытывает в семье Дантесов... Единственное утешение — дочери. Матильда и умна и добра, Берта очень хороша (очевидно, похожа на Дантеса), обе радуют мать. И портрет Николая Афанасьевича у нее на столе, на который она постоянно смотрит, говорит нам о многом.

Сестры по-прежнему не пишут. Екатерина Ивановна получает эпитет «факельщицы», неизвестно — почему. Но больше всего обращает на себя внимание ее выпад в адрес Натальи Николаевны. Она даже не называет ее по имени, а обозначает только буквой «Н». Она довольна, что Наталья Николаевна не бывает в обществе. При этом она думает, надо полагать, прежде всего о себе (хотя пишет о другом): Екатерина не хотела, чтобы вновь начались толки о преддуэльных событиях, о роли Дантеса и Геккерна в них и о ней самой. Это подтверждается и другим, более поздним письмом, где она упрекает сестер в том, что они «слишком часто бывают в свете». Упоминание о Наталье Николаевне носит недоброжелательный оттенок. Обращает на себя внимание и тот факт, что Екатерина Николаевна *никогда* не спрашивает о детях Пушкиных, хотя живо интересуется всеми другими племянниками.

Дмитрий Николаевич посылает сестре лошадь, названную Калугой, но от покупки собак для Дантеса уклонился... Недаром Екатерина Николаевна предвидела, что это поручение рассердит его и он будет «топать но-

гой»! Написал он также сестре, что не в состоянии при плохом положении их дел выслать ей причитающиеся деньги. И тут мы видим, что не один Геккерн, но и Дантес принимает участие в выторговывании денег, и, несомненно, по этому поводу ведет неприятные разговоры с женой, вынуждая ее «проливать много слез».

И наконец, упоминание о Местрах. Екатерина Николаевна пишет, что у них нет детей. Это еще раз подтверждает, что Наталья Ивановна не была ими удочерена и не имела права на наследство.

«Сульц, 9 марта 1840 г.[1]

Знаешь ли ты, мой августейший братец, что это уже начинает принимать вид дурной шутки: все письма, что мы посылаем друг другу (а слава богу, это не так часто с нами случается) всегда начинаются со слов: *«Наконец-то пришло от тебя письмо»*. Эти письма меня убеждают в том, что так как ты чувствуешь свою вину, то делаешь вид, что их не получаешь, или по крайней мере, что они приходят гораздо позднее; мне кажется насмешкой, что ты получил 24 января письмо датированное 20 ноября, т. е. через два месяца, тогда как самое большое на это нужно 22 дня, поэтому я считаю, что все это твои проделки.

Ты пишешь, дорогой Дмитрий, что надеешься приехать меня повидать. В самом деле, это любезность, которую ты мог бы мне оказать. Уверяю тебя, что ты будешь в восторге от своего пребывания здесь и не раскаешься, совершив это путешествие,— для нас будет праздник принять тебя, но ради бога, чтобы это не было пустыми разговорами. Поверь, что это не будет стоить так уж дорого; за 8 дней ты доедешь из Петербурга до Гавра на пароходе, там ты купишь красивый экипаж (потому что я не хочу, чтобы ты приехал ко мне как какой-нибудь Shlouker*), возьмешь почтовых лошадей и через два дня будешь иметь счастье обнимать свою милую сестру, так что, как видишь, ради этого, конечно, стоит предпринять путешествие. Я жду тебя этим летом непременно, устраивай свои дела как хочешь, но я *хочу,* чтобы ты обязательно приехал меня повидать и безотлагательно; это будет вдвойне интересно для тебя, так как тебе так хочется узнать, что из себя представляет Сульц, ты сможешь судить о нем, увидев своими собственными глазами. Тем временем об-

---

* Shlouker — бедняк *(нем.)*.

ратись к Соболевскому, который должен очень хорошо знать Сульц, так как он находился в течение очень долгого времени в его окрестностях; он выдавал себя то за камергера российского императора, то за князя и гвардии полковника.

Я без конца тебе благодарна за обещание прислать мне денег, бога ради, не ограничься только обещаниями, так как деньги мне нужны, крайне нужны, я нахожусь в отчаянном положении. Сегодня я написала об этом матери, я очень хотела бы, чтобы она хоть немножко помогла мне. Год тому назад к моим последним родам она мне обещала сделать подарок и прислать его, она даже писала, что спросит тебя, как переслать мне деньги, но теперь она больше ничего об этом не говорит, и я боюсь, что она забыла. Постарайся, дорогой друг, ей об этом напомнить *непременно,* но ради бога не говори, что я тебе об этом писала, это может привести к очень дурным последствиям. Скажу тебе, что, рассчитывая на это, я продала шкуру неубитого медведя и теперь сижу между двумя стульями — положение очень неудобное для женщины, которая вот-вот родит. Судя по твоему письму, я полагаю, что твоя жена и я освободимся в одно и то же время. Мальчик для меня и девочка для нее.

Прощай, поцелуй от меня жену и детей».

«Сульц, 13 мая 1840 г.[1]

Через два дня я уезжаю в деревню и все же хочу написать тебе до отъезда, потому что как только я заберусь на вершину горы, в свой дворец-замок, известный под названием Шиммель, я не уверена, что мои многочисленные дела дадут мне возможность написать тебе сразу по приезде. Поэтому, дорогой друг, если ты испытываешь удовольствие, читая это письмо, благодари небо, что оно тебе даровало столь любезную сестру, и в особенности, что оно тебе ее сохранило в таком прекрасном здравии: через два дня исполнится шесть недель после родов, я чувствую себя превосходно, уже три недели, как я совершенно поправилась. Вот что значит хороший климат, не то что, не прогневайся, в вашей ужасной стране, где мерзнут с первого дня года и почти до последнего. Да здравствует Франция, наш прекрасный Эльзас, я признаю только его. В самом деле, я считаю, что пожив здесь, невозможно больше жить в другом месте, особенно в России, где можно только прозябать и морально и физически.

Благодарю тебя за обещание прислать денег, мой славный брат, действительно они нам будут очень кстати, но ради бога, постарайся рассчитаться и за 39 год и хоть немного за 40. Это лучше и для тебя и для меня, так как тебе было бы легче, я полагаю, платить мне регулярно каждый месяц, чем накапливать большие суммы; не пойми дурно, мой друг, это простое замечание, потому что я первая всегда признаю твою аккуратность везде, где только ты можешь ее проявить. Самое мое горячее желание, поверь мне, чтобы твои дела окончательно распутались, мы все в этом очень нуждаемся, так как у всех нас довольно большие семьи, которые, вероятно, еще увеличатся, да поможет нам бог!

То, что ты пишешь об отмене права на наследственное имущество — ужасно; я об этом уже знала, мы были поражены, как и все, у кого капиталы еще в России. Друг Нико* не всегда церемонится, как видно; впрочем у него-то деньги текут, когда он пожелает.

Я очень тронута, что ты хочешь дать мое имя своей дочери, только я бы сказала, что нахожу его не очень красивым; мой муж мне надоедал, чтобы я так назвала одну из наших многочисленных *барышень*, но я никогда не могла на это решиться. Ах, что ты скажешь о моей сноровке, вот уже три девочки подряд? Признаюсь, что хотя я их и люблю всем сердцем, я все же в отчаянии от этого, поэтому я плохо приняла мою бедную Леони**, я так рассчитывала, что будет мальчик. Право, если у тебя будет сын, мы вполне можем обменяться, так как наши дети должны быть одного возраста, я родила 4 апреля. Г-жа Сиркур крестила мою дочь. Сомневаюсь, чтобы твоя дружба с ее братом зашла так далеко, чтобы ты взял его в крестные отцы. Встречаетесь ли вы хоть иногда?

Я узнала через многих русских путешественников, но слышала об этом стороною, что Александрина стала совершенной сумасбродкой; говорят, что получение шифра совсем вскружило ей голову, что она сделалась невероятно надменной. Я надеюсь, что все это неправда, признаюсь, я не узнаю в этом случае ее ума: потерять голову из-за такого пустяка было бы прискорбной нелепостью.

Через несколько недель я буду знать все подробно о Петербурге, потому что увижу Идалию Полетику, кото-

---

* Нико — Николай I.

** Леони — Леония, третья дочь Дантесов.

рая приезжает вместе со Строгановыми в Баден-Баден; она там назначила нам свидание, и мы с мужем рассчитываем поехать туда на недельку. Я буду чрезвычайно рада снова ее увидеть, она была так мила с нами во время наших несчастных событий.

Вчера у нас был очаровательный сюрприз: бывший кавалергард Кутузов, женатый на Рибопьер, близкий друг мужа, как с неба, свалился к нам в семь часов утра. Они меняли лошадей в полумиле от Сульца, и он пришел нас повидать. Я поехала за его женою, которая была на постоялом дворе, и проведя добрых два часа с нами, они уехали. Они возвращаются в Петербург из Италии, где провели две зимы из-за здоровья жены.

Прощай, дорогой друг, муж и я обнимаем тебя, а также Лизу и детей.

К. д'Антес

Мой адрес до 20 сентября, когда я возвращаюсь в город, Массево, Шиммель, Верхний Рейн».

«Сульц, 26 января 1841г.[1]

Я хочу быть более любезной чем ты, дорогой Дмитрий, и спешу ответить на твое последнее письмо, потому что мне очень хочется доказать тебе своей аккуратностью всю ту радость, которую я испытываю, получая вести от вас. Я в особенности хочу, чтобы ты был глубоко уверен в том, что все то, что мне приходит из России, всегда мне чрезвычайно дорого, и что я берегу к ней и ко всем вам самую большую любовь. Voilà une profession de foi!*

Я в самом деле в отчаянии, именно в отчаянии, дорогой друг, в связи с плохим состоянием твоих дел. Боже мой, когда же будем мы иметь счастье видеть хоть какое-то просветление! Мы *все* в этом так нуждаемся, потому что я тоже нахожусь в ужасном затруднении с деньгами из-за твоих задержек с присылкой, уверяю тебя, что я страдаю от этого не меньше, чем вся остальная семья. Дети мои растут, следственно, расходы не уменьшаются, а доходы исчезают. Все, о чем я тебя прошу, дорогой брат, это подумать обо мне, когда ты думаешь о сестрах, и верить, что я не сомневаюсь в твоем добром расположении.

Все, что ты мне пишешь о жене Вани, меня очень огорчает, и я искренне разделяю его беспокойство, для него было бы ужасно ее потерять, а если судить по тому,

---

* Voilà une profession de foi! — вот мое кредо! *(франц.)*

что говорят, этого можно опасаться, роды в особенности могут быть для нее пагубны. Если все пройдет благополучно, как хотелось бы надеяться, европейский климат мог бы, может быть, поставить ее на ноги. Куда думает он ее везти?

Ты говоришь, что твои мальчики хорошо растут, я очень рада и нисколько не удивляюсь, если они унаследовали отцовскую конституцию. Кстати, а как твое здоровьице, как дела с твоей дородностью, нажил ли ты уже респектабельное брюшко?

Дон* должен гордиться, что похоронил свою законную супругу. А она то всегда плакала и причитала, сетуя на свою будущую вдовью судьбу. Я была очень удивлена, узнав, что она убралась первая, бедная женщина, да приемлет господь ее душу. Но она была неприятной особой, по крайней мере на земле! Передай мое сочувствие Дону. Я храню о нем самое нежное воспоминание с тех пор, как он вкатил мне некое лекарство, от которого я через несколько часов чуть не умерла, приняв огромную дозу. Впрочем, это была моя вина, я к нему приставала, чтобы он дал мне свое сильнодействующее снадобье.

Поцелуй свою жену, я надеюсь, что она уже избавилась от своей боли в ухе. Шлю свое благословение моим племянникам, а тебе разрешаю мысленно поцеловать мне руку. Муж шлет вам тысячу приветов».

От 1840 года в архиве нами обнаружено всего два вышеприведенных письма, видимо, переписка и с Дмитрием Николаевичем становится все более и более редкой. «Я в особенности хочу, чтобы ты был глубоко уверен в том, что все то, что мне приходит из России, всегда мне чрезвычайно дорого, и что я берегу к ней и ко всем вам самую большую любовь. Вот мое кредо!» — пишет Екатерина Николаевна брату. Писалось это письмо в отсутствие Дантеса, и потому она могла бесконтрольно и откровенно высказать брату свои сокровенные чувства. (Вообще все ее письма могут быть разделены на две категории: те, которые читались или могли быть прочитаны мужем, и те, которые писались в его отсутствие.) Трудно переоценить значение слов Екатерины Николаевны для понимания того, о чем думала, что чувствовала она в глубине души. Эти несколько строк говорят не только о тоске по навсегда утраченной родине, но и о том, что у нее

* Дон — домашний врач Гончаровых.

была двойная жизнь: внешняя, которую она пытается представить счастливой («Да здравствует Франция!»), и внутренняя — горестная и печальная, с ощущением своего одиночества в этой чужой стране, чужой семье, с постоянным сознанием, что муж ее не любит. Только дети, которых она безгранично любила, были ее единственной отрадой и утешением.

Рождение третьей дочери — Леонии — очень огорчило мать, страстно желавшую сына, чтобы угодить мужу, которому нужен был наследник. Могла ли предполагать тогда Екатерина Николаевна, какая странная и печальная судьба ожидает эту девочку... Дмитрий Николаевич назвал свою дочь в честь сестры Екатериной. Не верится, что Дантес настаивал на том, чтобы его дочь носила имя жены, Екатерина Николаевна была бы счастлива, если бы он таким образом доказал ей свою любовь. В те времена было принято называть одну из дочерей именем матери. И она как бы оправдывается перед братом, что все три девочки были названы нерусскими именами.

У нас нет никаких сведений о том, что Дмитрий Николаевич ездил в Сульц. Полагаем, что это его намерение не было серьезным. Хотя ему, вероятно, и хотелось повидать сестру, но денег на такую дорогостоящую поездку у него, конечно, не было. А главное, ему вряд ли улыбались встреча с Дантесом и Геккерном, а также неизбежные в таком случае разговоры о деньгах... Так что, вероятно, он просто хотел сделать приятное сестре и подать ей надежду на такое свидание в будущем.

Обратим внимание на упоминание о друге Пушкина С. А. Соболевском. Как пишет Екатерина Николаевна, он долгое время жил в окрестностях Сульца. Что привело Соболевского в Эльзас? Возможно, заказы машин фирме Кёхлин для его фабрик в России, а может быть, он охотился в горах, так как в окрестностях Сульца была прекрасная охота. Во всяком случае, его пребывание там вызывает несомненный интерес. Екатерина Николаевна так зло иронизирует в его адрес не зря. Не было ли у Дантеса с ним встречи? Не рассказывал ли Соболевский в Сульце о петербургских событиях в неприятном для Дантесов освещении? Весьма вероятно.

Впервые в письмах к брату Екатерина Николаевна упоминает об Александрине, и крайне неприязненно, называя ее «совершенной сумасбродкой». Что рассказывали ей русские путешественники? Не говорили ли они о том,

что, став фрейлиной императорского двора, Александра Николаевна, не желая «уронить свое доброе имя», неблагожелательно отзывалась о Дантесах? Екатерина Николаевна называет назначение сестры фрейлиной «пустяком», из-за которого нечего терять голову, но вспомним, с каким восторгом и гордостью в 1834 году она описывала Дмитрию Николаевичу более чем благосклонный прием императорской четой ее самой, только что принятой во фрейлины...*. И не случайно Екатерина Николаевна с таким нетерпением ожидает встречи со Строгановыми и Полетикой, которые, как мы уже говорили, во время петербургских событий были на стороне Дантесов и Геккерна.

В одном из последующих писем мы узнаем, что свидание в Баден-Бадене со Строгановыми и Полетикой, которые были «так милы» с Дантесами в Петербурге, состоялось. Там, конечно, они получили подробную информацию о сестрах, о родных и о том, что делается и говорится в Петербурге. Нет ничего удивительного в том, что супруги помчались в Баден: редко кто-нибудь изъявлял желание их видеть... Кавалергард Кутузов, о визите которого с таким восторгом сообщает Екатерина Николаевна, возможно, был единственным их гостем «оттуда».

«28 января 1841. Сульц[1]

В то время как я писала тебе в письме о всяких пустяках, мой дорогой друг, я совсем и не подозревала, какое ужасное несчастье могло со мной случиться: мой муж чуть не был убит на охоте лесником, ружье которого выстрелило в четырех шагах от него, пуля попала ему в левую руку и раздробила всю кость. Он ужасно страдал и страдает еще и сейчас; слава богу рана его, хотя и очень болезненная, не внушает опасения в отношении последствий, врач говорит, что это месяцев на шесть. Это ужасно, но когда я подумаю, что могла бы потерять моего бедного мужа, я не знаю, как благодарить небо, что оно только этим ограничило страшное испытание, что оно мне посылает.

Вот видишь, дорогой Дмитрий, я не могу без содрогания и подумать об ужасном несчастье, которое чуть было со мной не случилось. Нет, это было бы слишком ужасно.

Прощай, целую тебя».

---

* См.: И. Ободовская, М. Дементьев. Вокруг Пушкина, с. 263.

Письмо от 28 января 1841 года — небольшой листок, вложенный в письмо от 26 января. Написано оно наспех, под первым впечатлением. Что это? Случайный выстрел? «Чуть не был убит...» «Ружье лесника выстрелило в четырех шагах». Так ли все это было на самом деле, не скрыл ли что-нибудь Дантес, рассказывая жене об обстоятельствах ранения? Были ли они в действительности такими, как их описывает здесь Екатерина Николаевна? Кто знает...

В следующем письме, написанном через три месяца, она говорит о длительной болезни мужа, о том, что врачи дежурили при нем днем и ночью. Видимо, рана была более серьезной, чем можно судить по письму от 28 января, и круглосуточные дежурства врачей и дальнейшее лечение в Каннах свидетельствуют об этом.

Невольно вспоминается, что несколькими годами позже на охоте был убит тоже «случайным выстрелом» секундант Дантеса на дуэли с Пушкиным д'Аршиак...

«Сульц, 26 апреля 1841 г.[1]

Я начну свое письмо, дражайший друг, с того, чтобы поблагодарить тебя за хорошее письмо, а твое обещание прислать мне 5000 рублей чрезвычайно меня обрадовало; никогда деньги не были бы более кстати, я просто не знала, к кому обратиться. Длительная болезнь моего мужа, как ты сам хорошо понимаешь, стоила очень дорого. Оплатить три счета от врачей (а некоторые из них были при нем днем и ночью) это не безделица, а теперь еще курс лечения на водах, право, если ты не придешь нам на помощь, мы были бы в крайне затруднительном положении. Я тебе тем более благодарна, что прекрасно знаю о плохом состоянии твоих дел, мать мне пишет в последнем письме о новом перезакладе твоих имений. Все это очень печально, мой бедный брат, но будем надеяться, что наступит день, когда ты будешь вознагражден за все жертвы, что ты приносишь семье, и что в старости, и даже через несколько лет, ты хоть немного отдохнешь, и наконец, будешь иметь счастье восстановить состояние твоих братьев и сестер и своих детей...

Я рада была узнать о цветущем здоровье твоих сыновей, надеюсь, что скоро я смогу тебя поздравить с рождением маленькой мадемуазель Гончаровой, ты ведь знаешь, что в вашей* семье женщины очаровательны, и

* Слово «вашей» переправлено рукой Е. Н.: первоначально было «нашей». Очевидно, она не захотела обидеть жену Д. Н.

я надеюсь, что ты не захочешь уличить меня во лжи.

Сейчас моя старшая дочь мучает меня: она во что бы то ни стало хочет написать письмо, сидит рядом со мной и выводит какие-то каракули на клочке бумаги, болтает как сорока, кричит мне в ухо разные глупости, так что я даже не знаю что пишу.

Ты, кажется, беспокоишься о здоровье Лизы, надо надеяться, что ее болезненное состояние пройдет после родов, только пусть она будет очень осторожна и не делает никаких глупостей. Право, мои дорогие братья, я не знаю, что вы делаете, чтобы подобным образом разрушать здоровье своих жен, все они постоянно болеют, я полагаю, это мужья виноваты. Поэтому я считаю, что мой является образцом, так как со времени замужества я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и только цвету и хорошею.

Говорят, что жена Вани очень больна; он должен был бы отвезти ее на воды этим летом, поверь мне, это было бы ей очень полезно, хороший климат — это все. Шутки в сторону, но я, которая, как ты знаешь, всегда была довольно крепкого здоровья, ощущаю огромную разницу в этом отношении, воздух здесь такой чистый, здоровый, и потом не бывает больших морозов, что тебя хватают, едва высунешь нос на улицу, я себя чувствую тут совсем иначе, чем в России.

Что поделывают сестры? Кстати, о твоей последней поездке в Петербург: тетка Катерина говорила тебе, что я ей писала? Строгановы мне так надоедали, чтобы я это сделала, говоря, что она очень жаловалась, что с тех пор как я уехала из России, я ей совсем не писала. Я их уверяла в обратном, утверждая, что писала два раза, но никогда не получала ни строчки в ответ. В конце концов, чтобы доказать их неправоту, я вложила письмо к ней в письмо сестрам; не знаю, получила ли она его, могу сказать только, что она мне не ответила.

Как ты с твоим соседом Хлюстиным, по-прежнему в ссоре? Как ты живешь в Заводе? Иногда я переношусь мысленно к вам, и мне совсем не трудно представить, как вы проводите время, я думаю, в Заводе изменились только его обитатели. Живете ли вы в большом доме в бельэтаже, и что сделал ты с Красным домом, я надеюсь, ты его не совсем забросил, это было бы право грешно. Занимаешься ли ты своими садами? Напиши мне обо всем, и об изменениях, что ты делаешь в своих владениях, по-

тому что уверяю тебя, дорогой друг, все это меня очень интересует, может быть, больше чем ты думаешь, я попрежнему очень люблю Завод, ведь я к нему привыкла с раннего детства.

Прощай, целую от всего сердца тебя, жену и детей. Адресуй мне письма до 20 сентября в Массево, Верхний Рейн, надеюсь, что написала разборчиво. Муж чувствует себя хорошо, он уже начинает шевелить рукой, пальцы будут действовать, но они еще плохо двигаются; я надеюсь, воды его окончательно поправят. Он вас обнимает.

К. д'Антес де Г.»

«Массево, 21 июля (1841г.)[1]

Я жду твоего письма, дорогой друг, как евреи ждут Мессию. В последний раз ты мне сообщил, что в мае месяце ты дал распоряжение твоему управляющему послать мне 5000 рублей, и вот уже конец июля, а он еще ничего не сделал, потому что я не получила из этих денег ни гроша. Прошу же тебя, дорогой друг, прикажи ему еще раз, так как рассчитывая на эти деньги, мы заранее ими распорядились, и это промедление, уверяю тебя, причиняет нам большие неприятности.

Мой муж был вынужден провести курс лечения руки в Каннах, и ты понимаешь, что подобные вещи стоят немалых денег. Ради бога, дорогой друг, будь возможно более аккуратен в присылке той суммы, что ты нам задолжал, ты и не представляешь себе, с каким нетерпением я жду уплаты 5000 рублей, что ты мне обещал.

Как идут твои дела, скоро ли кончатся твои терзания? Я надеюсь, что этот год будет для тебя более благоприятный, чем прошлый, особливо в отношении урожая; доволен ли ты фабриками, ты по-прежнему заключаешь контракты с твоим лихоимцем Прянишниковым? В общем, какие новости в ваших краях?..

Я надеюсь, что здоровье твоей жены совершенно поправилось и что твои мальчики благоденствуют так же, как мои дочери, здоровье всех трех превосходно. Кажется, Ваня не так счастлив, как мы, в отношении детей, мать мне пишет, что его дочка очень слабого здоровья, и потом жена его имела несчастье родить мертвого ребенка, бедный мальчик должен быть этим очень опечален, здоровье жены должно внушать ему большое опасение; он должен был, как я слышала, везти ее за границу. В письме к матери я писала, что Мари нужно ехать в Пломбьер в Вогезах, на этом курорте специально лечат

женские болезни и головные боли. Тамошний курорт гораздо лучше германских, прежде всего потому, что жизнь там дешевле, и потом всякие игры там запрещены, никаких рулеток, а это по-моему огромное преимущество, потому что многие, даже не будучи игроками, иногда не могут удержаться чтобы не попытать счастья, русские в особенности, принимая во внимание, что это имеет для них прелесть новизны.

Напиши мне о Сереже, потому что для меня как будто его и нет в живых, я совершенно ничего не знаю о том, что он делает, по-прежнему ли он в Москве, поступил ли на службу, как проводит время? Я сомневаюсь, что он бывает в свете, так как он никогда не имел особого пристрастия к этой суете.

Бываешь ли ты хоть иногда в Москве? Расскажи мне хоть немножко, что там делается, что сталось с моими прежними подругами и друзьями? Я уверена, что из этого прежнего общества уже никого не осталось, и я не знаю ни одной живой души, если не считать княгини...*, которой, наверно, скоро будет сто лет, и прекрасной Лизы, красота которой должна уже подвергнуться влиянию времени. Что поделывают ее сестры? Напиши мне также, что сталось с моим Пиладом — Настей Щербининой. Мне много раз хотелось ей написать, но я совершенно не знаю ничего о ней. Сестры в прошлом году писали мне о Мишеле, которого они встретили по дороге в Павловск. Они были очень рады увидеться, и нашли, что он ужасно постарел. Вот уже более года я не получала писем от сестер, что они поделывают? Вот сколько вопросов, все же я надеюсь, что ты постараешься на них ответить, дорогой друг, так как все это меня по-прежнему очень интересует; несмотря на то, что я здесь счастлива, я однакож часто думаю обо всех вас.

Прощай, дорогой Дмитрий, обнимаю от всего сердца тебя и всех твоих, муж также.

Я надеюсь, милый друг, что ты не забудешь рассказать мне в твоем письме об отце. Когда увидишь его, передай ему от меня, что я очень люблю его; если бы я не опасалась причинить ему неприятность и обеспокоить, я бы с удовольствием ему написала».

«19 октября 1841. (Сульц)[1]

Я получила твое письмо вчера, дорогой друг, и хочу

---

* Фамилия неразборчива, похоже на Серазини.

тотчас же ответить, потому что если я имею несчастье запоздать с своей корреспонденцией, это приводит к тому, что проходят месяцы и я никак не соберусь с духом засесть за чернильницу.

Поздравляю вас от всего сердца с рождением малютки, в особенности я обращаюсь к Лизе, потому что для матери дочь гораздо милее, чем сын, который покидает мать, поступая в коллеж, а оттуда на службу, так что она может наслаждаться его присутствием только в течение очень немногих лет... Впрочем, у вас это затруднение (т. е. коллеж) не существует, это не то что в наших странах, где мать считает себя счастливой, если она может удержать дома сына до 12 лет, потому что воспитание в коллеже совершенно необходимо, и нет ни одной матери во Франции, которая могла бы от этого избавиться. Это меня иногда утешает в том, что у меня сначала родились девочки; я надеюсь, однако, что мне посчастливится, и как у вас на этот раз девочка, так у меня наоборот — будет мальчик.

Я очень тронута, мой славный друг, всем тем, что ты мне говоришь лестного; не скажу, что желаю вашей маленькой Катерине быть похожей на меня, как ты кажется хочешь, но я желаю, чтобы новая Катерина Гончарова впоследствии была бы так же счастлива, как предшествующая, это самое лучшее пожелание, которое я могу сделать для дорогой малютки, которую я люблю от всего сердца.

Как и все, что похоже на тебя, твой сын, как ты пишешь, шумливый и болтливый. Жаль, что он не может встретиться со своими кузинами, уж они-то в этом *не знают удержу;* я уверена, что они прекрасно поладили бы, только, может быть, они не смогли бы понять друг друга, так как мои говорят только по-французски. Матильда чрезвычайно развитая девочка, завтра ей исполняется четыре года, но по рассудительности и уму ей можно было бы дать восемь, она нас чрезвычайно забавляет своей милой болтовней. Я иногда рассказываю ей, что у нее есть в России маленькие кузины и кузены, тогда она у меня спрашивает с хитрым видом: «Мама, скажи, а эти хорошие кузены, которые в России, они щиплются?»

Не хвастаясь, могу сказать, что мои так же красивы, как и милы, и особенно что в них замечательно это здоровье: никогда никаких болезней, зубки у них прореза-

лись без малейших страданий, и если бы ты увидел моих маленьких эльзасок, ты бы сказал, что трудно предположить, чтобы из них когда-нибудь вышли худенькие, хрупкие женщины. В любую погоду, зимой и летом, они гуляют; дома всегда ходят в коротких открытых платьях с голыми ручками и ножками, никогда никаких чулок, только очень короткие носочки и туфельки, вот их костюм в любое время года. Все при виде их удивляются и ими восхищаются. У них аппетит как у маленьких волчат, едят они все, что им нравится, кроме варенья и сластей. Но я вижу, что моя материнская любовь увлекла меня и, может быть, я тебе докучаю этими подробными описаниями, но поверь мне — не изнеживай детей, чем суровее вы будете их воспитывать, тем лучше.

Поблагодари Сережу за привет, впервые за пять лет он подумал обо мне; лучше поздно, чем никогда, говорит пословица. Я думала, что Ваня за границей, но пока ничего об этом не слышно; не знаю, придет ли ему в голову приехать нас навестить, я его очень приглашала...*.

Напоминаю тебе о деньгах, пришли пожалуйста поскорее и сколько сможешь больше, я тебе буду очень признательна, поверь.

Спасибо за те подробности, что ты мне сообщаешь, потому что все меня интересует, все, что касается моих друзей, и тех мест, где я жила когда-то. Часто я на всех вас жалуюсь, говоря, что никто мне не пишет, и когда я жду писем, муж всегда насмехается надо мной, он говорит, что давно уже я должна была бы отвыкнуть их получать. Поэтому, когда приходит письмо, я прихожу сияющая к нему в комнату.

Что за странная идея пришла в голову Анастасии Щербининой поселиться в Париже? В качестве кого? Я хотела ей написать, но теперь не буду этого делать, я боюсь, как бы она в один прекрасный день не заявилась ко мне. Подожду писать, пока она не откажется от мысли ехать во Францию.

Муж и я обнимаем всех.

К. д'Антес».

«Сульц, 18 января 1842[1]

Дорогой брат, хочу обратиться к тебе с просьбой от имени моего мужа, но прежде всего должна тебя предупредить, что мне было бы очень тяжело, если бы я не

---

* Далее два слова неразборчивы.

встретила в этом отношении готовности с твоей стороны. Дело идет о поручении, которое я уже тебе давала более года тому назад и о котором ты вероятно совершенно забыл. На этот раз я убедительно прошу тебя об этом, и если ты не можешь этим заняться сам, поручи кому-нибудь, кто в этом понимает. Вот в чем дело: надлежит купить пару хороших борзых (суку и кобеля), очень высокого роста, с длинной шерстью, которые были бы хорошо натасканы на волков. Мой муж предоставляет тебе полную свободу в отношении цены, нет такой жертвы, которую бы он не принес в этом отношении. Его единственное удовольствие здесь — это охота, и несмотря на все его старания, он не может достать таких собак, а он уверен, что именно борзые лучше всего для этой охоты, вот почему он так настойчив в желании их раздобыть. К тому же он легко вернет деньги, затраченные на покупку, так как у него не будет недостатка в любителях собак, и потомство от привезенных из-за границы предков вполне все окупит.

Если в округе ты не найдешь то, о чем я тебя прошу, то в Москве это легко сделать, поручи Андрееву или кому-нибудь другому, и если хоть немного постараться, я уверена, что можно найти. Помнится, в мое время их продавали в Охотном ряду по воскресеньям и приводили целые своры к Пресненской заставе для боя с волками, и прежде чем их купить, надо, чтобы ты поручил их испытать знатоку этого дела, потому что непременно нужно, чтобы по крайней мере одна из собак показала свое уменье. В Петербурге при помощи Носова пусть их отправят с первым же пароходом в Амстердам, я тебе пришлю адрес, по которому их нужно доставить, а оттуда уже муж позаботится, чтобы они благополучно прибыли сюда.

Прошу тебя, дорогой друг,— никаких отговорок, никаких безосновательных доводов, я не желаю принимать ни один из них. Как я уже тебе сказала, если это тебе докучает, поручи кому-нибудь в Москве и сделай все возможное, чтобы порадовать моего муженька. И он в свою очередь, если только может быть тебе в чем-либо полезен, в полном твоем распоряжении, так же и я. Как только ты найдешь и купишь собак, ты мне тотчас же напишешь, не правда ли?

А теперь я поздравляю вас с новым годом, тебя и всех твоих, целую вас от всего сердца. Я надеюсь, что

вся твоя семья здорова, и сыновья и дочка, и что Лиза уже совсем поправилась от родов и готова начать все сначала, потому что и у вас тоже в этом отношении все идет ладно, ни вы ни мы ни в чем не можем себя упрекнуть.

Есть ли у тебя вести о Ване; что касается меня, я ничего о нем не слышала и не знаю даже, где он сейчас находится, однако не отчаиваюсь и не теряю надежды его увидеть, судя по тому, что пишет мне мать. Что поделывают сестры? Я не имею от них вестей с 1840 года. А любезная тетушка Катерина еще жива? По-прежнему ли она думает обо мне с любовью и нежностью?

Если Август еще у вас, дай ему поручение касательно собак, я уверена, что он выполнит его прекрасно.

Прощай, обнимаю тебя, дорогой друг, от всего сердца и умоляю выполнить просьбу, с которой я к тебе обращаюсь. Муж шлет тебе тысячу приветов.

Напоминаю тебе о деньгах».

Мысли о родных не покидают Екатерину Николаевну. Она тяжело переносит молчание отца и брата Сергея. «Часто я на всех вас жалуюсь, говорю, что никто мне не пишет...» Ранит ее самолюбие и насмешки мужа, который говорит, что давно уже она должна была бы отвыкнуть получать письма от родных. Дантес прекрасно понимал, чем вызвано такое отношение Гончаровых к жене, но ни своей, ни ее вины в петербургских событиях признать не хотел. Судя по письмам Екатерины Николаевны и самого Дантеса, он писал Дмитрию Николаевичу только о деньгах, никаких родственных писем, помимо требований уплаты задолженности, не было.

С какой любовью Екатерина Николаевна говорит о детях! Их воспитание, здоровье — предмет ее постоянных забот. Обратим внимание, что она им рассказывает о своей семье в России, показывает портреты родных. Видимо, ей хочется, чтобы те, кого она так глубоко любит, не были чужими для ее детей.

Вспоминает она и своих московских приятельниц. Лиза — это, по-видимому, известная московская красавица Елизавета Пашкова. Анастасия Щербинина — подруга юности Екатерины Николаевны. В письме от 21 июля она спрашивает о ней и даже собирается написать. Но как только она узнает, что та предполагает поселиться в Париже, Екатерина Николаевна опасается, как бы

Щербинина не приехала к ней. Почему? Надо думать, она боялась, что Щербинина станет рассказывать в семье Дантесов то, о чем ей хотелось бы умолчать: о больном отце, о матери, бросившей его, и т. д., а главное, о всех тех слухах и разговорах, которые шли в Москве по поводу гибели Пушкина. Трудно придумать иное объяснение тому, что Екатерина Николаевна не хотела, чтобы ее верный Пилад заявился в один прекрасный день в Сульц...

БАДЕН-БАДЕН. ВЕНА

1842 год был для Екатерины Николаевны годом стечения самых непредвиденных обстоятельств. В начале года (по-видимому в конце января — начале февраля) ее постигло большое горе — она родила мертвого ребенка. Мы узнаём об этом из письма Натальи Ивановны от 30 марта 1842 года к Дмитрию Николаевичу.

«Ты, возможно, уже знаешь от Кати о несчастье, которое с ней случилось: она родила мертвого ребенка, а главное — это был мальчик, которого они так страстно желали. Здоровье ее, слава богу, как будто бы хорошо; она предполагает поехать на несколько дней повидать Ваню. Ты, вероятно, знаешь о его болезни: беспокойство за состояние здоровья жены уложило и его в постель. Теперь он здоров, однако я не получила письма от него самого. Мари, которая поправляется, мне написала о его болезни, но с тех пор я не имею от них вестей»[1].

Можно себе представить переживания Екатерины Николаевны, так жаждавшей сына! К сожалению, мы не знаем, при каких обстоятельствах это произошло; нет в архиве и письма к Дмитрию Николаевичу об этом событии. Но, видимо, Екатерина Николаевна довольно быстро поправилась и в начале марта смогла поехать в Баден повидаться с братом.

Из писем, приведенных нами в первой части, известно, что Иван Николаевич выехал с больной женой за границу в июле 1841 года, но Екатерину Николаевну об этом никто не счел нужным известить, в том числе и сам Иван Николаевич. Она в нескольких письмах спрашивает Дмитрия Николаевича о брате Иване, и в течение более полугода не знает, что он уже давно находится за

границей. Очевидно, и мать не писала ей ничего определенного. Вероятно, она случайно услышала, что Иван Николаевич в Бадене, и, не рассчитывая на то, что он ее навестит, поехала туда сама вместе с мужем и двумя старшими дочерьми.

Об этом мы узнаём из обнаруженного нами письма самого Ивана Николаевича к Дмитрию, которое приводим ниже.

«Баден 25 марта/6 апреля 1841 г.[1]

Дорогой, любезный Дмитрий, я не пишу тебе сегодня длинного письма, принимая во внимание, что и без моих каракулей у тебя займет много времени чтение прилагаемых писем, которые тебя заинтересуют, вероятно, не менее, чем то, о чем я буду с тобой говорить. Случай доставил мне возможность, мой славный друг, быть тебе более полезным, чем я предполагал, в связи с одним вопросом в твоем последнем письме, и вот каким образом.

Ты возможно знаешь уже от матери, а может быть еще и не знаешь, что Катя приезжала сюда с мужем и двумя старшими девочками повидаться с нами. Вот уже две недели, как они вернулись в Сульц, пробыв с нами четыре дня. Присутствие ее мужа было мне много приятнее, чем я был к тому подготовлен. При первой встрече я поборол в себе мысль об отвращении при виде его, не желая уж очень огорчать сестру, и обошелся с ним как мог лучше, но, признаюсь тебе, дорогой друг, что это стоило мне многого. Я хотел сначала посмотреть, каковы их семейные отношения, и когда я понял, что сестра моя счастлива не на словах, а в действительности, это побудило меня, естественно, изменить мой несколько ледяной прием ее мужа на обращение более благожелательное и свободное. В самом деле, он такой же хороший муж, как и отец, и когда я вспоминаю того самого петербургского Дантеса, когда я думаю, что вот уже пять лет, как он прожил со своей женой почти что в ссылке, так как Сульц и Баден друг друга стоят в отношении скуки, я не верю своим глазам, видя как он нежен с женой и как любит своих малюток.

Итак, мы расстались добрыми друзьями, и чтобы им это доказать, я обещал приехать к ним в их поместье в первых числах июня, если бог поможет Мари восстановить свое здоровье и силы, которые до сих пор возвращаются к ней очень медленно.

Катя беспрестанно говорит о своем счастье, и только одна мысль неотступно преследует ее: никогда не возвращаться в Россию. Я это вполне понимаю после того, как увидел, как я тебе сказал, что она счастлива с мужем и своей маленькой семьей. Ее малютки очаровательны, особенно вторая, Берта, это просто маленькое совершенство. Но я чувствую, что если бы дал себе волю продолжать, мне так много надо было бы тебе обо всем этом рассказать, что наши упомянутые деловые вопросы от этого пострадали бы.

Вот о чем идет речь. В один из четырех вечеров, который я провел вдвоем с Геккерном, еще одно его качество довершило мое хорошее отношение к нему, а именно бескорыстие, с которым он говорит о деньгах. В один из этих вечеров мы затронули деловые вопросы вообще, и в частности я прочел ему твое письмо, где ты говоришь о рулонной машине для твоей фабрики, и Геккерн взялся изучить эту статью, так как недалеко от Сульца есть машиностроительный завод братьев Кёхлин, которые уже поставили много таких машин на бумажные фабрики в Германию, Францию и т. д. Я думал и опасался сначала, что наш разговор останется без последствий, и представь себе мое удивление, когда две недели спустя я получаю от Геккерна огромный конверт с всевозможными подробностями по этому делу. Спешу тебе переслать все эти документы, для меня это китайская грамота, а для тебя, может быть, солнечный луч надежды. Прочти внимательно, сообрази, подсчитай хорошенько и тогда скажи, что ты хочешь. Так как я почти уверен, что мы не уедем из Бадена до середины июля, у тебя вполне будет время для ответа, но помни, что письма идут от нас 25 дней и столько же времени обратно, так что учти это.

Как мне сказал Геккерн, твой долг им достигает сейчас 10 тысяч рублей; он делает тебе предложение, посмотри, не подойдет ли оно тебе, а именно — уплатить им эти деньги путем отправки в Голландию через нашего друга Носова столько штук полотна, сколько нужно на покрытие этой суммы. Геккерн написал об этом старику, который теперь находится в Голландии, чтобы запросить его, возможно ли это, и при нашем свидании, я полагаю, будет говорить со мной об этом, поэтому я откладываю до тех пор подробности этого дела. Впрочем, так как среди прилагаемых писем ты прочтешь также и его письмо

ко мне, мне нечего и говорить тебе по этому поводу...»

Письмо заканчивается описанием пребывания и лечения супругов Гончаровых в Бадене.

Здесь все не так просто, как кажется с первого взгляда. Иван Николаевич Гончаров был свидетелем ноябрьских событий в Петербурге. Он приезжал вместе с Дмитрием на свадьбу, но тотчас же уехал после и не встречался больше с Дантесом. Но он знал обо всех последующих событиях и из первоисточника — от Натальи Николаевны и Александры Николаевны, с которыми некоторое время жил в Заводе в 1837 году. Мы не встречаем ни одного упоминания в письмах Екатерины Николаевны о том, что она получила письмо от брата Ивана, значит, он ей не писал. Не хотел он встречаться и с Дантесом ни в Сульце, ни в Бадене, и этим объясняется тот факт, что Екатерина Николаевна долго не знала о том, что брат находится так недалеко от них. Но он предвидел возможность появления Дантесов в Бадене и как-то внутренне к нему подготовился.

К чести Ивана Николаевича надо сказать, что свое отношение к Дантесу он определил словом «отвращение», но, к сожалению, не остался последовательным до конца. Ради сестры он при первом свидании поборол себя и был сдержан, «...но, признаюсь тебе,— пишет он Дмитрию,— что это стоило мне многого». Письмо Ивана Николаевича еще раз подтверждает, что все Гончаровы, несмотря на уверения Екатерины Николаевны в своем счастье, *не верили этому*. Иван Николаевич прямо говорит, что хотел убедиться, *«не на словах,* а в действительности» в том, что сестра счастлива в браке.

Чем же объяснить, что Иван Николаевич так легко поверил в «счастье» сестры, так быстро изменил свое отношение к Дантесу? Перед ним был разыгран, и, несомненно достаточно искусно, спектакль, изобилующий сценами супружеского счастья. Вспомним здесь, что в свое время в Петербурге, бывая у Екатерины Николаевны после свадьбы, Александра Николаевна быстро разгадала, что под внешней веселостью сестры таится печаль, которую она пытается скрыть. «Она слишком умна и слишком самолюбива, — говорит Александра Николаевна,— и старается ввести меня в заблуждение». Несомненно, и теперь Екатерина Николаевна хотела ввести в заблуждение брата, и не столь проницательный, как Александра Николаевна, простодушный Иван Николае-

вич тогда поверил в счастье сестры и в чувства Дантеса. Надо сказать, что Дантес еще в петербургский период отличался необыкновенным умением располагать к себе людей и, конечно, сделал все возможное, чтобы изменить отношение к нему шурина. Надо думать, что при разговоре наедине Дантес старался уверить его (как в свое время и Андрея Карамзина) в своей невиновности, убедить в том, что к ним относятся несправедливо, что им так тяжела «ссылка» в Сульце, а ему, Дантесу, вынужденная бездеятельность, и так далее и тому подобное. Несомненно, повлияла на Ивана Николаевича и жена, Мария Ивановна, которую, вероятно, очень легко очаровал Дантес. И конечно, сыграли свою роль дети, для этого они и были привезены в Баден! Все Гончаровы очень любили детей, и Дантес выиграл эту ставку — встреча с прелестными племянницами расстрогала Ивана Николаевича. Большое значение имело и то, что предложение Дантеса в отношении печатной машины снимало с Гончарова скучную и неприятную для него обязанность выполнять поручение брата, тем более что все это было для него «китайской грамотой»!

Но наивность Ивана Николаевича в отношении «бескорыстия» Дантеса просто удивительна! И предложение содействовать заказу машины (тогда предприятия Дмитрия Николаевича будут работать лучше), и посредничество в отношении продажи полотна (обратим внимание, что Дантес уже написал об этом Носову), а также разыгранная семейная идиллия — все это имело целью так или иначе выжать деньги с Гончаровых, так что ни о каком бескорыстии и речи быть не может.

Как ни странно, но о сестре Иван Николаевич пишет очень мало. «Катя беспрестанно говорит о своем счастье, и только одна мысль неотступно преследует ее: никогда не возвращаться в Россию». Но истинное счастье не нуждается в том, чтобы о нем говорили беспрестанно. Поведение Екатерины Николаевны не должно нас удивлять: оно диктовалось присутствием Дантеса, а также настойчивым желанием показать брату, а через него и всем родным, что она любима мужем, ни в чем не раскаивается, ни о чем не жалеет, в том числе и о родине (к которой где-то в глубине души, по ее же словам, она хранит самую большую любовь!). У нее не было иного выхода... Это еще раз подтверждает, что то, что́ она говорит и что́ чувствует на самом деле,— не одно и то же,

О многом умалчивает и Иван Николаевич, оставляя это до личного свидания: «...Мне так много надо было бы тебе обо всем этом рассказать...» — говорит он.

Как реагировали на эту встречу мать и Дмитрий Николаевич, мы узнаем из письма Натальи Ивановны из Яропольца от 21 апреля 1842 года[1]:

«...Я получила вести от Вани и Мари, оба хотя еще и слабы, но начинают поправляться. Их свидание с Катей состоялось, и хотя ее сопровождал муж, все прошло дружески и приятно. Мари очень хвалит Катю и хорошо отзывается о Геккерне. Она мне пишет, что если бы не ее болезнь, она бы самым приятным образом провела те четыре дня, что Катя и ее муж были у них. Они привезли с собой двух старших девочек, Матильду и Берту. Ваня и Мари очарованы их малютками, они очень милы и необыкновенно хорошенькие. Признаюсь тебе, их свидание, прошедшее хорошо с обеих сторон, мне доставило большое удовольствие...»

Приписка

«В тот момент, когда я собиралась запечатать письмо, пришла твоя посылка. Я тебе бесконечно благодарна за внимание. Ты мне пишешь о свидании Кати и ее мужа с Ваней и Мари. В своем письме я тебе сообщила эту же новость и от глубины души разделяю твое удовлетворение благополучным исходом их свидания. Я очень горжусь тем, что моя крестница Берта такая хорошенькая. Да будет господь милостив ко всем им, таково мое желание».

И Наталья Ивановна, и Дмитрий Николаевич знали об отношении Ивана Николаевича к Дантесу, о том, с каким настроением он ехал за границу, поэтому возможная его встреча с ним внушала им большие опасения. Они боялись ссоры, скандала, а может быть, принимая во внимание его вспыльчивый характер, и чего-нибудь худшего. Поэтому благополучно прошедшее свидание («хотя ее сопровождал муж», обратим внимание на это «хотя») успокоило их. Наталья Ивановна, несомненно, очень жалела дочь и старалась морально поддержать ее в трудной ее жизни, ей хотелось, чтобы, хотя бы внешне, все было хорошо. Вероятно, поэтому она любезно относилась в своих письмах к Екатерине Николаевне и к Дантесу — ради дочери. Но об истинном его к жене отношении она *знала*, о том свидетельствует, как мы увидим далее, одно из ее писем.

Вернувшись в Сульц, Дантес получил необходимые сведения у машиностроительной фирмы Кёхлин относительно заказа для Гончаровых, и уже 1 апреля послал Ивану Николаевичу в Баден подробнейшее письмо.

«Сульц, 1 апреля 1842 г.[1]

Любезный друг, посылаю вам, как мы условились, все возможные сведения, касающиеся рулонной машины. Вы можете быть уверены, что я долго беседовал с этими господами, которые, несомненно, имеют самое большое предприятие этого рода на всем континенте. Я постарался узнать все подробности, которые могли бы быть полезны Димитрию. Искусство изготовления бумаги сделало такие успехи в Европе, что рулонная машина стала наилучшей как по количеству, так и по качеству, без которой любому фабриканту невозможно производить товары хоть с какой-либо выгодой. За полтора года промышленники моего департамента заказали 9 машин этой фирме и, несмотря на ее стоимость, получают большие прибыли. Кроме того, вот еще сведения, которые очень важно, чтобы вы сообщили своему брату: г-н Кёхлин говорит, что в России производят только треть той бумаги, которую она потребляет, две остальные трети ввозятся из-за границы; он делает из этого вывод, что положение русского фабриканта, который мог бы выпускать хороший товар, могло бы быть очень выгодным.

Великий секрет промышленности — производить много и быстро, по той простой причине, что издержки тогда уменьшаются, распределяясь на бóльшее количество товаров, но тут-то как раз и находится препятствие для русских промышленников, потому что у них работают только крепостные, и также потому, что православная религия имеет большое количество праздников, когда работы не производятся. Отсюда неисчислимая потеря времени для фабриканта. Вот тот совет, который мне поручили вам дать, если ваш брат решит заказать эту машину. Непременно надо было бы, чтобы Димитрий нанял в немецких провинциях человек десять рабочих-протестантов (этого количества достаточно для работы машины), которые не праздновали бы никаких праздников и работали бы круглый год. Вы увидите также, что в подробном письме насчет машины мне было предложено взять мастера; так как эти машины мало известны в России, я подумал, что специальный человек был бы необходим, поэтому я просил сообщить, каково будет его

жалованье, а также и инженера, который во всяком случае должен сопровождать машину для ее монтажа.

Впрочем, Димитрию для того, чтобы иметь самые точные сведения о качестве машин, которые поставляют Кёхлины из Мюльхауза, надлежит только обратиться к Соболевскому и Мальцеву, которые делали заказы этой фирме.

Вот, любезный Жан, все сведения, что я мог получить, и будьте уверены, что я занимался этим делом с большим удовольствием, и если оно уладится, я надеюсь, это даст Димитрию то благосостояние, которого я ему желаю от глубины души. Я забыл вам сказать, что для изготовления подобной машины нужно три месяца, так что Димитрий не должен терять времени, если он хочет сделать заказ, чтобы успеть воспользоваться навигацией этого года.

Я получил сегодня письмо из Парижа. Барон де Геккерн взялся вам заказать рисунок красивого тильбюри* у одного из лучших каретников столицы; он также написал в Амстердам относительно полотна, и как только я получу ответ, я вам его пришлю. Поручение вашей жены исполнено и уже отправлено. Признаюсь вам, что я взял это на себя, я не хотел предоставить удовольствие Катрин оказать ей эту маленькую услугу, так мне хочется сохранить место в ее хороших воспоминаниях. Малютки много говорят о баденских дяде и тете, я их успокаиваю, обещаю, что они их увидят этим летом; я думаю что вы по-прежнему имеете такое намерение, чтобы я мог сдержать обещание, данное мною моим дочерям.

Катрин целует вас и вашу жену, и я делаю то же в отношении вас и прошу вас принести к ногам вашей супруги мои самые теплые чувства.

Б-н Ж. де Геккерн».

Считая, очевидно, братьев Гончаровых полными невеждами в коммерческих делах, Дантес раскрывает перед ними «великие секреты» промышленности с одной-единственной целью — во что бы то ни стало выжать из них «причитающиеся» ему деньги. Он всячески старается угодить Ивану Николаевичу и его жене, рассыпается в любезностях, с целью поддержать благоприятное впечатление от их визита в Баден. Очень красивый мужчина, по-видимому, он произвел впечатление на Марию Ива-

---

* Тильбюри — род экипажа.

новну, прекрасно это понял и играет на этом. Угодничество его поистине внушает отвращение. Он даже вовлек в это дело и барона Геккерна, надо полагать — без ведома Гончаровых, написав ему относительно тильбюри и полотна.

Но вот Дантесы уехали, первое впечатление рассеялось, и Иван Николаевич, может быть, и пожалел, что так дал себя увлечь. Во всяком случае, в Сульц он не поехал и не ответил Екатерине Николаевне на письмо, как мы увидим далее. И последующие письма его к Дмитрию Николаевичу касательно денежных расчетов с Дантесом носят уже совсем другой характер:

«Баден, 3/15 июня 1842[1].

Твои два письма лежат у меня на столе, дражайший Дмитрий, они меня опечалили, в особенности последнее. Бедный брат, какое мученье твоя жизнь в вечных хлопотах, когда же наступит день, который распутает все затруднения, что тебя окружают... Я пошлю оба твои письма Катерине, чтобы она и ее муж, а также и старик Геккерн хорошенько поняли, что не нежелание с твоей стороны, или какая-нибудь иная причина, виною тому, что ты неаккуратен в выплате им денег, а только плохое состояние твоих дел...»

«Ильицыно, 13 февраля 1843 г.[2]

Я получил твое письмо, дорогой, добрый Дмитрий, с бумагой, касающейся моей сестры Геккерн. Я просто в восторге, что познакомился с ее содержанием. Таким образом, дело совершенно ясно, и я тебе очень советую, когда ты будешь ей писать, вложи в свое письмо копию с этого документа и приложи перевод на французский язык, чтобы семейство хорошенько ознакомилось с тем, что там говорится. Тем самым ты поставишь преграду всяким их требованиям, которые могут быть ими предъявлены и которые не будут соответствовать тому, что написано в документе».

Как мы видим, тон этих писем совсем иной. Обратим внимание, что Иван Николаевич называет Екатерину Николаевну «моя сестра Геккерн» и выражает свое удовлетворение, что прилагаемый документ положит конец претензиям «семейства».

Все ухищрения Дантеса добиться уплаты денег ни к чему не привели. «Документ» — это очевидно подробный отчет о состоянии дел Гончаровых, который составил Дмитрий Николаевич и послал Екатерине Николаевне

через Наталью Ивановну. Сделано это было намеренно, чтобы и мать в своем письме подтвердила тяжелое положение дел семьи. Взбешенный тем, что Гончаровы не обратились к нему непосредственно, а главное — потеряв надежду на уплату долга, Дантес разразился длиннейшим злобным письмом. Оно представляет разительный контраст с письмом к Ивану Николаевичу и еще раз подчеркивает лицемерие этого человека.

«Массево, 11 июля 1843 г.[1]

Любезный Димитрий,

Так как бумага, которую вы послали Катрин через госпожу вашу матушку касается только деловых вопросов, и так как моя дражайшая славная жена в них совершенно ничего не понимает, я счел уместным ответить сам, чтобы изложить вам мои соображения.

Я прочел с самым большим вниманием подробный отчет о состоянии ваших дел и, вспоминая различные разговоры, которые у меня были с Жаном* по этому предмету, я вижу, что, хотя он и описал это положение в очень мрачных тонах, он, к несчастью, был весьма далек от печальной действительности.

Скажу вам откровенно, что положение вашей сестры самое плачевное; не желая сейчас начинать с вами спора по тем статьям, которые, как вы утверждаете, изложены в бумаге, что вы мне прислали, я буду говорить только о содержании, которое вы должны выплачивать Катрин, совершенно определенном обязательстве, взятом вами во время моей женитьбы, когда ваше состояние было уже так же расстроено, как и теперь. Поэтому замечу вам, что для такого человека, как вы, привыкшего к коммерческим сделкам, и который, следовательно, должен понимать значение обязательств, вы действовали в отношении меня весьма легкомысленно. Действительно, зачем предлагать мне то, что вы не хотели мне давать? Бог свидетель, однако, что, женясь на вашей сестре, я имел более благородное чувство в душе, нежели деньги! Кроме того, вы должны помнить, что это вопрос, который я лично даже не хотел обсуждать; но поскольку обязательство было взято, я счел себя вправе на него рассчитывать; отсюда мои затруднения.

Я изложу вам наше положение с полной откровенностью и предоставлю вам судить о нем! После нашего

---

* Жан — Иван Николаевич.

возвращения во Францию Барон, чтобы дать мне занятие, поручил мне управление частью своих имений, кроме того, он мне предоставил сумму в ...* на обзаведение и содержание семьи; естественно, в эту сумму входили и пять тысяч Катрин. Теперь, поскольку этой суммы нам недоставало с крайне огорчительным постоянством, а я не хотел ни в чем ограничивать комфорта, к которому привыкла моя славная Катрин, и так как щедрость барона де Геккерна мне это позволяла, я затронул капиталы, которые были мне доверены, рассчитывая позднее покрыть дефицит, когда ваши дела позволят вам уплатить задолженность, в чем, впрочем, Жан неоднократно меня заверял, и вот в качестве утешения я получаю отчет о состоянии ваших дел. Мое положение становится крайне затруднительным. Что же я должен делать? Не могу же я послать этот отчет в Вену, поскольку я всегда заверял Барона, во всех моих письмах, что ваши дела идут лучше и что, следовательно, мне заплатят, потому что вы должны не сестре, а Барону, который все время выплачивал ей содержание, так что до сих пор она еще никогда не ощущала последствий вашей неаккуратности.

Признаюсь вам откровенно, что мой здравый смысл отказывается понимать, как можно сохранять поместья, когда они столь непомерным образов заложены и перезаложены? Не знаю, любезный друг, как вы ведете дела в вашей стране, но мне прекрасно известно, что во Франции, чтобы спасти остатки подобного состояния, был бы только один способ: продать. Действительно, помимо того, что вы живете в постоянных хлопотах и беспокойстве, основная часть ваших доходов уходит на уплату процентов.

Я даю вам совет, потому что вижу по вашему собственному отчету, что он выполним: поскольку вы продали Никулино — вы можете продать и остальные земли. Но прежде всего, любезный Димитрий, не поймите превратно размышления, которыми я заканчиваю свои советы: я знаю хорошо, что вы живете в трудах и беспокойстве с единственным и благородным желанием придти на помощь братьям и сестрам, и что, несмотря на это вам не удается достигнуть благоприятных результатов. Боюсь, что все это происходит от неправильно понятых стараний ведения дел.

* В подлиннике сумма не указана.

Я не хочу брать в качестве примера того, что можно видеть на землях, купленных Жаном. Он мне двадцать раз рассказывал, что его имение приносит ему тридцать с чем-то тысяч рублей дохода в год! Это увеличение 100 на 100 — я видел эту цифру в письмах, адресованных Катрин в период этой продажи (тогда как эта земля давала только от 12 до 15 тысяч рублей, когда она была в ваших руках), — может быть только следствием хорошего управления. Но я ставлю себя на ваше место и утверждаю, что с самым наилучшим усердием в мире почти невозможно успешно заниматься своими имениями и одновременно иметь на ходу такое предприятие, как ваше.

Не могу не возвратиться опять к тому же вопросу: полное прекращение вами присылки денег. Если бы это было вам фактически невозможно, я бы не настаивал, но ваш отчет доказывает мне обратное. Я вижу в статье «обязательные расходы» 10 000 рублей для моего отца*, нет ничего более справедливого, затем в статье «содержание отдельным лицам — 27 500 рублей» значитесь вы, ваши два брата и Александрина; среди вас должна быть распределена эта сумма, но самая простая справедливость требовала бы, чтобы она была разделена на 5 частей, а не на 4, тогда Катрин имела бы хоть что-нибудь, потому что, поймите бога ради, у нас будет четверо детей, а у вашей сестры даже не на что купить себе шпилек! А так как я прекрасно знаю, что вы слишком справедливы, чтобы не понимать, насколько обоснованны мои требования, я вам предлагаю соглашение, которое могло бы устроить всех. Что помешало бы вам, например, в обмен на официальную бумагу от вашей сестры, по которой она бы отказывалась от отцовского наследства, признать за нею сумму в...** как спорную между вами, а затем включить ее в число ваших кредиторов. В случае если для доведения этого дела до конца нам понадобился бы представитель в России, князь Лев Кочубей, с которым я остался в дружеских отношениях, взялся бы, я в этом уверен, вести с вами переговоры. Таким образом, вы обеспечите будущее Катрин, что я в настоящее время не могу ей гарантировать; я не имею даже возможности сделать в ее пользу завещание, не имея еще ничего положительного, лично мне принадле-

* Л. Геккерна.

** Сумма в подлиннике не указана.

жащего. Мой отец*, слава богу здоров; он мне предоставляет только квартиру и стол; Барон, будучи в отношении нас неизменно щедрым, — остается хозяином капитала, так что если меня не станет, что, надеюсь, не случится, но что возможно, Катрин будет всецело зависеть от опекунов моих детей.

Я кончаю, любезный Димитрий, умоляя вас принять во внимание мои требования и прочесть мое письмо с тем же расположением, какое диктовало мне его, то есть с твердым желанием примирить все интересы, не нанося никому ущерба.

Прошу вас засвидетельствовать мое почтение вашей жене, а вас — принять выражение моих самых сердечных чувств.

Б. Ж. де Геккерн».

Что можно сказать по поводу этого письма? Дантес издевается над Дмитрием Николаевичем совершенно открыто, упрекая его в неумении вести дела. Констатируя «печальную действительность», он тем не менее настойчиво, бесцеремонно требует уплаты долга. В свое время в Петербурге, перед свадьбой, Дмитрий Николаевич обязался выдавать сестре ежегодно 5000 рублей содержания, его к тому вынудили, как мы уже говорили, обстоятельства. Но обратим внимание на слова Дантеса, что он лично денежные вопросы *тогда* даже не хотел обсуждать, что им руководили при заключении брака совсем другие чувства. Кто может поверить в это? По-видимому, он потому не принимал участия в выторговывании этих денег, что предоставил все Геккерну. В письме Екатерины Николаевны к брату от 19 января 1837 года, уже после свадьбы, мы читаем: «...ты сказал Тетушке, а также Геккерну, что будешь мне выдавать через Носова 5000 в год», «...как добрый брат и честный человек ты не нарушишь свое обязательство Геккерну». Все это еще раз подчеркивает двуличность Дантеса. Обращает на себя внимание, что сумму в 27 500 рублей он предлагает разделить не на 4, а на 5 частей, включив Екатерину. При таком расчете исключается Наталья Николаевна, а мы полагаем, что в отчете значилась и эта семья, но Дантес самым наглым образом делает вид, что она вообще не существует.

Что касается увеличения доходов вдвое в имении

* Дантес-старший.

Ивана Николаевича, то по этому поводу Наталья Ивановна, которой Дмитрий Николаевич переслал письмо Дантеса, потом писала, что это имело место всего один раз, когда был очень большой урожай и Иван Николаевич продал много хлеба. Так что ни о каком «хорошем управлении» здесь и речи быть не могло. Однако, видимо, Иван Николаевич похвастался своими «хозяйственными талантами» перед шурином, а тот не замедлил подхватить, чтобы лишний раз уколоть Дмитрия Николаевича.

Но особенно отвратительное впечатление производит та часть письма, где Дантес пишет о «плачевном положении» Екатерины Николаевны. Надо уж окончательно потерять совесть, чтобы писать так о своей жене и так нагло лгать. Заверяя Дмитрия Николаевича, что, когда он женился, им руководили только благородные чувства, Дантес, однако, считает, что содержать его жену должны Гончаровы. В чем же заключается плачевность положения Екатерины Николаевны? В том, что деньги на ее содержание давал Геккерн? Дантес говорит, что у его жены нет денег даже на шпильки. Что же, вручив ей следуемую сумму в счет пресловутых пяти тысяч, они потом ее отбирали? Не мудрено, что все это глубоко ранило самолюбие Екатерины Николаевны и внушало ей отвращение.

Прежде чем перейти к следующим письмам, охарактеризуем вкратце ту обстановку, в которой они были написаны. Старик Геккерн, вынужденный после петербургских трагических событий оставить свой пост в России, в течение пяти лет находился в опале, не у дел. Приведем небезынтересную выдержку из статьи Л. Гроссмана, относящуюся к описываемому периоду.

«Только в 1842 г. барон фон-Геккерн был аккредитован при венском дворе... Положение его в венском дипломатическом кругу было достаточно щекотливо: во главе австрийского правительства находился его бывший петербургский коллега Фикельмон, семья которого относилась к Пушкину с чувством искренней дружбы. В Вене в начале 40-х годов служили при посольствах петербуржцы 1837 года, в известной мере прикосновенные к знаменитой дуэли, — Медженис и Гагарин. Не удивительно, что новый посол некоторое время мало показывался среди своих коллег»[1].

Граф Фикельмон в течение многих лет занимал пост австрийского посла при русском дворе. Жена его, Дарья Федоровна, дочь приятельницы Пушкина Е. М. Хитрово, высоко ценила и любила Пушкина, часто бывавшего в салоне Фикельмонов. И в письмах и в дневнике Пушкина мы встречаем нередко упоминания о Дарье Федоровне. В книге Н. А. Раевского «Портреты заговорили» приводится много новых сведений о Д. Ф. Фикельмон.

Упоминаемые Л. Гроссманом Медженис и Гагарин прикосновенны, как он говорит, к трагическим событиям дуэльного периода. Артура Меджениса, советника английского посольства, Пушкин просил быть секундантом в январе 1837 года, но он отказался. Князь И. С. Гагарин, как известно, подозревался в составлении пасквиля, полученного Пушкиным в ноябре 1836 года. Впоследствии он навсегда уехал за границу, а в августе 1843 года, приняв католичество, вступил в орден иезуитов.

В Вене барон Геккерн был принят очень сухо. Он избегал бывать в свете, и венское общество не стремилось принимать дипломата, столь скомпрометировавшего себя в недавнем прошлом. Особенно враждебно, по-видимому, относились к нему члены русского посольства: есть сведения, что русский посол не захотел быть на дипломатическом обеде, куда был приглашен Геккерн. Однако все это не смутило барона, и он смело бросил вызов Вене, пригласив к себе на всю зиму Дантеса с семьей.

К этому времени и относятся два последних, чрезвычайно интересных письма Екатерины Николаевны, обнаруженные нами в архиве Гончаровых.

«Вена, 1 ноября 1842 г.[1]

Дорогой друг, твое письмо пришло только несколько дней тому назад, так как мне его переслали в Вену, и по этой причине я задержалась с ответом. Я с радостью вижу, что ты и все твои здоровы; к несчастью ты не можешь мне сказать ничего хорошего о своих плачевных делах. Поверь, милый друг, что я искренне сочувствую тебе во всех твоих мучениях, и я против своего желания касаюсь этого вопроса. Ты сам знаешь, дорогой друг, что на конец года ты мне должен 15 тысяч, и, к сожалению, я нахожусь не в таком положении, чтобы потерять подобную сумму.

Но довольно об этом предмете, столь мало приятном для нас обоих, поговорим о другом. Вот мы обосновались в Вене на зиму, но, если говорить откровенно, скажу те-

бе, что сейчас, когда мое любопытство удовлетворено, я была бы счастлива вернуться домой. Вена красивый город, но жизнь здесь настолько отличается от той, которую я привыкла вести, что мне тут не очень нравится. Впрочем, я думаю, для того, чтобы пребывание здесь было приятным, надо быть здешним уроженцем и любить свет, а так как я не являюсь первым и ненавижу второе, я нигде не бываю более счастлива, чем в своих горах, по которым я вздыхаю от всего сердца.

Мы умоляли Барона разрешить нам не бывать в большом свете, на что он дал согласие, и потому ведем очень спокойный образ жизни и делаем все возможное, чтобы иметь как можно меньше знакомств. Я встречаюсь ежедневно с Натой Фризенгоф и нахожу, что она очень милая и добрая женщина, муж ее также очень приятный человек. Это от них я узнала о смерти Тетушки*, так как никто мне об этом не сообщил. Я написала тетушке Софи**, чтобы выразить ей свое соболезнование. Кажется, Тетушка оставила все состояние своей сестре***. Этого следовало ожидать. Натали пишет Френгофам, что тетушка Софи была очень щедра в отношении ее и отдала ей все вещи, а также мебель и серебро покойной. Кроме того, как говорят приехавшие из Петербурга, тетушка Софи должна ей передать поместье в 500 душ под Москвой, это превосходно.

Напиши мне о Ване, где он? По приезде сюда я ему написала в Баден, но, к несчастью, забыла ему сказать, что для того, чтобы письма дошли до меня в Австрию, надо их оплатить на границе; так что я уверена, что прежде чем уехать из Бадена, он мне написал, как мы условились, но что письмо по этой причине до меня не дошло.

Прощай, мой добрый, славный Дмитрий, нежно целую тебя и твоих, пиши мне почаще. Муж шлет всем тысячу приветов».

«Вена, 5 января 1843 г.[1]

Я начну с того, дорогой и добрейший друг, что пожелаю тебе хорошего и счастливого во всех отношениях нового года. Что касается твоего семейного счастья, я думаю, я не могла бы тебе пожелать ничего, кроме про-

---

* Е. И. Загряжская умерла летом 1842 года.
** Тетушка Софи — С. И. Местр.
*** С. И. Местр.

должения той же жизни, которая не оставляет желать лучшего. К несчастью, судьба не относится к тебе так же благосклонно в денежных делах. Дай бог, чтобы тебе удалось разрубить гордиев узел, столь несчастливо и столь искусно завязанный нашим покойным дедом. Наверное, он даже и на том свете должен разделять страдания и твои и всей своей семьи, да будет ему земля пухом! Я желаю этого от глубины души, но иногда, право, невозможно не думать с горечью о его вине перед нами.

Я уверена, что тебе иногда докучают мои письма, что касается меня, то заверяю тебя, что каждое письмо, в котором я тебе пишу о делах, — для меня настоящая пытка. Я понимаю, что это ужасно, что тебя со всех сторон тянут, как свои, так и чужие, и все из-за этого презренного металла, который не дает счастья, но который, однако, чрезвычайно ему способствует.

Уже целую вечность я не получала вестей о вас, напиши мне о себе, о жене и детях. Видел ли ты Ваню, как здоровье Мари? Я давно уже жду от них писем. Как живет несчастный Сережа и его фурия?

Я имею иногда вести о сестрах через Нату Фризенгоф, которая их получает от тетушки Местр. Они здоровы, но я узнаю с сожалением, что более чем когда-либо они погрязли в обществе, которое Натали должна была бы упрекать во многих несчастьях и которое и теперь для нее может быть только чрезвычайно пагубным. Это не только мое мнение, но и мнение многих людей, искренне к ним привязанных. Смерть тетушки Катерины несчастье для них, потому что она отстраняла их, как только могла, от этого отвратительного общества Карамзиных, Вяземских и Валуевых, и она хорошо знала — почему.

Я веду здесь жизнь очень тихую и вздыхаю по своей эльзасской долине, куда рассчитываю вернуться весной. Я совсем не бываю в большом свете, муж и я находим это скучным; здесь у нас есть маленький круг приятных знакомых, и этого нам достаточно. Иногда я хожу в театр, в оперу, она здесь неплохая, у нас там абонирована ложа. Я каждый день встречаюсь с Фризенгофами, мы очень дружны с ними. Ната очень милая, занимательная, очень веселая и добрая женщина. Она много бывает в свете и придает большое значение тому, чтобы занимать там хорошее положение; она права, так как в конце

концов она австрийка, обожает Вену, как я Францию!

Мой муж уехал в Эльзас 23 числа прошлого месяца. Он был вынужден туда поехать, потому что недавно он был избран членом Генерального совета департамента Верхнего Рейна, вместо отца, ушедшего в отставку. Этот внезапный отъезд меня очень огорчил; отсутствие Жоржа не будет длиться и трех недель, но нам обоим кажется, что это ужасно долго, и мы считаем часы и минуты. Но через несколько дней этому конец! Вот как думают и говорят супруги через шесть лет после того, как они поженились.

Барон просит передать тебе привет, а я целую вас от всего сердца, тебя и всех твоих».

Получив после длительного вынужденного перерыва важный дипломатический пост посла при венском дворе, Геккерн вновь, как и в 1833 году в Петербург, потащил за собой Дантеса. Он, вероятно, надеялся, что все уже забыто и красавец Дантес получит доступ в великосветские круги Вены и будет снова орудием в его негласной «дипломатической деятельности». И Дантес, несомненно, рассчитывал, что он вновь сможет начать делать карьеру. Но оба они просчитались — двери салонов Вены оказались для Дантеса закрытыми.

Приведем чрезвычайно показательный в этом отношении отклик графини Д. Ф. Фикельмон на появление Дантеса в Вене: «Мы не увидим госпожи Дантес, она не будет бывать в свете и в особенности у меня, так как она знает, что я смотрела бы на ее мужа с отвращением. Геккерн* также не появляется, его даже редко видим среди его товарищей. Он носит теперь имя барона Жоржа де Геккерна»[1]. Опять то же слово — *отвращение*, что мы уже встречали в письме Ивана Николаевича!

Не бывал у графини и Луи Геккерн. В свое время в Петербурге она так отозвалась о нем: «...Лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь его считают шпионом г-на Нессельроде — такое предположение лучше всего определяет эту личность и ее характер»[2].

В своих воспоминаниях Фридрих Боденштедт, известный знаток русской литературы и переводчик, очень резко и неприязненно отзывается о Луи Геккерне, о встрече с ним в более поздние годы.

«Случай свел меня со старым бароном Геккерном в

---

* Жорж Дантес.

середине шестидесятых годов в Вене. Я встретил его у баварского посланника графа Брея, которому я нанес визит, но наша встреча была крайне непродолжительной; самый звук моего имени, произнесенного при представлении, казалось, отпугивал старого грешника, которому, как это я узнал позже от графа Брея, не осталось неизвестным мое упоминание о нем в предисловии к моему переводу Пушкина. Мне, однако, было очень любопытно посмотреть на него. Он держал себя с той непринужденностью, которая обыкновенно вызывается богатством и высоким положением, и его высокой, худой и узкоплечей фигуре нельзя было отказать в известной ловкости. Он носил темный сюртук, застегнутый до самой его худой шеи. Сзади он мог показаться седым квакером, но достаточно было заглянуть ему в лицо, еще довольно свежее, несмотря на седину редких волос, чтобы убедиться в том, что перед вами прожженный жуир. Он не представлял собой приятного зрелища с бегающими глазами и окаменевшими чертами лица. Весь облик тщательно застегнутого на все пуговицы дипломата, причинившего такое бедствие своим интригантством и болтливостью, производил каучукообразной подвижностью самое отталкивающее впечатление. Духовное ничтожество Геккерна явствует из письма, написанного им Пушкину незадолго до дуэли между этим последним и его приемным сыном»[1].

Приведенные выше письма Екатерины Николаевны отражают тот остракизм, которому подверглась чета Дантесов и через шесть лет после гибели Пушкина. Не удивительно, что пребывание в Вене при таком отношении великосветского общества к Дантесу, Геккерну и к ней так тяготит Екатерину Николаевну, и ей хочется скрыться подальше от людей в своих эльзасских горах. Она опять, как и в Париже, пытается скрыть от брата, что их нигде не принимают. Единственным домом, где Дантесы могли бывать запросто, был дом Фризенгофов. В силу родственных связей Наталья Ивановна не могла отказать Екатерине Николаевне в дружественных отношениях, но вряд ли приглашала Дантесов на свои званые вечера из опасения повредить карьере мужа.

Как мы видим, Екатерина Николаевна получала вести о родных через Наталью Ивановну Фризенгоф, а та в свою очередь писала в Петербург, и, вероятнее всего, как мы уже говорили, именно от нее исходят те сведения

о Дантесах, которыми располагала семья Гончаровых.

Екатерина Николаевна говорит, что писать брату о делах, то есть о деньгах, для нее «настоящая пытка». Обратим внимание, что это искреннее признание делается в отсутствие Дантеса. Это еще раз подтверждает, что именно они заставляли ее беспрестанно напоминать о деньгах.

В этих письмах Екатерина Николаевна совершенно не упоминает о детях, болезненно переживает отсутствие Дантеса. Все это говорит о ее угнетенном состоянии, ее единственное желание — поскорее покинуть Вену. В это время она уже была беременна пятым ребенком. Очевидно, весной Дантесы вернулись в Сульц.

Нельзя пройти мимо той части письма от 5 января, где Екатерина Дантес говорит о Карамзиных, Вяземских и Валуевых. А надо сказать, что все они близкие родственники, так как князь Петр Андреевич Вяземский — родной брат Екатерины Андреевны Карамзиной, вдовы историка, а Мария Валуева — дочь Вяземского; весною 1836 года она вышла замуж за камер-юнкера П. А. Валуева. Эта пара была неизменной участницей всех карамзинских вечеров и увеселительных прогулок молодежи.

Живя за границей и не будучи никак связанной с Вяземскими и Карамзиными, Екатерина Николаевна говорит резко и свободно, не опасаясь каких-либо последствий. Но следует ли относится к ее словам с доверием? Не продиктованы ли они ее личными чувствами? Несомненно, личный оттенок здесь чувствуется. В свое время, в 1837 году, Софья Николаевна писала брату Андрею (и, надо полагать, не делала из этого секрета в карамзинском салоне), что Дантес женится, не любя Екатерину[1], а Александр Карамзин писал ему же, что она сошлась с Дантесом до брака[2]. При появлении четы Дантесов в Вене разговоры об истории гибели Пушкина, конечно, возобновились, и отголоски их доходили до Дантесов. Не случайно, нам кажется, Екатерина Николаевна подчеркивает в письме к брату, что Жорж считает часы и минуты до возвращения к ней и что и через шесть лет взаимная любовь их не угасла... Она, вероятно, снова хочет подчеркнуть, напомнить, что они в свое время женились по любви и все разговоры об их браке в карамзинском и других светских салонах — просто сплетни.

В этом же письме задета косвенно и Александрина

(«они погрязли в обществе»). Нет сомнения, сплетни «большесветия» были хорошо известны Дантесам.

Что касается Натальи Николаевны, то совершенно очевидно, что слова Екатерины Николаевны — не пустая фраза, за которой нет ничего. Она была свидетелем, близко соприкасавшимся с преддуэльными и последуэльными событиями, и, конечно, знала очень многое. Упрекая Вяземских и Карамзиных «во многих несчастьях», Екатерина Николаевна, несомненно, имеет в виду и трагические события 1837 года (на это указывает и слово «и теперь), да иного вывода и сделать нельзя.

Среди «многих лиц», на которых ссылается Екатерина Николаевна в подтверждение своей оценки роли этих семей в преддуэльных событиях, одно лицо все же названо — это Екатерина Ивановна Загряжская. А кто остальные? К числу людей, искренне привязанных к Наталье Николаевне и Александре Николаевне и разделяющих мнение Екатерины, можно отнести Наталью Ивановну и Густава Фризенгофов и супругов Местр, но кто еще был посвящен в эти семейные дела, нам пока неизвестно.

Но о том, что тетушка Загряжская отстраняла Карамзиных, во всяком случае Софью Николаевну, мы имеем свидетельство самой Софьи Николаевны.

У старой фрейлины Екатерины Ивановны, как мы говорили, не было своей семьи и всю свою привязанность она сосредоточила на Наталье Николаевне, нежно и глубоко любила ее, считая «дочерью своего сердца». Она постоянно делала ей богатые туалеты, дарила драгоценности. Вообще она хорошо относилась ко всем сестрам Гончаровым. Загряжская принимала самое деятельное участие в предотвращении дуэли Пушкина с Дантесом в ноябре 1836 года и в устройстве брака Екатерины. Характер у Екатерины Ивановны был властный и решительный, она пользовалась большим влиянием на всех трех сестер.

Софья Николаевна Карамзина пишет брату Андрею за границу 12 января 1837 года о своем посещении дома Пушкиных в день свадьбы Екатерины Гончаровой, т. е. 10 января 1837 года. Вот что она говорит:

«Ну, итак свадьба Дантеса состоялась в воскресенье; я присутствовала при одевании мадемуазель Гончаровой, но ее злая тетка Загряжская устроила мне сцену, когда эти дамы заявили, что я еду вместе с ними в

церковь. Тетка, как говорят, из самых лучших побуждений опасаясь излишнего любопытства, излила на меня всю желчь, накопившуюся у нее за целую неделю посещений неделикатных просителей*; кажется, в доме ее боятся, никто не поднял голоса в мою защиту, чтобы по крайней мере сказать, что они сами меня пригласили; я начала было защищаться от этого неожиданного нападения, но в конце концов, чувствуя, что голос мой начинает дрожать и глаза наполняются слезами досады, убежала. Ты согласишься, что помимо доставленной мне неприятности, я еще и была обманута в своих ожиданиях: невозможно было сделать наблюдения и рассказать тебе о том, какое было выражение лиц у актеров этой таинственной драмы в заключительной сцене развязки»[1].

Карамзина в течение двух с лишним лет почти ежедневно встречалась с сестрами Гончаровыми, и не пригласить ее на свадьбу было по меньшей мере неучтиво. Но Загряжская, как мы видим, не постеснялась переступить все границы приличия, *запретив* Карамзиной ехать в церковь на венчание. Софья Николаевна, как известно, слыла в великосветском обществе как женщина злоязычная и большая сплетница. И здесь она стремилась во что бы то ни стало присутствовать при развязке «таинственной драмы», чтобы было потом о чем рассказывать. Но у Загряжской, несомненно, были и более веские основания для того, чтобы так поступать, нежели желание избежать излишнего любопытства и сплетен. Что́ сказала она Карамзиной, какую желчь излила, в чем упрекала, мы не знаем, но надо думать, Екатерина Ивановна высказала ей немало горьких истин, если та убежала в слезах...

Отношение Карамзиных к Наталье Николаевне уже после смерти Пушкина резко критикует и сам П. А. Вяземский. Напомним читателю его слова: «Вы знаете, что в этом доме** спешат разгласить на всех перекрестках не только то, что происходит и не происходит в самых сокровенных тайниках души и сердца. Семейные шутки предаются нескромной гласности, а следовательно, пересуживаются сплетницами и недоброжелателями... Все ваши так называемые друзья, с их советами, проектами и шутками — ваши самые жестокие и ярые враги». По-види-

* Имеются, очевидно, в виду лица, добивавшиеся пригласительных билетов на церемонию венчания.

** Доме Карамзиных.— *И. О.* и *М. Д.*

мому, и здесь Вяземский имел в виду Софью Карамзину и ее окружение.

Но Екатерина Дантес упрекает в «несчастьях» не только Карамзиных, но и Вяземских? В каких несчастьях? Возможно, она имеет в виду тот факт, что Вяземские, зная о дуэли накануне, не приняли никаких мер к ее предотвращению. В первые дни после смерти Пушкина Вяземский писал друзьям, что поэт завещал им всем защищать от великосветских сплетен невинную жену. Но через некоторое время, стремясь отвести подозрение в политической подоплеке дуэли, а главное, опасаясь, что и его могут обвинить в оппозиционных настроениях, Вяземский уже писал, что причиной дуэли было легкомысленное поведение Натальи Николаевны в свете и ревность Пушкина, то есть чисто личные мотивы[1]. Вслед за Вяземским так же высказывались и Карамзины в письмах к Андрею Карамзину, даже почти в тех же выражениях: «Бедный Пушкин. Жертва легкомыслия, неосторожности, опрометчивого поведения своей молодой красавицы-жены», — пишет Екатерина Андреевна (3 марта 1837 г.)[2]. «Бедная, бедная жертва собственного легкомыслия и людской злобы»,— пишет о Наталье Николаевне Софья Карамзина (10 февраля 1837 г.)[3].

Карамзины и Вяземские не понимали Пушкина[4], а не понимая его, не понимали и Наталью Николаевну. Теперь, когда опубликованы письма Пушкиной и ее сестер, написанные при жизни поэта, а в данной книге публикуются и их письма после его смерти, неправильные суждения этих «друзей» становятся очевидными.

«В истории трагической гибели Пушкина, — пишет Д. Д. Благой о Наталье Николаевне, — она была не виновницей, а жертвой тех дьявольских махинаций, тех адских козней и адских пут, которыми был опутан и сам поэт»[5].

Нельзя не вспомнить здесь и распространение сплетен о «связи» Пушкина с Александрой Николаевной, о чем мы говорили выше. Это тоже шло из гостиной Карамзиных и даже от В. Ф. Вяземской.

Мы несколько подробнее прокомментировали ту часть венского письма Екатерины Дантес, где она говорит о «многих несчастьях», потому что, к сожалению, и до сих пор некоторые литературоведы находятся в плену устаревших взглядов, основанных на недостоверных материалах.

СМЕРТЬ ЕКАТЕРИНЫ ДАНТЕС

Теперь мы подошли к последнему, самому печальному периоду жизни Екатерины Николаевны. Как мы уже говорили, все эти годы она страстно хотела иметь сына, но родились три дочери подряд, и это приводило ее в отчаяние. И Метман, и Арапова свидетельствуют, что несчастная женщина, по обету, ходила босиком в местную часовню, где со слезами часами молилась о даровании ей сына. Вероятно, все эти самоистязания и нравственные переживания сильно подорвали ее здоровье, недаром Арапова говорит: «Разочарование в надеждах и ревниво гложущее горе, подтачивая организм, преждевременно свели ее в могилу». Четвертые роды были, как мы знаем, неудачными, но вот 22 сентября 1843 года она, наконец, родила долгожданного сына, стоившего ей жизни.

В своих воспоминаниях Л. Метман говорит, что почти ежедневно о течении болезни Екатерины Николаевны сообщал Геккерну домашний врач Дантесов доктор Вест. В архиве сохранились три письма Геккерна за этот период, которые мы и предлагаем вниманию читателей.

«Вена, 14 октября 1843 г.[1]

Любезный Демитрий*.

Вы были уведомлены о тяжелых, мучительных родах вашей бедной сестры, нашей славной, доброй Катрин. Она родила здорового мальчика, своего четвертого ребенка. Вследствие этих тяжелых родов Катрин опасно заболела, у нее послеродовая горячка. И хотя ее положение значительно лучше вот уже несколько дней, я считаю своим долгом сообщить вам о ее болезни. Жорж не может вам написать, он не знает вашего адреса в России, который всегда надписывала жена, а он не хочет у нее спрашивать, чтобы ее не волновать.

Врачи пишут мне, что улучшение состояния больной продолжается, но что они не могут ничего предсказать до истечения известного времени. Впрочем, Катрин крепкая женщина, у нее много мужества, моральное ее состояние превосходно, поэтому я очень надеюсь сохранить эту славную, добрую женщину, которая является одновременно и хорошей супругой, и прекрасной матерью.

* Демитрий — так в подлиннике.

Я должен вам сказать всю правду, любезный Демитрий, вот что мне пишет откровенно врач: «Причины болезни г-жи де Геккерн следующие:...* тяжелый конец беременности, трудные роды, моральные причины, о которых я не должен распространяться, но которые оказывают огромное влияние на роженицу». А знаете ли вы, что это за моральные причины? Это огорчение, которое вы ей причиняете, не сдерживая ни одного обязательства, взятого вами в отношении ее. Пожалуйста, милостивый государь, напишите ей хорошее письмо и успокойте ее в отношении будущности ее семейства, постарайтесь, на конец этого года вы уже должны ей 20 тысяч рублей. Будьте добрым братом и не оставляйте мать, которая является вашей сестрой и имеет четырех детей.

Как только у меня будут хорошие вести, я немедленно вам об этом сообщу. Примите, прошу вас, уверение в моей искренней преданности.

Б. де Геккерн.

Спокойствие и твердость Жоржа достойны удивления, хотя у него очень тяжело на сердце».

«Вена, 18 октября 1843 г.[1]

Милостивый государь,

С тех пор, как я вам писал, я получил несколько писем о нашей дорогой больной; было и хорошее и очень плохое состояние, но в общем я сейчас более спокоен. Вчера вести были плохие, а сегодня значительно лучше. Она переносит ужасные боли с ангельским терпением и мужеством; среди самых ужасных страданий именно она утешает окружающих. Дети здоровы, мальчик большой и крепкий.

Заверяю вас, что я продолжаю выполнять свой долг в отношении вашей сестры, позвольте мне, любезный Демитрий, побудить вас выполнить ваш. Примите еще раз уверение в моих искренних чувствах.

Б. де Геккерн».

«Вена, 21 октября 1843 г.[2]

Милостивый государь.

Два моих предыдущих письма уведомили вас о плохом положении нашей горячо любимой Катрин. С тех пор письма, которые я получил, имели только одну цель: подготовить меня к ужасному несчастью, поразившему нас,— мой бедный славный Жорж лишился супруги,

---

* Многоточие в подлиннике.

а у его несчастных детей нет больше матери. Наша добрая, святая Катрин угасла утром в воскресенье около 10 часов без страданий, на руках у мужа. Это ужасное несчастье постигло нас 15 октября. Я могу сказать, что смерть этой обожаемой женщины является всеобщей скорбью. Она получила необходимую помощь, которую наша церковь могла оказать ее вероисповеданию. Впрочем, жить так, как она жила, это гарантия блаженства. Она, эта благородная женщина, простила всех, кто мог ее обидеть, и в свою очередь попросила у них прощения перед смертью. Наш долг — безропотно покориться неисповедимым повелениям провидения!!

Жорж не в состоянии мне писать, но он обещает быть столь же сильным, как и его горе. Он поручает мне выполнить печальные обязанности, что я и делаю, посылая вам это письмо. Да будет воля божия, да благоволит он сжалиться над четверыми бедными сиротами.

Б. де Геккерн».

Лицемерие, черствость этого человека, стремление даже из предсмертных страданий невестки извлечь материальную выгоду просто поразительны! Здесь, как в зеркале, отражена вся низость Геккерна, способного на любую подлость, как мы это видели и во время петербургских трагических событий, приведших к убийству Пушкина.

О каких моральных причинах, так повлиявших па течение болезни Екатерины Николаевны, умалчивает врач, мы не знаем и, вероятно, не узнаем никогда. Требовали ли Дантесы от умирающей какого-нибудь документа, связанного с задолженностью брата? Или хотели заставить ее принять католичество? Кто знает. «Она принесла в жертву свою жизнь вполне сознательно,— говорит Метман.— Ни одной жалобы не слетело с ее уст во время агонии»[1].

Что означают эти слова: «принесла в жертву свою жизнь»? Не стоял ли при таких тяжелых родах вопрос о том, что можно было спасти жизнь роженицы, пожертвовав ребенком? Если это так, то как же должна была быть несчастна эта женщина, добровольно, *сознательно* ушедшая из жизни!

Вопрос о переходе Екатерины Николаевны в католичество до сего времени оставался неясным. Живя в семье, члены которой исповедовали католическую веру, она, несомненно, подвергалась давлению как мужа и его род-

ных, так и местного духовенства. Л. Метман пишет, что «она осталась православной». Еще в Петербурге, когда Николай I дал разрешение Дантесу-Геккерну не принимать перед бракосочетанием с Е. Н. Гончаровой присяги на русское подданство, с него было взято обязательство «не отвлекать будущей жены от православной греко-российской веры». Мы полагаем, что если бы Екатерина Николаевна перешла в католичество, внук ее знал бы об этом, и у него не было бы никаких причин скрывать этот факт, подтверждающий то идиллическое описание отношений супругов Дантесов, которое мы находим в его воспоминаниях. Православное вероисповедание было единственной ниточкой, связывавшей Екатерину Николаевну с родиной и семьей, и вряд ли она решилась бы ее порвать...

В 1936 году Л. Гроссман опубликовал некоторые документы, касающиеся Геккернов, среди которых приводит письмо Дантеса от 17 сентября 1847 года к Гагарину. В нем Дантес говорит, что его жена приняла католичество, однако скрывала это, чтобы не огорчать мать. Но письмо это писалось члену иезуитского ордена, изменившему своей родине и религии, чего, по словам самого же Дантеса, ему не прощали соотечественники. Возможно, Дантесу нужно было для чего-то заручиться расположением Гагарина, почему он и решил «поддержать» его сообщением, что не он один перешел в католичество. Но приводимое здесь письмо Геккерна подтверждает свидетельство Луи Метмана: Екатерина Николаевна осталась православной.

О смерти жены Дантес написал Наталье Ивановне. Письмо это не дошло до нас, сохранилась только маленькая записочка к Дмитрию Николаевичу, в которой он просит передать письмо теще, так как не знает ее адреса.

«Сульц (вторая половина октября 1843 г.)[1]

Любезный Димитрий, из письма, что я вам посылаю для госпожи вашей матушки, адрес которой мне неизвестен, вы узнаете об ужасном несчастье, которое перевернуло всю мою жизнь; не могу писать, силы мне изменяют, потому что сердце мое разрывается, оно не было подготовлено к такому несчастью.

Обнимаю вас.

Ж.»

Как-то не верится ни одному слову в этой коротенькой записке. И ужасное несчастье, «перевернувшее всю

его жизнь», не помешало Дантесу сделать витиеватый росчерк вокруг подписи, что, по нашему мнению, не вяжется с выражаемыми чувствами. Обратим внимание и на «спокойствие и твердость» Дантеса, о чем пишет Геккерн. Нам кажется, смерть жены не была для него горем — уходил из жизни человек, связывающий его с петербургским прошлым. Трудно поверить также, что он не знал адреса Натальи Ивановны (из писем Натальи Ивановны мы знаем, что он лично писал ей в Ярополец) и тем более Дмитрия Николаевича, как пишет в одном из писем Геккерн.

И наконец, последнее имеющееся в нашем распоряжении письмо Дантеса:

«Сульц, 22 декабря 1843 г.[1]

Любезный Димирий, я был чрезвычайно тронут столь дружеским письмом, которое вы мне прислали в связи с кончиной моей дорогой Катрин! Вы правильно делаете, что жалеете меня! Никогда у меня не было такого жестокого и неожиданного удара, эта смерть снова перевернула всю мою жизнь, которую ангельский характер вашей прекрасной сестры сделал такой спокойной и счастливой. Можно было бы сказать — у нас было какое-то предчувствие, что нам мало времени предстоит прожить вместе; никогда мы не разлучались, во всех моих поездках и путешествиях жена меня сопровождала, у меня не было ни одной тайной мысли от нее, равно и Катрин давала мне возможность всегда читать в ее прекрасной и благородной душе. Наше счастье было слишком полным, оно не могло продолжаться! Бог не захотел оставить дольше на земле эту примерную мать и супругу. Провидению, неисповедимому в своих повелениях, иногда угодно даровать нам такие избранные существа, чтобы указать, какими должны быть все женщины, а затем оно их берет обратно, чтобы предоставить оплакивать их тем, кто имел счастье их знать.

Благодарю вас также, добрый брат, за письмо которое вы написали барону Геккерну; из него я имел счастье узнать, что вы горячо принимаете к сердцу интересы детей вашей сестры, и я надеюсь, что вы будете иметь возможность сдержать свои обещания, сделанные таким приятным образом. Что касается того, что я выбрал графа Строганова, то я сделал это единственно потому, что знал, что он будет вам приятен, желая прежде

всего не предпринимать никаких шагов, которые не могли бы получить вашего согласия.

Посылаю вам письмо к госпоже вашей Матушке; так как я не знаю ее адреса, я попросил бы вас в следующий раз, когда вы будете ко мне писать, сообщить его мне, чтобы я мог адресовать ей письма непосредственно. Я рассчитываю часто писать ей; она всегда была так безупречна в письмах ко мне, что я питаю к ней самую искреннюю привязанность; я буду часто писать ей о внуках и сооообщать все подробности об успехах в их воспитании.

Передайте от меня привет Жану, когда будете ему писать, мой сердечный поклон его жене и вашей, а вам — выражение моих самых сердечных чувств.

Преданный вам брат

Ж.»

«Эта смерть *снова* перевернула всю мою жизнь»,— пишет Дантес. Что он имеет в виду? Петербургские события, в свое время действительно перевернувшие его жизнь? Все эти нарочитые иезуитские сентенции о прекрасной женщине и благородной душе, о провидении, даровавшем ему такое избранное существо и затем отнявшее его, — все это, несомненно, рассчитано только на то, чтобы разжалобить Наталью Ивановну и Дмитрия Николаевича, так как тут же Дантес добавляет, что счастлив узнать, что они близко принимают к сердцу интересы детей Екатерины Николаевны. Дмитрий Николаевич, глубоко опечаленный смертью сестры, под первым впечатлением, видимо, обещал помогать племянникам. Дантес упоминает графа Строганова. Очевидно, он просил его защищать интересы его детей перед Гончаровыми, учитывая, что тот в свое время в Петербурге был на его стороне. Но полагаем, что с тех пор многое изменилось, и Строганов, в то время бывший опекуном детей Пушкина, к претензии Геккерна отнесся настороженно и вряд ли стал бы ущемлять интересы Гончаровых. Во всяком случае основание для такого предположения дает письмо Геккерна от 9 февраля 1844 года, приводимое ниже.

Получив печальное известие, Дмитрий Николаевич немедленно выехал к матери в Ярополец и увез ее с собой в Полотняный Завод. В гончаровском архиве сохранился черновик письма Натальи Ивановны к Дантесу (написанный ее рукою), который или Дмитрий Нико-

лаевич взял с собою при отъезде из Ропольца, или мать позднее послала его сыну, чтобы ознакомить с его содержанием. Они иногда пересылали друг другу копии писем в особо важных случаях. Вот это письмо.

(Ноябрь 1843 г., Рополец)[1]

«Дорогой Жорж, со скорбью, присущей сердцу матери, узнала я о смерти моей дражайшей дочери. Она тем более жестока, что наша милая Катя оставила столько существ, для которых ее жизнь была столь же драгоценна, как и необходима. Ваше положение, положение ваших детей глубоко меня печалит, не могу ли я принести вам свою долю облегчения. Меня угнетает чувство скорби, и если бы мое предложение могло быть принято вами, а именно — доверить мне ваших детей, чтобы быть им матерью, это было бы для меня драгоценной обязанностью, которую я исполнила бы с таким же усердием и самоотвержением, какие воодушевляли меня в воспитании моей собственной семьи. Предлагая вам это откровенно от всей души, я однако ж не осмеливаюсь рассчитывать на успешное исполнение моего желания. Я выражаю его так, как чувствую.

Дмитрий, как хороший сын, приехал сообщить мне эту ужасную новость. Вместе мы разделили наше горе. Если бы вы знали, как велика и горька его печаль, вы никогда не сомневались бы в его добром желании выполнить свои обязательства в отношении сестры, которую он нежно любил; к несчастью, обстоятельства не позволили ему это сделать.

Я преисполнена благодарности к вашему дядюшке за его поистине отеческое расположение к нашей дорогой Кате, которая была тем более этого достойна, что справедливо его ценила. Ваш дядя так добр, он успокаивает меня, что он позаботится о ваших детях. Могу вас заверить, что вся моя семья постарается сделать все, что будет он нее зависеть, чтобы выполнить свой долг в отношении вашей.

Вы обещаете, дорогой Жорж, писать мне и извещать о ваших детях, я принимаю ваше предложение с поспешностью и благодарностью, вы поможете мне этим заполнить ту ужасную пустоту, что я ощущаю от сознания, что Катя уже больше не счастлива на земле, о чем она мне писала в каждом письме. Ее безупречная жизнь и ангельский конец дают мне возможность не сомневаться, что господь дарует ее душе нерушимый

покой,— награда сердцу матери, которая особливо пеклась о том, чтобы сделать своих детей достойными божьего милосердия.

Целую детей и прошу вас, дорогой Жорж, принять уверение в чувствах матери, которая всегда будет вашей преданной

Н. Г.»

Письмо это не имеет даты и точно датировать его представляется затруднительным. Екатерина Николаевна умерла 3 октября по старому стилю, Геккерн написал Дмитрию Николаевичу 9 октября (тоже по ст. ст.), следовательно, Дмитрий Николаевич получил его письмо, вероятно, в последних числах октября, и, как мы говорили, тотчас же поехал к матери. По письму Дантеса от 22 декабря (10 декабря ст. ст.) трудно судить, получил ли он до этого письмо от тещи, но больше вероятия, что нет. Так что приходится приблизительно датировать письмо Натальи Ивановны ноябрем 1843 года.

Наталья Ивановна, несомненно, любила дочь и тяжело перенесла эту утрату. В письме она выражает глубокую скорбь по поводу кончины Екатерины Николаевны, и этим ее чувствам можно верить. Но нас не должно вводить в заблуждение все остальное — это тот самый «декорум», которого придерживалась Наталья Ивановна в течение шести лет (в том числе и концовка письма — обычная формула для того времени, не всегда отражающая подлинные чувства пишущего). Выражение благодарности «дядюшке» (Геккерну)* и слова о том, что Екатерина Николаевна его ценила, подтверждают наше предположение, что переписка между дочерью и матерью не была откровенной: первая заверяла, что она счастлива, вторая — делала вид, что верит в это. Истинное же отношение Натальи Ивановны к Дантесу мы видим в ее поразительном предложении: взять детей Екатерины Николаевны к себе, воспитать их, заменить им мать! Это может означать только одно: она догадывалась, а скорее всего, и знала о положении дочери в семье Дантесов, об отношении к ней мужа и не надеялась, что ее дети найдут в этой семье заботу и любовь. Хотя она и питала мало надежд на то, что Дантес согласится на это, но нет

* Религиозная Наталья Ивановна, конечно, не могла назвать при живом отце (старшем Дантесе) Геккерна отцом. Как потом оказалось, его усыновление якобы не имело юридической силы в Голландии.

сомнения, что приняла бы сирот с любовью и заботилась бы о них. При всей странности характера этой женщины мы должны справедливости ради сказать, что всех своих внуков она очень любила. Вопрос о детях Екатерины был, конечно, согласован с Дмитрием Николаевичем, и она действовала с его ведома. Что ответил Дантес, неизвестно, но детей он не отдал. Если же предположить, что письмо от 22 декабря 1843 года написано после получения письма Натальи Ивановны, то обещание часто писать о внуках, возможно, завуалированный отказ на ее предложение взять детей.

Известие о смерти дочери дошло и до отца, Николая Афанасьевича. Вот выдержки из его письма к старшему сыну. (Мы опускаем его пространные рассуждения на религиозные темы.)

«26 ноября 1843 г.*[1]

Хотя и слышали мы с Сергеем Николаевичем о Катерине Николаевне, но зная тесную дружбу, которая тебя с ней соединяла, и опасаясь умножить твою печаль, мы решилися притаиться, будто про то ничего не знаем, и соблюсти глубочайшее молчание до сведения о том твоего собственного. Мое правило быть в таких убийственных семейных случаях молчаливыми, чтоб одним неосторожно и без намерения сказанным словом не разстроить еще вдвое того, кто лишился человека, близкого сердцу своему. Никогда не следует спешить сообщать печальные новости.

Гнев божий на наш род. Со всех сторон летят бедствия и напасть на нашу семью. Горя — моря́! Слишком молодо, слишком рано перешла Екатерина Николаевна в страну вечного покоя, в царство тишины небесной, непрерывной. Конечно, там будет она наслаждаться сном безмятежным, но сном без пробуждения! Помолимся же за нее: Помяни господи... и остави и прости ей вся вольныя ея согрешения и невольныя. Кто из нас почесть себя смеет святым, кроме безумца? Ни даже безгрешным... И так, избави господи оставившую нас усопшую рабу Катерину огня вечнующаго, Тартара неугасимого, муки вечния, а дарует ей наслаждение вечных твоих благ и спокойствие нерушимое...

Желал бы знать уведомлением от вас, с каким расположением приняла это известие Наталья Ивановна и какова она после столь печальной новости».

* Письмо написано по-русски.

Как видно из писем Екатерины Николаевны, переписки между отцом и дочерью не было. Она почему-то боялась писать отцу, видимо, он считал ее в чем-то виноватой, недаром он пишет, что все смертные грешны, и просит господа простить дочери все ее согрешения... «Гнев божий на наш род. Горя — моря́» — здесь и трагическое вдовство младшей дочери, и безвременная кончина Екатерины, и смерть Загряжской, которую он уважал и любил, и его собственная судьба — болезнь, одинокая старость: жена его фактически бросила. И все же он беспокоится, как перенесла Наталья Ивановна печальное известие...

Очень сожалел о смерти сестры Иван Николаевич. В письме от 2 декабря 1843 года из Ильицына он говорит, что больше всех поражен ее кончиной, так как еще совсем недавно видел ее здоровой и веселой.

Как отнесся к смерти Екатерины Николаевны Сергей Николаевич, мы не знаем, в архиве его писем по этому поводу мы не обнаружили.

До Петербурга весть о кончине Екатерины Николаевны дошла не скоро, вероятно, в конце октября. Сохранилось три недатированных письма А. Н. Гончаровой и Н. Н. Пушкиной, которые мы и приводим ниже.

Александра Николаевна

(Октябрь 1843 г., Петербург)[1]

«Прежде чем показать это письмо Маминьке, дорогой Дмитрий, подготовь ее к печальной новости. Нашей бедной Кати нет больше на свете, помолимся за нее. Я не решилась сообщить эту новость Таше, она совсем больна сегодня. Подожду лучшего дня.

Целую тебя от всего сердца.

А. Г.»

Наталья Николаевна

(Октябрь 1843 г., Петербург)[2]

«Все эти дни я хотела тебе написать, чтобы получить вести обо всех вас, и в особенности о моей бедной Маминьке. Смерть нашей бедной сестры должна была ее ужасно опечалить. Сердце у меня сжимается при мысли о состоянии, в котором она должна находиться. Поэтому я обращаюсь к тебе, мой добрый Дмитрий, умоляя тебя немедленно мне написать и сообщить о состоянии ее здоровья. Если бы я решилась, я бы написала ей сама.

Ужасно подумать, что Кати нет больше на свете. Каковы должны были быть ее последние минуты — она оставляла четверых маленьких детей; мысль эта должна была быть ей очень горька — бедная, бедная сестра.

Мне помешала написать тебе раньше болезнь Маши, которая уже четыре дня лежит в постели. Теперь, однако, ей лучше и сейчас я могу совсем не беспокоиться.

Прощай, мой славный, дорогой Дмитрий. Когда будешь писать мне, сообщи о твоей невестке, как она, есть ли у вас хоть какая-нибудь надежда, что она поправится. Поцелуй нежно жену и детей, а также ручки Маминьке».

Александра Николаевна

(Ноябрь 1843 г., Петербург)[1]

«Вот еще одно письмо, дорогой Дмитрий, которое я получила через Фризенгофов, посылаю тебе его, чтобы ты передал Маминьке, если сочтешь нужным. Не зная его содержания, я боюсь послать его прямо на имя матери. Ради бога, дорогой брат, сообщи нам, как перенесла она печальную новость о смерти бедной сестры. Она еще у тебя? Как ее здоровье?

Наш дом — настоящий лазарет; Таша по-прежнему страдает головными болями, Маша тоже нездорова эти дни, но слава богу, ей лучше, опасались было, не скарлатина ли у нее, но все обошлось.

Мне совестно, дорогой Дмитрий, говорить тебе о деньгах в такой момент, когда у тебя голова не тем занята, но затруднительное положение, в котором мы находимся, заставляет забыть укор совести. Умоляю тебя, дорогой брат, пришли нам к Рождеству что нам причитается, это время платежа, и если ты не придешь нам на помощь, не знаю, что с нами будет.

Прощай дорогой, любезный Дмитрий, целую тебя от всего сердца, также жену и детей. Если Маминька еще с вами, поцелуй ей от меня нежно ручки».

От кого получили сестры известие о смерти Екатерины Николаевны, мы не знаем, но полагаем, что от Натальи Ивановны Фризенгоф. Через нее же получено какое-то письмо с просьбой переслать в Ярополец. Но Александра Николаевна не решилась сделать это и, не распечатав, направила его брату в Полотняный Завод, предоставив ему самому решить, передавать его Наталье Ивановне или нет.

Реакция Натальи Николаевны и Александры Нико-

лаевны на смерть сестры, безусловно, очень сдержанна. «Нашей бедной Кати нет больше на свете, помолимся за нее» — вот все, что сочла возможным написать Александра Николаевна. А Наталья Николаевна даже не сразу написала брату: беспокойство за здоровье дочери помешало ей это сделать. Очень скупо — всего одна фраза — говорит она о смерти сестры. Но как мать, она прежде всего поняла чувства Екатерины Николаевны, оставлявшей своих детей в чужой ей семье, чужой стране... Обеих сестер прежде всего волнует, как перенесет известие о смерти дочери Наталья Ивановна, и они, как мы видим, тревожились не напрасно.

Уже в письме от 22 декабря 1843 года Дантес «намекает» Дмитрию Николаевичу, что он должен принять к сердцу интересы детей. Всего через четыре месяца после смерти Екатерины Николаевны Луи Геккерн умоляет его не дать ему изнемогать под тяжестью расходов на бедных маленьких сирот...

«Вена, 9 февраля 1844 г.[1]

Сударь,

Я только что получил письмо от графа Строганова, который мне сообщает, что он все еще ожидает вашего приезда в Петербург, чтобы постараться уладить наши с вами дела. Однако время идет, и я не вижу исполнения ни одного из ваших обещаний, что вы мне дали. Умоляю вас во имя памяти нашей прекрасной Катрин, не дать мне изнемогать под тяжестью расходов на содержание и воспитание бедных маленьких сирот. До настоящего времени я делал все, чтобы они ни в чем не нуждались, а чтобы заменить, насколько это возможно, их бедную мать, я им нанял сразу же гувернантку, обзаведение, как вы знаете, всегда очень дорогое.

Но я не могу в конце концов нести все эти расходы. Мне стало известно, что Жорж, которому я поручил управление частью своего состояния, сделал некоторое количество долгов, надеясь покрыть их позднее деньгами, что он должен был получить от вас. Ради бога, Демитрий, не приводите меня в отчаяние и выполните часть ваших обещаний, прислав мне хоть сколько-нибудь денег.

Вы мне должны на сегодня двадцать тысяч рублей, уплатите мне часть, а на остальное выдайте вексель. Все

мы смертны, тому мы имеем печальный пример, надо привести в порядок наши дела. Я надеюсь скоро получить уведомление о вашем приезде в С. Петербург и узнать, к какому соглашению вы пришли с графом Строгановым. Но пришлите мне что-нибудь в счет вашего долга, мои расходы в данное время выше моих возможностей.

Прощайте, примите уверения
в моих почтительных чувствах
Б. де Геккерн».

Вряд ли это письмо нуждается в комментариях. И после смерти Екатерины Николаевны продолжались со стороны Геккернов многолетние требования денег на содержание детей, требования богатых людей к обедневшим Гончаровым.

Смерть жены как будто развязала руки Дантесу. Теперь уже ничто каждодневно и ежечасно не напоминало о петербургской катастрофе... Первые годы после кончины Екатерины Николаевны он, по-видимому, прожил в Сульце, постепенно подготавливая почву к возобновлению карьеры. Как мы уже видели, он начал в 1843 году с выборной должности члена Генерального совета департамента Верхнего Рейна, потом был еще раз переизбран и через несколько лет приобрел известный вес в родном Эльзасе. Впоследствии Дантес был уже председателем Генерального совета и мэром Сульца. Далее он был избран депутатом в Национальное собрание и переехал в Париж. Вопреки сложившемуся мнению о Дантесе как о легкомысленном и недалеком офицере, он оказался неглупым, а главное, ловким и хитрым человеком, умевшим ориентироваться в любой обстановке и извлекать из этого выгоду. Искусный оратор, он начал быстро продвигаться и делать политическую карьеру.

17 июля 1851 года на заседании Национального собрания, на котором рассматривалась конституция Франции, Виктор Гюго выступил с четырехчасовой речью. Среди правых депутатов, нападавших на Гюго, был и Дантес-Геккерн. В сборнике «Les Châtiments»* есть стихотворение «Сойдя с трибуны» (написано 17 июля

* «Возмездие» *(франц.)*.

1851 года), отражающее впечатление Гюго о выступлениях правых депутатов, в том числе и Дантеса:

Все эти господа, кому лежать в гробах,
Толпа тупая, грязь, что превратится в прах.

Широко известен отзыв К. Маркса о Дантесе как известнейшем выкормыше империи[1].

В 1852 году, после государственного переворота, принц-регент Людовик-Наполеон дает Дантесу очень важное дипломатическое поручение — выяснить у русского и австрийского императоров и прусского короля, как отнеслись бы они к его восшествию на императорский престол. В Потсдаме Дантес встречался с Николаем I (правда, не как официальный представитель иностранной державы, а как бывший офицер гвардии), имел с ним длинный разговор, причем Николай был очень любезен с убийцей «пресловутого Пушкина». Переговоры Дантеса со всеми тремя монархами были проведены весьма успешно, и Людовик-Наполеон не замедлил отблагодарить ловкого дипломата, назначив его сенатором. Будущее барона Дантеса-Геккерна было обеспечено. «Благодаря его связям в дипломатическом мире,— говорит Л. Метман,— его осведомленности об иностранных дворах, которою он был обязан барону Геккерну, нидерландскому послу в Вене, он бывал неоднократно вовлекаем в щекотливые переговоры»[2].

Но помимо своей политической деятельности, Дантес очень активно занялся финансовыми делами. «Он был в числе первых учредителей некоторых кредитных банков, железнодорожных компаний, обществ морских транспортов, промышленных и страховых обществ, которые возникли во Франции, между 1850—1870 годами»,— говорит о своем деде Луи Метман[3].

По-видимому, Дантес составил большое состояние и был к концу жизни богатым человеком. В Париже он построил себе на Елисейских полях большой трехэтажный особняк, где жил со всей своей семьей. Но даже будучи вполне обеспеченным человеком, Дантес в 1848 году возбуждает против Гончаровых процесс, требуя ликвидации задолженности и доли наследства после смерти тещи (Наталья Ивановна умерла в 1848 году). Наглость этого человека переходит все границы: он даже обращается по этому поводу с письмом к Николаю I, где пишет

о «благоволении, которым его величество удостаивал отмечать автора письма во всех случаях». Император отослал просьбу Дантеса шефу жандармов Бенкендорфу «для принятия возможных мер, чтобы склонить братьев Гончаровых к миролюбивому с ним соглашению». Дело о разных претензиях Дантеса к Гончаровым тянулось долгие годы, и какие-то небольшие суммы по наследству от родителей детям Екатерины Николаевны все же в конце концов были выплачены.

На протяжении всей своей жизни Луи Геккерн всячески помогал приемному сыну делать карьеру и после смерти оставил ему все свое состояние. Дантес умер в глубокой старости, 83 лет. Оба старика похоронены в Сульце. Между их могилами находится могила Екатерины Николаевны...

Ну, а дети Екатерины Николаевны, что сталось с ними? Наталье Ивановне, как мы знаем, Дантес их не отдал, воспитала их его незамужняя сестра Адель Дантес. Дочери барона Дантеса-Геккерна выросли красивыми девушками и благодаря положению своего отца были приняты при дворе. «Они унаследовали,— пишет Метман,— физические и моральные качества своей матери, и особенно — грацию». Старшая, Матильда, вышла замуж за бригадного генерала Жана-Луи Метмана; сын ее, Луи Метман, оставил воспоминания, выдержки из которых мы здесь неоднократно приводили. Вторую свою дочь, Берту, которая была очень хороша собою, барон Дантес выдал за графа Вандаля, государственного советника, главного директора почт. Сын его, Луи-Жозеф де Геккерн-Дантес — тот самый мальчик, появление на свет которого стоило жизни Екатерине Николаевне, особой карьеры не сделал: в чине капитана вышел в отставку, женился в Сульце и, видимо, там и провел большую часть своей жизни.

А что же сталось с Леони, младщей дочерью Екатерины Николаевны, которая была так «плохо встречена» матерью? Странная и печальная судьба ожидала ее... Могла ли Екатерина Николаевна предположить, что ее дочь будет страстно любить Россию, прекрасно знать русский язык и... обожать Пушкина!

В год столетия со дня рождения Пушкина, в газете «Новое время» от 12 июня 1899 года была помещена «Беседа с бароном Геккерн-Дантесом-сыном» постоянного парижского корреспондента этой газеты И. Яковлева.

Дантес-младший рассказал: «Пушкин! Как это имя связано с нашим! Знаете ли, что у меня была сестра, она давно покойница, умерла душевнобольной. Эта девушка была до мозга костей русской. Здесь, в Париже, живя во французской семье, во французской обстановке, почти не зная русских, она изучила русский язык, говорила и писала по-русски получше многих русских. Она обожала Россию и больше всего на свете Пушкина!» «Эта девушка обладала еще особенностью русской женщины,— пишет Яковлев со слов Дантеса,— она любила науку, любила учиться. В то время дочь сенатора Второй империи, имевшая доступ ко двору, где бушевало такое шумное веселье, знаете что она делала? Она проходила — конечно, дома — курс Ecole Polytechnique*, весь курс,— и, по словам своих профессоров, была первой...»[1]

«Знавали ли вы Геккерна-старика?» — спросил корреспондент. «Очень знавал: он умер 93 лет и часто бывал у нас. Мы его терпеть не могли. А он меня до того ненавидел, что даже лишил наследства».

У Леони был культ Пушкина. В ее комнате висело несколько его портретов, она знала наизусть множество его стихов. Известный пушкинист А. Ф. Онегин (Отто) видел ее до болезни и считал девушкой необыкновенной[2]. Но, видимо, слабое здоровье ее не выдержало напряжения и тяжелых взаимоотношений с отцом, «с которым она не разговаривала после одной семейной сцены, когда назвала его убийцей Пушкина», и девушка закончила свои дни в психиатрической больнице. Но нас нисколько не удивило бы, если бы ее запрятал туда Жорж Дантес, которого она обвиняла в смерти Пушкина.

Судьба Екатерины Дантес, безусловно, трагична. «Игрушка в руках баронов», она рано умерла, принеся свою жизнь в жертву безграничной любви к мужу. Она, конечно, никогда не могла забыть, что Дантес — убийца мужа ее сестры, и молчаливое осуждение семьи Гончаровых, а главное, передовой части русского общества тяжелым гнетом лежало у нее на душе. Но ни в одном письме, даже намеком, она не признала ни вины мужа, ни доли своей вины в происшедших событиях. Гордость и самолюбие не позволяли ей сделать это... За все ей пришлось заплатить горькой своей участью на чужбине с нелюбившим ее человеком и ранней смертью.

---

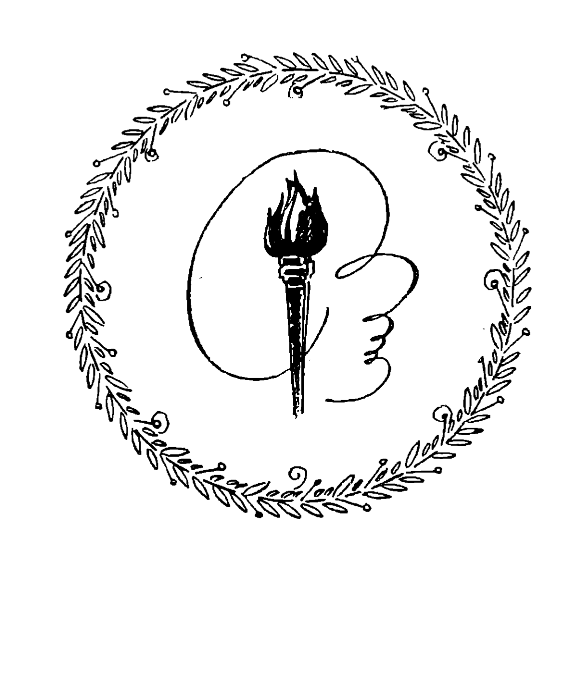
* Политехнического института.

Трудно переоценить значение публикуемых здесь писем Дантесов и Геккерна. Они непосредственные участники разыгравшейся в Петербурге драмы, и не только участники, бароны Геккерны — прямые виновники ее, независимо от того, действовали ли они по своей инициативе или были только орудием в чьих-то руках. Письма рисуют нам их как людей беспринципных, черствых, не брезгающих любыми средствами для достижения своих целей — карьеры и денег.





КОММЕНТАРИИ





КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИМЕН, УПОМИНАЕМЫХ В КНИГЕ

АННЕНКОВА Вера Ивановна (1813—1902), урожд. Бухарина, жена Н. Н. Анненкова, генерала, члена Госуд. совета. А. писала в своих воспоминаниях, что смерть Пушкина, которого она очень любила, заставила ее пролить много слез.

АРАПОВА Александра Петровна (1845—1919), старшая дочь Натальи Николаевны от брака с П. П. Ланским. В 1866 г. вышла замуж за офицера, впоследствии генерала, И. А. Арапова. А. обладала литературными способностями и написала несколько повестей и рассказов. Она также автор статей «Н. Н. Пушкина-Ланская. К семейной хронике жены А. С. Пушкина». Однако к этим статьям следует относиться критически, не говоря уже о многих неправильных хронологических данных. Они построены в основном на недостоверных материалах прошлого: рассказах знакомых, гувернанток и даже нянек, на враждебных Пушкину «свидетельствах» и публикациях (Трубецкой, Полетика и др.); в них мы видим отражение взглядов великосветского общества того времени. Но некоторым фактическим данным из жизни Н. Н. Ланской, чему А. сама была свидетельницей или о чем слышала от матери, будучи уже 16—18-летней девушкой, мы полагаем, можно доверять. Мы должны быть благодарны А. за то, что в 1918 г. она передала в дар Пушкинскому дому свой архив, в том числе и письма Н. Н. Пушкиной-Ланской, которые мы сейчас имеем возможность опубликовать. Эти письма в совокупности с письмами к Д. Н. Гончарову дали возможность нарисовать правдивый облик жены Пушкина.

Д'АРШИАК Огюст, виконт (1811 — конец 1840-х гг.), атташе французского посольства в Петербурге. Секундант Дантеса на дуэли с Пушкиным. Дальний родственник Дантеса. После дуэли вынужден был оставить свой пост в Петербурге и 2 февраля 1837 г. покинул Россию.

БАЖАНОВ Василий Борисович (1800—1883), окончил С.-Петербургскую духовную академию. Доктор богословия, профессор богословия в Петербургском университете, законоучитель царских детей. По воспоминаниям современников, Б. характеризуется как «независимый по характеру, гуманный, чуждый фанатизма». Жуковский считал его добрым и умным человеком.

БАРТЕНЕВ Петр Иванович (1829—1912), историк, археограф, библиограф. Окончил историко-филологический ф-т Московского университета. В течение полувека издавал журнал «Русский архив», где публиковал материалы по русской истории XVIII—XIX вв. и литературно-биографические изыскания о русских писателях, в том числе и о Пушкине. Однако публикации Б. в ряде случаев в археографическом и текстологическом отношениях стояли не на достаточно высоком уровне.

БАРАТЫНСКИЙ Евгений Абрамович (1800—1844), известный поэт пушкинского времени.

БАРЯТИНСКАЯ — по-видимому, Витгенштейн Леонила Ивановна (1816—1918), урожд. Барятинская, замужем за Л. П. Витгенштейном.

БИБИКОВА Елизавета Николаевна (1873—1953), внучка Н. Н. Пушкиной-Ланской, дочь Елизаветы Петровны Ланской от первого брака с Н. А. Араповым. В замужестве — Бибикова. Оставила воспоминания о семье Н. Н. Пушкиной-Ланской.

БИБИКОВА Любовь Адамовна (1785—1855), двоюродная сестра Н. Н. Пушкиной.

БОБРИНСКАЯ Софья Александровна, графиня (1799—1866), приближенная императрицы Александры Федоровны. Великосветская знакомая Пушкиных. Благожелательно относилась к Дантесу, покровительствовала ему во время суда над ним после дуэли с Пушкиным.

БОРХИ — родственники Гончаровых.

БУТЕРА Варвара Петровна, княгиня (1796—1870), урожд. кн. Шаховская, замужем за кн. Р. Д. Бутера. Пушкины встречались с Б. в светском обществе в Петербурге. Супруги были свидетелями при бракосочетании Дантеса с Е. Н. Гончаровой.

БУТУРЛИН Дмитрий Петрович (1790—1849), военный историк, генерал-майор, впоследствии директор Публичной б-ки. Женат на Е. М. Комбурлей. Пушкин был знаком с Б. еще в юношеские годы (1817—1820), в 30-е гг. бывал у Б. вместе с Н. Н. на балах и вечерах. Сын Б. Петр (упоминаемый в письме Н. Н.) в юности был влюблен в Н. Н.

ВАЛУЕВА Мария Петровна (1813—1849), дочь П. А. Вяземского. В мае 1836 г. вышла замуж за П. А. Валуева, чиновника (впоследствии министр внутренних дел, председатель комитета министров, граф). Пушкины встречались с В. в доме Вяземских и Карамзиных.

ВИЕЛЬГОРСКИЙ Михаил Юрьевич, граф (1788—1856), композитор-дилетант, музыкальный деятель и меценат. Пушкин был в дружеских отношениях с В., особенно в последние годы жизни. В. неотлучно находился у постели умиравшего поэта. После смерти Пушкина В. по просьбе вдовы поэта был назначен одним из опекунов детей Пушкина.

ВОРОНЦОВА Елизавета Ксаверьевна, графиня, с 1845 г.— княгиня (1792—1880), урожд. Браницкая, жена новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова. По свидетельству современников, очень привлекательная женщина. Пушкин увлекался Воронцовой в Одессе. Известно несколько стихотворений Пушкина, относящихся к Воронцовой.

ВРЕВСКАЯ Евпраксия Николаевна (1809—1883), урожд. Вульф. Дочь П. А. Осиповой (от первого брака), соседки Пушкина по Михайловскому. В 1831 г. вышла замуж за барона Б. А. Вревского, поместье которого Голубово находилось недалеко от Михайловского. Во время ссылки Пушкина в Михайловское (1824—1826) увлекалась поэтом. В январе 1837 г. была в Петербурге, и якобы Пушкин ей сообщил, что он будет драться с Дантесом. Недоброжелательно относилась к вдове поэта первое время после его кончины, основываясь на петербургских сплетнях, но впоследствии, ближе познакомившись с ней, особенно во время ее пребывания в Михайловском в 1841—1842 гг., переменила о ней мнение и с восхищением говорила об Н. Н. Пушкиной.

ВУЛЬФ Анна Николаевна (1799—1857), старшая дочь П. А. Осиповой от первого брака. Долго и безнадежно была влюблена в Пушкина. Вместе с сестрой Е. Н. Вревской находилась в Петербурге в те дни, когда произошла дуэль Пушкина с Дантесом.

ВЯЗЕМСКАЯ Вера Федоровна, княгиня (1790—1886), урожд. **кн.** Гагарина, жена П. А. Вяземского. Пушкин познакомился с В.

в 1824 г. в Одессе, доброжелательно относился к ней. Однако В. и ее муж, «в силу ограниченности общих воззрений», находясь под влиянием великосветских взглядов, не поняли истинных причин дуэли Пушкина и предвзято отнеслись к ней, видя в дуэли только личные мотивы, и обвиняли в легкомысленном поведении Наталью Николаевну. С этих позиций В. относилась и к вдове поэта, а в старости в своих рассказах П. И. Бертеневу В. повторила измышления Полетики о том, что Пушкин жил со свояченицей А. Н. Гончаровой.

ВЯЗЕМСКИЙ Петр Андреевич, князь (1792—1878), известный поэт, журналист, критик. Один из литературных друзей Пушкина. В молодости В. был либерально настроен. За свои взгляды и критическое отношение к правительству был уволен со службы и взят под негласный надзор полиции. Однако к тридцатым годам, после поражения декабристского восстания, юношеский либерализм В. значительно потускнел: он ищет примирения с самодержавием, вновь поступает на государственную службу. В 1832 г. В. — вице-директор департамента внешней торговли, впоследствии тов. министра народного просвещения, камергер, член Государственного совета, обер-шенк высочайшего двора. Пушкин ценил В. как критика и полемиста, но, по свидетельству Нащокина, не любил его как человека. В отношениях Пушкина и В. часто бывали разногласия по литературным и др. вопросам.

ГАРТУНГ Леонид Николаевич (1832—1877), генерал-майор, начальник Коннозаводского округа Тульской губернии. В 1860 г. женился на старшей дочери А. С. и Н. Н. Пушкиных — Марии Александровне.

ГЕККЕРН Луи-Борхард де Беверваард, барон (1791—1884), голландский дипломат, с 1823 г. поверенный в делах, с 1826 г. — посланник при императорском дворе в Петербурге. Пользовался большой известностью в великосветском обществе благодаря своему острому уму и злому языку. Пушкин считал Г. автором полученного им пасквиля, однако когда он послал вызов Дантесу, Г. сделал все, чтобы предотвратить дуэль, вплоть до женитьбы Дантеса на Е. Н. Гончаровой. Но после свершения этого брака Г. и Дантес возобновили свое наглое преследование жены поэта, и дуэль стала неизбежной. После смерти Пушкина вынужден был оставить свой пост в России и долгое время был не у дел. В 1842 г. получил назначение в качестве посла в Вену. В течение всей жизни оказывал всяческое покровительство Дантесу, помогая ему материально; после смерти оставил ему все свое состояние.

ГОЛИЦЫН Александр Сергеевич, князь (1806—1885), штабс-капитан лейб-гвардии конной артиллерии, сослуживец братьев Карамзиных, впоследствии генерал-майор.

ГОНЧАРОВ Афанасий Николаевич (1760—1832), дед Н. Н. Пушкиной. Унаследовал от А. А. Гончарова, основателя Полотняного Завода, огромное состояние, которое умудрился промотать и оставил потомкам в наследство полтора миллиона долга. Внук его, Д. Н. Гончаров, в течение всей своей жизни выплачивал большие проценты по долговым обязательствам. Этим объясняются постоянные денежные затруднения членов семьи Гончаровых.

ГОНЧАРОВ Дмитрий Николаевич (1/V 1808— 21/III 1860), старший брат Н. Н. Пушкиной. Родился в Москве. В 1825 г. окончил Московский университет. Чиновник Министерства иностранных дел (1825—1837), камер-юнкер. В 1832 г., после смерти деда, был назначен опекуном над своим душевнобольным отцом и ведал всеми хозяйственными и денежными делами гончаровского майората. В конце 1837 г. вышел в отставку и поселился в Полотняном Заводе. В 1836 г. женился на княжне Елизавете Егоровне Назаровой, от которой имел троих детей: Дмитрия, Евгения и Екатерину. Скончался и похоронен в Полотняном Заводе.

ГОНЧАРОВ Иван Николаевич (22/V 1810—19/IX 1881), средний брат Н. Н. Пушкиной. Родился в Москве, воспитывался в частном учебном заведении. Военную службу начал в 1827 г. юнкером лейб-гвардии Конно-инженерного батальона; в 1831—1840 гг. Г. — поручик лейб-гвардии гусарского полка, стоявшего в Царском Селе. А. Н. Муравьев вспоминает о нем как со «весьма блистательном, светски образованном лейб-гусарском офицере». Г. прекрасно играл на рояле, в письмах неоднократно упоминается о его музыкальных интересах. В письмах Пушкина к жене довольно часты упоминания о Г., который постоянно бывал у Пушкиных в 1831—1837 гг. В ноябре 1836 г. помогал Е. И. Загряжской и В. А. Жуковскому в улаживании столкновения Пушкина с Дантесом. В 1840 г. вышел в отставку, однако потом снова возвратился на службу и дослужился до чина генерал-майора. Был женат дважды: первым браком на кн. Марии Ивановне Мещерской (с 1838 г.), от которой имел четверых детей: Марию, Александра, Владимира и Софью; вторым браком (с 1860 г.) — на Екатерине Николаевне Васильчиковой, от которой у него были сын Николай и дочери Наталья, Екатерина и Надежда. В старости Г. жил в Яропольце Волоколамского уезда Московской губернии, был предводителем дворянства этого уезда. Умер в Яропольце, похоронен в Иосифо-Волоколамском монастыре.

ГОНЧАРОВ Николай Афанасьевич (20/X 1787* — 9/IX 1861), отец Н. Н. Пушкиной. Хорошо образованный и талантливый человек, прекрасно играл на скрипке. Несомненно, от него унаследовали А. Н. и И. Н. Гончаровы любовь к музыке. В молодости некоторое время управлял всеми гончаровскими предприятиями, С 1814 г., психически больной, отошел от всех дел. Жил в Москве, в гончаровском доме на Никитской ул., в последние годы вместе с сыном С. Н. Гончаровым и его семьей. Судя по переписке с Д. Н. Гончаровым, это был очень добрый, душевный человек, сознававший свое несчастье и глубоко его переживавший.

ГОНЧАРОВ Сергей Николаевич (11/II 1815—28/XI 1865), младший брат Н. Н. Пушкиной. Получил домашнее образование. В 1832 г. вступил в военную службу; Г.— любимый брат Н. Н. Пушкиной; очень тепло к нему относился и Пушкин. Когда его полк стоял под Петербургом, Г. часто и подолгу жил у Пушкиных. Со слов Г. записаны воспоминания о Пушкине. В 1836 г. Г. подал в отставку и уволился со службы в чине поручика. Поселился в Москве в доме Гончаровых на Никитской ул. и поступил на гражданскую службу. В 1850 г. был избран заседателем Московского совестного суда; через год получил чин коллежского секретаря со старшинством. В 1836 г. женился на баронессе Александре Ивановне Шенк. После смерти первой жены, в 1849 г. женился вторично, на Анне Алексеевне Смирновой. От первого брака имел пятерых детей: Михаила, Сергея, Петра, Марию и Наталью, от второго — троих: Веру, Софью и Анну. Умер в Москве. В газете «Русские ведомости» от 28/XI 1865 г. был напечатан некролог за подписью М. Щепкина, в котором дается высокая оценка как личности, так и общественной деятельности С. Н. Гончарова в Московском совестном суде и в Московском общественном управлении.

ГОНЧАРОВА Александра Николаевна (27/VI 1811—9/VIII 1891, н. ст.), сестра Н. Н. Пушкиной. Родилась под Петербургом, на мызе кн. Барятинской. Детство и юность ее прошли в Москве, в Полотняном Заводе (Калужской губ.) и в Ярополыде (Московской губ.). Получила хорошее домашнее образование, увлекалась музыкой, игравшей большую роль в ее жизни. Осенью 1834 г. переехала в Петербург, в семью Пушкиных. После смерти поэта вместе с Н. Н. уехала в феврале 1837 г. в Полотняный Завод, а осенью 1838 г. вместе с нею вернулась в Петербург. В январе 1839 г. пожа-

---

* Год рождения Г. уточнен по обнаруженной авторами метрической выписке (ЦГАДА, ф. 1265, оп. 4, № 61, л. 12).

лована во фрейлины императрицы. До замужества жила все время в семье Н. Н. В 1852 г. вышла замуж за барона Г. Ф. фон Фризенгофа и уехала с ним за границу. У Г. была только одна дочь, Наталья. Всю остальную жизнь прожила в Вене и в поместье своего мужа Бродзяны (Венгрия, теперь — Словакия), где и скончалась в 1891 г. Похоронена в семейном склепе Фризенгофов в Бродзянах.

ГОНЧАРОВА Екатерина Николаевна (22/IV 1809—15/X 1843, н. ст.), в замужестве Дантес-Геккерн. Старшая сестра Н. Н. Пушкиной. Родилась в Москве. Детство и юность провела в Москве, в Полотняном Заводе (Калужской губ.), в Ярополыце (Московской губ.). Получила хорошее домашнее образование. Осенью 1834 г. вместе с сестрой А. Н. переехала в Петербург, в семью Пушкиных. В декабре 1834 г. была пожалована во фрейлины императорского двора. 10 января 1837 г. вышла замуж за Ж. Дантеса. После убийства Пушкина Дантесом навсегда покинула Россию. Жила во Франции, в маленьком городке Сульце, в доме отца Дантеса. Сохранились ее письма за период 1838—1843 гг. Кроме матери и Д. Н. Гончарова, по-видимому, никто из ее семьи не вел с ней переписки. У Е. Дантес было четверо детей: дочери Матильда, Берта, Леония и сын Луи-Жозеф. Умерла при рождении сына от послеродовой горячки. Похоронена в Сульце.

ГОНЧАРОВА Наталья Ивановна (22/X 1785—2/VIII 1848), урожд. Загряжская. Мать Н. Н. Пушкиной. В описываемые нами годы фактически разошлась со своим душевнобольным мужем, оставила его в Москве на попечении сына Сергея и в начале 30-х годов переселилась в свое поместье Ярополец (Московской губ., Волоколамского уезда). Изредка наезжала к старшему сыну в Полотняный Завод, с которым вела деятельную переписку по всем семейным и деловым вопросам и, видимо, имела большое влияние на Дмитрия Николаевича, считавшегося с ней как с главой семьи. Первое время после гибели Пушкина помогала Н. Н. материально (3000 руб. в год), но потом отказала ей в этой помощи, ссылаясь на плохое состояние своих дел. Переписывалась со своей старшей дочерью Е. Н. Дантес, которую, несомненно, любила и очень переживала ее кончину. Характер у Г. был тяжелый, ее неудачная семейная жизнь наложила свой отпечаток, она стала вспыльчива, раздражительна, ханжески религиозна. Ежегодно ходила пешком на богомолье в Иосифо-Волоколамский монастырь, где проводила до двух недель. Делала богатые вклады в монастырь. Умерла 2 авгу-густа 1848 г. в монастыре во время одного из таких паломничеств и там же похоронена.

ГРОТ Яков Карлович (1812—1893), историк литературы, ака-

демик. Один из первых биографов Пушкина. Встречался с ним в Петербурге в 1830-е гг.

ДАНЗАС Константин Карлович (1801—1870) — инженер-полковник, впоследствии генерал-майор. Лицейский товарищ Пушкина. Был секундантом Пушкина в дуэли с Дантесом. Оставил интересные воспоминания о последних днях жизни и кончине Пушкина.

ДАНЗАСЫ. Неизвестно, о каких Данзасах пишет Н. Н. Возможно, о Б. К. Данзасе (брате К. К. Данзаса) и его жене Е. П. Данзас, урожд. Розенгейм.

ДАНТЕС-ГЕККЕРН Жорж, барон (1812—1895), убийца Пушкина. Родом эльзасец, из г. Сульца (Франция). Воспитывался в Сен-Сирской школе; французский роялист (монархист). В 1833 г. приехал в Россию попытаться сделать здесь карьеру, заручившись рекомендацией принца прусского Вильгельма (шурина Николая I). Благодаря этой рекомендации был зачислен в гвардию. Красивый, ловкий, остроумный молодой офицер сумел быстро завоевать положение в петербургском великосветском обществе. Его успехам в свете способствовал голландский посол в Петербурге барон Луи Геккерн, покровительствовавший красивому французу. В петербургском обществе даже ходили слухи об их «интимных отношениях». В мае 1836 г. Геккерн усыновил Д. Встречаясь с Пушкиными на балах и вечерах, и особенно часто у Карамзиных, Д. начал открыто ухаживать за женой поэта и одновременно за ее сестрой, Е. Н. Гончаровой. 4 ноября 1836 г. Пушкин получил анонимный пасквиль, оскорбительный для чести его жены и его самого, и вызвал Д. на дуэль, так как был уверен, что это дело рук Геккернов. Однако благодаря хлопотам Е. И. Загряжской и друзей поэта дуэль не состоялась. Д. был вынужден жениться на Е. Н. Гончаровой. Но и после свадьбы он продолжал демонстративно ухаживать за Натальей Николаевной. На дуэли 27 января 1837 г. Д. смертельно ранил Пушкина. После дуэли был разжалован в солдаты и выслан за границу. В последующие годы жил с женой в Сульце, в доме родного отца. После смерти жены через некоторое время переехал в Париж и сделал значительную политическую карьеру, был сенатором, занимая крайне правые позиции.

ДОЛГОРУКОВА Екатерина Дмитриевна (1802—1881), жена гофмаршала Н. В. Долгорукова. Встречалась с Пушкиным в доме своих родителей и у Карамзиных.

ДОЛГОРУКОВА Ольга Александровна, княгиня (1814—1865), урожд. Булгакова, дочь московского почт-директора А. Я. Булгакова. В 1831 г. вышла замуж за кн. А. С. Долгорукова. Бы-

ла знакома с Пушкиными, встречалась с ними в светском обществе.

ДОЛЯ Нина, гувернантка семьи Гончаровых. Часто упоминается в письмах сестер Гончаровых и Н. Н. Пушкиной-Ланской. По-видимому, долго служила у Гончаровых; иногда жила в Яропольце, вероятно, в качестве компаньонки Н. И. Гончаровой. Все Гончаровы очень хорошо относились к Д., сестры были дружны с нею и переписывались. Впоследствии все братья и сестры выплачивали ей пенсию.

ДУБЕЛЬТ Николай (Леонтьевич), по-видимому, один из сыновей Л. В. Дубельта.

ДУБЕЛЬТ Михаил Леонтьевич (1822—1900), сын Л. В. Дубельта, управляющего III отделением. В 1853 г. женился на Н. А. Пушкиной, от которой у него было трое детей: Наталья, Анна и Леонтий. Брак был очень неудачным, и в начале 60-х гг. супруги разъехались, а потом и развелись.

ЗАГРЯЖСКАЯ Екатерина Ивановна (14/III 1779—18/VIII 1842), фрейлина. Тетка сестер Гончаровых по матери. Замужем не была и всю свою привязанность перенесла на семью Натальи Николаевны. С большой симпатией относилась к Пушкину, и Пушкин в свою очередь тепло относился к ней, в его письмах к жене мы не раз встречаем упоминания о ней. З. очень любила Н. Н., считая ее как бы своей дочерью, была очень привязана и к ее детям. Сыграла значительную роль в предотвращении дуэли Пушкина с Дантесом в ноябре 1836 г. и в устройстве брака Е. Н. Гончаровой. После смерти Пушкина непримиримо относилась к его врагам и недоброжелателям. Не пожелала проститься с Е. Н. Дантес, когда та навсегда уезжала из России, и не отвечала на ее письма. Скончалась в Петербурге, на кладбище Александро-Невской лавры сохранилось ее надгробие.

ЗАГРЯЖСКАЯ Наталья Кирилловна (1747—1837), урожд. графиня Разумовская. Была замужем за Н. А. Загряжским, дядей Н. И. Гончаровой, матери Н. Н. Пушкиной.

ИСАКОВ, по-видимому, сын Я. И. Исакова (1811—1881), петербургского книгопродавца и издателя сочинений Пушкина. Пушкин был знаком с Исаковым-отцом.

КАРАМЗИН Александр Николаевич (1815—1888), сын Н. М. и Е. А. Карамзиных. Окончил Дерптский университет (1833), прапорщик лейб-гвардии конной артиллерии. Интересовался литературой и сам писал стихи. Встречался с Пушкиным в доме родителей и светском обществе, питал глубокое уважение к поэту.

КАРАМЗИН Андрей Николаевич (1814—1854), сын Н. М. и Е. А. Карамзиных. Окончил юридический факультет Дерптского университета, прапорщик лейб-гвардии конной артиллерии. В 1836—1837 гг. был за границей. К нему обращены письма Карамзиных в этот период. Под первым впечатлением после смерти Пушкина резко осуждал великосветское общество и убийцу поэта, однако не был последователен до конца и, встретившись с Дантесом за границей, «протянул ему руку» и дал себя «убедить» в его невиновности. В 1846 г. К. женился на вдове известного богача Демидова — Авроре Карловне Демидовой (урожд. Шернваль) и стал владельцем знаменитых уральских заводов. Очевидно, им были завезены в Нижний Тагил письма Карамзиных, выдержки из которых публикуются в книге. Письма эти почему-то не хранились в семейном архиве, как многие другие. Они остались в Тагиле после неожиданной смерти К., погибшего во время войны 1854 г. По счастливой случайности письма уцелели и дошли до наших дней.

КАРАМЗИНА Екатерина Андреевна (1780—1851), вдова историографа Н. М. Карамзина, единокровная сестра П. А. Вяземского. Пушкин был знаком с Карамзиными, еще будучи в лицее, и юношей был влюблен в К. В 30-е гг. вместе с женой, а потом и свояченицами Пушкин был постоянным посетителем салона Карамзиных и много способствовал тому, что он стал центром петербургской культурной жизни. Поэт питал очень теплые чувства к К., основанные на давнем их знакомстве. Письма Карамзиных, опубликованные в 1960 г., свидетельствуют, что К. переживала смерть поэта, но в полной мере не оценила значения Пушкина как писателя. Так, она считала, что Пушкин «стоит ступенью ниже» ее мужа, Н. М. Карамзина. Карамзины, как и Вяземские, не поняли подлинных общественных причин гибели Пушкина, смотрели на дуэль и смерть поэта как на семейную драму. С этих позиций они относились и к Наталье Николаевне. В 1838—1843 гг. Н. Н. Пушкина бывала у Карамзиных изредка, а выйдя вторично замуж, перестала посещать этот салон.

КАРАМЗИНА Софья Николаевна (1802—1856), дочь Н. М. Карамзина от первого брака, фрейлина. Играла первую роль в салоне своей мачехи Е. А. Карамзиной. Главным интересом К. была светская жизнь с ее интригами, злословием, пересудами. В свете ее считали злоязычной сплетницей. Пушкины и сестры Гончаровы постоянно посещали салон Карамзиных, и К. имела полную возможность следить за развитием драматической ситуации в ноябре — январе 1836—1837 гг. Но, судя по ее письмам, не поняла всей трагичности сложившегося положения, очень резко, иронически

писала о Пушкиных и Гончаровых и была всецело на стороне Дантеса, отношение к которому не изменила и после гибели Пушкина.

КОЧУБЕЙ, по-видимому, Наталья Викторовна Строганова, графиня (1800—1854), урожд. Кочубей, дочь В. П. Кочубея, женатого на племяннице Н. К. Загряжской. В 1820 г. вышла замуж за А. Г. Строганова. Пушкины и сестры Гончаровы встречались с К. у Карамзиных и в светском обществе.

ЛАВАЛИ. Неясно, о каких Лавалях идет речь: в 1849 г. И. С. Лаваля, камергера, тайного советника, в семье которого часто бывал Пушкин, уже не было в живых. Возможно, речь идет о вечере у его вдовы А. Г. Лаваль и ее дочери С. И. Лаваль (замужем за А. М. Борхом).

ЛАНСКОЙ Петр Петрович (1799—1877), образование получил домашнее. 17 лет был определен юнкером в кавалергардский полк; впоследствии командир лейб-гвардии конного полка, генерал-лейтенант. В 1844 г. женился на Н. Н. Пушкиной. По воспоминаниям современников (Вяземского, Плетнева и др.), был добрым, порядочным человеком, хорошо относился к детям Пушкина. Александр и Григорий Пушкины по окончании Пажеского корпуса служили в полку Л. Л. заботился о внуках Н. Н. от ее дочери Н. А. Пушкиной-Меренберг. После смерти жены постоянно поддерживал связь с ее детьми. Дети Пушкины и Ланские были очень дружны между собою. Л. тяжело переживал смерть жены. Похоронен в одной могиле с Н. Н. в Александро-Невской лавре в Петербурге.

ЛАШ Карл Иоганн (1822—1888) — известный портретист; с 1848 по 1857 г. работал в Москве. По воспоминаниям гр. М. Д. Бутурлина: «Лаш художник не без таланта. Колорит его был из эффектных, и он придавал живописные позы своим моделям. Он был в ходу в московском высшем обществе до конца 50-х годов».

ЛИВЕН Дарья Христофоровна (1785—1857), урожд. Бенкендорф, (сестра А. Х. Бенкендорфа), жена русского посланника в Лондоне Х. А. Ливена.

МАЛЬЦОВ Иван Сергеевич (1807—1880), чиновник Московского архива Министерства иностранных дел; первый секретарь русского посольства в Персии (при Грибоедове). Впоследствии камергер и действительный статский советник. Посещал салон Карамзиных, где встречался с Пушкиными и Гончаровыми.

МЕСТР Ксавье де, граф (1763—1852), французский эмигрант (с 1800 г.), участник Отечественной войны 1812 года (на стороне России), ученый, писатель, художник. Женат на С. И. Загряжской,

сестре Н. И. Гончаровой. Был близко знаком с родителями Пушкина, знал с юношеских лет самого поэта. Позднее долгие годы жил за границей, в Италии, вместе с женой и воспитанницей Натальей. В 1839 г. возвратился с семьей в Россию. Местры некоторое время жили в одном доме с Н. Н. Пушкиной, а в 1849 г.— недалеко от нее на даче. Семьи Местров и Пушкиных постоянно общались. После смерти жены М., вероятно, был под постоянной опекой Н. Н., умер у нее на даче в Стрельне.

МЕСТР Софья Ивановна, графиня (1778—1851), урожд. Загряжская, жена К. де Местра (см. выше), тетка сестер Гончаровых.

МЕЩЕРСКИЙ Василий Иванович, по-видимому, брат М. И. Мещерской, на которой был женат И. Н. Гончаров.

МЕЩЕРСКИЙ Петр Иванович (1802—1876), подполковник гвардии в отставке. Женат на Е. Н. Карамзиной. Постоянно встречался с Пушкиными и Гончаровыми у Вяземских и Карамзиных.

МЕЩЕРСКАЯ Екатерина Николаевна, княгиня (1806—1867), урожд. Карамзина, сводная сестра С. Н. Карамзиной. Замужем за кн. П. И. Мещерским.

МЕЩЕРСКАЯ Мария Ивановна, княжна (—1859), жена И. Н. Гончарова. Сестра П. И. Мещерского, женатого на Е. Н. Карамзиной, дочери историка.

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (1798—1849), великий князь, брат Николая I.

МУРАВЬЕВ Андрей Николаевич (1806—1874), поэт, писатель по религиозным вопросам. Брат декабриста А. Н. Муравьева. Его имение Осташево находилось недалеко от Ярополеца. Близкий знакомый Гончаровых, особенно был дружен с И. Н. Гончаровым. Пушкин был знаком с М. и опубликовал в «Современнике» одну из его пьес. М. находился в квартире умиравшего Пушкина и был очень опечален его смертью. Дружественные связи М. с семьей Пушкина продолжались и после смерти поэта.

МУСИНА-ПУШКИНА Эмилия Карловна, графиня (1810—1846), урожд. Шернваль, жена графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина (1798—1854). За участие в декабристском движении В. А. был переведен из лейб-гвардейского в пехотный полк, а в конце 1831 г. уволен со службы. А. С. Пушкин был хорошо знаком с Мусиными-Пушкиными и часто бывал в их доме. М.-П. была очень красива, и современники сравнивали ее с Н. Н. Пушкиной.

МЯТЛЕВА, по-видимому, Прасковья Ивановна (1772—1859), мать поэта И. П. Мятлева, известного своей сатирической поэмой «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границей — дан л'этранже», высмеивающей невежественное русское барство. Пушкины были хорошо знакомы с Мятлевыми. Гончаровы были соседями Мятлевых по имению Полотняный Завод Калужской губернии.

НАЩОКИН Павел Воинович (1801—1854), окончил Благородный пансион при Царскосельском лицее. Прапорщик, позднее поручик лейб-гвардии Измайловского полка. В 1823 г. уволился в отставку. В 1834 г. женился на Вере Александровне Нарской. Н. ближайший друг Пушкина. Бывая в Москве, Пушкин обычно останавливался у Н.; друзья вели долгие задушевные разговоры, Пушкин делился с Н. всеми своими житейскими заботами и литературными планами. Н. присутствовал на свадьбе Пушкина, очень тепло относился к Н. Н. Смерть поэта переживал как самую тяжелую в своей жизни утрату. Н. навещал вдову Пушкина, когда она жила в Полотняном Заводе (1837—1838) и в Москве.

НЕЛЕДИНСКИЙ-МЕЛЕЦКИЙ Юрий Александрович (1752—1829), поэт. Печатал в разных журналах того времени оды, лирические стихи, песни. Пушкин ценил его стихи.

НЕФЕДЬЕВА Александра Ильинична (1782—1857) — двоюродная сестра А. И. Тургенева.

НИКОЛАЙ I (Николай Павлович) (1796—1855), император.

НОСОВ Петр Иванович, петербургский коммерсант, с которым Д. Н. Гончаров имел дела и денежные расчеты по продаже полотна и бумаги. По распоряжению Д. Н. выдавал деньги на содержание Н. Н. Пушкиной и А. Н. Гончаровой.

ОРЛОВ Алексей Федорович, граф (1786—1861), генерал-адъютант. С 1844 г. шеф жандармов и начальник III отделения.

ОРЛОВ Николай Алексеевич (1827—1885), сын А. Ф. Орлова.

ОСИПОВА Прасковья Александровна (1781—1859), урожд. Вындомская, в первом браке Вульф. Владелица поместья Тригорского, по соседству с Михайловским. В период ссылки поэта (1824—1826) постоянно общалась с ним, питала к нему дружеские чувства до конца его жизни, искренне оплакивала его кончину. Однако к вдове его относилась сначала враждебно, основываясь на петербургских сплетнях. Но с течением времени, ближе узнав Н. Н., видимо, сменила недоброжелательные чувства на более теплые.

ПАВЛИЩЕВ Лев Николаевич (1834—1915), сын О. С. Павлищевой, сестры Пушкина, и Н. И. Павлищева. Учился в Училище правоведения, а затем на юридическом факультете Петербургского университета. Впоследствии чиновник, редактор газеты «Варшавский дневник». Автор воспоминаний о Пушкине, в ряде мест недостоверных.

ПАВЛИЩЕВ Николай Иванович (1802—1879), муж сестры Пушкина, О. С. Пушкиной. Обучался вместе с Л. С. Пушкиным в Царскосельском лицее; переводчик, автор научных трудов, чиновник, долго служил в Варшаве. Видимо, в связи с этим сын его, учившийся в Петербурге, был на попечении Н. Н. и летом жил у нее на даче.

ПАВЛИЩЕВА Ольга Сергеевна (1797—1868), урожд. Пушкина, сестра поэта. С 1828 г. замужем за Н. И. Павлищевым. После смерти поэта Павлищевы поддерживали родственные отношения с Н. Н., сын их Лев часто посещал семью Пушкиных.

ПАНАЕВ Иван Иванович (1812—1862), писатель, журналист, впоследствии сотрудник «Современника» Н. А. Некрасова и «Отечественных записок» А. А. Краевского. Был знаком с Пушкиным, подарил ему с дарственной надписью свой перевод трагедии Шекспира (1836).

ПАШКОВА Елизавета Петровна, урожд. Киндякова. С семейством Пашковых был знаком и Пушкин. 1 марта 1831 г. он с Натальей Николаевной участвовал в санном катании, организованном С. И. Пашковым. Один из Пашковых был соседом Пушкина по Болдину.

ПЕТЕРСОН Александр Петрович (1800—1887), знакомый Пушкина по салону Елагиных — Киреевских в Москве.

ПЛЕТНЕВ Петр Александрович (1792—1865) — поэт, критик, журналист, профессор российской словесности (с 1832 г.) и ректор Петербургского университета (1840—1861), впоследствии академик. Был женат дважды. Первым браком на С. А. Раевской (с ней был знаком Пушкин), от которой имел дочь Ольгу; вторым браком на княгине Щербининой. Ближайший друг Пушкина, постоянно помогал ему в издательских и литературных делах. Присутствовал при кончине поэта. После смерти Пушкина часто навещал Н. Н., к которой относился с глубоким уважением. В письмах П. к Гроту мы находим очень ценные сведения о жизни Н. Н. в период вдовства.

ПОЛЕТИКА Идалия Григорьевна (между 1806 и 1810—1890), побочная дочь Г. А. Строганова, жена А. М. Полетики, полковника

лейб-гвардии кавалергардского полка. По Строганову П. троюродная сестра Н. Н. Пушкиной. После какого-то инцидента с Пушкиным (до сих пор неизвестного пушкиноведению) крайне враждебно относилась к нему, распространяла о семье поэта клеветнические слухи. Была в хороших отношениях с Дантесами и Геккерном, встречалась с ними и в Петербурге во время трагических событий 1836—1837 гг., и позднее за границей.

ПУШКИНА Наталья Николаевна (27/VIII 1812—26/XI 1863), урожд. Гончарова. Родилась в селе Кариан Тамбовской губ. Детство и юность провела в Москве и в поместьях Гончаровых Полотняный Завод (Калужской губ.) и Ярополец (Московской губ.). Получила хорошее домашнее образование. В 1831 г. вышла замуж за А. С. Пушкина и переехала с ним в Петербург. Прожила с Пушкиным почти шесть лет и имела от него четверых детей: Марию, Александра, Григория и Наталью. После смерти поэта около двух лет провела у брата, Д. Н. Гончарова, в Полотняном Заводе. В конце 1838 г. с детьми и сестрой, А. Н. Гончаровой, вернулась в Петербург. В течение семи лет вдовства жила скромно и уединенно, занимаясь воспитанием детей, порою сильно нуждаясь. В 1844 г. вышла замуж за генерала П. П. Ланского, от которого имела трех дочерей: Александру, Софью и Елизавету. В последние годы Н. Н. много болела; осенью 1863 г. сильно простудилась и скончалась от воспаления легких. Похоронена в Петербурге в Александро-Невской лавре. Могила ее сохранилась до наших дней.

ПУШКИН Лев Сергеевич (1805—1852), младший брат А. С. Пушкина. Учился в Благородном пансионе при Царскосельском лицее, затем в Благородном пансионе при Петербургском университете; курса не кончил. В дальнейшем служил на гражданской службе и в военной, часто менял места и выходил в отставку. Вел беспорядочную жизнь, делал долги, которые приходилось платить родителям и Пушкину. Был женат на Е. А. Загряжской, дальней родственнице Н. Н. Пушкиной. В последние годы жил в Одессе, где служил в таможне, куда устроился по протекции Н. Н. через Вяземского.

ПУШКИН Сергей Львович (1767—1848), отец поэта, сын богатого помещика. В молодые годы служил в гвардии. В 1797 г. перешел на гражданскую службу, а в 1817 г. вышел в отставку и больше нигде не служил. Женат на Н. О. Ганнибал. П. был широко образованным человеком, писал стихи, интересовался литературой. Был лично знаком с Карамзиным, Жуковским, Вяземским и др. литераторами. П. имел в своем владении около 7000 десятин земли в Нижегородской губ. и около 2000 десятин взял в приданое за женой в Псковской губ. (в том числе Михайловское). Однако управ-

лением своих поместий не занимался, передоверив все управляющим, которые присваивали себе часть доходов и разоряли и грабили крестьян. Был большим эгоистом, скупым и мелочным человеком. У Пушкина-поэта всю жизнь отношения с отцом были сдержанными.

РАДЗИВИЛЛ Софья Александровна (1806—1889), фрейлина, фаворитка Николая I; дочь кн. А. М. Урусова. С 1833 г. замужем за кн. Радзивиллом. Урусовы — московские знакомые Пушкина. В последующие годы Пушкины встречались с Р. в светском обществе в Петербурге.

РАЕВСКИЙ Александр Николаевич (1795—1868), сын известного генерала, героя Отечественной войны 1812 г. Н. Н. Раевского. Пушкин с ним познакомился еще в молодости; позднее, в 1824 г., часто встречался в Одессе, где также служил Р. По свидетельству современников, Р. был любовником Е. К. Воронцовой, жены новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова, которой увлекался и Пушкин. По некоторым сведениям, Р. был якобы виновником обострения отношений Пушкина с Воронцовым. С 1834 г. Р. жил в Москве, где встречался с Пушкиным, когда тот приезжал в Москву.

РОССЕТ Аркадий Осипович (1812—1881), брат А. О. Смирновой-Россет. Воспитанник Пажеского корпуса; штабс-капитан конной артиллерии, сослуживец братьев Карамзиных. Впоследствии генерал-майор, товарищ министра государственных имуществ, сенатор.

РОСТОПЧИНА Евдокия Петровна, графиня (1811—1858), поэтесса. Замужем за А. Ф. Ростопчиным, сыном московского генерал-губернатора, писателем-библиографом. Была знакома с Пушкиным и его женой. В 1836 г. переехала с мужем в Петербург, и в зиму 1836/37 г. Пушкин бывал на ее обедах, где собирались известные литераторы, в том числе Жуковский, Вяземский и др.

СЕРДОБИН Михаил Николаевич (1802 — не ранее 1851), барон. Побочный сын кн. А. Б. Куракина. Брат (от другой матери) Б. А. Вревского, мужа Е. Н. Вульф-Вревской. Накануне дуэли Пушкин, по свидетельству С., обедал у него, где присутствовали также Е. Н. Вревская и А. Н. Вульф.

СИРКУР Анастасия Семеновна, графиня (1808—1863), урожд. Хлюстина; жена французского писателя-публициста графа Сиркура. Поместье Хлюстиных находилось недалеко от Полотняного Завода, и сестры Гончаровы были дружны с С. в юности, а позднее встречались в Петербурге, когда С. приезжала на родину.

СМИРНОВА Александра Осиповна (1809—1882), урожд. Россет. Сестра Аркадия и Климентия Россетов. Фрейлина двора. В 1832 г. вышла замуж за Н. М. Смирнова, чиновника Министерства иностранних дел; впоследствии он был калужским, а затем петербургским губернатором; оставил краткие воспоминания о Пушкине. С., по воспоминаниям современников, была очень красива, остроумна, наблюдательна. Большая приятельница Пушкина, которого пленял в ней острый ум и злой язычок. Пушкин часто посещал салон Смирновых. С. оставила интересные воспоминания, в которых много упоминаний о Пушкине и его окружении.

СОБОЛЕВСКИЙ Д. М., московский художник того времени.

СОБОЛЕВСКИЙ Сергей Александрович (1803—1870) — библиофил и библиограф, автор известных эпиграмм. Близкий друг Пушкина с 1826 г., ценившего в нем незаурядность натуры, эрудицию, живость характера. Смерть поэта застала С. за границей. По мнению современников и по словам самого С., он был единственным человеком, который мог бы удержать Пушкина от дуэли.

СТРОГАНОВ Григорий Александрович, граф (1770—1857), двоюродный брат Н. И. Гончаровой. Пушкины бывали в доме С. После смерти поэта С. был назначен председателем Опеки над детьми и имуществом Пушкина. Публикуемые здесь письма говорят о том, что С. поддерживал родственные связи с семьей поэта и в более поздние годы.

СТРОГАНОВ Сергей Григорьевич (1794—1882), сын Г. А. Строганова, троюродный брат Н. Н. Пушкиной. Попечитель Московского учебного округа.

СТРОГАНОВА Юлия Павловна, графиня (1782—1864), жена Г. А. Строганова. Вместе с мужем почти неотлучно находилась в доме умиравшего Пушкина. В последующие годы хорошо относилась к Н. Н. и А. Н., последнюю, судя по ее письмам, вывозила в свет. Обе сестры бывали у С., иногда и С. навещала Н. Н. и тепло относилась к ее детям.

ТРЕЗОЛИНИ, итальянская певица.

ТРУБЕЦКОЙ Александр Васильевич, князь (1813—1889), штабс-ротмистр кавалергардского полка, где служил и Ж. Дантес. Встречался с Пушкиным в светском обществе Петербурга. Известен как автор клеветнического «Рассказа» о Пушкине и его семье.

ТУРГЕНЕВ Александр Иванович (1784—1845), историк, литератор, общественный деятель; брат декабриста Н. И. Тургенева.

Один из близких друзей Пушкина, в особенности в последние годы. В 1836 г.— один из сотрудников пушкинского журнала «Современник». В числе немногих друзей находился в квартире умиравшего поэта, а после смерти сопровождал его тело в Святогорский монастырь и там захоронил. До отъезда Н. Н. в Полотняный Завод часто посещал семью Пушкина, а также бывал у Н. Н. по возвращении ее в Петербург.

ФРИЗЕНГОФ Григорий Густавович, барон (1840—1858), сын Г. Фризенгофа от первой жены, Натальи Ивановны. После женитьбы Фризенгофа на А. Н. Гончаровой жил с ними в Вене и в Бродзянах. В последнее время жил в поместье Красно, недалеко от Бродзян, очевидно, подаренном ему отцом. Умер очень рано, в возрасте 18 лет.

ФРИЗЕНГОФ Густав Фогель фон, барон (1807—1889). В 1828 г. окончил юридический факультет Венского университета. Чиновник австрийского министерства иностранных дел. Долгое время был атташе австрийского посольства в Италии. В 1836 г. женился на воспитаннице графини де Местр, Наталье Ивановне Ивановой, от которой имел сына Григория. В 1839 г. Ф. приезжает в Россию в качестве чиновника австрийского посольства в Петербурге. В 1841 г. вновь возвращается в Вену. Видимо, в середине 1840-х гг. покупает имение Бродзяны в Венгрии, позднее выходит в отставку. В 1850 г. вместе с женой Натальей Ивановной и сыном приезжает в Россию. После смерти жены в 1852 г. женился вторично на А. Н. Гончаровой. В последующие годы жил с семьей в Бродзянах и Вене. Похоронен в Бродзянах.

ФРИЗЕНГОФ Наталья Ивановна (1801—1850), урожд. Иванова (по другой версии — Загряжская), воспитанница Местров, жена Г. Фризенгофа, чиновника австрийского посольства в Италии, потом в Петербурге. В 1841 г. уехала вместе с мужем в Вену, с этого времени вела постоянную переписку с Н. Н. Пушкиной и А. Н. Гончаровой. В 1842—1843 гг. встречалась в Вене с Е. Н. Дантес и ее мужем. В 1850 г. вместе с мужем приехала в Петербург, чтобы навестить приемных родителей, заболела и осенью того же года умерла. Похоронена в Александро-Невской лавре.

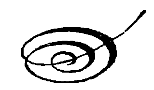
ХЛЮСТИН Семен Семенович (1810—1844), брат А. С. Сиркур. Знакомый Пушкиных, сосед Гончаровых по имению Полотняный Завод. В 1836 г. у Пушкина было столкновение с Х., едва не окончившееся дуэлью. Х. был в ссоре и с Д. Н. Гончаровым. В своих письмах Н. Аф. Гончаров очень недоброжелательно отзывается

о Х., называя его «Сенька Хлюстин». По-видимому, Х. постоянно причинял всякие неприятности Д. Н. Гончарову.

ХРУЩЕВА. Часто упоминается в письмах Н. Н. за 1849 г. По-видимому, жена Н. П. Хрущева, служившего в лейб-гвардии конном полку под командованием П. П. Ланского.

ШТИГЛИЦ, владелец банкирской конторы в Петербурге.

ЭНГЕЛЬГАРДТ, по-видимому, Егор Антонович (1775—1862), бывший директор Царскосельского лицея.





ПРИМЕЧАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Стр. 45. [1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. VIII. М.— Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1937—1949, с. 39. Далее сокращенно: Пушкин.

Стр. 46. [1] Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2. М., «Художественная литература», 1974, с. 336. Далее сокращено: ПВС, 1974.

[2] ИРЛИ, Архив Араповой, 25565, CL., XXX1Vб, л. 308. Далее сокращенно: Архив Араповой. По этой единице хранения в дальнейшем будет показываться только номер листа.

Стр. 47. [1] Пушкин, т. XV, с. 188—189.

Часть I. ПОСЛЕ СМЕРТИ ПУШКИНА

ВДАЛИ ОТ ПЕТЕРБУРГА

Стр. 54. [1] Пушкин и его современники, вып. IV. Спб., 1908, с. 61. Далее сокращенно: ПС.

[2] Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг. М.—Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1960, ст. 173. Далее сокращенно: Карамзины.

[3] Пушкин в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1950, с. 136. Далее сокращенно: ПВС, 1950.

Стр. 55. [1] «Красный архив», т. 33. Изд. Центроархива, 1929, с. 230.

Стр. 56. [1] Встречи с прошлым. Сборник материалов ЦГАЛИ, вып. 3. М., «Советская Россия», 1978, с. 344.

[2] Центральный государственный архив древних актов (в дальнейшем сокращенно: ЦГАДА), архив Гончаровых, ф. 1265, оп. 1, № 3211, запись расходов за февраль 1837 года.

Стр. 57. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3252, лл. 143—144.

Стр. 58. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3139, л. 5.

[2] ПС, вып. VII. Спб., 1908, с. 55.

[3] Там же, с. 61. Перевод с французского уточнен И. Ободовской.

Стр. 59. [1] ПС, вып. VII. Спб., 1908, с. 73. Перевод с французского уточнен И. Ободовской.

Стр. 60. [1] «Русский архив». 1868, кн. 3, с. 157. Далее сокращенно: РА.

[2] ПС, вып. XIX—XX. Пг., 1914, с. 110.

Стр. 62. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3088, расходы за 1837 год.

[2] Карамзины, с. 223.

[3] Там же, с. 216.

Стр. 63. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3139, лл. 42, 42 об. Полностью публикуется впервые.

Стр. 64. [1] Архив опеки Пушкина.— Летописи Гос. лит. музея. Кн. V. М., изд. Гос. лит. музея, 1939, с. 287—288. Далее сокращенно: Архив опеки.

Стр. 66. [1] П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.—Л., Госиздат, 1928, с. 340. Далее сокращенно: Щеголев.

[2] «Звенья», т. IX. М., Гос. изд-во культ.-просвет. лит., 1956, с. 182—183. Далее сокращенно: «Звенья».

[3] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3252, л. 5. Публикуется впервые.

[4] Там же, оп. 3, № 2643, л. 9.

Стр. 67. [1] Архив опеки, с. 345. Опека над детьми Пушкина была утверждена в составе Г. А. Строганова, В. А. Жуковского, М. Ю. Виельгорского и Н. И. Отрешкова.

Стр. 68. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3252, л. 52.

[2] Там же, л. 8.

СНОВА ПЕТЕРБУРГ

Стр 68. [3] Там же, л. 43.

Стр. 69. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 7, № 2656, лл. 11 и 12. Впервые опубликовано М. Яшиным в журнале «Звезда» № 8, 1964, с. 181. Здесь в переводе И. Ободовской.

[2] Там же, оп. 1, № 3252, л. 13 и об. Публикуется впервые.

Стр. 70. [1] «Архив опеки», с. 3.

Стр. 71. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2642, лл. 1 и 2.

Стр. 73. [1] А. В. Исаченко. Пушкиниана в Словакии. («Slovenské Pohl'ady», 1947, № 1, V. 1—16). Перевод на русский язык Н. А. Раевского — машинопись в библиотеке Пушкинского кабинета ИРЛИ, с. 11—12. В дальнейшем будет указываться сокращенно: Исаченко, а страницы — по машинописи перевода на русский язык.

[2] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3426, лл. 87 и 88. Дата письма устанавливается по предыдущему письму Н. Н. от 2 апреля 1839 г., где говорится о просьбе Карамзиной, а также о долге И. Н. Гончарову; кроме того, Н. Н. в письме пишет, что «скоро уже 1 мая».

Стр. 74. [1] «Звенья», с. 182.

Стр. 75. [1] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 1. Спб., 1896, с. 464. Далее сокращенно: Плетнев.

[2] Архив Араповой, л. 7.

[3] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2641, л. 18. Письмо не имеет даты, но на обороте последнего листа штамп: С. Петербург 10... юля (год нрзб); лежит среди писем 1839 года.

Стр. 76. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2656, л. 24 об. Публикуется впервые.

[2] Там же, оп. 1, № 3426, л. 4. На обороте имеется штамп: Петербург, 7 марта 18... (год нрзб). Местры вернулись в Россию в апреле 1839 г., значит, это не 1839 год. В этом же письме упоминается о предстоящих родах жены Д. Н. Гончарова, она родила второго сына, Евгения, в апреле 1840 г. Все это позволяет датировать письмо 7 марта 1840 года.

[3] Там же, оп. 3, № 2644, л. 4.

Стр. 77. [1] Плетнев, т. II, с. 120.

[2] Исаченко, с. 14.

[3] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2656, л. 23. Публикуется впервые.

[4] Архив Араповой, 25719, CL, XXXIVб, 27, л. 8 об.

Стр. 78. [1] Плетнев, т. I, с. 227.

[2] Там же, с. 27.

Стр. 79. [1] Плетнев, т. I, с. 285.

[2] Там же, с. 512.

[3] Там же, с. 650.

[4] Там же, т. II, с. 119.

[5] Там же, с. 121.

Стр. 80. [1] Плетнев, т. II, с. 336.

[2] Там же, с. 604.

Стр. 81. [1] ПВС, 1950, с. 137.

[2] Плетнев, т. I, с. 260.

[3] А. П. Арапова. Н. Н. Пушкина-Ланская. Приложение к «Новому времени», январь 1908, № 11432. Далее сокращенно: Арапова.

Стр. 84. Л. Н. Спасская. Наталья Николаевна Пушкина (Ланская) в Вятке.— Труды Вятской ученой архивной комиссии, вып. I, отд. III, Госархив Кировской области. Вятка, 1905, с. 18—21.

[2] Плетнев, т. II, с. 4.

[3] Арапова, январь 1908, № 11425.

[4] А. Яцевич. Пушкинский Петербург. Л., изд. Пушкинского о-ва, 1935, с. 153.

Стр. 85. [1] Архив Араповой, л. 30.

ЛЕТО В МИХАЙЛОВСКОМ

Стр. 86. [1] ПС, вып. VIII, 1908, с. 65.

Стр. 87. [1] ПС, вып. XIX—XX, 1914, с. 110.

[2] ПС, вып. XXI—XXII, 1915, с. 398. Перевод И. Ободовской.

[3] Пушкин, т. XIII, с. 114, 127.

Стр. 89. [1] «Архив опеки», с. 402.

Стр. 90. [1] С. С. Гейченко. У лукоморья. Л., Лениздат, 1977, с. 133.

[2] Центральный государственный архив литературы и искусства (в дальнейшем сокращенно: ЦГАЛИ), ф. 195, оп. 1, № 75, л. 2. Впервые опубликовано авторами в «Неделе», 19 мая 1974 г.

[3] ЦГАЛИ, ф. 384, оп. 1, № 75, л. 2 об.

Стр. 92. [1] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1305, л. 2.

[2] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2656, лл. 35—36.

Стр. 94. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 4191, лл. 12—13.

Стр. 95. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2656, л. 37. Впервые опубликовано М. Яшиным в журнале «Нева» № 7, 1967. Здесь в переводе И. Ободовской.

Стр. 97. [1] РА, кн. II, с. 261.

Стр. 98. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 4191, лл. 12—13.

Стр. 100. [1] ПС, вып. XXI—XXII, 1915, Пг., с. 401.

Стр. 101. [1] Л. С. Кишкин. Гербарий семьи Пушкиных.— «Природа», № 3, 1975.

Стр. 102. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2656, лл. 40—41. Частично опубликовано М. Яшиным в журнале «Нева» № 7, 1967. Здесь впервые публикуется полностью в переводе И. Ободовской.

Стр. 103. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2657, лл. 1—3. Частично опубликовано М. Яшиным в журнале «Звезда» № 8, 1934. Здесь впервые письмо публикуется полностью в переводе И. Ободовской.

Стр. 105. [1] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1305, л. 8. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 9. Публикуется впервые.

[3] «Литературное наследство», т. 58. М., Изд-во АН СССР, 1952, с. 154.

[4] Там же.

Стр. 106. [1] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1305, л. 17. Публикуется впервые.

[2] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2657, лл. 4—5. Ранее было опубликовано М. Яшиным в журнале «Нева» № 7, 1967.

Стр. 108. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 4, № 23, л. 4.

ТРУДНЫЕ ГОДЫ

Стр. 109. [1] Архив опеки, с. 409.

Стр. 111. [1] Архив Араповой, 25559, CL, XXXIVб, лл. 59, 60, 61.

Стр. 114. [1] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1305, л. 32. Публикуется впервые.

Стр. 115. [1] Карамзины, с. 28.

[2] Плетнев, т. I, с. 108.

[3] Сочинения и переписка В. А. Плетнева. Спб., т. III, 1855, с. 544, 640.

[4] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1305, л. 33. Публикуется впервые.

Стр. 116. [1] Архив Араповой, 25559, CL, XXXIVб, лл. 63 об., 64. Публикуется впервые.

Стр. 117. [1] Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 гг., вып. IV. Изд. М. и С. Собашниковых, 1925, с. 78.

[2] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1305, л. 30 об.

Стр. 118. [1] Архив Араповой, 25559, CL, XXXIVб, л. 17 об.

[2] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1305, л. 2 об.

[3] Архив Араповой, 25559, CL, XXXIVб, л. 24.

[4] Там же, л. 21.

[5] Там же, л. 67 об. Все пять выдержек публикуются впервые.

[6] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 2159, л. 8. Публикуется впервые.

[7] Архив Араповой, 25559, CL, XXXIVб, 2, л. 116.

Стр. 120. [1] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1305, лл. 42—44. Публикуется впервые.

Стр. 122. [1] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2159, л. 60 об. Публикуется впервые.

[2] Архив Араповой, 25719, CL, XXXIVб, 27, л. 9 об.

Стр. 124. [1] ИРЛИ, ф. 244, оп. 20, № 60, лл. 1—2.

[2] Правильность надписи на надгробии Е. И. Загряжской подтверждена письмом Главного управления культуры Ленгорсовета от 2 марта 1978 года.

[3] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3615, л. 43. Публикуется впервые.

Стр. 125. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 4, № 29, л. 26.

[2] Архив Араповой, 25559, CL, XXXIVб, 2, л. 195.

Стр. 126. [1] ЦГАЛИ, ф. 384. Воспоминания Е. Н. Бибиковой. В дальнейшем сокращенно: Бибикова.

[2] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 4, № 29, лл. 25—26.

Стр. 127. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, лл. 21—22.

Стр. 128. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 4, № 29, л. 30.

ВТОРОЕ ЗАМУЖЕСТВО

Стр. 130. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, л. 43. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 94. Публикуется впервые.

[3] Там же, № 3782, л. 15. Публикуется впервые.

Стр. 131. [1] Архив Араповой, л. 9.

Стр. 132. [1] Архив Араповой, л. 94.

Стр. 133. [1] Архив Араповой, л. 112.

[2] Там же, л. 78.

[3] Там же, л. 230.

Стр. 134. [1] Архив Араповой, л. 106.

Стр. 135. [1] Архив Араповой, л. 116.

Стр. 136. [1] Архив Араповой, л. 199.

Стр. 137. [1] Архив Араповой, л. 59 об.

[2] И. Ободовская и М. Дементьев. Вокруг Пушкина. 2-е изд. М., «Советская Россия», 1978, с. 20. В дальнейшем сокращенно: «Вокруг Пушкина».

ДЕТИ ПУШКИНЫ

Стр. 138. [1] Пушкин, т. XIV, XV, XVI. Письма к жене.

Стр. 139. [1] Л. Павлищев. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890, л. 297.

[2] Там же, л. 345.

Стр. 140. [1] Пушкин, т. XV.

Стр. 141. [1] Архив Араповой, л. 112. Впервые было опубликовано С. Энгель в спец. выпуске «Литературной газеты» и «Литературной России» под заголовком «Пушкинский праздник», 1974, с. 20. Здесь в переводе И. Ободовской.

[2] Архив Араповой, л. 155. Публикуется впервые.

Стр. 142. [1] Архив Араповой, л. 85. Публикуется впервые.

[2] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2657, л. 15.

Стр. 144.[1] Архив Араповой, л. 187. Публикуется впервые.

Стр. 145. [1] Архив Араповой, л. 167.

[2] Там же, л. 44.

Стр. 146. [1] Арапова, январь 1908, № 11446.

[2] Архив Араповой, л. 17. Публикуется впервые.

Стр. 147. [1] Архив Араповой, л. 31. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 32. Публикуется впервые.

[3] Там же, л. 38. Публикуется впервые.

Стр. 148. [1] Архив Араповой, л. 42. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 128. Впервые опубликовано С. Энгель в спец. выпуске «Литературной газеты» и «Литературной России» под заголовком «Пушкинский праздник», 1974, с. 20. Здесь в переводе И. Ободовской.

[3] Архив Араповой, л. 137 об. Публикуется впервые.

[4] Там же, л. 161. Публикуется впервые.

[5] Там же, л. 158. Публикуется впервые.

Стр. 149. [1] Архив Араповой, л. 170. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 183. Публикуется впервые.

[3] Там же, л. 280. Публикуется впервые.

Стр. 150. [1] Архив Араповой, л. 224. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 186. Публикуется впервые.

[3] Там же, л. 291. Публикуется впервые.

[4] В. М. Русаков. Потомки Пушкина. Изд. 2-е. Л., Лениздат, 1978, с. 25. Далее сокращенно: Русаков.

Стр 151. [1] Н. А. Раевский. Портреты заговорили. Изд. 2-е. Алма-Ата, «Жазушы», 1976, с. 28. Далее сокращенно: Раевский.

Стр. 152. [1] Архив Араповой, л. 235. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 173. Публикуется впервые.

[3] Там же, лл. 165 об. и 166. Публикуется впервые.

Стр. 153. [1] Архив Араповой, л. 175. Публикуется впервые.

[2] Там же, лл. 338—339. Публикуется впервые.

Стр. 154. [1] Архив Араповой, лл. 35—36. Публикуется впервые.

Стр. 155. [1] Архив Араповой, л. 35. Публикуется впервые.

[2] Из заграничной газеты «Новое русское слово» от 17 сентября 1975 года. Статья под названием «Лашма» (автор указан инициалами — Ю. Г.), глава «Усадьба, где жили дети Пушкина». Вырезку из газеты этой главы любезно прислал нам из Парижа потомок Пушкина — Г. М. Воронцов.

СВЕТСКИЕ ВСТРЕЧИ

Стр. 157. [1] Архив Араповой, л. 82. Публикуется впервые.

Стр. 158. [1] Архив Араповой, л. 22. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 252. Публикуется впервые.

[3] Там же, лл. 297, 298. Публикуется впервые.

Стр. 160. [1] Архив Араповой, л. 51. Публикуется впервые.

Стр. 161. [1] Архив Араповой, лл. 7—8. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 58 об.

Несколько кратких выдержек из писем П. А. Вяземского к Н. Н. Пушкиной, а также последней к П. П. Ланскому (в основном касающиеся ее внешности и туалета) приводит М. Д. Беляев в своей книге «Н. Н. Пушкина в портретах и отзывах современников». Изд. Комитета популяризации худож. лит. при Гос. академии истории материальной культуры. Л., 1930.

Стр. 162. [1] Архив Араповой, л. 50 об. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 100. Публикуется впервые.

Стр. 163. [1] Архив Араповой, л. 141 об. Публикуется впервые.

Стр. 165. [1] Архив Араповой, лл. 143—145. Полностью публикуется впервые.

[2] Там же, л. 154 об. Публикуется впервые.

[3] Там же, л. 152. Публикуется впервые.

Стр. 166. [1] Г. П. Макогоненко. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы. Л., «Художественная литература», 1974.

[2] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3275, л. 200.

Стр. 169. [1] «Звенья», с. 181.

Стр. 170. [1] Архив Араповой, л. 313. Публикуется впервые.

[2] Там же. Публикуется впервые.

Стр. 171. [1] Архив Араповой, лл. 317, 319, 324. Публикуется впервые.

[2] Tour de Taxis — Турн де Таксис — старинный княжеский род в Германии.

[3] Липп — княжество в Германии, Детмольд — столица княжества.

Стр. 172. [1] Архив Араповой, л. 134. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 330. Публикуется впервые.

ПИСЬМА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Стр. 173. [1] Госархив Кировской области, ф. 170, оп. 1, № 424, л. 25.

Стр. 174. [1] Труды Вятской ученой архивной комиссии, вып. I, отд. III. Вятка, 1905, с. 18—21. См. также письмо П. П. Ланского от 14 октября 1855 г. к министру внутренних дел с ходатайством о прощении М. Е. Салтыкова-Щедрина и освобождении из ссылки. («Русская литература» № 2, 1979. Публикация З. И. Кудрявцевой).

Стр. 175. [1] Архив Араповой, лл. 275, 286. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 368. Публикуется впервые.

Стр. 176. [1] Архив Араповой, л. 370. Публикуется впервые.

Стр. 177. [1] Архив Араповой, л. 366. Публикуется впервые.

[2] Там же, лл. 370, 371. Публикуется впервые.

Стр. 178. [1] Арапова, январь 1908, № 11442.

[2] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2159, л. 5 об. Публикуется впервые.

[3] Впервые часть этого письма была опубликована С. Энгель в спец. выпуске «Литературной газеты» и «Литературной России» под заголовком «Пушкинский праздник», 1974, с. 21.

Стр. 179. [1] Арапова, январь 1908, № 11446.

Стр. 180. [1] Арапова, январь 1908, № 11446.

Стр. 181. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 3066, л. 7. Публикуется впервые.

Часть II. А. Н. ГОНЧАРОВА-ФРИЗЕНГОФ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ КЛЕВЕТЫ

Стр. 186. [1] «Вокруг Пушкина», с. 202.

[2] Там же, с. 199.

Стр. 187. [1] «Вокруг Пушкина», с. 241.

[2] Там же, с. 226.

[3] Там же, с. 213.

[4] Там же, с. 253.

[5] Там же, с. 256.

Стр. 188. [1] Щеголев, с. 429—434.

Стр. 189. [1] Карамзины, с. 42.

[2] Там же, с. 165.

Стр. 190. [1] А. Ахматова. Александрина.— «Звезда» № 2, 1973, с. 209. Далее сокращенно: Ахматова.

[2] Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу. Записан со слов князя А. В. Трубецкого.— Щеголев, с. 418—434.

Стр. 191. [1] Э. Герштейн. Вокруг гибели Пушкина.— «Новый мир» № 2, 1962.

Стр. 192. [1] Д. Благой. Душа в заветной лире. М., «Советский писатель», 1977, с. 428.

[2] Л. Вишневский. Еще раз о виновниках пушкинской трагедии.— «Октябрь» № 3, 1973.

Стр. 193. [1] «Русская старина», апрель 1901 г.

[2] Щеголев, с. 430.

[3] Ахматова, с. 211.

Стр. 194. [1] ПВС, т. 2, 1974, с. 331.

[2] Раевский, с. 317.

Стр. 195. [1] «Звезда» № 8, 1964, с. 186.

[2] А. Ахматова, с. 210—211.

[3] «Звезда» № 8, 1964, с. 186.

[4] Ахматова, с. 214.

[5] «Вокруг Пушкина», с. 175.

Стр. 196. [1] «Вокруг Пушкина», с. 256.

Стр. 197. [1] Плетнев, т. II, с. 516.

[2] Карамзины, с. 120.

Стр. 198. [1] Архив Араповой, л. 97. Публикуется впервые.

ГОДЫ ИДУТ...

Стр. 200. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3252, лл. 43, 44. Публикуется впервые.

Стр. 201. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3252, лл. 21, 22. Публикуется впервые.

Стр. 202. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3252, лл. 33, 34. Публикуется впервые.

Стр. 203. [1] «Звенья», с. 182.

[2] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3426, л. 4.

[3] ЦГАЛИ, ф. 177, оп. 1, № 208. Публикуется впервые.

[4] Архив Араповой, 25559, CL, XXXIVб, 2, л. 25. Публикуется впервые.

[5] Там же, л. 27 об. Публикуется впервые.

Стр. 204. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, л. 25 об. Публикуется впервые.

[2] Там же, оп. 4, № 23, л. 4. Публикуется впервые.

Стр. 205. [1] ЦГАДА, ф. 1265 ,оп. 1, № 3615, л. 37. Публикуется впервые.

[2] Там же, лл. 37—38. Публикуется впервые.

Стр. 206. [1] Архив Араповой, 25719, CL, XXXIVб, л. 27. Публикуется впервые.

Стр. 207. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2641, л. 37. Публикуется впервые.

[2] Там же, оп. 1, № 3783, л. 43. Публикуется впервые.

Стр. 208. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2642, л. 5. Публикуется впервые.

[2] Арапова, январь 1908, № 11435.

Стр. 209. [1] Архив Араповой, л. 272. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 35. Публикуется впервые.

[3] Там же, л. 115. Публикуется впервые.

[4] Там же, л. 243. Публикуется впервые.

Стр. 210. [1] Архив Араповой, л. 97. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 115. Публикуется впервые.

[3] Там же, л. 228. Публикуется впервые.

[4] Там же, л. 228. Публикуется впервые.

Стр. 213. [1] Биографические данные о Фризенгофах см.: А. В. Исаченко. Пушкиниана в Словакии, а также кн.: Н. Раевский. Портреты заговорили. Изд. 2-е, 1976.

Стр. 214. [1] Исаченко, с. 15.

[2] ИРЛИ, ф. 409, № 6, л. 106. Публикуется впервые.

Стр. 215. [1] Архив Араповой, л. 225. Публикуется впервые.

Стр. 216. [1] Архив Араповой, л. 338. Публикуется впервые.

Стр. 217. [1—3] (соответственно) ИРЛИ, ф. 409, письма Фризенгофа к невесте, лл. 3, 20, 39. Публикуются впервые.

Стр. 218. [1—3] Там же, лл. 31, 40, 14. Публикуются впервые.

БРОДЗЯНЫ

Стр. 218. [4] Н. А. Раевский. В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой.— Пушкин. Исследования и материалы, т. IV, М.—Л., Изд-во Акад. наук СССР, с. 381; Раевский, с. 39—40.

Стр. 221. [1] Ахматова, с. 214.

Стр. 222. [1] А. М. Игумнова. Воспоминания о Бродзянах, 1961.— ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 409, № 32 (машинопись). Далее сокращенно: Игумнова.

Стр. 223. [1] ИРЛИ, ф. 409, № 6, л. 61. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 63. Публикуется впервые.

Стр. 224. [1] ИРЛИ, ф. 409, № 6, л. 65. Публикуется впервые.

Стр. 225. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 3105, лл. 1—2. Публикуется впервые.

Стр. 227. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 3105, лл. 3—4. Публикуется впервые.

Стр. 229. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 3105, л. 10. Публикуется впервые.

[2] Там же, лл. 7—8. Публикуется впервые.

[3] Там же, лл. 5—6. Публикуется впервые.

Стр. 232. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 3105, л. 20. Публикуется впервые.

Стр. 233. [1] Русаков, с. 61.

[2] Там же, с. 62.

[3] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 3105, лл. 10—11. Публикуется впервые.

Стр. 234. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 3105, лл. 12—14. Публикуется впервые.

Стр. 236. [1] Арапова, январь 1908, № 11446.

Стр. 238. [1] Русаков, с. 130.

[2] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 3105, лл. 17—18. Публикуется впервые.

Стр. 240. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. № 3, № 3105, лл. 21—22. Публикуется впервые.

Стр. 241. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 3105, лл. 24. Публикуется впервые.

Стр. 244. [1] Раевский, с. 42.

Стр. 245. [1] Раевский, с. 408.

Часть III. ПИСЬМА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Стр. 249. [1] Пушкин, т. XVI, с. 427.

Стр. 250. [1] Щеголев, с. 129.

Стр. 251. [1] Андре Менье. Альбомы Екатерины Гончаровой.— «Revue des Etudes Slaves», т. 46. Paris, 1967. с. 22—25.

Стр. 252. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3252, л. 364 об.

[2] ПС, вып. XXI—XXII, с. 346—347.

[3] Н. Б. Востокова. Пушкин по архиву Бобринских.— «Прометей», 10. М., «Молодая гвардия», 1975, с. 266.

[4] Карамзины, с. 139 и 151.

Стр. 253. [1] Щеголев, с. 322.

[2] «Вопросы литературы» № 3, 1973.

[3] Щеголев, с. 115.

[4] Там же.

Стр. 254. [1] Щеголев, с. 338.
[2] «Вокруг Пушкина», с. 255.
[3] Карамзины, с. 153.
Стр. 255. [1] Пушкин, т. XVI, с. 407.
[2] «Новый мир» № 12, 1931, с. 189.
Стр. 256. [1] ПВС, т. 2, 1974, с. 242.
Стр. 257. [1] Щеголев, с. 23.
[2] Там же., с. 337.
Стр. 259. [1] ПС, вып. I, с. 58.
[2] Карамзины, с. 179.
Стр. 260. [1] Щеголев, с. 339.

В ИЗГНАНИИ

Стр. 262. [1] Карамзины, с. 400.
[2] Там же, с. 405.
[3] Там же, с. 171.
[4] Там же, с. 175.
[5] Там же, с. 199.
Стр. 263. [1] Щеголев, с. 361.
Стр. 264. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3139, лл. 40—41. Публикуется впервые.
Стр. 267. [1] Щеголев, с. 340.
Стр. 268. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3139, лл. 38—39. Публикуется впервые.
Стр. 269. [1] «Литературное наследство», т. 58, с. 148.
[2] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3139, лл. 63—63а. Публикуется впервые.
Стр. 271. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3426, лл. 91—92. Публикуется впервые.
Стр. 272. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3426, л. 13. Публикуется впервые.
Стр. 273. [1] Л. Гроссман. Документы о Геккернах.— «Временник Пушкинской комиссии». Изд. 2-е. М.— Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1936, с. 339. В дальнейшем сокращенно: Гроссман.
Стр. 274. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3139, лл. 34—35. Публикуется впервые. В подлиннике письмо датировано 1837 годом, это, несомненно, описка: по содержанию письмо относится к 1838 году.
Стр. 276. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3252, лл. 6—7. Публикуется впервые.
Стр. 277. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2643, л. 11. Публикуется впервые.
Стр. 280. [1] Арапова, январь 1908, № 11435,

[2] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2643, лл. 8, 9. Публикуется впервые.

Стр. 281. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2643, л. 11. Публикуется впервые.

Стр. 284. ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3426, лл. 35—36. Публикуется впервые.

Стр. 285. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3426, лл. 37—38. Публикуется впервые.

Стр. 287. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 4191, лл. 1—2. Публикуется впервые.

Стр. 290. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 4191, л. 3. Публикуется впервые.

Стр. 291. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2643, лл. 12—13. Публикуется впервые.

Стр. 293. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2643, лл. 16—17. Публикуется впервые.

Стр. 294. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 3, № 2643, л. 14. Публикуется впервые.

Стр. 296. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3615, лл. 26—27. Публикуется впервые.

БАДЕН-БАДЕН. ВЕНА

Стр. 299. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3615, л. 6. Публикуется впервые.

Стр. 300. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3615, лл. 63—64. Публикуется впервые.

Стр. 304. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3615, л. 3 об. Публикуется впервые.

Стр. 305. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3615, лл. 24—25. Публикуется впервые.

Стр. 307. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, л. 100. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 192. Публикуется впервые.

Стр. 308. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, лл. 5—6. Публикуется впервые.

Стр. 312. [1] Гроссман, с. 351.

Стр. 313. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3615, лл. 28—29. Публикуется впервые.

Стр. 314. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, лл. 2—3. Публикуется впервые.

Стр. 316. [1] Раевский, с. 396.

[2] Там же, с. 221.

Стр. 317. [1] Гроссман, с. 352.

Стр. 318. [1] Карамзины, с. 151.

[2] Там же, с. 191.

Стр. 320. [1] Карамзины, с. 152.

Стр. 321. [1] Щеголев, с. 259, а также см. письмо П. А. Вяземского к О. А. Долгоруковой от 7 апреля 1837 г.— «Красный архив», т. 33. Изд. Центроархива, 1929, с. 231.

[2] Карамзины, с. 136.

[3] Там же, с. 175.

[4] Там же, с. 41.

[5] «Вокруг Пушкина», с. 51.

СМЕРТЬ ЕКАТЕРИНЫ ДАНТЕС

Стр. 322. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, л. 4. Публикуется впервые.

Стр. 323. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, л. 10. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 11. Публикуется впервые.

Стр. 324. [1] Щеголев, с. 362.

Стр. 325. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, л. 1. Публикуется впервые.

Стр. 326. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, лл. 8—9. Публикуется впервые.

Стр. 328. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3426, л. 94. Публикуется впервые.

Стр. 330. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, л. 138. Публикуется впервые.

Стр. 331. ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, л. 27 об. Публикуется впервые.

[2] Там же, л. 33. Публикуется впервые.

Стр. 332. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, л. 34. Публикуется впервые.

Стр. 333. [1] ЦГАДА, ф. 1265, оп. 1, № 3783, л. 7. Публикуется впервые.

Стр. 335. [1] П. Н. Берков. О людях и книгах. Подборка газетных вырезок. (Судьба Жоржа-Шарля Дантеса и его семейства). М., «Книга», 1965, с. 59—61. В дальнейшем сокращенно: Берков.

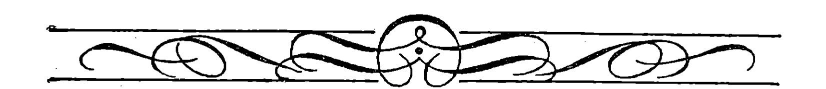
[2] Щеголев, с. 367.

[3] Там же.

Стр. 337. [1] Берков, с. 64—65.

[2] Берков, с. 65.





ЛИТЕРАТУРА

Арапова А. П. Н. Н. Пушкина-Ланская. К семейной хронике жены А. С. Пушкина.— Приложение к «Новому времени», декабрь 1907 г. и январь 1908 г.

Архив опеки Пушкина.— Летописи Гос. лит. музея. Книга 5. Ред. и коммент. П. С. Попова. М., изд. Гос. лит. музея, 1939.

Ахматова А. Гибель Пушкина.— «Вопросы литературы» № 3, 1973. Публикация Э. Герштейн.

Ахматова А. Александрина.— «Звезда» № 2, 1973. Публикация Э. Герштейн.

Беляев М. Д. Н. Н. Пушкина в портретах и отзывах современников. Изд. Комитета популяризации худож. лит. при Государственной академии истории материальной культуры. Л., 1930.

Бельчиков Н. Из прошлого. Неизвестное письмо В. Ф. Вяземской о смерти Пушкина.— «Новый мир» № 12, 1931.

Берков П. О людях и книгах. М., «Книга», 1965.

Бибикова Е. Н. Воспоминания. ЦГАЛИ, ф. 384.

Благой. Д. Д. Погибельное счастье. Предисловие к книге И. Ободовской и М. Дементьева «Вокруг Пушкина». Изд. 2-е. М., «Советская Россия», 1978.

Вишневский Л. Еще раз о виновниках пушкинской трагедии.— «Октябрь» № 3, 1973.

Востокова Н. Б. Пушкин по архиву Бобринских.— «Прометей», 10. М., «Молодая гвардия», 1975.

Гейченко С. С. У лукоморья. Л., Лениздат, 1977.

Герштейн Э. Вокруг гибели Пушкина.— «Новый мир» № 2, 1962.

Гроссман Л. Документы о Геккернах.— Временник Пушкинской комиссии. Вып. 2. М.— Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1936.

Жуковский В. А. Дневник (с примеч. И. А. Бычкова). Спб., 1903.

Игумнова А. М. Воспоминания о Бродзянах, 1961.— ИРЛИ, рукописный отдел (машинопись).

Исаченко А. В. Пушкиниана в Словакии.— Журнал Slovenské Pohľady № 1. 1947, V. 1—16 (перевод Н. А. Раевского, машинопись, ИРЛИ).

Кирпичников А. И. По поводу рассказа об отношении Пушкина к Дантесу.— «Русская старина» № 4, 1901.

Литературное наследство. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, т. 58. Вступ. статья Д. Д. Благого. М., Изд.-во Акад. наук СССР, 1952. Публикация Т. Г. Цявловской.

Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы. Л., «Художественная литература», 1974.

Менье Андре. Альбомы Екатерины Гончаровой,— «Revue des Etudes Slaves», т. 46. Paris, 1967.

Ободовская И. и Дементьев М. Вокруг Пушкина. Изд. 2-е. М., «Советская Россия», 1978.

Павлищев Л. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890.

Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I, II, III. Под ред. К. Я. Грота. Спб., 1896.

Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. III. Издал Я. Грот. Спб., 1855.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти т. М.— Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1937—1949.

Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.— Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1960.

Пушкин и его современники, вып. I, IV, VI, VIII. Спб., 1903; вып. XIX—XX, 1914; вып. XXI—XXII, 1915.

Пушкин в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1950.

Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., «Художественная литература», 1974.

Пушкин А. С. Письма последних лет. 1834—1837 гг.— Л., «Наука», 1969. Ленинградское отделение. Институт русской литературы (Пушкинский дом).

Пушкин А. С. Дневник 1833—1835 гг. Комментарии.— «Труды Государственного Румянцевского музея». М.— Пг., Госиздат, 1923.

Пушкин А. С. Дневник 1833—1835 гг. Под ред. и с объяснительными примеч. Б. Л. Модзалевского и статьей П. Е. Щеголева. М.— Пг., Госиздат, 1923.

Раевский Н. В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой.— Пушкин. Исследования и материалы, т. IV. М.— Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1962.

Раевский Н. Портреты заговорили. Изд. 2-е. Алма-Ата, «Жазушы», 1976.

Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 гг., вып. IV. Изд. М. и С. Сабашниковых, 1925.

Русаков В. М. Потомки Пушкина. Изд. 2-е. Л., Лениздат, 1978.

«Русский архив» № 3, 1868. Публикации писем С. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому.

«Русская литература» № 2, 1979. Документы к биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина. Публикация З. И. Кудрявцевой.

Снытко Н. В. Литературные корреспонденты П. А. Вяземского (по документам Остафьевского архива).— В кн.: Встречи с прошлым. М., 1978.

Смирнова-Россет. А. О. Автобиография (неизвестные материалы). Предисл. Д. Д. Благого. Введение Л. В. Крестовой. М., изд-во «Мир», 1931.

Спасская Д. Н. Наталья Николаевна Пушкина (Ланская) в Вятке.— Труды Вятской ученой архивной комиссии, вып. I, отд. III. Госархив Кировской области. Вятка, 1905.

Цявловский М. Новые материалы для биографии Пушкина.— «Звенья», т. IX. М., Гос. изд-во культ.-просвет. лит., 1956.

Цявловский М. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина (из переписки А. Я. Булгакова с П. А. Вяземским).— «Красный архив», т. 33, изд. Центроархива, 1929.

Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е. М.—Л., Госиздат, 1928.

Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. Спб., изд-во «Шиповник», 1912.

Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., «Наука», 1975.

Яцевич А. Пушкинский Петербург. Л., изд. Пушкинского о-ва, 1935.

Яшин М. Пушкин и Гончаровы.— «Звезда» № 8, 1964.

Яшин М. Семья Пушкина в Михайловском.— «Нева» № 7, 1967.



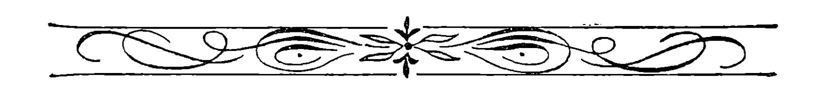
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В ПОДПИСЯХ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

ВМП — Всесоюзный музей Пушкина (Ленинград).

ЛЛМ — Ленинградский литературный музей (при ИРЛИ).

ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва).

СНМ — Словацкий национальный музей (Братислава).



ОГЛАВЛЕНИЕ

КОММЕНТАРИИ



Ободовская И. М., Дементьев М. А.

О-21 После смерти Пушкина: Неизвестные письма / Ред. и авт. вступит. статьи Д. Д. Благой.— М.: Сов. Россия, 1980.— 384 с., ил.

Новая работа авторов является продолжением книги «Вокруг Пушкина». Изучая архивы, они обнаружили большое количество неопубликованных писем Н. Н. Пушкиной и ее сестер, относящихся к периоду после смерти Пушкина. Эти письма позволили во многом расширить и углубить наше представление о Наталье Николаевне, познакомить с ее мыслями и чувствами, с жизнью ее и детей Пушкина после гибели поэта.

В книге публикуются неизвестные письма А. Н. Гончаровой-Фризенгоф и ее мужа Густава Фризенгофа. Авторы приводят новые материалы, опровергающие версию об интимных отношениях А. Н. Гончаровой с А. С. Пушкиным.

Значительный интерес представляют письма Екатерины Дантес, Жоржа Дантеса и Луи Геккерна. Они раскрывают ту атмосферу, которой окружило светское общество Парижа и Вены эту чету, по-новому освещают отношение Н. Н. Пушкиной и семьи Гончаровых к Екатерине Дантес, проливают свет на ее положение в семье мужа и, наконец, дают дополнительную характеристику Дантесу и Геккерну.

О $\frac{60000-052}{М-105(03)80}$ 40—80 4400000000 8Р1

Ирина Михайловна Ободовская

Михаил Алексеевич Дементьев

ПОСЛЕ СМЕРТИ ПУШКИНА

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА

Редактор
И. Поспелова
Художественный редактор
В. Бухарев
Технические редакторы
Л. Самсонова и Т. Маринина
Корректор
Л. Логунова

ИБ № 1522
Сдано в набор 19.11.79. Подп. в печать 05.06.80. А02932. Формат 84×108/32. Бумага импортная. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 21,84 (в т. ч. вкл.— 1,68). Уч.-изд. л. 22,69 (в т. ч. вкл.— 1,30). Тираж 100.000 экз. Заказ № 1014. Цена 1 р. 60 к. Изд. инд. НА-40.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, 103012, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия»

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Готовится к выпуску книга

А. З. Крейн. **Рукотворный памятник**

Основание в Москве в 1880 году памятника А. С. Пушкину — примечательное событие в общественной и культурной жизни России.

Автор приводит сведения о зарождении идеи поставить памятник поэту, о сборе средств, конкурсах, в которых победил Опекушин, краткие биографические сведения о скульпторе, о торжествах в дни открытия памятника, о жизни памятника в наши дни.



Наталья Николаевна Пушкина (во втором замужестве Ланская).



Вверху — Софья Ивановна де Местр (?) (ВМП * Публикуется впервые), Ксавье де Местр. *Внизу* — Григорий Александрович Строганов, Юлия Павловна Строганова.

* Здесь и далее см.: «Условные сокращения в подписях к иллюстрациям».





Екатерина Ивановна Загряжская. Петр Александрович Плетнев.





Павел Воинович Нащокин. Вера Александровна Нащокина.





Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. Петр Петрович Ланской.



Дети Ланские. *Вверху* — **Александра (ВМП), Софья (ЛЛМ).** *Внизу* **Елизавета (ЛЛМ), Павел Ланской — племянник П. П. Ланского (ЛЛМ) (публикуются впервые).**



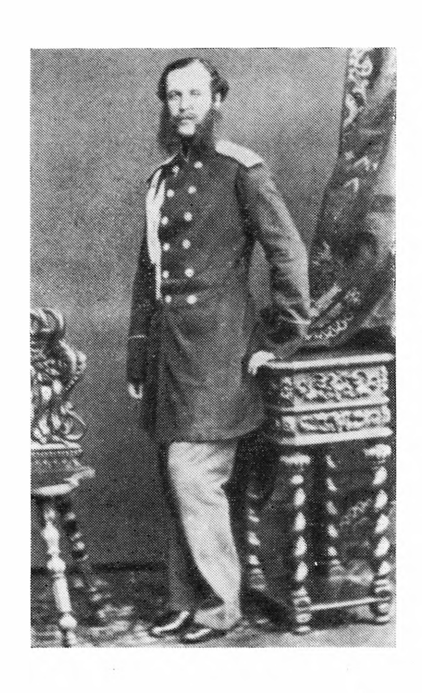


Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. Петр Петрович Ланской (ГЛМ, ЛЛМ. Публикуются впервые).





Наталья Александровна Пушкина-Дубельт. Михаил Леонтьевич Дубельт (СНМ. Публикуется впервые).

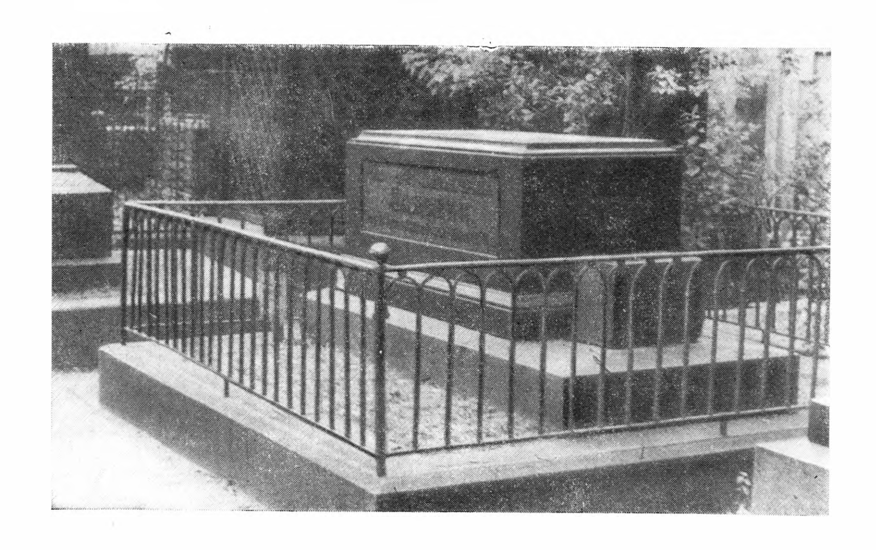






Вверху — Григорий Александрович Пушкин. *Внизу* — Елизавета Ксаверьевна Воронцова. Петр Андреевич Вяземский (ГЛМ. Публикуется впервые).

nances. Vous savez que dans cette maison on s'empresse de proclamer sur les toits tout ce qui se passe non seulement dans le salon, mais encore tout ce qui se passe et ne se passe pas au fond de la pensée et du cœur. Les plaisanteries de la famille sont livrées à l'indiscrétion publique et par conséquent interprétées par la [illegible] et la malveillance. Je ne vois pas pourquoi dans votre position délicate, et à la quelle vous avez su donner de la dignité et un caractère sacré par votre conduite calme, mesurée et parfaitement en harmonie avec votre position, vous iriez gâter [illegible] mêler [illegible], vous à des



Страница из письма П. А. Вяземского к Н. Н. Пушкиной. Могила Н. Н. Пушкиной-Ланской в Александро-Невской лавре. Ленинград.



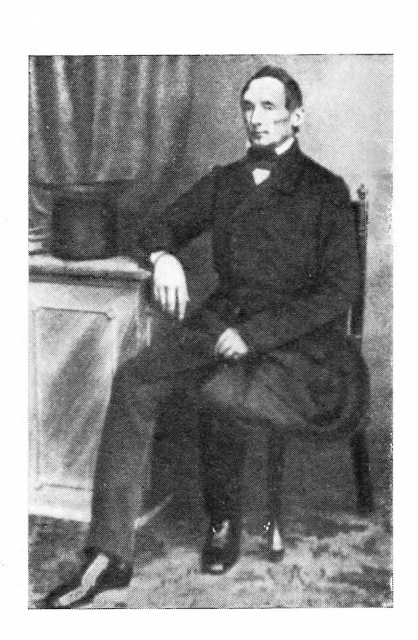


Александра Николаевна Гончарова. Аркадий Осипович Россет (ГЛМ. Публикуется впервые).



Наталья Ивановна Фризенгоф (урожд. Загряжская. ГЛМ). Замок Фризенгофов в Бродзянах.





Александра Николаевна Фризенгоф. Густав Фризенгоф (ГЛМ. Публикуются впервые).





Александра Николаевна Фризенгоф с дочерью Натальей. Наталья Густавовна и Элимар Ольденбургские (СИМ. Публикуются впервые).



Александра Николаевна и Густав Фризенгофы (СНМ. Публикуется впервые).

Ce Mardi

Est-ce vrai, amie chérie de mon cœur, que tu m'aimes comme par le passé? je l'avoue une bonne fois, bien heureux, si j'en étais tout-à-fait sûr! —

Figure-toi, que j'avais de complètement oublié ta lettre, que ce n'est qu'à force de réflexion que j'ai compris, ce que tu voulais dire par ta disposition!

Enchanté de vous voir demain. —

J'ai bien dormi — ma jambe va mieux — le reste comme chez. —

Bonjour, chère Mamatte.

je t'aime beaucoup, beaucoup, de toutes les forces de mon âme. —

Gustav

Письмо Густава Фризенгофа к невесте А. Н. Гончаровой.



Екатерина Николаевна Дантес-Геккерн.



Mon cher Dimitri, par la lettre
que je vous envoie pour
Madame votre mère, tout ce que je
ne sais pas t'exprimer, vous
apprendrez l'affreux malheur
qui vient de bouleverser toute
mon existence; je ne puis
pas vous écrire, la force me
manquant car mon cœur est
brisé. Il n'était pas préparé à un
pareil malheur.

Je vous embrasse

GH

Ж. Дантес-Геккерн (1844).
Письмо Дантеса к Д. Н. Гончарову (1843).



Dimanche.

Страница из письма Е. Н. Дантес к Д. Н. Гончарову.



Soultz Haut Rhin le 19 Juin 1858

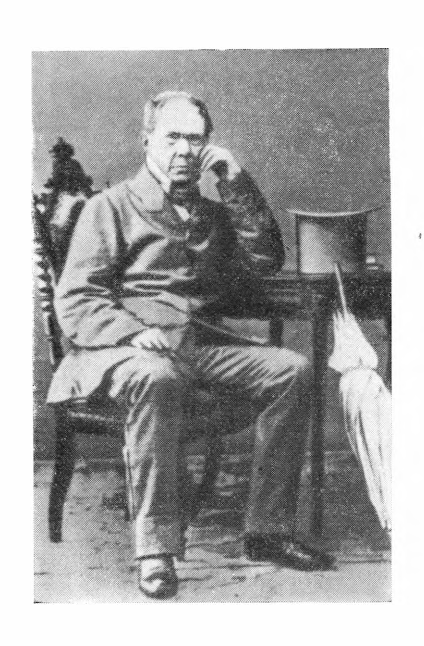
Monsieur

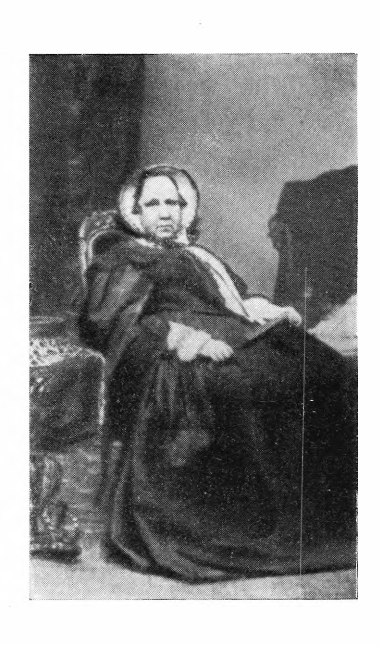
Луи Борхард де Бовервaард Геккерн.
Отрывок из письма Л. Геккерна к Д. Н. Гончарову.





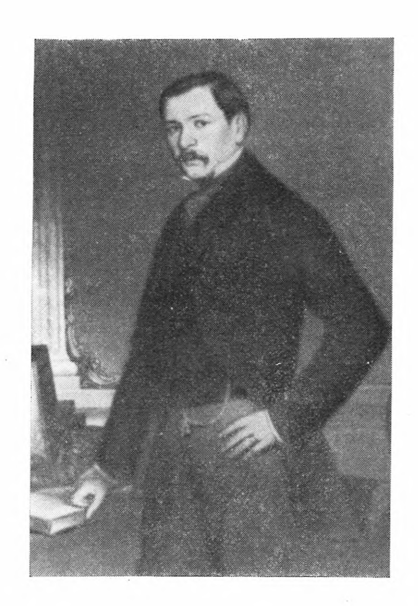
Вверху — **Николай Афанасьевич Гончаров. (ВМП. Публикуется впервые).** *Внизу* — **Дмитрий Николаевич Гончаров.**

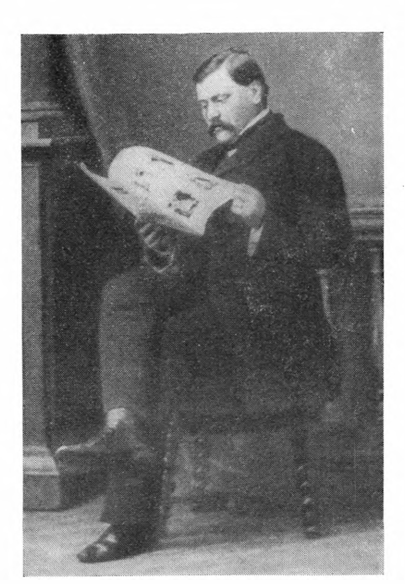




Петр Андреевич Вяземский. Вера Федоровна Вяземская (ГЛМ. Публикуются впервые).







Вверху — **Софья Николаевна Карамзина, Андрей Николаевич Карамзин.**
Внизу — **Александр Николаевич Карамзин (ГЛМ. Публикуется впервые).**

Тригорское
К А. С. Пушкину

«Тригорское. К А. С. Пушкину». Стихотворение Н. М. Языкова из альбома Е. Н. Гончаровой.